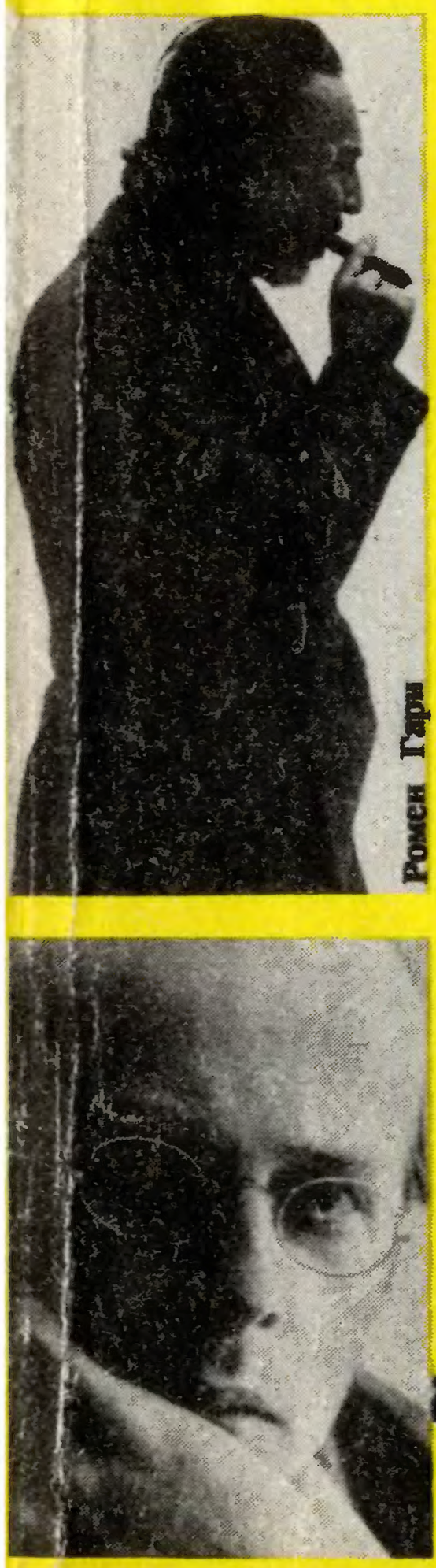
ISSN 0130-6545

1.1993

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Авторы 1993 года



Ромен Гари

Жан Жене

Владимир Набоков

Мишель Турнье

Колетт

Элиас Канетти

Патрик Зюскинд

Марек Хласко

Итало Кальвино

Герберт Розендорфер

«ЦВЕТЫ ЗЛА»

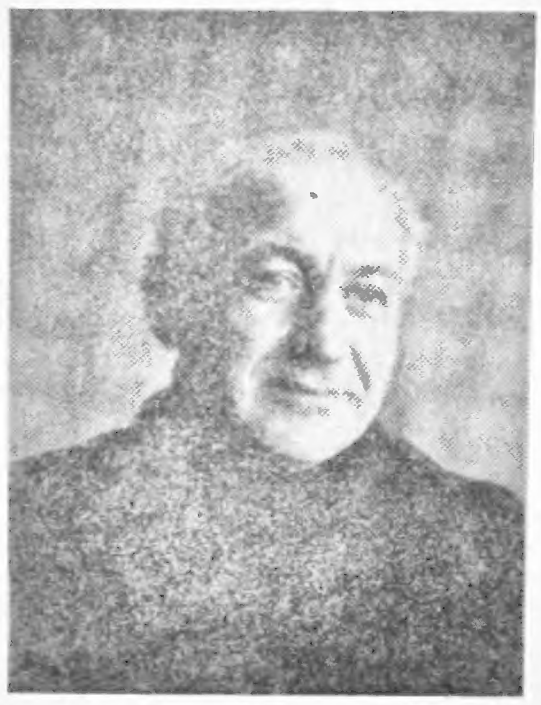
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР

乙酉仲冬秋農吳穀祥書於自然林館并題

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

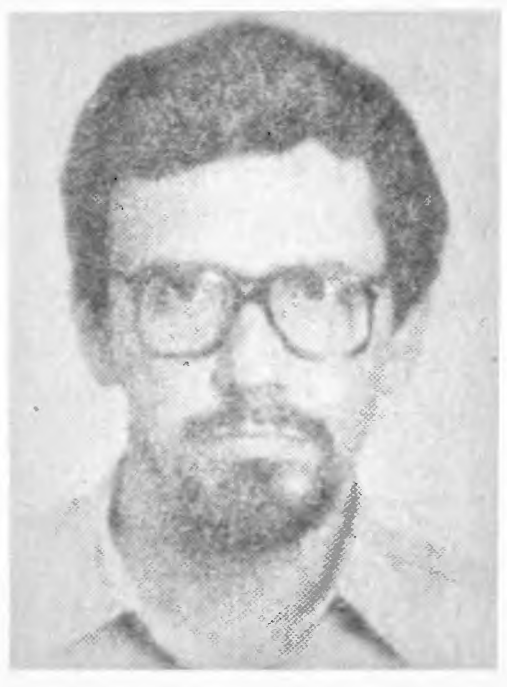
МОСКВА

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ «ИЛ» 1992 ГОДА



С. АПТ —
за перевод романа Роберта Музиля «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса», № 4.

Н. ТРАУБЕРГ —
за перевод романа Грэма Грина «Конец одного романа», № 5-6.



Б. ДУБИН —
за перевод стихов Хорхе Луиса Борхеса и подготовку публикации «Сведенборг, Достоевский, Милош: уравнение с тремя неизвестными», № 8-9.

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Л. А. ЖМЫРЕВ — Коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

1 **январь** **1993**

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕРБЕРТ РОЗЕНДОРФЕР — Письма в Древний Китай *(Роман. Перевод с немецкого и послесловие Евгения Колесова)* 5

Литературное наследие

ХУА ЖУЙ — Из цикла «Сто дворцовых строф» (*Перевод с китайского и вступление М. Басманова)* 88

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ — К*** . Вглубь одного стихотворения (К 200-летию со дня рождения. *Перевод с английского К. Бальмонта, Б. Пастернака, Вл. Корнилова, А. Спаль, А. Шараповой, А. Грибанова, С. Гандлевского, О. Денисовой. Вступление А. Гиривенко)* 91

МОНТЕГЮ РОДС ДЖЕЙМС — Рассказы (*Перевод с английского Г. Дуткиной, И. Бессмертной. Вступление В. Скороденко)* 97

Ф. СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД — Вечер на ярмарке (*Рассказ. Перевод с английского И. Багрова. Вступление А. Зверева)* 122

ХАРАЛД СВЕРДРУП — Стихи (*Перевод с норвежского Л. Горлиной)* 133

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: «Цветы зла». Имморалистическая традиция в западной литературе 137

Публицистика

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ — Алхимический Лимон, или Зимние Воспоминания о Летних Впечатлениях 241

Курьер «ИЛ» 252

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1993

В следующем номере «ИЛ»:

БОББИ ЭНН МЕЙСОН «Там и здесь».

Учит ли чему-нибудь прошлое? Можно ли его преодолеть? Герои романа Бобби Энн Мейсон — ветеран войны во Вьетнаме и его семнадцатилетняя племянница, чей отец пропал без вести там, в джунглях,— совершают поездку в Вашингтон к мемориалу погибших. Наново прикасаясь к драме поколения, прошедшего через Вьетнам, персонажи книги ищут защиты от травмирующих воспоминаний о пережитом.

РОМЕН ГАРИ «Обещание на рассвете».

Следуя за главным героем этого автобиографического романа, читатель перенесется из России в Польшу, из Польши во Францию, Африку, Англию, встретится со многими колоритными персонажами, узнает, что знаменитый французский писатель Ромен Гари — сын актрисы одного из московских театров и известного русского киноактера Ивана Мозжухина. Он станет свидетелем различных перипетий богатой событиями и приключениями жизни автора, воплощенной в грустном, но исполненном юмора и надежды повествовании.

ЯН ЛИПСКИЙ «Две родины — два патриотизма».

Эссе известного польского публициста, одного из духовных вождей «Солидарности», посвященное истинному и ложному патриотизму — проблеме, ставшей главной болевой точкой человечества в конце нашего века.

На 2-й, 3-й и 4-й стр. обложки воспроизведены работы китайских художников ЖЕНЬ СУНЯ, У ГУ СЯНА и ЧЖАО ДЖИ ЦЯНЯ.

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

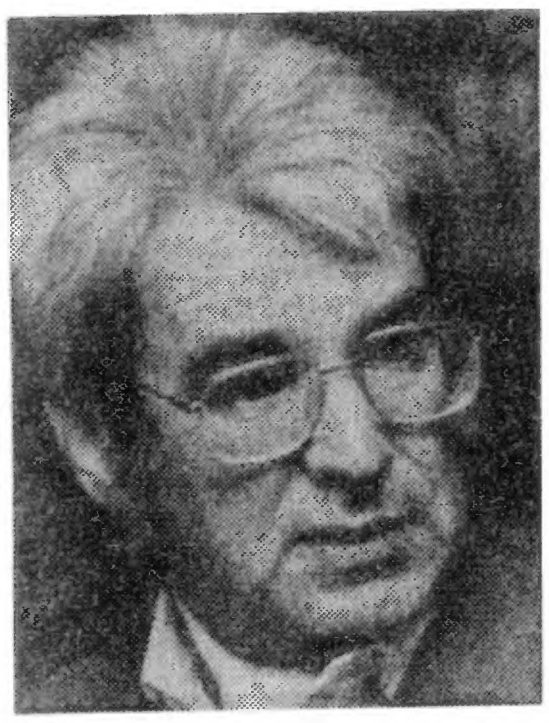
Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 06.10.92. Подписано в печать 23.11.92. Формат 70 × 108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 25,95. Заказ 3176.

Тираж 95 000 экз. Цена по подписке 33 р. Цена в розницу договорная.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ГЕРБЕРТ РОЗЕНДОРФЕР

Письма в Древний Китай

Роман

Перевод с немецкого и послесловие ЕВГЕНИЯ КОЛЕСОВА

Предлагаемый вниманию читателей роман в письмах Герберта Розендорфера вышел в Мюнхене в 1983 году. Письма китайского мандарина Гао-дая, с помощью «компаса времени» перенесшегося из X века в XX, адресованные его другу в X век, рассказывают о тех удивительных событиях, которые происходят с ним в современном мире.

В Германии роман был встречен с большим интересом. Вот что писал о нем Михаэль Беккер в газете «Нюрнбергер нахрихтен»: «Эти письма полны юмора и сатиры, остроумных и в то же время глубоких наблюдений, отличаются безукоризненно точным знанием как средневекового Китая, так и нашей с вами действительности. С неисчерпаемой фантазией Розендорфер нагромождает одну невероятную ситуацию на другую, чем, однако, лишь усиливает достоверность изображаемых им лиц, обстоятельств и человеческих отношений. Он ничего не выдумывает, а лишь позволяет нам взглянуть на себя со стороны».

Роман публикуется с сокращениями. Полностью он будет напечатан издательством «Рубеж» во Владивостоке.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

среда, 14 июля

Дорогой друг Цзи-гу,
будущее — это бездонная пропасть. Повторить свое путешествие я бы ни за что не решился. Даже мрачнейший хаос — ничто по сравнению с тем, что предстоит многострадальному роду человеческому. Если бы я мог, я бы возвратился немедленно. Мне кажется, будто я попал в ледяную пустыню (хотя здесь сейчас лето). В этот раз сообщу лишь, что до места я добрался, учитывая всю необычность путешествия, сравнительно благополучно. В теперешнем положении я могу лишь бегло начертать несколько иероглифов и положить письмо на почтовый камень. Надеюсь, что ты найдешь его. С великой любовью приветствую тебя —

твой Гао-дай

ПИСЬМО ВТОРОЕ

суббота, 17 июля

Дорогой друг Цзи-гу,
будущее — это бездонная пропасть. Эти слова я, кажется, уже писал в письме, оставленном на почтовом камне три дня назад. Надеюсь, ты нашел его и более не опасаешься за мою судьбу. То, что я успел увидеть, настолько отличается от всего знакомого и привычного, что я даже не знаю,

© Nymphenburger Verlagshandlung GmbH, München, 1983.
© Журнальный вариант, журнал «Иностранная литература», 1993.

с чего начать. Здесь... Хотя, наверное, нужно писать не «здесь», а «сейчас». Но это «сейчас» представляется мне невообразимо чуждым: не могу поверить, что эта мерзкая страна и есть тот милый край, где я оставил тебя тысячу лет назад. Теперь я понял, что тысяча лет — такой срок, которого не в состоянии охватить человеческий разум. Конечно, каждый, кто умеет считать, может начать отсчет: один, два, три... и дойти до тысячи, убеждая себя при этом, что каждая единица означает ушедший год, смену поколений, императоров, даже династий, смещение звезд с их обычных мест... И все же осмелюсь утверждать: тысяча лет — это нечто большее, чем сумма прошедших лет. Это настоящая гора времени, такая огромная, что преодолеть ее не в силах даже самые отважные птицы нашего воображения.

Тысяча лет — это не промежуток между «сейчас» и «тогда». Это именно «здесь» и «там». Поэтому я буду писать «здесь».

К моему великому счастью, мне удалось найти наш почтовый камень, так что я могу оставить на нем письмо для тебя. Найти его помог мне один человек, который уже очень много для меня сделал и делает. В следующий раз я напишу о нем подробнее. Без него я не сумел бы отыскать дорогу к почтовому камню, потому что наш родной Кайфын неузнаваемо изменился, так что иногда мне кажется, что это вообще другой город. Вероятно, это оттого, что река изменила свое течение: теперь она несет свои воды почти точно на север. Сам город теперь непомерно велик, и в нем царит такой шум, что вынести его едва способно человеческое ухо. Ни от одного из дворцов, казавшихся нам воздвигнутыми на века, не осталось и следа (по крайней мере, в тех кварталах, где я успел побывать), не говоря уже о жилищах простых людей. Даже холмы исчезли. Местность совершенно ровная, только дома торчат, точно зубчатые скалы, и редкое дерево достигает их высоты. Ничто, ни единого камешка здесь не показалось бы тебе знакомым. Не понимаю, как могло все так измениться. Увы, наши варвары-внуки, напоминающие толпу грубых, необразованных дикарей, пожалуй, и в самом деле способны были сровнять с землей прекрасные холмы. Кажется, даже небо бежало отсюда в далекие края, не вынеся копоти и грязи. Меня не покидает мысль, что я действительно переместился не только во времени, но и в пространстве.

Пишу тебе, сидя на камне. Шум, царящий вокруг, еще можно вынести: в одном-двух ли [1] отсюда он гораздо сильнее. Где-то невдалеке от этого камня находился дом, в котором тысячу лет и три дня назад я обнял тебя на прощание. От дома тоже не осталось ни пылинки. На его месте выстроена череда неуклюжих хижин. Того камня, который мы с тобой установили в парке, я также не смог найти. А мы-то надеялись, что он простоит тысячу лет! К счастью, моя судьба не зависит от тех ланов [2], которые скрыты в его полости. Моих пятидесяти ланов хватит на все мои нужды. А на крайний случай, как ты помнишь, у меня есть еще пять золотых чашечек изящной работы.

Мне очень хотелось бы вернуться назад теперь же, но я вынужден ждать вычисленного нами часа, а он наступит только через восемь месяцев. Зачем только злополучная любознательность забросила меня в это недоброе будущее, не знающее ни тишины, ни величия! Помолись о моем благополучном возвращении. Передай привет моей Сяо-сяо, которую после тебя, мой друг, я люблю больше всех на свете.

Гао-дай

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

вторник, 20 июля

Любезный друг Цзи-гу,

да, на дне этой пропасти, этого мрачного водоворота будущего я воистину обнаружил ч е л о в е к а. Чтобы не нарушать законов справедливости в отношении внуков, скажу, что нашел я даже двух человек и, размышляя сейчас о втором, не исключаю, что он сможет стать моим другом, хотя я, как тебе

[1] Ли — китайская меры длины, около 600 м. (*Здесь и далее — прим. автора)*

[2] Ланы — слитки серебра весом от 100 до 250 г, в форме башмачка или кораблика, использовавшиеся в Древнем Китае в качестве денег.

известно, до крайности скуп на дружеские чувства. И хотя господин Шу Ши-ми (так зовут этого второго) тоже слишком много шумит, я чувствую, что от него меня отделяют не сто тысяч ли, как от всех остальных, а только девяносто девять тысяч. Все остальные же, за исключением этого второго, представляются мне огромными сероликими крабами, ни в чем не похожими на нас с тобой или известных нам людей. Разумеется, господин Шу Ши-ми так же далек от меня, как и остальные, но он помогает мне понять этот чуждый для меня мир.

Познакомился я с господином Шу Ши-ми весьма странным и не самым достойным для меня образом. Сейчас я опишу тебе наше знакомство, и ты увидишь, сколько бед мне пришлось претерпеть за те несколько дней, пока я нахожусь «в путешествии». Пишу я, сидя за столом господина Шу Ши-ми, в его доме. Его самого дома нет. Наш почтовый камень находится, к счастью, недалеко отсюда, и в случае необходимости я могу теперь и сам отыскать его.

Перед отъездом мы с тобой много говорили о предстоящем моем предприятии, которое многие назвали бы небезопасным. И ты, мой любезный друг Цзи-гу, изобретатель математического прыжка во времени, стал единственным, кто знает об этом моем путешествии. Мы говорили о многом, но ты, наверное, помнишь, что одним из важнейших путевых наставлений я счел для себя слова великого Мэн-цзы: «Кто хочет наблюдать, должен сам оставаться невидимым». Поэтому я, как ты сам видел, выбрал для путешествия самое неброское платье, какое только мог найти, отказался от всех знаков моего звания гуаня четвертого ранга [1] и даже сложил с себя золотую цепь начальника императорской Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал», чего, в сущности, не имел права делать. Мне хотелось остаться незаметным, невидимым наблюдателем. Но в этом безумном будущем не только изречения Мэн-цзы, но и вся книга Ли-цзи не принесли бы никакой пользы. Мое платье, которое мы признали неброским, здесь настолько выходит за рамки привычных представлений, что, даже нарядившись женщиной или нацепив украшения дворцовой собаки, я не вызвал бы большего недоумения.

Само путешествие прошло без осложнений и длилось не более мгновения. Мы не зря проделали столько предварительных опытов. После того, как я обнял тебя на мосту через канал Голубых колоколов, по всем расчетам показавшемся нам наиболее подходящим для перемещения местом, и проделал все необходимые действия, меня подхватила какая-то невидимая сила, подобная ураганному ветру. Сначала я еще видел твое красное платье, а потом наступила темнота. А в следующий миг я, растерянный, уже сидел на том же мосту через канал Голубых колоколов, только все выглядело совсем иначе. Ни одного дома, ни стены, ни даже камня не осталось от того, что я только что видел. Страшный шум тотчас же обрушился на меня со всех сторон. Я сидел на земле, крепко держа свою сумку, и моим первым желанием было немедленно вернуться назад. Но ты знаешь, что это невозможно. А первая моя мысль была о Сяо-сяо: скучает ли она обо мне? Теперь я долго не смогу ее приласкать. Да и ей тоже придется долго ждать меня.

Мост, на котором я очнулся, совершенно не похож на тот, на котором мы с тобой расстались. Правда, он и сейчас пересекает канал Голубых колоколов, но сделан не из дерева, а из камня, очень плохо обработанного, и вообще, видимо, сложен без любви. В этом «здесь» все сделано без любви. Все же я подумал: какое счастье, что мост и через тысячу лет остался на месте. Ведь после того, как старый деревянный мост сгнил или развалился, новый могли соорудить выше или ниже. Тогда я, прибыв, очутился бы в воде, что, конечно, было бы неприятно, хотя и не опасно, потому

---

[1] Таково точное древнекитайское обозначение того звания, которое мы привыкли обозначать как «мандарин». В эпоху династии Сун, из которой прибыл Гао-дай, имелось восемнадцать служебных рангов; таким образом, Гао-дай был довольно высокопоставленным чиновником. Его «четвертый ранг», таким образом, приблизительно можно приравнять к рангу статс-секретаря или советника министерства.

что канал Голубых колоколов давно уже не так глубок, каким ты его знаешь, зато невообразимо грязен. Грязь здесь вообще почти на всем. Грязь и шум царят повсеместно. Грязь и шум — вот та пропасть, в которую влечет нас будущее.

Холм на западном берегу канала снесли, и вообще вся местность, насколько хватает глаз, теперь совершенно ровная. Но я уже писал об этом.

Я встал, растерянный, опустил сумку на землю и огляделся. По тому плану, который мы так тщательно составили по крайней мере для моих первых шагов в этом будущем мире (скажу сразу: план наш оказался совершенно неосуществимым), я должен был сначала направиться в парк, к твоему летнему дому, чтобы найти камень, установленный нами у входа. Но мне не удалось дойти до парка, потому что с той стороны, где прежде находился, а для тебя и сейчас находится дом вдовы начальника императорской охоты мандарина Ма Вана, появился великан. Но не пугайся: в его взоре я не увидел злого намерения, хотя одет он был в странное серое платье, которое я непременно опишу тебе впоследствии, а лицо имел нездорового красного цвета. Но главное, что меня поразило, был его нос, огромный до невероятия. Мне показалось даже, что по величине этот нос превосходит все остальные части тела вместе взятые. Великан, видимо, намеревался просто перейти через мост, но заметил меня и остановился как вкопанный. Я еще не умею распознавать выражение лица у потомков (они отличаются от нас так сильно, что я постоянно спрашиваю себя: неужели это и вправду потомки? Наши потомки?). И пока лишь учусь различать их лица. Это очень трудно, потому что все они похожи, и у всех одинаково большие носы. Но все же я ощутил, что этот великан, или великанша, потому что пол их я тоже не всегда различаю, не желает мне зла. Возможно, он рассматривал меня с таким же удивлением, как я его. Я подобрал сумку, подошел к нему, поклонился и произнес:

— Высокопочтенный незнакомец или высокопочтенная незнакомка! Я, жалкий и недостойный гуань четвертого ранга по имени Гао-дай, начальник императорской Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал», преклоняюсь перед вами и вашими досточтимыми предками! (Кто знает, подумал я при этом, может быть, я и есть один из этих предков.) Не соблаговолите ли вы сказать, не находился ли когда-то за этой стеной летний дом моего друга, почтенного мандарина Цзи-гу?

Но великан, судя по всему, не понял из моей речи ни слова. Он ответил мне на совершенно непонятном языке, точнее, проревел что-то таким низким и страшным голосом, что я чуть не свалился с моста и немедленно бросился бы бежать, если бы к тому времени вокруг не собралась целая толпа других великанов, смотревших на меня во все глаза. Я был в отчаянии. Если бы я мог, я немедленно отправился бы назад в прошлое, в наше с тобой милое время. Но это, увы, пока невозможно. Я вынужден ждать. И это даже хорошо, ибо такова цель моего путешествия. Итак, я крепче прижал к себе сумку и обратился к присутствующим с вопросом, не понимает ли кто-нибудь из них человеческого языка.

Нет, его здесь не понимал никто.

Если вспомнить, что мы без труда читаем книги, написанные две тысячи лет назад, то станет ясно, что язык наш с древнейших времен мало изменился. Что же заставило его за следующую тысячу лет измениться так, что меня здесь никто больше не понимает? Неужели северным варварам удалось преодолеть Великую стену? Неужели они завоевали нашу страну, не оставив в живых ни одного человека? И населяют теперь всю империю? Впрочем, против этого говорит то обстоятельство, что мы хоть и уступаем северным варварам в силе и выносливости, но в целом заметно превосходим их ростом. Что ж, возможно, со временем мне удастся пролить свет и на эту тайну.

Потом... Кстати, мне уже удалось выучить несколько слов того языка, на котором говорят потомки. Язык очень трудный.

Потом все большеносые и великаны, окружавшие меня,— но не волнуйся: это не настоящие великаны, просто все живущие «здесь» люди гораздо

выше ростом, чем мы привыкли видеть,— все они закричали наперебой низкими, громкими голосами. Если бы ты пережил такое во сне, то подумал бы, что попал в компанию повздоривших между собой демонов. Судя по всему, говорили они обо мне. Поскольку они так кричали — а я тогда не знал, что люди здесь всегда кричат,— я испугался, что они начнут драться. Поэтому я при первой же возможности незаметно удалился и покинул мост. Там, где ты, придя за моим письмом, можешь видеть внешнюю стену императорских конюшен, протянувшуюся вдоль канала, здесь находится дорога, вся выложенная камнем. Я как раз хотел перейти через эту дорогу, и тут со мной произошло нечто ужасное.

Драки же,— кстати, извини меня, друг мой, что мысли мои то и дело скачут от одного предмета к другому, но мне и в самом деле нелегко придать моему изложению необходимый порядок, ибо за этот короткий срок на меня свалилось столько всего одновременно,— драки же между людьми на мосту так и не произошло. Здесь вообще редко дерутся между собой даже простолюдины. Возможно, конечно, что они избегают драться на улицах и занимаются этим дома. Я еще слишком мало знаю здешний язык, чтобы расспросить об этом господина Шу Ши-ми. Они не дерутся, зато кричат. Кричат они всегда. Впрочем, им это простительно, ибо при том шуме, который царит здесь постоянно, обычную речь просто нельзя было бы расслышать. Их никто бы не понял. Можешь ли ты, мой милый Цзи-гу, представить себе жизнь, состоящую лишь в том, чтобы изо дня в день стараться перекричать шум? Едва ли ты можешь себе представить такое. Будущее, мой друг, это — бездонная пропасть. Однако я пока жив и здоров.

Пришло время класть письмо на почтовый камень. Поэтому на сегодня заканчиваю. Обнимаю тебя —

твой верный друг Гао-дай

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

четверг, 22 июля

Мой дорогой друг,
прошло еще два дня, за которые со мной, как всегда, случилось много удивительного, странного и необъяснимого, но я все же продолжу описание событий первого дня моего пребывания «здесь».

Упомянутая дорога, которую я хотел перейти, называется здесь «аллеей». По обе ее стороны тянется хилый, плохо ухоженный газон. Мостовая тоже уложена без любви, а потому довольно ухабиста. Если бы великий Сын Неба хоть раз проехал по этой дороге, он незамедлительно велел бы повесить главного мандарина, ведающего строительством дорог. На газоне растут запущенные, некрасивые деревья.

Ничего не подозревая, я ступил на мостовую, чтобы пересечь эту аллею, и тут вдруг раздались грохот, скрежет и завывания, сравнить которые нельзя ни с чем из того, что имеется в нашем мире. В то же время на меня со скоростью молнии бросилось что-то — огромное животное или огненный демон, успел подумать я,— двигавшееся так быстро, что я даже не смог разглядеть это чудовище. Теперь-то я знаю, что́ это такое,— это не демоны, хотя бывают по меньшей мере так же опасны, какими представляются демоны людям суеверным,— но тогда они, конечно, явились для меня полной неожиданностью. Я дошел уже почти до половины улицы, когда меня заметил этот пыхтящий зверь — так мне показалось. Далее все случилось в мгновение ока. Я почти сразу понял, что не нужен демону. Он издал вопль, еще более жуткий, чем прежде, и попытался уступить мне дорогу. Я тоже решил уступить ему дорогу и бросился обратно на мост. Но как разъяренный вепрь, мчащийся во весь опор, не способен мгновенно свернуть в сторону, так и этот зверь мчался дальше, ведь он в десять раз крупнее самого крупного вепря. Испустив последний вопль, зверь издал оглушительный треск, который можно было бы услышать, если поджечь весь императорский запас новогоднего фейерверка одновременно, и, как мне показалось, вскочил на дерево. Тут я упал на землю и лишился чувств. Очнувшись на скамейке, стоявшей между двумя деревьями, я снова увидел

толпу большеносых, еще более похожих один на другого. Но, видимо, уложив меня на скамейку, они не заботились обо мне более и почти все сбежались к тому дереву, на которое взобрался «демон Десяти вепрей». Впрочем, приподняв голову, я увидел, что на самом деле он не взобрался на дерево, а лишь глубоко вгрызся в него. Теперь я знаю, что это был не демон и не чудовищный вепрь. Это была повозка из железа. Дом господина Ши-ми находится недалеко от моста, и позже я не раз проходил там. Боюсь, что дерево все-таки погибнет.

Таких повозок из железа, с четырьмя колесами, которые ездят совсем без лошади и во много раз быстрее любой лошади, здесь ужасающе много. В каждой такой повозке обычно сидит один большеносый; он держится за еще одно колесо, расположенное внутри повозки, с помощью которого в какой-то мере и направляет ее движение. Ездят они так быстро, что ты и оглянуться не успеешь, как она уже исчезла слева, едва успев появиться справа. По здешним каменным дорогам люди ходить не могут, так много на них этих железных повозок. Они носятся во всех направлениях, и я не понимаю, почему они то и дело не сталкиваются. Возможно, у них есть какое-то средство, вроде магнита, которое отталкивает их друг от друга. В конце концов, ведь воробьи тоже носятся нестройными стайками вокруг деревьев, но я еще ни разу не видел, чтобы два воробья стукнулись лбами. Видимо, так же обстоит дело и с этими повозками. Позже я попытаюсь разобраться и в этом. Называются эти повозки, кстати, «Ма-шин»: это одно из первых слов здешнего громкого языка, которые мне удалось выучить.

Даже когда ни одной такой Ма-шин поблизости не видно, никто из местных не решается ступить на их дорогу. Эти чудовища выскакивают так быстро, что даже самый ловкий из ловкачей не успеет отскочить в сторону. Поэтому по обеим сторонам дорог для повозок устроены такие возвышенные дорожки, по которым можно ходить пешком, почти не подвергая себя опасности. На них-то и толпятся здешние люди, устраивая столь любезный им шум. Но дорожки эти, в отличие от дорог для железных повозок, очень узки. Из этого я заключил, что в повозках Ма-шин сидят правители города, а то и всей страны, а те, кто ходит пешком,— их подданные.

Но вернусь снова к событиям первого дня. Итак, я пришел в себя и приподнялся. Рассмотрев, что произошло с наскочившей на дерево повозкой, я заметил рядом еще несколько повозок, поставленных у обочины. Понимая, что меня, как человека весьма необычной внешности, да к тому же виновного не только в остановке железной повозки, бесцельно застывшей теперь у дерева и испускавшей клубы дыма, но и в порче специально посаженного дерева, пусть даже я и сделал все это ненамеренно, первого поведут к местному судье, я хотел встать и незаметно скрыться. Однако за мной все-таки следили, в чем я немедленно убедился, когда ко мне подошли два великана в одинаковых зеленых одеждах со множеством круглых серебряных пуговиц, чтобы схватить меня. Это были, без сомнения, стражники: когда они принялись кричать на меня, их тон сразу показался мне знакомым, хоть я и не понял ни единого слова. Так я обнаружил в здешнем мире первую черту сходства с нашим и даже обрадовался, хотя державшие меня руки и причиняли мне некоторую боль.

Я сказал стражникам:

— О почтеннейшие и заслуженнейшие слуги императора! Перед вами ничтожный и жалкий, но вполне безобидный мандарин Гао-дай, гуань четвертого ранга, верный супруг двух племянниц великой и несравненной императрицы Чан-фу, недавно почившей в бозе любимой четвертой жены счастливого Сына Неба, а также начальник Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал». Окажите мне высочайшую милость и снисхождение и отпустите меня незамедлительно, дабы мой друг и родственник, иногда удостаивающий меня, недостойного грешника, своим высоким вниманием, могущественный Куань Фа-кун, высокопочтенный Главный мандарин императорской стражи и ваш начальник, не причинил вам незаслуженного зла, отделив от тела ваши прекрасные головы, облеченные в нарядные шапки цвета листвы в императорском лесу ранней вес-

ной! — При этом я находился в таком смятении — здесь это, к сожалению, случается со мной так часто, что уже становится привычкой,— что совершенно забыл, где нахожусь: ведь для них мой уважаемый родственник Фа-кун уже тысячу лет как мертв, а его место занимает другой мандарин, который, скорее всего, и имени-то его не помнит. Но стражники, конечно, меня не поняли. Один из них снова начал кричать, но я принялся качать головой и качал до тех пор, пока и им не стало ясно, что договориться нам не удастся.

Тогда стражники в зеленых одеждах стали говорить друг с другом. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что на их плоских, маловыразительных лицах отразилось недоумение. Затем они довольно грубо потащили меня к одной из повозок Ма-шин, стоявшей неподалеку. Полагаю, что на самом деле они не намеревались причинять мне боль или неудобство, просто при их росте и силе они не умеют иначе. Ладони у них широкие, как пальмовые ветви, и неловкие, как необструганные доски. Они втолкнули меня в железную повозку. Я сильно испугался. Сумку свою я по-прежнему прижимал к груди.

Теперь, мой любезный друг Цзи-гу, представь себе, что все, описанное мною на многих страницах, на самом деле произошло всего в течение какой-нибудь четверти часа. Впечатления обрушились на меня, подхватили и понесли, точно полноводный поток, и я буквально захлебнулся в этом потоке, потому что уже не мог воспринимать всего, что со мной происходило, и помню лишь отдельные события. Очень многое из того, что я пережил в первый день, в том числе, наверное, и очень важное, забылось. Но смог ли бы даже самый спокойный и мудрый человек сохранить ясную голову, если бы попал в такие переделки?

Я понял, что протестовать против ареста — а это, без сомнения, был арест,— не имеет смысла. Я подбадривал себя, утешаясь надеждой, что императорское правосудие не могло пасть так низко, как пали нравы простого люда, а это значит, что мне нечего бояться. Ведь я невиновен. И потом, я прибыл не для того, чтобы бояться, а чтобы наблюдать. А то, что путешествие будет связано с риском, мы с тобой оба знали. Правда, я не ожидал, что со мной в первый же день будут обращаться как с преступником. Но в конце концов я решил, что и это лишь обогатит мой опыт, собранный во время путешествия в будущее.

Повозка стражников оказалась узкой и тесной, как дешевый паланкин,— очевидно, она была казенная. Сиденье, впрочем, было мягкое. Один из зеленых стражников уселся рядом со мной, другой — впереди, там, где у повозки внутреннее колесо. Внутри повозки сильно воняло, и когда она загремела и помчалась, я снова лишился чувств. С тех пор я уже несколько раз ездил в повозках Ма-шин. Привыкнуть можно ко всему. От быстроты я теперь больше не теряю сознания, но с открытыми глазами ездить не могу до сих пор. Когда дома и деревья мчатся мимо с такой — истинно нечеловеческой! — быстротой, мне кажется, будто кто-то громадным скребком ранит все мои чувства, лишая меня способности воспринимать окружающее. Предполагаю, что именно этот скребок быстроты лишил и всех «здешних» жителей способности к тонким ощущениям. Возможно, поэтому они так грубы и неловки.

Стражники привезли меня в большие и темные палаты. Там было много таких же стражников. Очевидно, в мире все-таки есть вещи, способные пережить века и даже тысячелетия. Помню, однажды, на тридцать втором году жизни, когда я был еще гуанем седьмого ранга, мне пришлось вместе с императорской комиссией побывать в тюрьмах портового города Хайчжоу. И тогда мне показалось, что во всех тюрьмах одинаково пахнет — чем-то прогорклым и затхлым. Вот и в этих палатах, куда они меня привели, я узнал тот же самый запах и понял, что это тюрьма. Да, некоторые обычаи и вещи действительно сохраняются веками. Жаль только, что этой способностью обладают, судя по всему, далеко не самые лучшие обычаи и вещи.

В тюрьме, где, по всей видимости, размещались и начальники стражи,

меня отвели к такому начальнику. Перед этим один из стражников отобрал у меня сумку и все перерыл в ней. Когда меня вели по длинным, темным, пропитанным затхлостью коридорам, сумку мою нес стражник — вряд ли потому, что хотел оказать мне почтение.

К начальнику я уже и не пытался обратиться с речью. Я молчал и лишь слегка кланялся, когда он говорил. А говорил он все на том же громком, резком и немелодичном языке наших несчастных потомков. На его лице тоже отразилось недоумение. Меня усадили на грязную скамью. Сумку вернули, вероятно, не найдя в ней ничего опасного. Многие стражники входили в комнату, очевидно от нечего делать, и разглядывали меня. Несмотря на мое незавидное положение, меня это развеселило. Хотя в общем мне было не до смеха.

Некоторое время спустя начальник вышел и вернулся вместе с человеком, не носившим одежды стражников,— по-моему, это была женщина. Она попыталась заговорить со мной. Я догадался, что они пригласили переводчика, но языка, на котором говорила женщина, не понимал. Тон и громкость ее речи оказались почти такими же, как у всех, кто ко мне обращался до сих пор. Потом приводили других переводчиков, всего, наверное, человек десять. Сначала у меня теплилась слабая надежда, что кто-нибудь из них заговорит на нашем языке. Но потом я ее оставил, да и начальник стражи, наверное, тоже.

Сколько все это продолжалось, сказать не могу. Однако, когда ушел четвертый переводчик, кто-то из младших стражников, видимо, настроенный ко мне дружелюбно, принес тарелку, выдавленную из железа; на ней лежали вещи, которые после внимательного осмотра показались мне съедобными. Он же сунул мне в руку какой-то инструмент — потом я видел много таких инструментов, но о них позже,— тоже из железа. Он называется Вэй-ка. Здешние люди поступают весьма разумно, не прикасаясь к пище руками, а перенося ее в рот при помощи этого инструмента. Есть мне из-за волнения и страха совсем не хотелось, к тому же лежавшая на тарелке пища вызвала у меня отвращение: это была серая, зернистая каша (отдаленно похожая на рис), на которой лежало несколько кусочков чего-то черного, при ближайшем рассмотрении оказавшегося мясом. Сверху все это было полито чем-то густым и красным. Я сказал себе: ты прибыл в будущее не для того, чтобы испытывать отвращение, а чтобы накапливать опыт и наблюдать. И я немножко поел этой каши. На вкус в ней чувствовалась главным образом соль, к тому же она оказалась слишком горячей. Потом я убедился, что «здесь» все, даже люди образованные, едят пищу обжигающе горячей. Так что инструменты Вэй-ка необходимы им еще и по этой причине: если бы они ели, как мы, они бы обожгли себе все пальцы.

Мясо на вкус отдавало кожей и тоже было слишком горячим.

Я немного поел и, решив, что на этот раз узнал достаточно, сделал одну восьмую поклона — в конце концов, начальник стражи по рангу гораздо ниже меня,— и вернул железную тарелку и инструмент Вэй-ка. Когда я показал жестами, что хочу пить, мне принесли сосуд из стекла, наполненный какой-то неприятной на вид белой жидкостью — коровьим молоком, как я узнал позже. Да-да, они пьют здесь молоко от коровы! Мне сделалось плохо от одного его запаха, и в первый момент я даже подумал, что меня задумали отравить. Покачав головой, большеносый стражник забрал у меня сосуд с молоком и принес другой, в котором было около четверти шэна [1] воды, и я ее выпил. Вода оказалась хорошая.

Когда пришел десятый переводчик, мне показалось, что после долгой ночи с дождем и снегом взошло яркое солнце: у него было обычное человеческое лицо. Ростом он был хотя и выше меня, но все же не так высок, как все остальные. Тем большим было мое разочарование: он тоже не понимал меня. Наверное, он был с Южных островов [2]. Вероятно, там люди не так сильно изменились, как в нашей многострадальной столице? Или где, в таком случае, я нахожусь? Надеюсь, у меня будет возможность это

[1] 1 шэн — около 2 литров.

[2] Вероятно, имеется в виду Индонезия.

выяснить. Однако язык в любом случае неузнаваемо изменился. Даже иероглифов, которые я начертил, он не смог разобрать.

Между тем настал вечер. Меня заперли — да, мой верный и дорогой Цзи-гу, твоего любимого Гао-дая, гуаня четвертого ранга и начальника Палаты поэтов «Двадцать девять поросших мхом скал» заперли в тюремной камере. Но меня это уже не взволновало. Перед этим меня заставили участвовать в каких-то церемониях, видимо, ритуальных. Для начала мои пальцы обмакнули в черную тушь, а потом приложили к бумаге. Возможно, так здесь отгоняют злых духов. Потом меня отвели в комнату, где один стражник долго колдовал с какой-то коробочкой, испускавшей маленькие молнии. Меня при этом усадили на табурет и заставили смотреть сначала вперед, потом налево, а потом направо. И каждый раз из коробочки вылетали молнии, однако со мной ничего не случалось. Наверное, это был обряд очищения. На всякий случай я трижды отвесил волшебной коробочке две трети поклона. Если уж они так суеверны, подумал я, нужно уважать их чувства. В тюремной камере было неуютно, холодно и грязно, и запах там стоял все такой же затхлый. Однако я улегся на одну из стоявших там скамей и прикрылся грубым коричневым одеялом. И заснул — вздохнув перед этим о тебе, мой друг, о своей любимой Сяо-сяо (которая так часто спала рядом со мной), и о подушке из голубого шелка, и о мягком одеяле цвета шафрана, посылавших мне дома такие прекрасные сны. Так что свою первую ночь в этом далеком будущем я провел в тюрьме. Что поделаешь, всякий опыт полезен. Надеюсь, что это останется самым неприятным из ожидающих меня здесь переживаний. Наверное, это даже хорошо, что неприятность произошла в самом начале. Мне по-прежнему кажется, что дальнейшее пребывание здесь подарит мне открытия главным образом добрые и полезные. Хотя иногда я бываю близок к отчаянию в этой туманной дали будущего. Увы, несмотря на ясную погоду, я действительно брожу здесь точно в тумане, не разбирая дороги. Рассеется ли он когда-нибудь?

Письмо это я писал тебе все утро. Вот и господин Ши-ми уже вернулся. Он зовет меня идти с ним. Вероятно, мы опять пойдем есть то, что здесь называют пищей. Потом я пойду к нашему почтовому камню — время уже подходит — и оставлю на нем письмо, чтобы оно вернулось на тысячу лет назад. А возможно, и найду на нем письмо от тебя.

С любовью вспоминаю о нашем прекрасном времени и о тебе, мой любезный Цзи-гу.

Твой Гао-дай

ПИСЬМО ПЯТОЕ

суббота, 24 июля

Дорогой друг Цзи-гу,

я снова сижу в комнате дома господина Шу Ши-ми, хотя это не совсем дом, но об этом позже. Со времени моего последнего письма к тебе прошло два дня. Пока я остановился у господина Ши-ми, да благословит его Небо — воистину он человек в самом высоком понимании слова, хотя по его внешнему виду этого не скажешь. С каждым днем мы понимаем друг друга все лучше. Он отвел мне одну из своих комнат. Хоть это и совсем крохотная комнатка — тебе она показалась бы величиной с лачугу батрака,— в ней я уже немного чувствую себя дома, прежде всего потому, что могу носить свое обычное платье. Выходя на улицу, мне приходится облачаться в ужасные тесные одежды, которые носят местные жители,— они называют их Ко-тунь. Одежда Ко-тунь состоит из множества сложных и неудобных частей. Сначала натягивают тесные белые мешки на ноги и на туловище, потом два черных мешочка на ступни, потом надевают узкие серые штаны и куртку из тонкой материи со множеством пуговиц. Концы этой куртки (ее называют, если я правильно понял, Лю Ба-хуа) засовывают в штаны, а воротник, и без того неудобный, еще затягивают особой лентой, назначение которой мне пока неясно. Лента должна иметь определенную длину и свободно свисать с шеи. Такие ленты носят здесь многие мужчины, и я признаюсь тебе, что пока только благодаря им могу отличать мужчин от женщин, потому что женщины их не носят. Эти ленты бывают разного

цвета. Та, которую господин Ши-ми дал мне, красная. Сам он носит синюю. Завязывают их на шее чрезвычайно сложным способом. У меня пока не получается, и господину Ши-ми приходится помогать мне. Пока я не знаю истинного назначения этих лент, но думаю, что они служат знаками различия рангов. Надеюсь, что красная лента хотя бы в какой-то мере соответствует моему званию мандарина четвертого ранга и начальника Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал». Но что означает синяя лента, которую повязывает господин Ши-ми,— высший ранг, чем мой, или низший? Я чувствую себя неловко оттого, что не знаю здешних рангов и званий, а потому не могу соблюдать правила поведения в общении с разными людьми. И язык я пока знаю слишком плохо, чтобы спрашивать о столь сложных вещах. Не думаю, чтобы у господина Ши-ми был ранг выше моего, потому что на мои поклоны он всегда отвечает совершенно такими же; однако при случае мне бы хотелось это узнать. Надеюсь лишь, что его ранг по сравнению с моим не слишком низок.

И все же он так помог мне и помогать продолжает — теперь я понимаю, как нелегко пришлось бы мне без его помощи,— что, наверное, будь он даже чиновником самого низшего восемнадцатого ранга, в седьмой и последний раз провалившимся на экзамене по стихосложению, я все равно любил и уважал бы его. В таком положении, в каком я очутился, неизбежно напрашивается мысль, что ранг и экзамен не всегда позволяют оценить человека по достоинству.

Но я еще не закончил описания здешней одежды, называемой Ко-тунь. После штанов, тонкой куртки и ленты из материи надевают еще плотную верхнюю куртку. Ноги же засовывают в маленькие шкатулки из возмутительно твердой кожи, снабженные завязками; ходить в них очень трудно. Поверх всего этого иногда — например, когда наступает вечер и становится холодно, а здесь это бывает даже летом,— надевают довольно длинную, тоже серую накидку, которая здесь заменяет плащ. Ощущение в таком полном облачении, как у туго запеленатого ребенка: пошевелиться почти невозможно. От нашей привычки прятать руки в рукава здесь приходится отказаться. Руки люди прячут в особые углубления, устроенные в самых неожиданных местах,— таких углублений на одежде довольно много. Но еще больше на Ко-туне пуговиц: их так много, что делается даже смешно. Целый ряд пуговок расположен прямо на срамной части. Очевидно, это какое-то местное суеверие, связанное с культом плодородия.

В таком виде я и хожу по здешним улицам. Приходится терпеть: ведь я прибыл наблюдать, а не быть предметом всеобщего любопытства. Тем более, что и одетый в Ко-тунь я выгляжу еще слишком необычно.

Прежде чем продолжить описание событий первого дня, хочу поблагодарить тебя за твое доброе, хотя и краткое, письмо. Правда, указанного тобой лана серебра я не нашел — вероятно, только бумага способна безболезненно преодолеть расстояние в тысячу лет. Так что в будущем тебе, видимо (странно, что, обращаясь к прошлому, я еще могу упоминать о «будущем»)... И потом, я пока не нуждаюсь в деньгах. Я отдал господину Ши-ми всего один из пятидесяти бывших при мне ланов серебра, и он обменял его на местные деньги (я полностью ему доверяю). На эти деньги он и купил для меня одежду Ко-тунь и целую кучу других вещей и потом показал жестами — если я правильно истолковал их,— что денег осталось еще много. Единственное, что мне действительно нужно, это наша бумага, способная перенести путешествие длиной в тысячу лет, потому что письма выходят довольно длинными, и мои запасы уже заканчиваются. Так что в следующий раз пошли мне, если сможешь, кипу чистой бумаги.

В остальном же я рад, что моя дорогая Сяо-сяо жива и здорова. Мне было приятно узнать, что она обо мне скучает. С какой бы радостью я взял ее с собой в это путешествие; но для нее лучше все же было остаться дома. Это будущее «здесь» могло бы оказаться для нее губительным.

Но продолжу мое повествование. Я проснулся в своей тюремной камере оттого, что некий сердитый, хотя и не умышлявший зла, великан отворил дверь и подал мне завтрак на жалком, до неприличия безвкусно

сделанном подносе. Попробовав немного темно-коричневой массы, состоявшей, по всей видимости, из плохо пропеченного и пересоленного теста (к жидкости в непрозрачном сосуде, страшно горячей и издававшей незнакомый запах, я из опасения за свою жизнь даже не притронулся), я вернул поднос тюремщику. Он погремел ключами, очевидно, давая мне знак; я оделся и последовал за ним. Он долго вел меня по шумным, грязным и пахнущим все той же затхлостью коридорам, долго находиться в которых ни я, ни ты не смогли бы. Однако здешние люди, кажется, не обращают внимания на этот запах. О запахах в здешнем мире вообще можно было бы написать целую главу. Даже господин Ши-ми, по-моему, никогда не слышал о благовонных курениях. Меня ввели в довольно просторную комнату. Там сидел человек — да, настоящий человек, хотя и походивший лицом на здешних великанов. Но глаза у него были иные. Я сразу подумал и, наверное, не ошибся, что это — здешний судья и мандарин высокого ранга. Вначале, когда меня еще только ввели, вид у него был такой же недоуменный, как и у всех прочих. Но что я мог поделать? Если бы перед нами, в наше славное время, освященное правлением всемилостивейшего и высокочтимейшего Сына Неба, предстал человек, прибывший, скажем, из эпохи династии Шан [1], он вряд ли бы показался нам более странным и необычным, чем приезжий из далеких западных провинций, где говорят на своем языке и соблюдают незнакомые нам обычаи. Так и я для здешних жителей оказался странен и непривычен, как какое-нибудь чужеземное животное или скорее даже как редкостный минерал. Но мы хотя бы знаем о тех императорах и поэтах, которые были за много лет до нас. А здесь никто ничего не знает. Эти люди не только не знают своего прошлого, но, кажется, не подозревают даже, что у них е с т ь прошлое. Не понимаю, как могла между нами и ими за какую-то тысячу лет возникнуть подобная пропасть. Или, может быть, они действительно принадлежат к иной расе — расе чужеземцев, завоевателей, изгнавших или уничтоживших наш народ? Или это мы с тобой ошиблись в расчетах, и я вместо тысячи лет переместился на десять тысяч? Во всяком случае, это предположение объясняло бы хоть что-то.

Счастливее ли чувствуют себя эти люди без прошлого или, наоборот, несчастнее, мне еще предстоит выяснить. Знание прошлого, конечно, тоже может быть в тягость. Просто мне трудно представить себе народ, живущий лишь сегодняшним днем и не помнящий имен предков. Итак, судья или придворный чиновник, к которому меня привели, тоже попытался поговорить со мной — и тоже безрезультатно. Я несколько раз указал на себя, сопровождая жесты легким поклоном в три восьмых — мне показалось, что ранг у него никак не выше двенадцатого,— и произнес свое имя, медленно и разборчиво: «Гао-дай». Он понял, улыбнулся и записал мое имя на бумаге, лежавшей перед ним. (Пишут они совершенно непонятными значками, к тому же странным образом не вдоль листа, а поперек, слева направо.) Однако потом, к моему величайшему разочарованию, он велел отвести меня обратно в тюремную камеру. Если до сих пор среди моих чувств преобладало любопытство, то теперь оно сменилось отчаянием. Вряд ли хоть один человек на свете когда-либо чувствовал себя таким одиноким, как я. Заброшенный куда-то за тысячу, а то и за десять тысяч лет от своего времени, беспомощный в этом неописуемом сумбуре! Смогу ли я когда-нибудь найти место перемещения? Без чужой помощи — вряд ли. Ведь я не знал даже, на какое расстояние от него увезла меня повозка Ма-шин... Кто скажет, больше ли оно десяти тысяч или меньше? Ведь я был без сознания. Нет, думал я тогда, мне никогда больше не найти точку перемещения, эту единственную ниточку, связывающую меня с давно ушедшей в прошлое родиной. Правда, до возвращения оставалось еще восемь месяцев, но как я отыщу туда дорогу — один, без чьей-либо помощи, в этом сумбурном, не понимающем меня мире сероликих, большеносых крабов? Отчаяние мое было безгранично. Я уже представлял себе, как, выпущенный

---

[1] Династия Шан, называемая также Инь: ок. 1700—1066 гг. до н. э.

из тюрьмы, брожу по этому неуютному миру в поисках нашего моста... И не успеваю найти его к назначенному времени... И навсегда остаюсь здесь, в непроницаемом тумане, навеки отрезанный от родины, ото всех, и от тебя, мой друг, и от детей, и от любимой моей Сяо-сяо... Умерших тысячу лет назад, так что даже — прости меня! — не только костей, но и памяти от них не осталось.

Так сидел я, совершенно потерянный, будто на узком мостике без перил, натянутом через пропасть, и вспоминал в тюремной камере стихи великого Линь Цун-юаня, которых здешние жители, конечно, уже не помнят:

Весна, ты идешь на север
И скоро прибудешь в Цинь —
Возьми мои сны с собою.
Оставь там, в старом саду,
Мой сон, что я снова дома.

Но человеческое сердце способно выдержать многое. Проспал я часа два, возможно, три; затем дверь открылась, и в камеру, к моему изумлению, вошел тот самый судья и мандарин. Он запомнил мое имя и назвал его.— Хэ Гао-дай! — сказал он. Так принято здесь обращаться к особам высокого ранга. Поэтому я вновь отвесил ему три восьмых поклона и произнес:

— О добрейший, ниспосланный мне Небом Хэ Судья и Мандарин! Я, ничтожный червь, сердечно благодарю тебя за столь уважительное ко мне обращение. Да благословит Небо твоих предков, среди которых, возможно, нахожусь и я!

Конечно, он не понял этих слов, но, видимо, уловил смысл моей речи и легонько похлопал меня рукой по плечу — вероятно, совершив надо мной таким образом обряд очищения. Я снова поклонился, и он указал мне рукой на открытую дверь. И я понял, что свободен.

На этом я закончу свое сегодняшнее письмо. Чувствую, что настоящие мои приключения только начинаются. Господин Ши-ми стоит и ждет меня еще с тех пор, как я написал строки стихотворения. Он знает, что сегодня мне снова нужно нести письмо на почтовый камень. Господин Ши-ми очень внимателен ко мне и, по-моему, догадывается, что произошло со мной на самом деле.

До сих пор я пока не выходил из дому один. Господин Ши-ми всегда сопровождал меня, потому что я пока не смог избавиться от страха перед повозками Ма-шин, а отсюда до моста все-таки целых три ли. Хотя заблудиться мне уже не грозит. Так что за свое возвращение я спокоен.

Прими же мой привет, любезный Цзи-гу, и напиши мне большое, подробное письмо, как только сможешь.

Твой Гао-дай

[ПИСЬМО ШЕСТОЕ]
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

суббота, 31 июля

Любезный Цзи-гу,
меня бесконечно обрадовало твое письмо, наконец-то оказавшееся достаточно полным и подробным — весточка с далекой родины, из невероятной дали времен. Твои дружеские строки, даже сами знакомые иероглифы несказанно согрели и ободрили мое сердце, хотя я и здесь уже с каждым днем чувствую себя все более как дома. А то, что моя дражайшая вторая жена, подобно глупому крокодилу, то и дело набрасывается на наложниц, пусть тебя не волнует: это ее обычное поведение. Если они вздумают спрашивать, куда я делся, отвечай, что их это не касается. А вот болезнь жеребенка меня действительно беспокоит. Ты посоветуй им пригласить доктора Ма-кана из Тайюаня. Из ветеринаров его считают лучшим. И пусть ему заплатят столько, сколько потребуется, я за ценой не постою.

Кипу почтовой бумаги я получил в целости и сохранности.

Господин Ши-ми, доброта которого настолько безгранична, что я не нахожу слов для выражения благодарности — воистину счастливейший случай свел меня с ним в этом сумбурном мире! — уже в течение целой недели ежедневно и усиленно занимается со мной здешним языком. Хотя мне, когда я, будем надеяться, благополучно вернусь в наше родное время, вряд ли когда-нибудь пригодится этот варварский язык далекого будущего, я понимаю, что тут мне без него никак не обойтись, если я в самом деле хочу увидеть и познать эту жизнь, а не просто плыть по течению, точно глупая, немая и ленивая рыба, вглядывающаяся в окружающий ее мир только затем, чтобы успеть избежать возможных напастей. Мы занимаемся по два часа в день — час утром, час вечером. Господин Ши-ми отдает этим занятиям все силы, проявляя поистине бесконечное терпение. Утешает меня лишь то, что наши занятия приносят пользу и ему, ибо он волей-неволей выучивает слова нашего языка, так что учимся мы оба.

Начали мы с самых простых понятий. Это было вечером того дня, когда я написал тебе третье письмо. Жестами он пригласил меня в самую большую из своих комнат. (По-моему, это его кабинет: я иногда вижу, как он сидит там за большим деревянным столом и что-то пишет слева направо.) Я сразу понял, в чем дело: господин Ши-ми прошелся несколько раз по комнате, показал на себя и произнес: «я иду». Затем велел мне ходить и назвал это «ты идешь». Я же повторял за ним и говорил, как это называется по-нашему. Потом он взял меня за руку, мы сделали с ним несколько шагов, и это называлось «мы идем», после чего подошли к окну (у меня снова закружилась голова, но я собрался с силами и преодолел тошноту); он указал на прохожего и сказал: «он идет», и так далее. Так мы, начав с простейших вещей, потихоньку продвигались вперед. Думаю, что тебе уже все ясно, поэтому в подробности вдаваться не буду. Господин Ши-ми показывает на различные предметы и называет их. Я повторяю эти названия, записываю их, как могу, иероглифами, а в свободное время учу наизусть. Писать здешними знаками господин Ши-ми меня тоже учит (а я учу его иероглифам). Все это очень трудно, потому что их язык, как я теперь вижу, даже в основах своих совершенно отличен от нашего. Трудно поверить, что он действительно восходит к нашему языку. Видимо, за ту тысячу лет, которую я преодолел с твоей помощью, чужеземцы действительно покорили нашу страну и постепенно вытеснили наших потомков. Или мы с тобой, правильно выбрав время, все-таки ошиблись местом? Если наши занятия с господином Ши-ми и дальше будут идти столь же успешно, я скоро смогу спросить его об этом. Мне уже известны некоторые отвлеченные понятия: «светло» и «темно», «холодно» и «тепло» и так далее. Известно, что чем больше знаешь, тем легче заниматься и узнавать новое.

Господин Ши-ми тоже делает успехи, хотя и для него наш язык необычайно труден. Но он также очень старается и проявляет большой интерес. Ему-то от этого больше пользы, чем мне, потому что я, вернувшись, нигде не смогу применить его язык, а он сумеет прочесть книги, оставленные нами,— если они, конечно, сохранятся, и одна из них случайно попадет ему в руки.

Вчера господин Ши-ми предположил, что мне, вероятно, уже много лет. Я подтвердил это. Тогда он улыбнулся и сказал, что догадался об этом по тому лану серебра, который он получил от меня в самом начале: ему, сказал он, тысяча лет. Я уже писал тебе, что он догадывается.

Здешние понятия «светло» и «темно» заслуживают особого упоминания. Тут тоже трудно поверить, что дело обходится без волшебства. Свечей они не держат. Когда темнеет, в комнатах внезапно зажигается свет; как это получается, я пока не знаю. Они нажимают на маленькую белую пуговку, устроенную где-нибудь в стене, и в тот же миг становится светло — не от пуговки, а вообще в комнате. И свет этот гораздо ярче, чем от целой сотни свечей. И это умеет не только мудрый господин Ши-ми, но и судья, и вообще все умеют это: и стражники в тюрьме, и люди, продающие масло в лавках, и другие люди, живущие в нашем доме. Я теперь тоже умею: после некоторого колебания я несколько дней назад все же решился попробовать,

нажал кнопку — и свет зажегся, и со мной ничего не случилось. Так что это, наверное, все-таки не волшебство, ибо, как говорил достойный Кун-цзы, в мире нет вещей, которым нельзя было бы найти естественного объяснения. Свет льется из светильников разной формы, делаемых когда из стекла, а когда из бумаги или иных материалов, в том числе из ткани или дерева. Такие светильники имеются даже на улицах: они подвешены на больших шестах, и их сотни. Так что люди здесь вообще не знают, что такое настоящая темнота — как, впрочем, и что такое настоящая тишина. Гасят светильники таким же образом, нажимая пуговку. Бывают и совсем маленькие светильники, загорающиеся не от пуговки, а от особого свисающего шнурка. Такой светильник висит над моей постелью. Иногда я чувствую себя совсем здешним жителем: я ложусь в постель, укрываюсь одеялом, затем дергаю за шнурок — и становится темно. Однако, увы, не совсем: уличные светильники, горящие всю ночь напролет, светят в мое слишком большое окно, и их свет проникает даже сквозь шторы. Вначале я совсем не мог спать, но теперь привык.

Все-таки хорошо, что мы с тобой образованные люди и живем в просвещенном обществе. Если бы в такое путешествие отправился невежда или человек древности, он бы здесь, в будущем, считал, что окружен одними демонами, и все вокруг казалось бы ему волшебством. Но мы, к счастью, знаем — хотя по некоторым религиозным и политическим причинам не всегда говорим об этом,— что демоны на деле встречаются гораздо реже, чем полагает простой народ, и что большинство чудес имеет, как уже говорилось, вполне естественное объяснение. И мне кажется, что люди, жившие в течение этой тысячи лет, посвятили много времени исследованию чудес и научились использовать многие из них себе во благо. Это уже немалое достижение, за которое им можно было бы простить и кое-какие их варварские огрехи... Но можно ли простить шум и грязь? В этом я пока не уверен.

И все же люди будущего тоже верят в демонов, хотя и в иных — так сказать, более глубоких и тайных, скрытых за сущностью вещей; в этом я убедился. В них верит даже господин Ши-ми. Он постоянно приносит жертвы. Это огненные жертвы в виде небольших белых трубочек, которые он засовывает себе в рот и — не пугайся! — поджигает... Совсем как глотатели огня. Но трубочки на самом деле не горят, они только тлеют, чадят и довольно сильно воняют. Я долго наблюдал за этим ритуалом, однако так и не смог проникнуть в его истинный смысл. (Эти трубочки — или, возможно, тот демон, которого ими ублажают,— называются, если я правильно понял, «Си Га-ли».) По всем признакам это настоящее священнодействие. Ритуал сложный, но господин Ши-ми совершает эти головоломные действия с точностью и смирением истинного подвижника. Он держит трубочку во рту, пока та не догорит почти до самых губ, сделавшись меньше фаланги пальца. Тогда, видимо, заклятие спадет, потому что остаток трубочки он выбрасывает довольно бесцеремонно. Такие жертвы господин Ши-ми (я специально наблюдал) приносит примерно каждые полчаса. И до сих пор не пропустил ни разу. Он постоянно носит с собой целую связку таких палочек, и в его жилище хранится еще большой их запас.

Я спросил, для чего он приносит эти жертвы. Он и сам, судя по всему, стыдится своего суеверия. Хоть он и засмеялся, но видно было, что вопрос его смутил.

— Сам не знаю,— сказал он.— Никак не могу отвыкнуть.

Он предложил и мне такую трубочку, чтобы принести жертву. Я, как человек образованный, конечно, отказался. — И слава Богу,— обрадовался господин Ши-ми.

Иногда — с какими промежутками, я пока еще не выяснил,— господин Ши-ми приносит большую жертву. Для нее он берет другие, гораздо более толстые трубочки, не белого, а коричневого цвета. Они тлеют очень долго, полчаса или больше, зато пахнут гораздо лучше. Я пока не знаю, что это — жертва другому демону или просто торжественная жертва тому же демону «Си Га-ли».

Вообще это суеверие здесь, судя по всему, довольно распространено, поскольку я на лестнице и даже на улицах нередко вижу людей, приносящих подобные жертвы. На улицах же можно увидеть большие, довольно безвкусно выполненные изображения человеческих голов, во рту у которых находятся такие же ритуальные трубочки. Думаю, что не слишком ошибусь, если предположу, что эти изображения — идолы указанного демона, своего рода маленькие храмы. Вначале я совершал перед каждым из них поклоны в три восьмых — вовсе не потому, что боялся этих демонов или сверкающих зубов, а потому что, как человек воспитанный, хотел почтить местный культ. Однако поскольку никто из виденных мною великанов ни разу не совершил какого-либо обряда перед этими изображениями, я подумал, что мне тоже не стоит кланяться перед ними. Ведь я не обязан почитать местных демонов более, чем это делают сами местные жители.

Расскажу тебе и об одном досадном событии, случившемся со мною. Ведь мы с тобой, мой любезный Цзи-гу, старые друзья, так что мне незачем скрывать от тебя вещи, пусть даже не совсем приличные. Ты, вероятно, уже догадываешься, о чем я говорю; однако в конце концов мое путешествие в это отдаленное время имеет хотя и тайную, но тем не менее строго научную цель, а тот, кто желает служить науке и вообще познанию, ничего скрывать не должен. Нашему бренному и далеко не совершенному телу свойственны некоторые отправления, от которых принято воротить нос как в переносном, так и в прямом смысле слова. Остальное тебе ясно. В тюремной камере у меня стояла кадка, в назначении которой сомневаться не приходилось. Но в первые дни я страдал запором, моим старым недугом, возобновившимся, очевидно, из-за перенесенных волнений. Поэтому опорожняться мне не нужно было. Малую же нужду я справлял по дороге к почтовому камню или при иных подобных обстоятельствах. Однако в мирном жилище господина Ши-ми мой кишечник вспомнил о своих обязанностях, и эта проблема возникла передо мной с новой и, честно скажу, непреодолимой силой...

Мне ни разу не представилось возможности увидеть, где и как решает эту проблему господин Ши-ми [1]. Когда же решать ее пришлось мне самому, дома его не было. Я впал в отчаяние и принялся ходить по комнатам со все возрастающим нетерпением. И волей-неволей пришел к выводу, что здешние люди занимаются этими малоприятными делами вне дома. Я вышел на лестницу. При этом у меня, конечно, уже не оставалось времени, чтобы облачиться в Ко-тунь. А там опять была эта дама (о том, что это именно дама, я могу говорить с уверенностью, ибо уже неоднократно видел ее с красным зонтиком), которой, судя по всему, принадлежит наша лестница, а возможно, и весь дом — потому что я часто заставал ее за выполнением какого-то сложного, очевидно религиозного ритуала, при котором она опускается на колени и умащает ступени лестницы особой жидкостью, протирая их куском ткани,— тем более, что и кричит она гораздо громче, чем остальные обитатели дома, и дети ее боятся. Так вот, эта дама снова была на лестнице. Взгляд ее выразил откровенное недоумение, так как одет я был не в Ко-тунь, а в свое обычное платье. К счастью, у меня был с собой зонтик, который я, видя, что идти придется без Ко-туня, захватил с собой, так сказать, в знак того, что я в своем уме. Со всех ног побежал я от этой дамы по лестнице наверх. Я знал, что там, на самом верху, никто не живет. Там-то я и пристроился в уголке, прикрывшись зонтиком...

С тех пор я так поступал все время. И думал, что все в порядке. Правда, господин Ши-ми выказывал заметное удивление, когда видел, как я куда-то ухожу ненадолго и обязательно беру зонтик, даже если дождя на улице нет; но мы еще не настолько продвинулись в занятиях языком, чтобы беседовать о вещах, которые не называют их собственными грубыми именами, а описывают иносказательно.

Однако в один прекрасный день там, наверху, как раз когда я сидел за зонтиком, появилась эта дама.

[1] Здесь Гао-дай воспользовался китайским эвфемизмом «где и как он меняет свое платье».

Она принялась негодовать, причем очень громко.

Потом она бросилась вниз, к господину Ши-ми, и громко и долго выражала свое негодование ему. И здесь я вновь желаю от всей души воздать хвалу моему новому другу. Он защищал меня. Пока дама издавала вопли, подобные рыку тигров или леопардов и вполне сравнимые с громом небесным, пока указывала руками наверх и хватала ими господина Ши-ми, желая отвести его туда, мой добрый господин Ши-ми, у которого были все причины гневаться, кивнул мне и незаметно указал на дверь своего жилища, куда я и проскользнул за его спиной. Дама же, ослепленная собственным гневом, этого не заметила. Затем господин Ши-ми передал даме небольшую зеленую бумажку, после чего ее крик стал тише, зато речь полилась быстрее. Но только после второй бумажки она умолкла и отправилась наверх одна.

Господин Ши-ми запер дверь. Признаюсь, я ощущал себя виноватым, точно ученик, совершивший оплошность, сам не ведающий какую. Но господин Ши-ми — как согрел он этим мое сердце! — улыбнулся. Он отвел меня в самую маленькую комнату своего жилища (ту самую, назначение которой мне до тех пор оставалось неясным) и показал находившийся там родник, как бы вделанный в вазу из фарфора. Сходив на кухню, он принес оттуда горку кожуры от апельсина, съеденного им незадолго до того, и бросил ее в родник. Затем потянул за тоненькую цепочку, и мне на миг даже сделалось страшно, ибо раздался довольно сильный шум, и мощный поток воды подхватил и унес эту кожуру.

Вот так и я узнал, как люди здесь избавляются от того, что время от времени отягчает их тело. Единственное, чего я еще не знаю: к у д а течет этот родник? Отсюда он течет вниз, это ясно. Я рассмотрел все устройство довольно внимательно... По всем человеческим понятиям вода и то, что она уносит, должны выливаться в комнаты людей, живущих под нами. Вскоре я смогу спросить об этом у господина Ши-ми. В домах здешних жителей все вызывает изумление, начиная от самых возвышенных предметов и кончая самыми низменными. Но и тут, как всегда, нужно слушаться самих предметов, если желаешь познать их назначение или проникнуть в их тайну.

Однако упомянутой даме я по возможности стараюсь больше на глаза не попадаться. К счастью, ее легко отличить от других, ибо она так толста, что руки у нее торчат в стороны, словно плавники. Зовут ее Вон-ни Чи-ха.

А сейчас мне уже пора идти к почтовому камню. Сегодня я впервые пойду к нему один. Теперь я больше не боюсь ходить туда в одиночку. На этом заканчиваю письмо и сердечно приветствую тебя —

твой Гао-дай

[ПИСЬМО ВОСЬМОЕ]

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

четверг, 12 августа

Мой дорогой, далекий друг Цзи-гу!

Луна сегодня вновь на ущербе, как и в тот день, когда я прибыл сюда. Прошло много дней с тех пор, как я писал тебе в последний раз. Надеюсь, что ты не слишком за меня волновался. У меня все хорошо — в той мере, в какой это позволяют обстоятельства. Дождь, казавшийся бесконечным, наконец прекратился. Однако настоящего лета в краю большеносых, видимо, так и не бывает, хотя стоит солнцу посветить дня два, как они с совершеннейшим бесстыдством раздеваются донага и укладываются загорать на всех лужайках. Но об этом позже.

Опять не знаю, как и с чего начать. Нового и непривычного все еще т а к много, что луне, вероятно, придется смениться еще не раз, прежде чем я смогу освоиться здесь по-настоящему.

Прочитав мое последнее письмо, восьмое (оно получилось больше, чем все до сих пор полученные мной твои письма, вместе взятые), ты наверняка скажешь, что эта история с бумажными деньгами для нас не так уж и нова.

Верно. Наши отцы еще помнят, как в злосчастные времена Пяти

династий эта бумажная чума распространилась и в Поднебесной. Но великий Сын Неба Тай-цзу, основатель династии Сун — да властвует она вечно! — державный отец нашего могущественного императора, вступив на престол, положил конец и этому злоупотреблению.

Вот мной и овладевает сомнение: не повредят ли открытия, сделанные мной в путешествии и по большей части уже изложенные в письмах, людям нашего времени, если мы опрометчиво поделимся ими со всеми?

Не заключит ли из моих писем наш министр финансов Гуан Дай-фан, этот жалкий шестипалый, которого я и без того не могу называть иначе, как бездарным мошенником, что и в отдаленном будущем бумажные деньги будут играть важнейшую роль? И не побежит ли он тут же к всемилостивейшему Сыну Неба, признанному мастеру в разведении пекинских собачек и непревзойденному знатоку обхождения с прекрасным полом, но, при всем моем к нему уважении, полному профану в вопросах финансов, чтобы потребовать немедленно введения бумажных денег? Тогда будет довольно и двух неурожайных лет, чтобы стоимость этих денег упала ниже цены бумаги, из которой их делают.

Не лучше ли будет, сколь это ни тяжко, все же сохранить наши открытия в тайне? Ты можешь возразить, что мы обязаны, по крайней мере, доложить о них императору, представив ему отчет о моем путешествии, пусть даже, с учетом его скромных литературных познаний, достаточно простой и краткий. Но и тут у меня возникают сомнения. Выше, когда я писал о династии Сун: «да властвует она вечно!», кисть моя дрогнула, но я все же вывел эти слова, решив потом к ним вернуться,— и вот я к ним возвращаюсь. Увы, теперь я знаю, что славнейшая и достойнейшая династия Сун не будет властвовать вечно. Здесь, в будущем, всего тысячу лет спустя — слово «всего» я употребляю здесь по отношению к вечности,— никто давно и не помнит о ее существовании, и даже столь образованному человеку, как господин Ши-ми, имена наших императоров не говорят почти ничего, а ведь он сам учитель, как сообщил мне недавно. У них тут, по-видимому, вообще нет императора, не говоря уже о династии Сун. Разве можно написать такое в отчете, который мы собираемся представить Сыну Неба? А если мы умолчим, то это будет первое, о чем Его Величество сочтет нужным осведомиться. И что тогда делать? Ответ может стоить нам головы, а голова у каждого из нас всего одна.

Вот почему я все более склоняюсь к тому, чтобы вообще не сообщать никому о моем путешествии. Наверное, в мире все-таки не зря устроено так, чтобы люди ничего не знали о своем будущем.

Тем не менее именно вопрос о будущем нашей достославной династии Сун заставил меня обратиться к некоторым проблемам, решение которых хотя бы отчасти пролило свет на тайны здешнего мира. Так, господин Ши-ми сообщил, что последняя правившая у них династия называлась Ви Тэн-ба — она окончилась с уже упоминавшимся Лю Дэ-ви, третьим этого имени, который был необычайно толст. О династии, которая называлась бы Сун, господин Ши-ми не мог сказать ничего. Затем мы заговорили о географии, и я с удивлением обнаружил, что Великое Море находится для господина Ши-ми не на востоке, а на западе. Как это может быть? Неужели оно переместилось? Приведу тебе вкратце наш разговор.

Он: Нет-нет, дражайший Гао-дай, море на западе, далеко на западе.

Я: Но куда же, любезнейший Ши-ми, в таком случае течет река? Неужели в горы? Разве вода может течь вверх?

Он (*со смехом*): О нет, великая река — ее называют Ду Най — течет на восток. Она, конечно, тоже впадает в море, но это очень маленькое море. Другая река, И Цзя, на которой стоит Минхэнь, долго петляет, однако в конце концов впадает в тот же Ду Най. Великое же Море находится на западе, там, где заходит солнце. Поверь мне, о ученейший и достопочтеннейший Гао-дай, я сам бывал в тех краях.

Тогда-то мои давно возникшие подозрения и превратились в уверенность. Было это около десяти дней назад, возможно, еще в тот день, когда мы с господином Ши-ми поехали в магазин и купили Нань Ло. Прошло еще

несколько дней, и в квартире господина Ши-ми я сделал удивительное открытие. Я получил от него разрешение пользоваться всем, что только есть в доме. У него, сказал он, нет от меня секретов. И я воспользовался его разрешением — не столько из личного любопытства, сколько из необходимости познать этот мир как можно лучше. Кстати замечу, что искусство книгопечатания у большеносых сохранилось. Они покрывают бумагу своими странными значками с обеих сторон, а бумага у них толстая и грубая. К тому же они приделывают к книгам толстые крышки, так что те становятся тяжелыми, как свинец.

В некоторых из этих книг (читать их по-настоящему я, конечно, еще не умею) имеются картинки. Поэтому я, когда мне бывает скучно, а господина Ши-ми нет дома, с удовольствием их рассматриваю. Книг у господина Ши-ми, вероятно, около тысячи. Картинки располагаются не сверху, над текстом, как обычно, а в самых разных местах. Одна из книг называется как-то вроде «Похождения двух злых юношей», и картинок в ней очень много; юношей зовут Ма'с и Мо Ли'с, и они крадут у одной вдовы кур. Господин Ши-ми находит эту книгу очень смешной, мне же ее содержание с точки зрения нравственности показалось ужасным. Не знаю, почему господин Ши-ми выбрал именно ее, чтобы учить меня местным иероглифам. Написана она стихами, но стихи эти совсем не соответствуют нашим представлениям о законах стихосложения. Начинается книга примерно так:

Благородному человеку горько видеть
Столько зла в молодом поколении —
Взять, например, проделки двух юношей
По имени Ма'с и Мо Ли'с,
Насмехавшихся над советами
Мудрецов и воинов древности...

Имя автора книги о злых юношах — Ви Гэй-бу, но я лучше расскажу тебе о другой книге. Ты вряд ли сумеешь даже вообразить, какая книга попала здесь мне в руки. Она и в самом деле упала мне прямо в руки, когда я пытался вытащить другую, стоявшую рядом,— я чуть не уронил, но все-таки подхватил ее, и тут будто солнце согрело меня после семидневного дождя, и мне показалось, что я снова дома. Представь себе: на книге, которую я по своей, пусть и невольной, небрежности чуть не бросил на пол, сияли два иероглифа, два знака нашего с тобой родного языка — именно сияли, хотя и были напечатаны черным. К тому же обозначали они не что-нибудь, а божественное имя И Цзин. Да-да, ты не ошибся, это была наша великая «Книга перемен». Конечно, в переводе на местный язык, так что наши прекрасные иероглифы были воспроизведены на обложке, так сказать, только украшения ради. Значит, мир все-таки не погиб окончательно? И в мире большеносых есть хотя бы одна книга, пусть даже такая небольшая, которая связывает этот мир с нашим, с нами самими и тем, во что мы верим?

Эту книгу я показал господину Ши-ми сразу же, как только услышал, что он вернулся. Да, мой друг, признаюсь тебе: я был настолько взволнован, что схватил книгу и бегом побежал в прихожую, где господин Ши-ми еще не успел даже снять свою промокшую накидку и не менее промокшие шкатулки для ног (Бо Тинь-ки). Он улыбнулся, снял мокрое и поставил зонтик в угол. Затем провел меня, крепко державшего драгоценную книгу, в свой кабинет, ставший для нас обоих как бы главной гостиной, принес одну из своих маленьких огненных жертв и сказал: его не удивляет, что я узнал эту книгу. Он просто забыл, что среди множества принадлежавших ему книг имеется и эта, иначе он давно бы достал и показал ее мне.

Наша беседа — к счастью, я настолько овладел местным языком, что в состоянии понимать уже довольно сложные высказывания господина Ши-ми; сам же господин Ши-ми оставил попытки научиться с моей помощью нашему языку, потому что язык слишком труден, да и потом, где он сможет его применить? Я не мог с этим не согласиться, ибо попасть в наш мир ему не удастся, а здесь эти знания, пожалуй, действительно излишни,—

так вот, наша беседа, завязавшаяся после этого, затянулась далеко за полночь. Мы ничего не ели и не пили, лишь господин Ши-ми то и дело приносил свои огненные жертвы, сначала маленькие, а под конец даже одну большую из тех, которые он возжигает только по праздникам. (Я по-прежнему называю их огненными жертвами, хотя теперь знаю, что это не священнодействие, а своего рода привычка глотать дым, вроде привычки к вину, среди большеносых весьма распространенная, хотя воздуха она, конечно, не улучшает. Но название все же кажется мне подходящим, потому что большеносые действительно следуют этой привычке как ритуалу. Тем более, что я и сам теперь иногда доставляю себе это удовольствие — правда, только в отношении благоуханных больших.) Пересказать все, о чем мы тогда говорили, невозможно. Для этого нужно было бы написать целую книгу. Однако должен сказать, что мне все-таки пришлось посвятить господина Ши-ми в тайну моего путешествия, о которой он до сих пор лишь догадывался. Он сказал, что никогда бы не поверил в это, если бы я не сидел сейчас перед ним и если бы не виденные им доказательства, то есть мои ланы серебра, которые здесь все считают реликвиями глубокой древности. Вообще же его философия, добавил он,— а это не какое-либо общепринятое учение, а всего лишь его собственный взгляд на вещи, сумма многолетних размышлений,— его философия позволяет ему верить, что на свете в с е бывает. Потом он обнял меня и предположил, что я, наверное, чувствую себя здесь очень одиноким и что этот мир, его мир, кажется мне холодным и враждебным. Нет ли у меня ощущения, что этот его мир делает все, чтобы исторгнуть из себя древнего мандарина Гао-дая как какое-то инородное тело? Да, признался я, у меня есть такое ощущение. Он снова обнял меня, заверив, что рад предоставить мне убежище хотя бы у себя в квартире. Я тоже обнял его с благодарностью, сказав, что он не должен слишком обо мне беспокоиться: человеку, во всех своих помыслах руководствующемуся учением великого Кун-цзы, нетрудно управлять своими чувствами, к тому же моя любознательность и научный интерес значительно превосходят все мои страхи.

Он еще несколько раз повторил, что готов оказать мне любую помощь, а потом умолк, посмотрел на меня долгим взглядом и, попросив не обижаться, сказал, что мою историю ему еще надо переварить, а пока я кажусь ему чем-то вроде призрака. Я рассмеялся, сделал двойной поклон (каким до сих пор приветствовал только лиц рангом не ниже вице-канцлера или наложницы самого императора) и ответил, что вполне его понимаю, ибо и мне его мир представляется скорее призрачным, чем реальным. Но главным в нашей беседе для меня было то, что она подтвердила мое давнее предположение: я убедился, что и в самом деле нахожусь не в нашем славном Кайфыне и даже вообще не в Поднебесной империи. Город Минхэнь не принадлежит к Срединному царству (и никогда к нему не принадлежал), а расположен совсем в других краях. Так что земля у меня под ногами отнюдь не та, что у тебя, мой милый Цзи-гу. Я живу в другой части света. Да-да, ты не ошибся: это — другая часть света. Для господина Ши-ми и его соотечественников наша родина — не только иная эпоха, но и совсем иная страна. И называют они эту страну, нашу великую империю, «Ки Тай». Узнать, откуда произошло это название и что сталось с Поднебесной, мне пока не удалось. Я спросил господина Ши-ми, не могли бы мы с ним туда поехать. Он рассмеялся и сказал, что это слишком далеко и, кроме того, связано с непреодолимыми затруднениями. А как же называется его страна, спросил я, столица которой — Минхэнь? Оказалось, что она называется Ба Вай; страна эта по сравнению со Срединным царством очень невелика и не имеет столь древней истории.

Что же еще предстоит мне узнать в этом странном мире, мой дорогой и самый близкий друг Цзи-гу? Не знаю. Но, как я уже сказал, любознательность и научный интерес превосходят мои страхи и опасения. Кстати, я рассказал господину Ши-ми о тебе, и он просил передать тебе привет. Но прежде всего прими самый сердечный привет от своего —

вдвойне далекого! — *друга Гао-дая*

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

четверг, 19 августа

Дорогой Цзи-гу,
узнав, что от родины меня отделяют не только тысяча лет, но и многие тысячи ли (сколько именно, господин Ши-ми вычислил, но я забыл цифру — да и много ли проку в цифрах!), я уже почти не огорчился, и печалит меня лишь одно: то, что моя зеленоглазая Сяо-сяо еще дальше от меня, чем я думал. Вероятно, ты хотел утешить меня, описывая, как лежит она, грустная, на диване в комнате с занавесями, изображающими ветки цветущей бузины, время от времени устремляя взор к окну — и лишь изредка, пишешь ты, позволяет своему гибкому телу совершить легкое движение,— когда заметит, что на дерево в саду села птичка. Разве меня может утешить известие, что о н а грустит? Хотя, очевидно, может — я все-таки порядочный эгоист, ибо и в самом деле чувствую утешение. Пиши мне о ней больше, передай ей, что я люблю ее так, как способен любить человек моих лет, не впадающий в безумие от страсти, а умеющий ценить прекрасное. Но это чувство — любовь, умеющую ценить,— возможно и испытывать лишь к таким созданиям, как Сяо-сяо: ко всем моим женам и наложницам меня влекли только желание и похоть (да и то в лучшем случае). Нет, подлинная любовь есть умение ценить, а так любить я могу одну Сяо-сяо. Пиши, пиши мне еще, как она грустит, и пусть она грустит обо мне, потому что это — тоже любовь. Кроме того, я знаю, что даже в печали, приняв невыразимо грустную позу на диване, она никогда не забывает о том, как она прекрасна.

Все же остальное пусть идет своим чередом. Весть о том, что моего первого тестя, почтенного господина Гуан Ма, этого старого скрягу, наконец хватил удар, преисполнила меня приличествующим случаю прискорбием. Так и передай моей жене Гуан Цзинь, и еще скажи ей, пожалуйста, что я не могу прервать свою чрезвычайно важную поездку и явиться на траурную церемонию, о чем искренне сожалею.

Нет, меня не хватил удар, когда я выяснил, что нахожусь не в Срединном царстве, а в далекой от него стране Ба Вай, о существовании которой ни ты, ни я никогда бы не узнали, не пустись я в это отчаянное путешествие. Даже наоборот: с тех пор, как я и ставший мне еще более близким господин Ши-ми (твой привет я ему передал) приобрели столь ясное представление друг о друге, мне стало гораздо легче вникать в то, что меня окружает. Да и господину Ши-ми, которому известны теперь пределы моих познаний, тоже стало легче объяснять мне многие вещи. Особенно это касается вещей принципиально важных. (Теперь мы беседуем с ним каждый вечер. Я тоже приношу «огненные жертвы», правда, только толстые, большие. Другие, маленькие, издают все-таки слишком неприятный запах.) И каждый вечер я спрашиваю и спрашиваю господина Ши-ми обо всем — до тех пор, пока он не признается со смехом, что своими вопросами я «вытянул из него всю душу». Местный язык я понимаю уже очень хорошо — этому весьма способствует мое любопытство. Но главное для меня, конечно, побольше узнать о вещах принципиальных. Так, господин Ши-ми считает, что Земля — шар и что все моря и страны располагаются на этом шаре. Причем так думает не он один: таково, по его словам, общепринятое мнение. Наше Срединное царство, которое он называет Ки Тай, располагается на одной половине шара, а страна Ба Вай и еще множество других стран (он долго перечислял мне их названия) — на другой. Когда же я возразил, что люди с такого шара свалились бы, он со мной не согласился. В середине земного шара, сказал он, находится нечто вроде большого магнита, точно невидимыми нитями притягивающего людей и животных, растения и камни и вообще все существующее. И привел доказательство: любая вещь, если ее не держать, падает на землю. В воздух же, вверх, не падает ничего — кроме дыма, конечно, поднимающегося от моей замечательной огненной жертвы (я покупаю особые, коричневые, очень дорогие, но благодаря моим ланам серебра могу себе это позволить; господин Ши-ми привозит мне их из города. Называются они Да Ви-доу); да, дым поднимается кверху, но я уже

понимаю, что это «падение вверх» — лишь кажущееся. Потом частички, из которых состоит дым, осядут. Так происходит со всеми предметами, способными подниматься в воздух,— птицами, облаками, воздушными змеями. Что ж, это и впрямь звучит убедительно.

На другое мое возражение, что, мол, если бы Земля была шаром, то это можно было бы заметить, между тем она все-таки выглядит плоской, господин Ши-ми тоже нашел ответ. Это только так кажется, объяснил он, оттого что Земля так велика, а человек так мал. Что, по-моему, думает вошь, ползущая по огромной тыкве? (Тыквы здесь еще имеются; вши тоже.) Она думает, что ползет по прямой, на самом же деле она опишет окружность и в конце концов придет в ту же точку. Наверное, сказал господин Ши-ми, ей тоже кажется, что тыква плоская. И это тоже звучит довольно убедительно, тем более что, по словам господина Ши-ми, вошь все-таки не так мала по сравнению с тыквой, как человек по сравнению с шаром-Землей. И потом, добавил он, шаровидную форму Земли иногда можно заметить — например, на море. Если навстречу одной вши, продолжил он свое сравнение, с другой стороны тыквы будет ползти вторая, то не покажется ли первой, что та появилась из-за горизонта? Так же обстоит дело и с кораблями на море, и это, мой дорогой Цзи-гу, истинная правда, ибо я сам мог видеть это достаточно часто, когда несколько лет назад сопровождал своего достопочтенного шурина, адмирала Ду Фэй-чжуна, в инспекционном рейде императорского флота по гаваням Поднебесной.

Специально для меня господин Ши-ми принес даже маленькую модель земного шара, ярко раскрашенную. Это не что иное, как карта, только нарисованная на шаре. Зрелище, должен сказать, очень увлекательное. Господин Ши-ми показал, где находится наша с тобой родина, Срединное царство — на самом деле оно находится не в середине, ибо какая же середина у шарообразной поверхности? — а потом показал и свою страну Ба Вай. Место, где расположен Кайфын, славная столица империи, отмечено лишь крохотной точкой. Столь же крохотная точка обозначает и город Минхэнь.

Но как попал в Минхэнь я? Этому господин Ши-ми тоже нашел объяснение. Вертится не только модель, сама шаровидная Земля тоже вертится вокруг своей оси, сообщил он. Но и это движение при ее огромной величине совершается незаметно для человека. Мы знаем, что дерево растет, сказал он, но не замечаем его роста, хотя это — тоже движение. С Землей дело обстоит сложнее, но для объяснения достаточно и этого. В то же время Земля вращается и вокруг Солнца, которое на самом деле также гораздо больше, чем кажется, потому что оно тоже находится очень далеко. За одни сутки Земля успевает один раз обернуться вокруг самой себя, за один год — вокруг Солнца. Все это показалось мне чрезвычайно сложным. Я осторожно спросил господина Ши-ми: эти воззрения — тоже его собственная философия, сложившаяся в результате многолетних размышлений? Нет, возразил он, так здесь и сейчас думают решительно все, потому что это подтверждается многими фактами.

Я не надеюсь, друг мой, что эти несколько строчек заставят тебя поверить господину Ши-ми или даже хотя бы понять его слова. Я и сам пока не чувствую себя способным ни к тому ни к другому. Столь гигантская и невообразимая картина мира никак не укладывается у меня в голове. Для меня ближе и понятнее считать нашу с тобой дорогую родину великим, ни вокруг чего не вращающимся Срединным царством, Поднебесной империей, и после возвращения я не стану думать иначе; однако господину Ши-ми я все-таки решил этого не говорить, чтобы не обидеть.

Но вернемся к тому, каким образом я попал из Кайфына в Минхэнь. В наших с тобой расчетах, говорит господин Ши-ми, мы не учли этого двойного вращения Земли вокруг самой себя и вокруг Солнца — что естественно, ибо мы об этом ничего не знали,— между тем за тысячу лет, которую мне позволил преодолеть компас времени, Земля успела тысячу раз обернуться вокруг Солнца и триста шестьдесят пять тысяч раз — вокруг самой себя. Если для самого себя я выпал из общего хода времени на

какой-то миг, то для Земли я выпал из него на всю эту тысячу лет — и угодил в другую ее точку. В том, что со мной произошло нечто подобное, трудно усомниться. Однако тут меня охватил настоящий страх: как же я смогу вернуться? Но господин Ши-ми меня успокоил. Возвращаться я буду,— сказал он, и его слова меня вполне убедили,— тем же путем, каким прибыл, только в обратном порядке, а потому погрешность исправится сама собой.

Дай Бог, чтобы это было именно так. Иногда меня посещают плохие сны. Они запутанны и печальны. Мне уже не раз снилось, что я по ошибке попадаю не в свое родное время, а еще дальше в будущее. Я слишком дорожу бумагой, чтобы тратить ее на столь пустое дело, как описание снов, но одну мысль все же запишу: если уж то будущее, в котором я нахожусь сейчас, представляется мне бездонной пропастью, то каким же кошмаром будет наполнена следующая тысяча лет?

Здесь, мой милый Цзи-гу, я понял одну вещь, о которой ни я, ни ты прежде не догадывались и которой никто на свете по-настоящему не может себе представить: мир изменяется. Они называют это странным словом «П'ло г'ле-си» — господин Ши-ми долго объяснял мне его смысл; в буквальном переводе оно означает «шаги, ведущие все дальше и дальше». Само слово уже говорит о многом — шаги, уводящие неизвестно куда. Человек, вынужденный покинуть свое обжитое, привычное, а возможно и любимое обиталище, казалось бы, может лишь сожалеть об этом — но нет, здешние большеносые считают эти «шаги» благом и добродетелью.

Тебе все это чуждо и непонятно — в этом я и не сомневаюсь. Это действительно выше человеческого понимания. И потом, муравей все же во все времена остается муравьем, а слон — слоном. Нам знакомы изображения муравьев, созданные, скажем, в незапамятные времена династии Шан, нам знакомы муравьи, столь усердно — да покарает их Небо! — копошащиеся во всех уголках наших жилищ, а мне теперь знакомы и муравьи, живущие в мире большеносых. (Да, они еще живут здесь, бедняжки, хоть им и негде теперь строить свои кучи среди этой каменной пустыни, но они все-таки не погибли. Я видел их в парке перед дворцом последнего здешнего вана.) Да, муравей не меняется. То же относится и к слону, и к лошади. И дерево тоже остается деревом. Правда, собаки здесь совершенно не похожи на наших пекинок, ну да и они годятся, на мой взгляд, только на жаркое. (Кстати: собак здесь не едят. Зато едят самые невероятные вещи, например, бычье мясо. Но об этом как-нибудь в другой раз. Замечу только, что первым блюдом, которое я закажу по возвращении, будет собачья печенка — здесь ее не достанешь ни за какие деньги.)

Так что природа не меняется — или меняется очень, очень медленно. Да и человек, в общем, тоже не меняется, и поэтому мы — я имею в виду тебя и меня, живущих в славные времена могущественной династии Сун, да благословит Небо ее высокочтимейших сыновей! — мы можем читать труды божественного учителя Кун-цзы, жившего за полторы тысячи лет до нас, и если бы я предпринял путешествие во времени в обратном направлении, то мог бы подняться к нему на «Холм философа» и поклониться ему; и если бы он счел меня, ничтожного, достойным беседы, то я, без сомнения, понял бы его обращенные ко мне слова.

Здесь же все обстоит иначе. Мудрые учители жили и здесь, в Минхэне или недалеко от него. Они писали книги и воспитывали учеников. Один из них, живший в самом Минхэне и пользовавшийся чрезвычайным уважением сограждан, носил имя Шэ Лин. Нет, имя только кажется нашим, это просто случайное совпадение. Родом учитель Шэ Лин был не из Срединного царства. Однако книги почтенного Шэ Лин-цзы, жившего, по местному летосчислению, всего сто пятьдесят лет назад, ныне живущие большеносые уже понимают с трудом! (Так, по крайней мере, утверждает господин Ши-ми.) Правда, господин Ши-ми сказал также, что мысли у почтенного Шэ Лин-цзы временами бывали столь сложны, что он, занося их на бумагу, вероятно, и сам забывал, что хотел сказать,— при чтении его трудов эта мысль то и дело приходит в голову. Что ж, возможно; мне трудно об этом

судить. Другой великий учитель жил, по словам господина Ши-ми, двести лет назад; звали его Кан-цзы. Его теперь вообще понимают лишь специалисты. Триста лет назад также жил один весьма почтенный и всеми уважаемый учитель по имени Лэй Бинь-цзы. Его уже и специалисты не могут читать кроме как в переводах, и это — лишь несколько из множества примеров. Хорошо, спросил я, а полторы тысячи лет назад здесь были великие учителя? О да, ответил господин Ши-ми, например, достопочтенный А Гоу-тинь, которому многие и до сих пор воздают божеские почести, как у нас — великому Кун-цзы. Его главный труд называется «О природе божественного» или «О Небесном городе», если я правильно понял. Но язык, на котором он писал, давно забыт, и теперь почти нет людей, которые умели бы на нем читать.

Так что, как видишь, они действительно уходят все дальше и дальше. Куда? Боюсь, что и они сами этого не знают. Но прежде всего, кажется, они стремятся уйти от самих себя.

То, что время никогда не останавливается, известно, конечно, и нам. Дети рождаются, становятся взрослыми, мы стареем, умираем, одно поколение сменяется другим. На смену императору приходит другой император, на смену династии — другая династия. Дом разрушается, и на его месте строят другой. Год от года растет дерево в парке. Птица, поющая на нем, не та, что пела в прошлом году, но поет она так же, повторяя предыдущую, как повторяет свою предшественницу волна, набегающая на берег великой и вечной Хуанхэ (вечной ли? теперь я сомневаюсь и в этом). Конечно, волна всякий раз другая, и птица тоже другая, и все же сущность их остается той же. Но если течение вод Хуанхэ представляет собой лишь бесконечный круговорот, то и всякая перемена на деле — лишь свидетельство постоянства: волны движутся, пока не достигнут моря, где превратятся в пар и поднимутся ввысь, чтобы пролиться из облаков дождем на поросшие мхом скалы Куансу, в которых берут начало родники, питающие великую реку. Круговорот этот необратим и вечен — даже при том, что и Хуанхэ иногда меняет свое течение.

Да, этот круговорот вечен. И нам кажется, что так происходит и с человеком, и со всеми его установлениями. Хотя люди следующего поколения отличаются от людей предыдущего, но все же они похожи, как похожи одна на другую волны Хуанхэ. Когда дом разрушается, на его месте строят новый. Возможно, его владелец велит заделать одно из окон или пробить лишнее, но дом все равно останется домом, сущность его не изменится. Императоры управляют, мудрецы размышляют (хотя бывают и императоры, умеющие размышлять). Чему же тут меняться? — думаем мы. Хорошо, положим, временами случаются революции. Рожь или медь дорожают или дешевеют, министр финансов внезапно впадает в слабоумие и вводит бумажные деньги... Но потом все проходит. Придворные дамы несколько лет подряд носят ленты только цвета персика (и все остальные женщины, естественно, тоже), а потом вдруг дружно признают этот цвет отвратительным, и вот все уже носят ленты цвета сливы. Потом и это проходит. Однако это все лишь детали. Изменять же сущность вещей нам не только никогда не казалось н у ж н ы м — мы считали это просто невозможным.

Здешние же большеносые только к тому и стремятся. Они не знают круговорота, для них существует одна примитивная прямая линия. У меня такое чувство, что для них жизнь рода человеческого движется строго по прямой, сами же они только и делают, что дрожат от страха, гадая, куда их эта прямая выведет. Те же большеносые, которые умеют размышлять, делятся на две группы: одни утверждают, что в конце пути человечество ожидает сладкая, райская жизнь (свое учение, как сказал мне господин Ши-ми, они ведут от учителя по имени Ма'с — это не тот злой юноша из описанной мною книги, просто имена случайно оказались похожи, однако случай, как ты знаешь, не всегда слеп,— а также от его учеников, которых звали Энь Гэ и Лэй Нин); другие же считают, что дорога ведет прямо в пропасть (их учение, говорит господин Ши-ми, восходит к учителям, звавшимся Шоу Пэн-гао и Ни-цзе). Попробуй отгадать, с которым из этих учений я согласен. Хотя это, конечно, не имеет отношения к делу.

Нет, круговорот не знаком большеносым. Они упорно верят, что все всегда должно изменяться, и даже разумнейшим из них не втолкуешь, что «изменение» не обязательно означает «улучшение». Видел ли мир когда-либо подобное суеверие? Между тем достаточно лишь обратиться к непреходящим законам математики. Если подбросить монету, то шансы на то, упадет ли она той стороной или этой, равны. Если изменить что-либо — будь то в частной жизни или в установлениях,— то и тут шансы равные, окажется ли новое лучше старого или хуже. Казалось бы, это должно быть ясно любому глупцу. Между тем большеносые думают иначе. В то, что новое всегда должно быть лучше старого, они верят так глубоко, что разубедить их невозможно.

«П'ло г'ле-си»... Да, они шагают все дальше и дальше, уходя прочь от всего, в том числе и от самих себя. Почему? — удивляюсь я. Вероятно, потому, что у себя им плохо. А почему им у себя плохо? Вероятно, потому, что они кажутся себе отвратительными (и в этом с ними можно согласиться). Но ведь от себя не уйдешь. И изменяют они лишь окружающую среду, но не себя. В этом-то, думаю, и кроется разгадка: большеносые не умеют и не желают изменять самих себя (и это несмотря на то, что им известна великая книга И Цзин!), предпочитая до бесконечности переделывать свой мир. Когда я изложил эти соображения господину Ши-ми, он со мной согласился, хотя и сам не свободен от этого суеверия.

Так они и будут идти, эти большеносые, все дальше и дальше, и о том, куда придут они еще через тысячу лет, невозможно думать без содрогания. Мои кошмарные сны — пустяк по сравнению с этим. Не исключаю, что и тысячи лет не пройдет, как они камня на камне не оставят от своего шарообразного мира. Они легкомысленнее обезьян, у которых, кстати, тоже бывают большие носы. Письмо свое я на этом закончу. Пора идти к почтовому камню: час, когда я должен буду положить на него письмо, приближается.

Приветствую тебя сердечно, мой добрый далекий друг, поцелуй от меня мою любимую Сяо-сяо. Сегодня вечером мы, господин Ши-ми и я, приглашены на ужин к одной его знакомой даме. От всей души обнимаю тебя —

твой Гао-дай

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

пятница, 20 августа

Дорогой Цзи-гу,

ты, наверное, удивлен, что я, отправив тебе одно письмо, на другой же день сел писать следующее. Надеюсь, ты не станешь выжидать несколько дней, чтобы снова пойти к почтовому камню, поскольку не предполагаешь получить от меня письмо так скоро, и ему не придется лежать под дождем — хотя, конечно, если здесь у нас дождь, то у вас его может и не быть. Однако ты обещал ходить к почтовому камню каждый день, и я очень надеюсь, что ты выполняешь это свое обещание лучше, чем то, другое, о письмах, которые я просил писать хотя бы раз в пять дней. Я живу в этом далеком мире уже сорок дней, а получил от тебя всего четыре письма. Не сочти это за упрек: я знаю, что служебные дела отнимают у тебя много времени и, кроме того, ты проявил поистине безграничную доброту, согласившись на время моего отсутствия взять на себя и обязанности начальника Палаты императорских поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал». Мне слишком хорошо известно, сколь глухи бывают эти увенчанные лаврами певцы поросших мхом скал к доводам разума, так что иногда, по выражению господина Ши-ми, которое я привожу в дословном переводе, просто хочется ткнуть их носом в грязь и растоптать. Кстати, выбрали ли себе наконец эти безрогие демоны двадцать девятого члена или так до сих пор ни до чего и не договорились?

Пиши мне, друг мой, как можно чаще. И не забывай рассказывать побольше о моей несравненной Сяо-сяо.

Меня же сесть за новое письмо к тебе побудило опасение, что в моих отношениях с господином Ши-ми может наступить — или уже наступи-

ло? — непредвиденное охлаждение. И хотя я уже настолько освоился в этом мире, что мог бы прожить в нем и без чьей-либо помощи, все же это сильно бы меня огорчило, потому что к господину Ши-ми, как ты мог понять из моих писем, я испытываю чувство почти столь же глубокой приязни, как и к тебе, мой милый Цзи-гу. И кроме того, конечно, жаль было бы лишиться тех неоценимых сведений, которые доставляет мне господин Ши-ми, человек редкостного ума и образованности в этом мире безрассудных.

Виной всему был тот злосчастный ужин, о котором я написал тебе вчера.

До сих пор я, как тебе известно, общался почти исключительно с господином Ши-ми. Иногда (особенно в последнее время), выходя в город, я заговаривал с большеносыми в магазинах, желая познакомиться с их взглядами и привычками; мне удалось наладить отношения даже с высокородной дамой Вон-ни Чи-ха — по-видимому, она простила мне то досадное недоразумение с неуместным отправлением естественных надобностей или просто забыла о нем. Я стараюсь быть очень вежливым, когда ее вижу, а вижу я ее часто, потому что она почти каждый день стоит или ходит перед нашим домом в своем расписанном цветами наряде, с неизменной метлой в руках, которая, по-видимому, есть отличительный признак ее высокого ранга (это явно не рабочий инструмент, потому что я никогда не видел, чтобы она пользовалась ею по назначению). «О несравненный цветок нашего дома! — приветствую я ее (для этого я уже достаточно овладел языком страны Ба Вай).— О благоухающая бегония с лицом, подобным ясной луне! Ничтожный червь Гао-дай почтительно склоняется перед тобой, чтобы пожелать доброго, напоенного медом летнего утра!» — громко произношу я эти или иные приличествующие случаю слова. Сначала она воспринимала их более или менее холодно, но теперь, после того, как я (по совету господина Ши-ми) вручил ей в конверте голубую денежную бумажку, сопроводив ее поклоном в две трети, любезнее ее не сыскать.

Однако все эти разговоры, конечно, были кратки и бедны содержанием. Ответы на все свои вопросы я получал только от господина Ши-ми; но и он некоторое время назад высказал мысль, что мне пора познакомиться с другими людьми, чтобы расширить мой кругозор. То приглашение на ужин к знакомой даме, о котором я писал тебе, и было первой попыткой такого знакомства.

Зовут эту даму госпожа Кай-кун, и живет она в отдаленной части города. Мы, господин Ши-ми и я, наняли повозку Ма-шин (здесь их можно нанять, как у нас нанимают паланкин с носильщиками, когда нет своего) и ближе к вечеру поехали в гости. Длилась поездка около получаса. Госпожа Кай-кун живет в таком же большом доме, как и господин Ши-ми. Однако жилище у нее просторнее, чем наше. (Я говорю «наше», имея в виду, конечно, жилище господина Ши-ми; впрочем, он, наверное, не станет возражать, если я буду для простоты так называть его жилище.)

Здесь снова начинаются сложности; возможно, ты не поймешь меня с первого раза. С женщинами здесь обращаются совсем иначе, чем это испокон веку принято у нас, и иначе, чем того требует учение божественного Кун-цзы. Как это ни странно, женщины дома, на улицах, на людях, вообще всегда ведут себя совершенно так же, как мужчины. Это, кстати, и есть одна из причин, почему я так долго не умел отличать здешних мужчин от женщин. Но теперь я уже научился (даже если у них с собой нет зонтика). Во-первых, не все мужчины бреются полностью, как господин Ши-ми. Многие носят усы и даже бороды, почти как у нас. Но и у тех, кто выбривает лицо, легко разглядеть признаки буйной растительности, ибо вся раса большеносых отличается обильной волосатостью. (Правда, среди них почему-то очень много плешивых и даже лысых; причина этого, по-видимому, в том, что большинство из них всегда ходит с непокрытой головой. Так что мне представляется вполне объяснимым, что при здешнем вечно дождливом климате волосы у них портятся. Сами они, впрочем, не придают этому значения.) Женщин же я различаю, во-первых, по чистому лицу,

а во-вторых, по выступающей груди. В противоположность нашим женщинам и нашему идеалу красоты грудь у здешних женщин обычно гороподобна, причем они нарочно носят ее так, чтобы обе ее части обозначались под платьем выпукло и раздельно. У дамы Кай-кун грудь также весьма гороподобна, и одета она была в разноцветное платье без рукавов, украшенное волнообразным узором, так что, когда она нагибалась, в вырезах я мог наблюдать ее богатую грудь, по объему превосходящую груди всех моих шести наложниц вместе взятых. Что ж, привыкнуть можно и к такому, а привыкнув — счесть красивым. Грудь у госпожи Кай-кун отличается приятной округлостью и нежно-золотистым оттенком. На ней было платье с волнистым узором из очень тонкой материи, и когда она оказывалась между светильником и мной, я мог в подробностях разглядеть ее тело, хотя она, как уверил меня господин Ши-ми, вовсе не гетера, а дама из благородного сословия и весьма именита.

Господин Ши-ми сообщил также, что у госпожи Кай-кун нет мужа. В здешнем мире даме, чтобы считаться именитой, не обязательно иметь мужа, хотя, с другой стороны, по словам господина Ши-ми, женщины все же стремятся заключить брак с каким-либо именитым мужчиной, потому что находят это более приличным, и кроме того, это в какой-то мере улучшает их репутацию. В принципе мужчина может иметь несколько жен, как и женщина — несколько мужей, но не одновременно, а по очереди. Мне это кажется очень неудобным. Удивительно то, что здесь, в отличие от нашей страны, женщинам также дозволено заключать несколько браков. Так, госпожа Кай-кун была замужем два раза и лишь недавно рассталась со своим вторым мужем. Брак расторгается судьей. Господин Ши-ми сказал, что при случае расскажет мне, как это делается, а еще лучше — попросит своего друга, того судью, с которым я познакомился во второй день моего пребывания здесь, объяснить мне все юридические тонкости: сам он разбирается в них слишком плохо.

Сейчас госпожа Кай-кун живет одна. Кто разделяет с ней ложе? Она молода и красива — пожалуй, даже по нашим понятиям. Ведь сокам, бродящим в ее теле, нужен какой-то выход? Ответа на этот вопрос я пока не знаю. Официальных наложниц в стране Ба Вай нет, сообщил мне господин Ши-ми. Это тоже странно, и я не могу понять, как здешние люди ухитряются следовать множеству столь несовместимых обычаев. С одной стороны, мужчины и женщины на глазах у всех лежат совершенно обнаженными на лугу у реки, как я видел в один из немногих солнечных дней, и даже отваживаются входить таким образом в воду; мужчины ходят, ничем не прикрывая свои болтающиеся половые части, а женщины — я не преувеличиваю! — откровенно потягиваются на солнце, подставляя ему свои гороподобные груди и принимая столь непринужденные позы, что не представляет никакого труда разглядеть их ложбинки наслаждения,— с другой же, по словам господина Ши-ми, невозможно даже подумать, чтобы мужчина официально взял себе наложницу. Если у кого она и есть, пояснил господин Ши-ми, он держит это в строгой тайне.

Сам господин Ши-ми, кстати, никогда не был женат. Есть ли у него одна или несколько тайных наложниц, я не знаю, а спрашивать не хочу. Возможно, когда-нибудь он сам расскажет мне об этом — или (вот здесь у меня и возникло опасение, что между ним и мною возможна размолвка)... Или же госпожа Кай-кун и есть его наложница.

Госпожа Кай-кун приготовила для нас ужин. Встретила она нас радушно. Господин Ши-ми предупредил ее обо мне, то есть мое истинное происхождение он, конечно, от нее скрыл, сообщив лишь, что я приехал из страны «Ки Тай» учиться (что соответствует истине) и живу у него (что тоже соответствует истине). Потом пришел еще один господин, имени которого я не запомнил, ибо оно было слишком сложным.

Ужин госпожа Кай-кун приготовила сама. Здесь это не исключение, а вполне обычное дело. Женщины большеносых, по словам господина Ши-ми, все сами готовят пищу. Лишь очень, очень немногие держат повара или повариху. Это странно. Почти полное отсутствие посыльных в этом

мире бросилось мне в глаза еще в первые дни — по-моему, я уже писал тебе об этом в одном из писем. Как же так получается, что посыльных нет, а улицы тем не менее полны народу? И людей на них втрое, да что я говорю — вдесятеро больше, чем в самых населенных из наших городов? Объяснить себе это я могу только тем, что в своем вечном стремлении к переменам все посыльные сделались господами. Но что делает человека господином, если не власть над прислугой? Над поварами, слугами, посыльными, горничными, батраками, лакеями? И какой же господин без слуг? Если они все думают быть господами, то они ошибаются. Никто из этих слуг так и не стал господином, они все остались слугами, только без господ.

У господина Ши-ми, кстати, слуги тоже нет.

На стол госпожа Кай-кун также подавала сама. Пища, которую едят здесь, заслуживает особого описания. Собачье мясо считается несъедобным и вызывающим отвращение. Зато большеносые едят коров и быков, пьют молоко от коров, так что мне дурно становится, когда я это вижу, и едят разные продукты, из молока приготовленные. Это продукты твердые, они называются Ма Сы-ло и Сы. Ма Сы-ло желтого цвета, а вкуса совсем не имеет (они намазывают его на свои лепешки); Сы тоже желтое и сильно пахнет немытыми ногами. Но худшее из всего, что делают из коровьего молока, это белесая, дрожащая масса, воняющая все тем же молоком и именуемая Кэ Фы. Господин Ши-ми ест ее на завтрак и предлагал мне. Он утверждает, что она очень полезна. Не понимаю, как может быть полезна вещь, от которой у нормального человека выворачивает желудок.

Кстати, большеносых, видимо, и самих выворачивает от такой еды. Помнишь, я рассказывал об инструменте для еды, называемом Вэй-ка? Она представляет собой палочку, с одной стороны разделяющуюся на четыре острия. Этой палочкой они поддевают кусочки мяса, отрезаемые особыми сабельками от большого куска. Еще один инструмент имеет с одной стороны неглубокую чашечку. Ею они зачерпывают свой Кэ Фы и другие жидкости. Брать пищу руками они считают неудобным и чрезвычайно неприличным.

Господина Ши-ми я постепенно приучил готовить только приятные мне вещи: свиное, куриное или утиное мясо, рыбу. Все это здесь имеется, но большеносые всему предпочитают коровье мясо. Может быть, из-за этого их чувства так огрубели? Господин Ши-ми, вероятно, предупредил госпожу Кай-кун о моих привычках, потому что выбор блюд был явно не случаен. Вначале была кета с лимоном. Холодная, к счастью; обычно большеносые поедают свою пищу обжигающе горячей. От такого жара все органы вкуса немедленно замыкаются. Тонких нюансов в таком состоянии никто различить не способен. Но кета была холодной. Затем был салат, потом свинина, хотя и нарезанная тоненькими ломтиками. Рис у них тоже есть, но он лишь отдаленно подобен нашему; главным же приправным блюдом у них считается совсем не известный у нас корень, такие желтоватые клубни, привезенные, по словам господина Ши-ми, из страны, о которой мои современники и не слыхали, потому что никто из них там не бывал.

Зато я, к своему удивлению, обнаружил, что одно из достижений нашей кухни не только пережило века, но и добралось из Срединного царства (или Ки Тая, как его называют большеносые) до «далекого» Минхэня: это лапша. Господин Ши-ми на своей модели шарообразного мира показал мне проделанный лапшой путь: один путешественник из города Вэньнеци, расположенного южнее Минхэня, за семь веков до эпохи господина Ши-ми отправился в Срединное царство (его путешествие было гораздо утомительнее моего) и, значит, через три века после нашего с тобой времени он к нам прибудет. Его звали, то есть будут звать Ма-го Бо-ло, он войдет в милость у правившего тогда великого Сына Неба и даже станет губернатором провинции Южная Цян. Но однажды его охватит тоска по родине, и он вернется в свой Вэньнеци, привезя с собой среди прочего и умение делать лапшу. Из Вэньнеци это умение распространится дальше; Вэньнеци, сказал господин Ши-ми, и сам по себе город известный. Таким образом тем, что

у госпожи Кай-кун мне довелось поесть лапши, я обязан господину Ма-го Бо-ло, в наше время еще не родившемуся. Хотя здешняя лапша много толще нашей и груба на вид. Кстати, император, при котором Ма-го Бо-ло войдет в милость, будет уже не из династии Сун — однако это пусть останется между нами.

Под конец ужина прекрасная дама Кай-кун, облаченная в яркое просвечивающееся платье с волнистым узором, подала сладкое. Здесь замечу, что большеносые строго различают кислые и сладкие блюда: они их почти никогда не смешивают. При этом сладкое им, видимо, нравится больше, так как подают его всегда под конец угощения.

Госпожа Кай-кун хотела, конечно, от души попотчевать гостей, но мне от сладкого тоже пришлось отказаться. Другие же, господин Ши-ми и второй гость, у которого слишком сложное имя, долго выкрикивали «А!» и «О!», а потом так и набросились на эту темно-коричневую, на вид пенистую, но на самом деле твердую массу. Я немного поддел ее пальцем и, лизнув, сразу понял, что в ней есть коровье молоко. Поэтому я сделал госпоже Кай-кун полтора поклона и отказался.

Кстати, здесь пробовать еду пальцем (как и многое другое, представляющееся нам вполне естественным) считается крайне неприличным. Почему-то не принято и выражать свое удовлетворение от понравившегося блюда отрыжкой или пусканием ветров. Между тем столь красивая и, как выяснилось позже, высокообразованная дама, как Кай-кун, нисколько не стесняется ходить в полупрозрачном платье, обрезанном во всех местах и настолько узком, что любое движение выдает то одну, то другую сокровенную тайну тела, от чего у нас даже самая дерзкая гетера покрылась бы краской стыда. Когда мы позже пересели из-за обеденного стола за низенький столик, она закинула ногу на ногу, как мужчина, так что я, если меня не обманывают мои органы чувств, мог разглядеть даже ее цветущий лотос. Прости, что пишу тебе о подобных вещах. Но я нахожусь в путешествии уже так долго, что луна успела народиться два раза, и с тех пор я, как ты и сам понимаешь, ни одной женщины так близко не видел, не говоря уже о том, чтобы к ней прикоснуться. А в моем возрасте это вредно. Ведь мои силы и способности нисколько не уменьшились, если не считать некоторого ослабления зрения.

У большеносых, кстати, дело обстоит точно так же, причем, как и следовало ожидать, даже хуже. Зрение здесь у всех плохое, часто даже у детей. Чтобы его исправить, они придумали такие станочки из железа, которые зацепляются за уши — не смейся, они находят это вполне разумным! — с их помощью перед глазами помещаются линзы из шлифованного стекла. Как-то во время прогулки по парку бывшего вана я специально наблюдал: по меньшей мере у трети большеносых на голове были такие станочки. Не спадают они только благодаря их большим носам. И я спрашиваю себя: неужели и тут природа позаботилась о людях, придав им большие носы, чтобы хотя бы косвенно исправить плохое зрение?

Такой станочек с линзами есть и у господина Ши-ми, и даже у госпожи Кай-кун; но во всем остальном она, как я уже говорил, очень красива. Я долго смотрел на нее. Свой станочек она не снимала почти все время. И я подумал: снимает ли она его, когда кто-нибудь приходит разделить с ней ложе? Спрашивать ее об этом я, конечно, не стал. В этом мире, как я понял, лучше не задавать именно тех вопросов, которые кажутся самыми естественными.

Но, поскольку я выше описал то, что мы ели, у тебя, наверное, возникает вопрос, что мы пили. И здесь с моей кисти готов сорваться уже привычный тебе ответ: напитки мира большеносых совершенно не походят на наши. Если мы в основном довольствуемся водой, чаем и, понимая «напитки» в широком смысле слова, рисовым вином, то здесь существует огромное количество самых разнообразных напитков. И что самое главное: воды здесь не пьют. Пить воду считается признаком бедности, хотя вода у них хорошая и чистая, и в каждом жилище, почти в каждой комнате имеется весьма простой в обращении источник (не говоря уже о фарфоровом роднике, смывающем то, что оставляет ему человеческое тело).

Дома — я имею в виду, конечно, жилище господина Ши-ми,— дома я, когда мне хочется пить, всегда пью воду. Теперь уже и господин Ши-ми начал привыкать к этому, хотя в первое время он смотрел на меня, широко раскрыв глаза, не понимая, как можно пить простую воду.

Чай у них есть, но они его, конечно, портят. Они смешивают его со всем, чем можно, даже с коровьим молоком. По моей просьбе господин Ши-ми принес обычный сухой чай и позволил заварить его так, как мне хотелось. Ему самому мой чай не понравился. Большеносые везде и всюду пьют коровье молоко. Этот порок, по-видимому, совершенно неискореним. Не могу поверить, чтобы это было полезно. Однако хорошо могу представить себе, что резкость этих людей, выражающаяся в грубых манерах, в нелепых обычаях, а также, очевидно, в резких и громких голосах объясняется именно неумеренным употреблением коровьего молока. Да, возможно, что их порочные нравы объясняются именно этим. Представь себе: то, что исходит из рыхлого, покрытого венами вымени такого грязного, вонючего животного, как корова, человек подносит ко рту и даже пьет. От одного того, что я нанес эти слова на бумагу, мне уже становится дурно.

Есть у них еще напиток, темно-коричневый, почти черный, и называется он Го-фэй. Пьют его горячим, как и чай, добавив сахару, он приятен на вкус и бодрит — если его, конечно, не портить молоком, как поступает большинство большеносых. Кроме того, есть множество напитков, добываемых из фруктов. Их можно разделить на две группы: пьянящие и не пьянящие. К пьянящим относятся два излюбленных напитка большеносых (после коровьего молока): виноградное вино, неплохое на вкус, которое бывает двух видов: темно-красного и желтовато-зеленого цвета, и отвратительный пеняющийся напиток, употребляемый в основном для увеселения. Как сообщил мне господин Ши-ми, в стране Ба-Вай он особенно распространен: его пьют по всем возможным поводам, в любых, но чаще в особо отведенных для этого народных местах, распевая при этом приличествующие случаю песни. Называют его двумя именами, в зависимости от посуды, из которой пьют: Бо-шоу или Ма-люй. Господин Ши-ми вечером часто ходит пить свой Ма-люй. Я тоже пробовал: мне не понравилось. К моему удивлению, оказалось, что ни в виноградное вино, ни в Бо-шоу или Ма-люй коровьего молока не добавляют.

Еще один странный напиток придуман, как сказал господин Ши-ми, в той самой далекой и в наше с тобой время еще не известной стране, из которой прибыли излюбленные желтовато-мучнистые клубни большеносых, прилагаемые почти ко всем блюдам. Называется этот напиток Го-гао Го-ля или что-то в этом роде. Он тоже коричневый, но пьют его холодным. Господин Ши-ми говорит, что изобретатель этого напитка держит его состав в секрете и что до сих пор никто не сумел повторить его изобретение. (Коровьего молока в нем во всяком случае нет, я сам в этом убедился.) Несколько лет назад, сообщил господин Ши-ми, кто-то написал в одной книге, что Го-гао Го-ля делается из растертых в мелкое крошево собак. После этого я решился попробовать напиток еще раз, однако он мне все равно не понравился.

За ужином у госпожи Кай-кун я пил виноградное вино. Оно, кстати, тоже бывает пенящимся. Тогда его называют Шан-пань. Мне оно очень понравилось. Но тут надо быть осторожным: пьется оно, как вода, а потом ударяет в голову. После ужина госпожа Кай-кун открыла сначала одну, а потом и вторую бутылку Шан-пань, и здесь я возвращаюсь к тому моему опасению, о котором писал вначале. Однако я не вполне уверен: не скрою, этого вина Шан-пань я выпил больше, чем нужно было бы для того, чтобы еще считать себя совершенно трезвым, да и госпожа Кай-кун все-таки первая красивая женщина, которую я за две последние луны видел так близко; кроме того, соки, накопившиеся за это время в моем теле, видимо, сильно повлияли на мои чувства, так что я гораздо острее обычного воспринимал вещи, к которым принято относиться сдержанно. Однако нельзя отрицать, что госпожа Кай-кун была в уже несколько раз описанном полупрозрачном платье, хотя и прикрывавшем, но все же скорее заманчиво открывавшем, чем стыдливо скрывавшем ее тело. Нельзя отрицать также,

что на госпоже Кай-кун — что вполне объяснимо, ибо это был первый такой теплый, почти жаркий летний вечер после многодневного дождя,— не было нижнего платья и вообще, как я мог заметить, нисколько не напрягая зрения, под упомянутым платьем с волнистым узором ничего не было надето.

Пеняющийся Шан-пань или мои обостренные чувства послужили тому виною, что мне пришла в голову мысль: а ведь госпожа Кай-кун, от которой не могло укрыться, что я слишком внимательно разглядываю ее тело, не только не рассержена этим, но даже, наоборот, польщена? Она несколько раз намеренно усаживалась так, чтобы мне было в прямом смысле слова удобнее продолжать свои наблюдения. Во время беседы она несколько раз подарила меня взглядом и, словно угадав мои мысли, сняла свой станочек с глазными линзами... Неужели для того, чтобы показать, как она с ним поступает, когда остается наедине с мужчиной? Признаюсь тебе, что спал я в эту ночь плохо. Вопреки своему обыкновению, я просыпался несколько раз в поту и долго парил где-то между сном и явью, преследуемый образами ярко раскрашенного платья с волнистым узором и всех тех чудес, которые оно мне открывало.

Однако там присутствовали еще тот господин, имени которого я не запомнил, и господин Ши-ми. Не думаю, чтобы полупрозрачное платье нашей хозяйки и все то, что под ним скрывалось, ускользнули от их внимания. Боюсь даже, что господин Ши-ми угадал некоторые мои мысли (тем более, что они были слишком очевидны). Пожалел ли он, что взял меня с собой? Или он ожидал от меня монашеского смирения? Но первое можно было бы объяснить только либо его слабоумием, либо тем, что сам он до сих пор ни разу не удосужился рассмотреть госпожу Кай-кун как следует. Монашеского же смирения в присутствии дамы, обладающей формами госпожи Кай-кун — именно потому, что она никоим образом не является гетерой,— можно было бы ожидать лишь от евнуха или восьмидесятилетнего старика, да и то, я думаю, вряд ли. По пути домой, пока мы ехали в нанятой для этого случая повозке Ма-шин, господин Ши-ми со мной не разговаривал. Возможно, впрочем, что я придаю слишком большое значение мелочам. Может быть, он просто устал, так как тоже порядочно выпил вина Шан-пань. А сегодня он ушел так рано, что я его даже не видел. Однако он всегда уходит очень рано.

Кстати, у госпожи Кай-кун есть еще одна особенность: она держит кошку. Кошка у нее красивая и похожа на наших. Ко мне она прониклась таким доверием, что четыре или пять раз устраивалась у меня на коленях, мурлыкая от удовольствия. Нужно ли объяснять, как настойчиво меня при этом преследовали воспоминания о моей далекой Сяо-сяо?

И все же что мне теперь делать? Честно говоря, мне было бы жаль думать (если не сказать больше), что вчера я видел госпожу Кай-кун в последний раз. С другой стороны, я прибыл в этот далекий мир не для того, чтобы пускаться в эротические приключения, а чтобы наблюдать и познавать. Что ж, сегодня вечером, когда господин Ши-ми вернется, его поведение скажет мне, таит ли он на меня обиду, и если да, то готов ли он простить меня. От этого будет зависеть все. В конце концов его дружба для меня важнее госпожи Кай-кун.

Но всего важнее для меня дружба с тобой, мой милый и дорогой Цзи-гу, в чем и расписывается твой по-прежнему далекий —

Гао-дай

[ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ]
[ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ]

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

пятница, 10 сентября

Дорогой Цзи-гу!

Сегодня я разговаривал с госпожой Кай-кун, хотя и не ходил к ней в гости. Ты удивлен? Да, такое возможно. У них здесь есть прибор, небольшая шкатулка с дырочками, в которые вставляют пальцы и повора-

чивают особым образом, после чего из другой вещицы, отдаленно напоминающей кривобокую репку, можно услышать голос нужного тебе человека. Поначалу это кажется волшебством, но на самом деле прибор устроен даже проще, чем наш с тобой аппарат, с помощью которого я попал сюда, в будущее. Под землей, как объяснил мне господин Ши-ми, протянуты длинные шнуры из медной проволоки; по ним-то посредством особых толчков и передается голос любого человека, у которого в доме есть такая шкатулка (она называется Тэ Лэй-фань). Эти шнуры соединяют друг с другом все дома и тянутся даже в другие страны.— И в Ки Тай тоже? — спросил я.— Да,— ответил господин Ши-ми,— и в Ки-тай...— Но твоего голоса через эту репку и медную проволоку я не услышу, потому что ты — прости меня, друг мой, но это так! — для этого мира уже тысячу лет как умер. Не услышал я через него и нежного голоса моей любимой Сяо-сяо, а услышал только — или, чтобы уж быть точным, услышал, помимо прочего,— голос кошки госпожи Кай-кун, мяукавшей где-то рядом (ибо прибор передает не только человеческий голос, но и вообще любые звуки), пока ее хозяйка благосклонно принимала мои уверения в совершеннейшем к ней почтении.

— О благороднейшая госпожа Кай-кун! — произнес я.— Говорит ваш покорный слуга и раб Гао-дай, несчастный мандарин, недостойный даже быть отогнанным пинками от порога вашего высокочтимого дома.— При этом я сделал два с половиной поклона, хотя и знал, что сквозь Тэ Лэй-фань она меня видеть не может.

Она засмеялась и сказала: — Ах, это вы! Ну, как ваши дела? Вы еще не уехали?

Я снова поклонился и ответил: — О нет, я по-прежнему имею честь пребывать под теми же небесами, что и вы, многоуважаемая госпожа Кай-кун, а также ваша почтенная кошка, и безмерно счастлив слышать ваш сладкозвучный голос в приборе, именуемом Тэ Лэй-фань. Позволите ли вы вашему покорнейшему слуге осведомиться, украшает ли вас в данный момент то несравненное многоцветное платье с волнистым узором?

Она снова засмеялась: — Нет, сейчас на мне старый халат, и я вся перемазана в земле, потому что как раз пересаживала цветы.

— Простит ли высокородная дама неслыханную дерзость, не подобающую моему скромному званию, если я задам еще один вопрос: как изволит поживать ваша кошка?

— Мудрец Му [1]! — позвала госпожа Кай-кун (так она зовет свою кошку).— Иди сюда, Мудрец Му, с тобой хочет поговорить господин Гао-дай! — Но теперь та не захотела мяукать. Госпожа Кай-кун спросила, слышно ли мне, как кошка мурлычет. Я ничего не слышал, однако сказал, что слышно очень хорошо, чтобы не огорчать благородную госпожу. Затем я похвалил погоду, установившуюся в последние дни, а госпожа Кай-кун сказала, что заметила, как сильно мне понравился напиток Шан-пань, и пригласила зайти к ней, когда мне захочется снова его отведать. Я уже хотел завершить разговор приличествующими случаю выражениями и поклонами (хотя, как я уже говорил, она не могла меня видеть), когда она вдруг спросила: так когда же я к ней зайду?

Можешь представить себе, как я был удивлен этим вопросом. Хотя, скорее, это ты будешь удивлен им, меня же, начавшего привыкать к нелепым обычаям этого странного мира, он не столько удивил, сколько заставил задуматься. Большеносые никогда не бывают там, где их рассчитываешь застать. Положим, в нашем мире люди тоже бывают в отлучке — если, например, отправляются в путешествие (вроде меня сейчас), но это, во-первых, обычно всем известно, да и потом, если человек не гибнет в чужих краях, он когда-нибудь возвращается, и его опять можно застать дома. Здесь же все иначе. Большеносые отсутствуют постоянно. Ближайший пример — господин Ши-ми. Сейчас он тут, через миг он там, так и носится в блуждающем железном доме по всему городу. В своем жилище он — если

[1] Окончание «-цзы (-цзу)» в китайском языке означает «мудрец», «учитель»: Кун-цзы — мудрец Кун, Лао-цзы — мудрец Лао и т. д. Му-цзы (очевидно, Мурзик) — Мудрец Му.

не считать сна — не проводит за сутки и четырех часов. Почему? У него такая работа, объяснил он сам в ответ на мой вопрос. Работает он учителем и библиотекарем в Главной школе ученых Минхэня. Поэтому дома его застать невозможно. Никого из большеносых невозможно застать дома. Они все время передвигаются, то пешком, то в повозках Ма-шин, то в железных домах на колесах: их все время несет куда-то. То ли неумеренное употребление коровьего молока тому виною, то ли дело тут в излюбленном учении (правильнее было бы сказать: суеверии) о необходимости шагать все дальше и дальше... Здешние люди, когда хотят увидеть кого-то, не идут к искомому лицу прямо в дом, где, по нашим понятиям, его и можно застать вернее всего (разве что это лицо, как я уже говорил, отправится в путешествие или на аудиенцию к канцлеру, но ведь такое бывает нечасто); действуя так, застать человека дома можно только случайно. Нет, здесь люди сначала с мелочной точностью уговариваются о месте будущей встречи. Для этого они и изобрели свою репку с медной проволокой.

Для этого у большеносых есть также маленькие указатели времени, которые они привязывают к левому запястью. Эти указатели бывают и большими — тогда их ставят, как статуи, на углах улиц или вешают дома на стену, как картины. Большеносые часто возятся с ними, подкручивают их и поправляют, чтобы они показывали время как можно точнее.

Такие понятия, как восход и заход солнца, полдень и так далее, представляются им слишком приблизительными. Время они делят на гораздо более мелкие и мельчайшие доли. Большеносые, как и мы, пользуются годом, месяцем и сутками; однако уже здесь они ввели дополнительное понятие «Не Дэ-ляо», примерно соответствующее одной лунной четверти. Сутки же они делят не только на часы, но и на шестидесятые доли часов (Ми Ну-тао), и даже на шестидесятые доли Ми Ну-тао; эта последняя единица времени, краткая, как взмах крыльев воробья, называется Сэ Кун-да. Все это и показывают указатели времени, маленькие и большие. Мне господин Ши-ми тоже подарил такой указатель — я ношу его на левом запястье,— и научил читать по нему время.

Таким образом, если я хочу навестить кого-то, или кто-то хочет навестить меня, я должен взять репку, покрутить пальцами в дырочках и назначить время встречи: в такой-то из дней Не Дэ-ляо (у дней свои названия, повторяющиеся в определенном порядке), когда указатель времени покажет столько-то часов и столько-то Ми Ну-тао (впрочем, справедливости ради следует сказать, что до такого безобразия, как указывать еще и количество взмахов воробьиных крыльев, большеносые все-таки не дошли).

Давно известно, что разделенное меньше целого: неразделенное целое больше, чем сумма его частей. Это закон, в отношении времени особенно справедливый: здесь я в этом убедился. Большеносые раздробили свое время на множество частей, и оно мстит им тем, что проходит так быстро, как только может. А большеносые не перестают этому удивляться. Они то и дело жалуются, что время — если воспользоваться выражением того господина со слишком сложным именем, который был с нами у госпожи Кай-кун,— «уходит, точно вода между пальцев». Почему же никто из них не задастся вопросом о причинах такой напасти? Ведь доискаться до них не так уж трудно. Я не раз замечал, что о том, у кого е с т ь на что-то время, здесь говорят с обидой или пренебрежением. Неужели у них у самих не возникает мысль, что это нелепо? Но нет, мыслить большеносым не свойственно. На это у них «нет времени».

Когда я поделился этими соображениями с господином Ши-ми, он задумался. Потом сказал, что, может быть, я и прав (еще бы я был не прав!). Но в таком случае, предложил я, вы тоже могли бы сделать из этого выводы. Он возразил, что не в силах бороться со всеобщим раздроблением времени в одиночку: других это не убедит, а ему только повредит. Что ж, возможно, он тоже по-своему прав. Пусть поступает, как хочет. Я прибыл сюда не для того, чтобы изменить этот мир, а чтобы изучить его и набраться опыта, полезного для н а ш е г о мира.

Вот так я и договорился с госпожой Кай-кун, что зайду к ней на третий день следующей Не Дэ-ляо (то есть за день до сентябрьского новолуния), когда мой указатель времени отмерит пятнадцатый час суток и еще тридцать Ми Ну-тао.

Господин Ши-ми знает об этом. Недоразумение, грозившее возникнуть между нами, рассеялось, ибо это я неверно оценил отношения, существующие между господином Ши-ми и госпожой Кай-кун. Господин Ши-ми не испытывает к ней такого интереса, который заставлял бы его возражать против появления в ее доме других мужчин. Однажды я прямо спросил его об этом, и он сказал, что я правильно сделал, решившись задать вопрос открыто, потому что ему тоже было бы жаль, если бы наши с ним отношения омрачились ревностью или размолвкой. Себя же он считает лишь ее другом, сказал господин Ши-ми, и обладать ею не стремится. Потом он добавил — и в его голосе я безошибочно различил предостережение,— что госпожу Кай-кун считают весьма опасной для мужчин дамой. Хотя она, как я сам мог убедиться, не является гетерой, использующей свой пол для заработка, однако жизнь она ведет, по выражению господина Ши-ми, «весьма легкомысленную», что, впрочем, не сразу бросается в глаза, так как она весьма сведуща в различных искусствах, а также в литературе и философии. Более же всего, как он слышал, сведуща она в искусстве и способах любви, однако денег за это не берет. Замужем госпожа Кай-кун, по словам господина Ши-ми, была дважды. Теперь она живет одна, сохраняя за собой право принимать на своем ложе тех мужчин, которые нравятся ей самой.

Мне, конечно, было очень интересно все это слушать; что же касается предостережений господина Ши-ми, то они показались мне лишенными оснований. Ему самому я, разумеется, ничего говорить не стал.

Не так давно «избранником» госпожи Кай-кун был один известный в городе поэт. Он даже написал в ее честь несколько стихотворений. После недолгих поисков господин Ши-ми нашел у себя его книгу и подал мне. Однако понять этих стихотворений я не смог. Впрочем, господин Ши-ми признался, что тоже их не понимает. Вообще он не сам купил эту книгу, а получил ее в подарок от госпожи Кай-кун. Скорее всего, продолжил господин Ши-ми, книга просто не раскупалась (как это бывает, мы с тобой хорошо знаем на примере некоторых высокочтимых членов нашей Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал»), так что порядочное количество своих книг поэт отвез к госпоже Кай-кун. Когда к ней приду я, предположил господин Ши-ми, она и мне подарит такую книгу.

Что ж, это тоже способ найти себе читателей. Когда я вернусь, надо будет рассказать о нем членам нашей достопочтенной Палаты поэтов.

Слова господина Ши-ми (и его предостерегающий тон), признаться, вызвали у меня сомнения, однако совсем не те, на которые, вероятно, были рассчитаны. Возможно, подумал я, он сам когда-то посвятил госпоже Кай-кун несколько стихотворений, а она их отвергла. Хотя возможно также, что господин Ши-ми действительно придерживается почти монашеского воздержания в вопросах пола, ибо за все два месяца моего пребывания здесь я ни разу не заметил не только присутствия, но даже малейших признаков женщины в его жизни; а такие люди, хотя я и очень ценю господина Ши-ми, все же слишком часто бывают склонны отговаривать других от того, чем не привыкли наслаждаться сами.

Это тоже одна из странностей здешнего мира. Полезно ли это для нравов? Не знаю. У нас женщина может быть женой или наложницей, матерью или дочерью; еще бывают служанки и горничные. Смог бы ты считать женщину своим другом? Так же, как меня?.. А здесь все иначе. Женщины строят из себя мужчин, принимаются рассуждать, как они, а мужчины — очевидно, безвозвратно утратив большинство истинно мужских качеств,— не только позволяют им, но и принимают это как должное! (При встрече с госпожой Кай-кун на следующей Не Дэ-ляо я, конечно, не стану обсуждать с ней этих вопросов.)

К госпоже Кай-кун я, кстати, поеду один, без господина Ши-ми. Об

этом я тоже предупредил его. Но он и тут не выразил неудовольствия, потому что, во-первых, в назначенный день у него опять «нет времени», а во-вторых, мне, по его мнению, все равно нужно учиться путешествовать по городу самостоятельно. Воспользовавшись случаем, я попросил его не счесть мои слова за обиду и признался в желании совсем покинуть его, чтобы найти себе другую квартиру и прожить в ней оставшееся время. Я объяснил, что хотел бы получить возможно более полное представление об этом мире, тогда как здесь, находясь под благожелательной опекой господина Ши-ми, я все-таки завишу от его привычек, взглядов и предпочтений. Конечно, ответил он, он прекрасно меня понимает и сам на моем месте поступил бы точно так же. И обиды здесь никакой для себя не видит. Ведь наша дружба от этого не прекратится. Кроме того, сейчас это было бы удобно и для него, потому что через некоторое время должна приехать его мать, которая обычно проводит у него несколько Не Дэ-ляо в это время года (его овдовевшая госпожа матушка живет в другом городе, на севере), и тогда она сможет жить в той комнате, которую сейчас занимаю я; хотя, поспешно добавил он, беря меня за руку, если я и не перееду на другую квартиру, ничего не случится, потому что он предоставит ей свою комнату, а сам станет спать на диване в кабинете.

Я сказал: что ж, мы все это еще обдумаем хорошенько. В душе же я уже решил начать самостоятельную жизнь. Таким образом, в этом доме мне осталось жить всего несколько дней. Однако в первую очередь мои мысли посвящены предстоящей встрече с госпожой Кай-кун, и мысли мои чрезвычайно приятны.

Нет, я не забыл мою любимую Сяо-сяо, и душа моя по-прежнему полна к ней самой глубокой нежности. Напиши мне о ней. О том же, что вообще происходит в моей семье, можешь не писать. Тогда на письма у тебя будет уходить еще меньше времени. В конце концов я, едва приехав, в мельчайших подробностях буду знать, насколько потолстели все мои достопочтенные тещи и которую из моих наложниц в очередной раз одолевает чесотка.

Обнимаю тебя сердечно, мой дорогой и такой далекий друг, и остаюсь — *твой Гао-дай*

P. S. К сожалению, господин Ши-ми не забыл о своем желании одолжить у меня компас времени. Сегодня утром он снова говорил со мной об этом.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

пятница, 17 сентября

Мой дорогой и превыше всех любимый друг Цзи-гу!

Благодарю тебя за оба твоих письма — я был вдвойне приятно поражен, получив их, к тому же письма такие большие,— они пришли одно за другим. Отпечаток лапки моей милой Сяо-сяо очень меня обрадовал. Ты спрашиваешь, не против ли я, чтобы мой любимый жеребец по кличке «Белый сон о восходящей луне» покрыл одну из кобыл вице-канцлера; так вот, я категорически против. Вице-канцлер — непроходимый дурак и, кроме того, буддист. В лошадях он не разбирается совершенно, и я не хочу, чтобы драгоценное семя моего племенного «Белого сна о восходящей луне» пропадало в убогой конюшне вице-канцлера. Пожалуйста, откажи ему. Если он сочтет себя обиженным, напомни ему от моего имени, что его сыну — кажется, его зовут Туань По, и он, кстати, гораздо умнее своего папаши — обещана одна из моих дочерей. Их у меня, по-моему, уже три или четыре на выданье. Когда я вернусь, мы все и уладим. Так ему и передай. Пожалуй, я даже напишу ему особо.

Я рад, что ты с таким интересом и участием следишь за моими приключениями, и постараюсь и дальше рассказывать тебе все как можно подробнее.

Вчера вечером я сделал новое открытие. В этот вечер (точнее, в эти два с половиной часа) я убедился, что здесь существует не только шум, но

и музыка. Правда, музыка в этом далеком мире, как и следовало ожидать, сильно отличается от нашей, но мне довольно скоро удалось проникнуть в ее суть.

Господин Ши-ми предварительно подготовил меня к этому вечеру. Сам он, как я уже говорил, учитель, но музыку очень любит. И вот в определенные дни он встречается с тремя друзьями (все четверо собираются друг у друга по очереди), и они музицируют. Если мне до сих пор не доводилось этого слышать, то только потому, что летом они оставляют свои занятия и отправляются путешествовать. Так же, по словам господина Ши-Ми, он обычно поступает и сам: он ездит к южному морю, расположенному за Тройными горами. Лишь в этом году он ради меня остался дома. Узнав об этом, я испытал величайший стыд. Однако он не стал слушать моих извинений, сказав, что общение со мной обогатило его знаниями и опытом неизмеримо больше, чем любая поездка, и что наши с ним беседы стократ окупили для него отложенный отдых. Но я все же высказал ему все слова благодарности, какие только сумел найти, сопроводив их одним и двумя третями поклона. Так или иначе, теперь, в сентябре, они снова будут встречаться и музицировать. Конечно, я с радостью принял его приглашение послушать их игру.

К музыке здесь относятся с большим уважением — во всяком случае, о господине Ши-ми и его друзьях я могу сказать это вполне определенно. Они только играют, и никто при этом не танцует и не поет. (Хотя, по словам господина Ши-ми, у них есть и песни.) Когда играют вчетвером, пояснил господин Ши-ми, это считается вершиной музыкального искусства — по крайней мере, среди знатоков. Играют они без определенной цели. просто, так сказать, ради самой музыки; что это, как не самый достойный взгляд на искусство, который мы с тобой вполне разделяем?

Каждый из четверых — трем гостям я был представлен как гость из далекого Ки Тая, и они меня ни о чем не расспрашивали; они вообще мало говорили,— каждый играл только на о д н о м инструменте. Двое (в том числе господин Ши-ми) играли на деревянном инструменте, похожем на наш эрху, только более плоском, с цельным дном и удлиненной шеей. Я подробно обо всем расспросил и узнал, что этот инструмент называется С'ли П'ка; звук у нее выше и светлее, чем у другого, на котором играл полный, бородатый гость (имя его было Дэ Хоу). Его инструмент по форме похож на С'ли П'ка, но чуть побольше размером. Его называют А-ти. Еще там был сын господина Дэ Хоу, безбородый юноша, игравший на третьем инструменте такого рода, по величине превосходящем оба первых и называемом Ви-э Ло-чэнь. При игре С'ли П'ка и А-ти держат у левого плеча, прижимая подбородком; Ви-э Ло-чэнь ставят между колен. Звук у Ви-э Ло-чэнь глубокий и низкий. На всех этих инструментах играют смычком, как и на нашем эрху, только водят им не под струнами, а над ними. Смычок держат в правой руке, левой же прижимают струны, чтобы добиться нужной высоты звука — тоже как на эрху.

Записывают музыку особыми иероглифами: господин Ши-ми мне их показал. Они выглядят как беспорядочный набор точек, и понять, что написано, я, конечно, не сумел. Однако господин Ши-ми все понимает; если бы я захотел, я тоже мог бы научиться читать их, сказал он. Но я решил пока ограничиться слушанием.

Все четверо уселись в кружок так, чтобы каждый мог видеть другого (я сел в сторонке, заняв большое кресло в углу, чтобы не мешать); они поставили перед собой небольшие железные подставки, на которых лежали листы бумаги с музыкальными иероглифами, и без всякого стеснения принялись настраивать свои инструменты: звучало это ужасно. Я подумал было, что это и есть их музыка, но господин Ши-ми, увидав мое исказившееся лицо, улыбнулся и объяснил, в чем дело.

Сама музыка больше всего напоминает те напевы, которые несравненный Су Цзи-по привез в свое время из западных земель; в ней семь основных и пять вспомогательных тонов, и тона эти чрезвычайно гармоничны и чисты. Больше всего мне понравилась пьеса, написанная, по

словам господина Ши-ми, мастером Бэй Тхо-вэнем, жившим около двухсот лет назад. Пьеса была довольно длинная и состояла из нескольких частей, быстрых и медленных. Мастер Бэй Тхо-вэнь сочинил много вещей; одних только пьес для Небесной Четверицы (так или примерно так следует перевести на наш язык это название) он написал семнадцать. Все его произведения пронумерованы, и то, которое я слышал вчера вечером, имело номер «сто тридцать два». Тон, на котором оно основано, называют «Ляо»; он примерно соответствует нашему тону юй.

Само собой разумеется, что воспринимать эту музыку, совершенно для меня непривычную, я начал далеко не сразу. Я сидел в уголке, в своем кресле; стемнело. Все светильники они придвинули ближе к себе, так что я оказался в темноте, что пришлось мне по душе. В этом мире, холодном и шумном, я видел так мало красоты и так много нелепости, глупости и бессмыслицы, что и сейчас приготовился к самому худшему, ожидая услышать нечто безобразное. Так что рассчитывать на восторженный прием музыка мастера Бей Тхо-вэня с моей стороны не могла.

Когда все четверо наконец приготовились играть, взяв инструменты под подбородок или установив их между колен и приложив к ним смычки — надо признать, что лица у них при этом сделались возвышенны и серьезны,— музыкант, игравший на С'ли П'ка (господин Ши-ми потом объяснил мне, что его считают выдающимся мастером игры на этом инструменте и что музыка — основное его занятие; здесь же он играл «первую С'ли П'ка», то есть был предводителем всего кружка,— имени его я не запомнил, потому что оно слишком длинно и некрасиво), кивком головы подал знак, и музыка началась. Первой вступила Ви-э Ло-чэнь — низкими, протяжными звуками, за ней поочередно прочие инструменты, как бы поднимая мелодию все выше и выше. Мелодия была очень простая и тихая. Затем последовала часть более быстрая, а местами и более громкая, однако и она время от времени прерывалась протяжным, приглушенным напевом.

Хотя мое предубеждение перед музыкой большеносых начало рассеиваться уже при первых нежных звуках этой пьесы — или, если уж быть точным, то нужно бы сказать: хоть первые нежные звуки музыки мастера Бэй Тхо-вэня и лишили меня возможности относиться к ней с предубеждением,— все равно эта музыка показалась мне сначала какой-то неполной, как бы нарочно не оформленной до конца — и, конечно, неточной и нелогичной. Однако уже в первой, по нашим понятиям очень краткой, части я несколько раз ощутил, как захватывает меня волшебство этой пьесы; вскоре я стал узнавать и мелодию, то и дело напоминавшую о себе, и когда под конец одной из частей музыка как бы успокоилась, потом возмутилась, а потом зазвенела первым весенним ветром, я понял, что полюбил и великого мастера Бэй Тхо-вэня и, наверное, всю музыку большеносых.

Затем последовала часть очень быстрая, неоднократно перебивавшаяся чрезвычайно тонкой, нежной мелодией, которую можно уподобить лишь пению волшебной птицы в хрустальном лесу. На этом она и закончилась. Следующая часть была длиннее, и господин Ши-ми сказал мне потом, что не ждал от меня полного ее понимания: она называется «Выздоравливающий смиренно благодарит Бога» и представляет собой, по его словам, лучшее из всего, что когда-либо создано в музыке большеносых. Она глубока и сильна, как глава из священной книги, написанная иносказательным языком: чтобы понять его, нужно долго, а может быть, и всю жизнь почтительно размышлять над нею. Сам он, сообщил господин Ши-ми, играл ее с друзьями много раз, и много раз слышал, как ее играют другие, так что теперь, наверное, может сказать, что в какой-то мере приблизился к пониманию основной мысли этой божественной вещи; утверждать же, что понял ее до конца, он не осмеливается. Если же я, прослушав ее впервые, уже почувствовал близость к великой тайне «Небесной четверицы», это делает мне честь.

Вся эта часть подобна восхождению на высокую гору в тумане: путь труден, и туман рассеивается лишь перед самой вершиной. Тихая, высокая

музыка, не обремененная словами, приближает тебя к чистому, светлому небу и завершается проникновенным созерцанием, подобным шелесту листвы в лунную ночь.

После нее идет часть вполне земная, но тоже сильная — на самом деле она, как господин Ши-ми объяснил мне потом с помощью рисунка (ведь я не понимаю музыкальных иероглифов большеносых), состоит из двух вставленных друг в друга частей; она показалась мне картиной человеческой жизни, со всеми ее подъемами и спадами, с безостановочной сменой лиц, событий и времен года. Эта часть, а вместе с ней и вся пьеса, завершилась мощными, громкими ударами, подобными хлопанью дверей за спиной воина, спешащего из дома навстречу битве.

Я был потрясен. Для меня это было откровением, до сих пор мною не испытанным — и менее всего ожидаемым в этом чуждом для меня мире. Я удалился к себе в комнату и вышел, лишь когда трое друзей господина Ши-ми покинули его дом; господин Ши-ми, конечно, заметил мое состояние и был рад ему. Мы с ним долго говорили о музыке: я большей частью спрашивал, а он отвечал. Он рассказал, что эту, как и многие другие пьесы для того же состава музыкантов, великий мастер Бэй Тхо-вэнь написал в конце жизни, как бы оставляя завещание потомкам, когда его уже постигла судьба, страшнее которой для музыканта быть не может: он оглох. Да, сказал господин Ши-ми, в музыке столько бездарей, и все они обладают нормальным слухом, тогда как великого Бэй Тхо-вэня постигла глухота. Он не мог услышать даже, как звучат его пьесы, сочиненные для Небесной четверицы,— как, впрочем, и другие пьесы, созданные им в последние годы жизни. Но он слышал их своим «внутренним ухом», как выразился господин Ши-ми: возможно, этим и объясняется удивительная освобожденность его пьес от оков земного, человеческого бытия. Потому-то длинная его вещь не просто музыка, а сам свободный дух музыки во всей его чистоте. Так сказал господин Ши-ми, и я с ним полностью согласился.

Впрочем, сообщил господин Ши-ми, у них есть и другие великие мастера, имена которых достойны упоминания рядом с именем великого Бэй Тхо-вэня. Правда, уточнил он, у разных людей могут быть различные мнения, и то, что говорит мне он, это тоже его личное мнение, хотя его, надо сказать, разделяет большинство любителей музыки. Так, примерно за сто лет до Бэй Тхо-вэня жил другой знаменитый мастер по имени Е-гань Сэ Ба-сянь Ба (ужасно длинное имя!), тоже сочинявший замечательную музыку. Этот мастер Е-гань в старости ослеп (хотя вообще музыканты здесь не слепые [1]), и в конце жизни ему пришлось диктовать свои сочинения зятю; однако и эти сочинения так хороши, что их следует считать одной из вершин музыкального творчества большеносых. Называют их «Бегущими звуками», и никто толком не знает, на каком инструменте их следует играть. Эта музыка тоже состоит из неземных созвучий и может быть уподоблена математике, обретшей в человеческой душе звуковую форму. Далее, в одно время с мастером Бэй Тхо-вэнем или, возможно, чуть раньше него жил другой великий музыкант по имени Мо-цао. Он умер очень молодым, однако успел сочинить множество произведений, оставшихся в его время непонятыми, ибо под гладкой формой придворных пьес таились демоны страсти и бури. То же можно отнести и к одному мастеру более позднего времени, также умершему молодым; он считал себя учеником Бэй Тхо-вэня и звался Фань Шу-бэй. Для Небесной четверицы мастер Шу-бэй сочинил пьесу под названием «Форель», которую господин Ши-ми очень любит. После него был еще один великий мастер, о котором можно сказать, что он продолжил труд Бэй Тхо-вэня. Этот бородатый музыкант (господин Ши-ми показывал мне его портрет) был всегда очень серьезен, даже печален; его музыка — это голос уходящего времени. Одну из его пьес господин Ши-ми и его друзья намерены сыграть в следующий раз. Его музыка горька и прекрасна одновременно, как воспоминание об ином, ныне исчезнувшем мире. Его имя — Е-гань Ба Ма'сэ, родом он из одного северного города.

---

[1] В Древнем Китае все музыканты были слепыми.

И был он, по словам господина Ши-ми, последним из великих и высочайших мастеров.

— Что же, теперь мастеров больше нет? — спросил я господина Ши-ми.— Они есть,— отвечал он,— но о них тоже существуют различные мнения.— Далее он рассказал мне о некоторых из ныне сочиняющих музыку, признавая, что кое-что из их произведений нравится и ему, но отметил, что всем им далеко до великого Ба Ма'сэ. На этом, собственно, наша вечерняя беседа и закончилась. Я улегся в свою постель и долго думал о великом мастере Бэй Тхо-вэне, который, будучи столь тяжко поражен безжалостной судьбой, все же нашел в себе силы создать божественную, священную музыку, услышав ее своим чистым внутренним ухом. Я плакал.

В следующий раз, сказал господин Ши-ми, я обязательно должен буду прийти к нему слушать музыку. Он обещал своевременно известить меня и сказал, что для него это будет большая радость. Так я узнал, что и в здешнем мире существует чистая красота — пусть даже она образует лишь крохотный островок посреди всеобъемлющего шума и вони.

Заснул я умиротворенным. Волшебные звуки музыки мастера Бэй Тхо-вэня звучат в моих ушах до сих пор. Я их никогда не забуду.

На этом я заканчиваю свое сегодняшнее письмо к тебе, дорогой Цзи-гу. Ах, если бы и ты мог услышать эти божественные звуки!

Письмо для вице-канцлера я написал и прилагаю [1].

Твой Гао-дай

[ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ]
ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

воскресенье, 3 октября

Мой милый Цзи-гу,

сегодня уже третье полнолуние с тех пор, как я ступил на эту далекую землю. Дни стали короче, ночи — заметно прохладнее, однако осень здесь выдалась на диво теплая и прекрасная.

Большое спасибо за письма, которых в последнее время было неожиданно много, а также за многочисленные дружеские вопросы о госпоже Кай-кун, доказывающие твое сердечное участие в моем с ней знакомстве. То, что вице-канцлер не желает сочетать браком своего хоть и косоглазого, но во всех остальных отношениях блистательного сына с одной из моих жалких и недостойных дочерей, о союзе с которыми мечтает неисчислимое множество других отцов не меньшего ранга, и продолжает настаивать на своем предложении касательно моего лучшего племенного жеребца, «не лезет», выражаясь языком большеносых, «ни в какие ворота». Большеносые говорят так, когда что-то кажется им неприличным и совершенно недопустимым. Да что он себе позволяет, этот наглец? Подумаешь, вице-канцлер,— невелика птица. Должен же я как-то пристраивать своих дочерей. Время-то идет, а они ведь не молодеют. Прошу тебя, сходи к нему еще раз и попроси составить список всех его кобыл с указанием точной родословной для каждой. Выпиши для меня из этого списка тех кобыл (вместе с родословными, естественно), которые покажутся тебе достойными моего замечательного «Белого сна о восходящей луне». Тогда мы и посмотрим. Но скажи ему (я имею в виду вице-канцлера), что жеребца он получит только при том условии, что его сын возьмет за себя хотя бы о д н у... Нет, скажи ему: хотя бы двух из моих дочерей. Поторговаться он сможет и потом, если две для него слишком много.

С позавчерашнего дня я живу на постоялом дворе. Постоялые дворы здесь называют Го-ти Ни-цзя, и гетер для гостей в них не держат; во всяком случае, я пока никаких гетер не видел. Это письмо я пишу, сидя в большой гостиной своей Го-ти Ни-цзя, которая носит имя «Четыре времени года». Госпожа Кай-кун для меня все устроила. Она даже одолжила мне один из тех странных четырехугольных кожаных сундуков — они называются Чэнь

---

[1] Это письмо в собрании писем Гао-дая не сохранилось; очевидно, Цзи-гу не приобщил его к письмам друга, а передал адресату.

Мо-дан,— без которых ни один большеносый не отправится в путешествие. В этот сундук, сказала она, я могу сложить мое платье и вообще все вещи, скопившиеся у меня за время пребывания здесь. Кроме того, объяснила она, в таком приличном заведении, как эта Го-ти Ни-цзя, не принято останавливаться без вещей. Если я появлюсь там без Чэнь Мо-дан, ключник может принять меня за человека низкородного и никчемного. Ранг человека определяется здесь по количеству и величине его Чэнь Мо-дан. Госпожа Кай-кун заехала за мной на своей Ма-шин к господину Ши-ми, хотя, по ее словам, у нее ужасно много дел. Не спрашивай меня, что это за дела: я не знаю. Кроме пустого сундука, в который я сложил свои вещи, она привезла еще три полных, чтобы я явился на постоялый двор владельцем четырех Чэнь Мо-дан и был принят с подобающей почтительностью. Теперь мне, правда, придется довольно далеко ездить до нашего почтового камня, но зато дом госпожи Кай-кун находится совсем рядом с Го-ти Ни-цзя: если идти не самыми маленькими шагами, то до него их наберется всего пятьсот.

С господином Ши-ми мы распрощались очень тепло. Наша дружба, решили мы, не прекратится с моим переездом. Мы условились, что в один из следующих дней он сводит меня на заседание суда. С частной жизнью большеносых я уже познакомился, теперь пора знакомиться с их общественной жизнью. Кроме того, он будет и дальше приглашать меня на музыкальные вечера, устраиваемые им вместе с тремя друзьями (три дня назад я во второй раз побывал на таком вечере, и он произвел на меня, наверное, даже большее впечатление, чем первый). Таким образом, наша связь с господином Ши-ми не прервется. Об этой затее с компасом времени мы в тот вечер, конечно, тоже говорили. Я уже писал тебе, что решил удовлетворить просьбу господина Ши-ми. Теперь я сказал ему об этом. Он долго и горячо благодарил меня. Охотнее всего он воспользовался бы им немедленно, но этому помешало одно обстоятельство, о котором он не подумал: в ближайшие дни приезжает его достопочтенная вдовая госпожа матушка. Если его не будет дома, она будет чувствовать себя неловко. Поэтому ему скрепя сердце пришлось отложить свое путешествие во времени до тех пор, пока госпожа матушка не уедет обратно. О том, как эта задержка обрадовала меня, ты, конечно, догадался и сам. Может быть, к тому времени он все-таки откажется от своей затеи. Компас я, переехав на постоялый двор, взял с собой.

Когда госпожа Кай-кун приехала за мной, вид у господина Ши-ми, несмотря на всю сердечность нашего прощания, сделался довольно недоуменный, потому что о характере наших с ней отношений он, конечно, может только догадываться. А поскольку я часто читаю по его лицу, о чем он думает, он же по моему лицу ничего прочесть не может, он совсем смутился. Но госпожа Кай-кун вела себя как всегда, то есть была мила и непринужденна. Да и потом, в конце концов, какое господину Ши-ми дело до моих с ней отношений, хоть он и мой друг, которому я многим обязан?

Да, я часто, если не всегда, знаю, о чем думают большеносые, по их лицам, тогда как они на моем лице ничего прочесть не могут. Почему? Как-то раз я откровенно заговорил об этом с господином Ши-ми; он сказал, что ему уже не раз доводилось видеть представителей нашего народа, то есть наших нынешних правнуков, внешность которых, по его словам, весьма сходна с моею. С ними у него дело обстояло точно так же. Никто из большеносых, сказал он, не в состоянии ни о чем судить по их лицам: наше обычное лицо кажется им вечно улыбающейся, если не сказать ухмыляющейся, а оттого обманчивой маской, потому что враждебной реакции не предшествует перемена выражения лица.

Я объясняю себе это тем, что черты лица у большеносых очень грубы. Природа снабдила их не только большими носами, но и выпуклыми круглыми глазами, пухлыми губами, сильно выступающими подбородками и огромными зубами. Ясно, что таким чудовищным лицом никакая, даже самая волевая душа не способна овладеть полностью. Любое движение души тут же отражается на лице, а поскольку черты его так грубы, то даже самое благородное ее движение (а уж неблагородное — тем более)

приобретает преувеличенную, уродливую форму. Когда большеносые радуются, они показывают зубы, растягивая рот кверху, когда злятся — тоже показывают зубы, только искривляя рот книзу или оттопыривая нижнюю губу. Часто лицо у них при этом делается устрашающе красного цвета. И это лишь простейшие примеры. Можешь представить себе, как это пугает человека незнающего: мне потребовалось немало времени, чтобы разобраться во всем этом. Теперь-то выражение лиц большеносых меня не только не пугает, но часто даже смешит, так что мне приходится сдерживаться. Даже если это лицо госпожи Кай-кун.

Итак, господин Ши-ми взял мой Чэнь Мо-дан — он ни за что не хотел позволить мне сделать это самому,— и снес его вниз. Я нес свою сумку. Внизу распрощался с достопочтенной матушкой господина Ши-ми, отвесив ей три четверти поклона и сказав несколько приличествующих случаю комплиментов — она при этом тоже показала мне свои зубы,— обнял господина Ши-ми, произнеся целую речь, в которой благодарил его за все оказанные мне благодеяния, сел в маленькую Ма-шин госпожи Кай-кун, и мы уехали.

В синей повозке Ма-шин, принадлежавшей госпоже Кай-кун, было очень тесно — ведь в ней находились четыре больших Чэнь Мо-дан и моя сумка. Но повозка выдержала, и госпожа Кай-кун управляла ею в этом царящем на здешних дорогах хаосе столь искусно, что мы уже через короткое время прибыли в Го-ти Ни-цзя. Подбежавший слуга распахнул дверь повозки, и — тут я снова убедился, что могу читать по лицам большеносых,— был явно поражен тем, что в такой маленькой Ма-шин смогли поместиться два человека, четыре сундука и дорожная сумка.

Однако далее возникло одно досадное затруднение. Чтобы ты понял, в чем оно состояло, я снова должен сделать отступление и напомнить тебе о том почтении, с каким большеносые относятся к бумаге. Это почтение настолько велико, что весь здешний мир можно с полным правом назвать «бумажной культурой», первым подтверждением чего, как ты знаешь, стали для меня их бумажные деньги. Так вот, оказалось, что каждый большеносый должен иметь, а по возможности и всегда держать при себе особую, принадлежащую только ему бумажную книжицу, в которой все написано про него же, причем в мельчайших подробностях (например, когда мать произвела его на свет и где именно, о чем у нас никому и в голову не придет спрашивать, какого он роста и тому подобное); имеется в ней и небольшой портрет владельца. Книжицы эти здесь почитают так, как если бы они составляли половину человека. Да так оно, в сущности, и есть: большеносые состоят из двух половин. Первая — это сам человек, из плоти и крови, вторая — его бумажная книжица. Причем одна половина без другой нежизнеспособна. Я попросил госпожу Кай-кун одолжить мне свою книжицу, чтобы на досуге сделать себе такую же, что, наверное, нетрудно. Но она сказала, что это невозможно. Такие книжицы выдаются особой управой. Подделку сразу же распознают, а меня сочтут если не разбойником и убийцей, то вором-то уж наверняка. Что ж, сказал я, тогда пойдемте туда, в управу, и пусть мне выдадут мою книжицу там. Нет, из этого тоже ничего не выйдет, потому что потребуют другие «бумаги», которых у меня, разумеется, тоже нет. Все это чрезвычайно сложно. Она попытается устроить, чтобы мне выдали такую книжицу, но на это нужно время. Ей надо поговорить кое с кем (в частности, с тем человеком, который тогда был у нее в гостях вместе с нами, у него еще такое сложное имя), а для этого надо придумать толковое объяснение и так далее.

Эта-то трудность, связанная с отсутствием у меня указанной книжицы, и возникла передо мной немедленно, как только я очутился в Го-ти Ни-цзя, ибо это было первое, что потребовал от меня старший ключник постоялого двора, толстый и совершенно лишенный волос большеносый. Госпожа Кай-кун обрушила на него целый поток очень быстрых слов. Я понял не все, но уловил, что она рассказывает, как я якобы лишился своей книжицы в результате несчастного стечения обстоятельств. К счастью, госпожа Кай-кун оказалась знакома с начальником этого ключника, за которым тут же

и послали. То же самое она рассказала и ему, поклявшись, что меня и без книжиц можно считать вполне нормальным, а мои коричневые бумажки, равные по стоимости двум ланам серебра, которые я вручил им в качестве платы за свое будущее проживание, довершили дело: мне дали листок бумаги с мелкими надписями и позволили вписать в него имя «Гао-дай» — четкими, разборчивыми буквами большеносых (этим искусством я уже вполне овладел).

Постоялый двор «Четыре времени года» расположен в таком большом и сверкающем здании, что его — если судить по тому стилю, которого придерживаются большеносые в своих постройках,— вполне можно было бы принять за дворец канцлера. На полах толстые ковры, освещение везде очень яркое. Залов, коридоров и лестниц так много, что среди них легко заблудиться, но всюду стоят слуги, готовые прийти на помощь. Правда, за это им нужно немедленно дать чаевые. Госпожа Кай-кун предупредила меня, чтобы я не давал им слишком много. Это меня не удивило, ибо и у нас говорят: человек истинно знатный не дает больших чаевых. Деньгами швыряется лишь тот, кто хочет пустить пыль в глаза.

Хотя в этой Го-ти Ни-цзя и полно лестниц, большеносые по своей лености ими не пользуются. Везде устроены особые повозки, избавляющие их от необходимости утруждать ноги. Эти повозки похожи на небольшие комнаты (в которых на стене почему-то всегда висит зеркало), и ездят они совершенно так же, как железные дома на улицах, только не вперед и назад, а вверх и вниз. В такую повозку мы и вошли. Слуга тащил наши Чэнь Мо-дан. Мы приехали на второй этаж. Там слуга отпер дверь одного из покоев, поставил Чэнь Мо-дан и протянул руку. Я дал ему чаевые, и он удалился. Госпожа Кай-кун тотчас же разделась и сказала, что мы должны «обновить» постель (постель тут, кстати, большая и очень мягкая). Она сняла и свой станочек для глаз, и я насладился теми неизменно прекрасными радостями любви, которыми госпожа Кай-кун не устает восхищать меня. В этот раз она побаловала меня приемом «Летний ветер», причем так, что я испугался даже, не прокусит ли она подушку, принадлежащую все-таки не мне, а хозяину этого дворца.

Потом она снова оделась, а я вызвал слугу и велел ему принести бутылку Шан-пань, которую мы и опустошили. Комната у меня очень большая, гораздо больше той, которую я занимал у господина Ши-ми. В ней несколько окон, выходящих на улицу, и несколько боковых помещений. Да и улица намного оживленнее, чем та, где живет господин Ши-ми. Отодвинув тяжелые занавеси и подойдя к стеклу, я могу наблюдать за жизнью большеносых. Бесчисленные повозки Ма-шин носятся туда-сюда, проведенные по земле железные линии обозначают путь домов на колесах, которые время от времени тоже пробираются сквозь общую суету. Людей на улице тоже множество, они движутся во всех направлениях, и смысла в этом хаотическом движении я, сколько ни смотрю, уловить не могу — а смотрю я в окно, отодвинув занавеси, довольно часто. Теперь со мной рядом нет господина Ши-ми, и иногда, когда наступает вечер, а у госпожи Кай-кун нет времени, меня в этой огромной Го-ти Ни-цзя охватывает тоска по родине. Однако Луне предстоит смениться еще несколько раз, прежде чем я смогу вернуться. Не забудь зайти к вице-канцлеру.

Приветствую и сердечно обнимаю тебя. Твой далекий друг —

Гао-дай

[ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ]
[ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ]

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

воскресенье, 17 октября

Мой бесценный друг Цзи-гу,

здесь уже окончательно наступила осень. Листья меняют окраску. Сегодня — первое осеннее новолуние. Никого из большеносых это не волнует. Когда я сообщил об этом госпоже Кай-кун, она лишь слегка удивилась:

«Правда?» Большеносые утратили не только взаимосвязь с окружающим миром, но и чувство необходимости такой взаимосвязи, а потому не воспринимают хаоса, в котором живут, как хаос.

С другой стороны — если воспользоваться приемом большеносых, привыкших не только вечно нестись то в одну, то в другую сторону, но и до бесконечности вертеть любые предметы, рассматривая их со всех сторон,— возможно, это и к лучшему, что им, живущим в хаосе, не дано его ощущать. Разве тогда хаос, не воспринимаемый как таковой, не становится порядком?

Любой большеносый — если он, конечно, вообще задумывается над такими вещами,— не преминет ответить на этот вопрос утвердительно. Однако и это объясняется тем, что они утратили представление о связи вещей, заменив его представлением о чрезвычайной важности собственной персоны. Мы же, благодаря трудам великого Кун-цзы и его учеников, обладаем прочными знаниями об округлости неба и о четырехугольности земли, о дне и ночи, о пяти сторонах света, о четырех временах года и пяти видах злаков — хотя зачем я тебе рассказываю, друг мой, ты и сам все знаешь. Наш мир устроен безупречно, как дом, возведенный искусным мастером, и хаоса в нем не возникает — по крайней мере до тех пор, пока мы не забываем поддерживать порядок. Если же мы захотим узнать, что́ есть истина, нам достаточно обратиться к великой книге «Лунь Юй» или к бессмертному трактату «Ли-цзи».

Разумеется, и у нас не всегда был порядок. Людям нашего поколения это известно даже слишком хорошо, ведь мы еще помним ужасы тяжких кровопролитных войн в эпоху Пяти Династий, конец которым положил лишь благородный отец ныне царствующего императора, столь рано, к сожалению, от нас ушедший. Чем объяснялись эти междоусобные войны? Все тем же хаосом. Тем, что люди перестали придерживаться древних обычаев и нравов, что правители бросили заботиться о воспитании народа, что младшие братья отказались слушаться старших, а дети — родителей, и что на должности канцлеров, главных писцов, тайных советников и мандаринов князья стали назначать не достойнейших из достойнейших, а тех, кто громче кричал. Ну, а в том, что в хаосе был повинен и этот трижды — нет, что я говорю — три тысячи раз проклятый буддизм, ни ты, ни я не имеем ни малейшего сомнения.

Но здесь я не хочу говорить об этом вредном, глупом и прежде всего примитивном учении невежды по имени Будда, которое, к несчастью, уже шестую сотню лет отравляет сознание нашего народа, так что искоренить его, судя по всему, уже не удастся.

Поэтому не приходится удивляться, что, когда люди забыли о необходимости содержать в порядке механизм, обеспечивающий взаимодействие законов земных и небесных, это не обошлось без последствий. Реки выступили из берегов, злаки перестали плодоносить, нефритовый скипетр утратил свой блеск, скорпионы стали жалить маленьких детей, а под конец разразились и войны Пяти Династий. Однако было ясно, что стоит лишь вновь запустить в ход механизм, как порядок восстановится сам собой.

Большеносые же вообще не признают существования такого механизма. Они смутно ощущают присутствие хаоса, ибо и сами в какой-то мере страдают от охватывающей их суеты — на примере госпожи Кай-кун я наблюдаю это почти ежедневно,— однако отказываются признать его действительные размеры. Уверившись, что должны подчинить себе все окружающие их вещи, они окончательно утратили чувство необходимости самим подчинять себя законам мира, в котором живут.

У них есть целая наука, утверждающая, что знает самые сокровенные тайны души. Наука эта так же жалка, как и буддизм, с которым она, кстати, имеет некоторое сходство. Уже сама эта наука есть типичное порождение мира большеносых. Вместо того, чтобы изучать взаимосвязи, объединяющие небо и землю, устраивая жизнь в согласии с ними, они вслушиваются в стоны своих несчастных душ, пытаясь определить, какой червь гложет их сегодня. Поэтому и корень всех зол они находят не в хаосе, возникшем из-за утраты знаний об этих взаимосвязях, а в самых нелепых вещах, якобы

повредивших их душе в раннем детстве или вообще в материнской утробе,— таких, например, как неправильно выбранная каша, слишком горячие или, наоборот, слишком прохладные ванны.

Покопавшись таким образом в собственной душе, большеносые начинают чувствовать себя больными — еще одна нелепость не лучше прочих. Кто долго ищет у себя болезнь, найдет ее. Сочтя свою душу больной, большеносые ощущают неуверенность. От этой неуверенности они принимают лекарства — маленькие розовые или желтые пилюли (цвет пилюль не зависит от времени года, как я полагал вначале, а выбирается произвольно), отчего у них портится желудок. Это я тоже, к сожалению, слишком часто наблюдаю у госпожи Кай-кун. Но она предпочитает иметь боли в желудке, чем дать себе труд задуматься над взаимосвязью вещей. Я порекомендовал ей прочесть бессмертный трактат «Ли-цзи» — он тоже имеется в переводе на язык большеносых. Для этого я побывал в одной из огромных книжных лавок и осторожно,— боясь, чтобы меня не высмеяли,— осведомился о нем. Там была одна дама, отвечавшая на вопросы посетителей. К ней-то я и обратился, и она действительно вскоре принесла мне не только «Ли-цзи», но и «Лунь Юй», и «И Цзин», и даже «Дао Дэ-цзин», и все на языке большеносых! Сейчас я настолько свободно читаю на этом языке, что вполне могу определить, хороши ли переводы; они хороши. Смысл наших мудрых книг передан верно. Купив указанный трактат, я с поклоном преподнес его госпоже Кай-кун, попросив немедленно прочесть его. Она его так и не прочла до сих пор. У нее для этого «нет времени». Хотя на самом деле, я думаю, она просто боится приобщения к истинному знанию, предпочитая глотать свои пилюли.

О так называемой науке, копающейся в человеческой душе, я узнал благодаря госпоже Кай-кун. Как-то раз, это было уже давно, она сообщила, что со мной хочет познакомиться одна ее подруга. Я не имел ничего против, ибо всегда рад возможности узнать новое, а потому согласился, не подозревая, что меня ожидает. И вот несколько дней назад, вскоре после того, как я отправил тебе последнее письмо, госпожа Кай-кун предупредила меня, что вечером мы пойдем к этой подруге.

Я понимаю, что эти мои слова о госпоже Кай-кун весьма походят на упреки, а потому прошу тебя не думать, будто при близком знакомстве мои чувства к ней изменились настолько, что она кажется мне теперь безмозглой курицей. Нет, я по-прежнему сильно к ней привязан, и те радости любви, которыми она меня дарит, очень меня ободряют. Недостатки же, столь осуждаемые мною, присущи не ей лично, а всему племени большеносых, тому окружению, влияния которого она избежать не может — и, очевидно, не сможет, не прочитав «Ли-цзи». Госпожа Кай-кун все так же трогательно обо мне заботится, зовет меня своим «Ки Тайчонком» и делает все возможное, чтобы скрасить мое пребывание здесь. Так, она специально ради меня купила себе очаровательную красно-коричневую ночную рубашку из ткани, похожей на тонкую сетку... Впрочем, об этом я, собственно, рассказывать не намеревался. Она печется обо всех моих нуждах и даже заранее предупредила подругу, чтобы та ни в коем случае не готовила блюд, содержащих коровье молоко, и запаслась достаточным количеством бутылок Шан-пань, не забыв хорошенько охладить их к нашему приходу. И вот настал вечер; мы уселись в маленькую Ма-шин госпожи Кай-кун и долго ехали по улицам города, пока наконец не достигли предместья, где уже растут деревья. Однако дома там большие, а некоторые почти так же велики, как и городские. В одном из таких домов и живет означенная подруга. Зовут ее госпожа Да Х'мань, и ростом она немного выше меня.

Как я узнал, госпожа Да Х'мань замужем, но муж ее далеко, так что свои приказы он отдает ей по Тэ Лэй-фаню. Детей у госпожи Да Х'мань нет. Это, кстати, тоже одна из особенностей мира большеносых, требующая пояснения. Ты знаешь, я не люблю разговоров о вещах интимных, однако здесь дело и с этим обстоит столь необычно, что придется сделать исключение. После того, как я достаточно долго делил ложе с моей прекрасной возлюбленной, госпожой Кай-кун, при этом нисколько себя не сдерживая

и вверяя ее лону всю свою мужскую силу, я задумался о последствиях: ведь если я не ошибаюсь, то спустя недолгое время после моего отъезда госпожа Кай-кун должна будет произвести на свет ребенка. Если это будет сын, подумал я, он получит имя Гао-кун.

И вот однажды я заговорил об этом с госпожой Кай-кун, предложив ей взять золотые чашечки, мой неприкосновенный запас, чтобы было на что воспитывать ребенка. Однако она рассмеялась и сказала, что об этом я могу не беспокоиться. Решив, что мы каким-то образом не поняли друг друга, я объяснил, что, на мой взгляд, дети могут беспокоить родителей лишь в том случае, если они не поддаются воспитанию и не признают порядка. А в остальном — какое же тут беспокойство? У меня — пусть даже, с точки зрения большеносых, в далеком прошлом — было четверо сыновей от старшей жены и восьмеро — от наложниц, а кроме того, еще около тридцати дочерей, и все же я каждый раз радовался рождению ребенка, тем более сына. Немного странно, конечно, что ребенок родится от семени, которому, так сказать, тысяча лет: это нарушает естественную последовательность поколений. Однако если даже из-за того хаоса, который я застал в мире большеносых, небо не обрушилось людям на голову, то оно тем более не обрушится из-за одного маленького ребенка — по крайней мере, я на это надеюсь.

Но госпожа Кай-кун заверила меня, что ребенка быть не может. Неужели она бесплодна? — огорчился я. Нет, она не бесплодна, успокоила она меня: она просто принимает пилюли.

Да-да, так оно и есть. Большеносые принимают пилюли не только от душевных мук, но и для того, чтобы не рождались дети. Я, разумеется, попросил показать мне такую пилюлю. Она маленькая, белого цвета, и принимают ее не так, как вполне естественно было бы предположить, а просто кладут в рот.

Поскольку роды, насколько я слышал, вещь для женщин довольно мучительная, можно было бы ожидать, что, обладая такими удобными пилюлями, женщины у большеносых вообще рожать перестанут. Однако это явно не так, ибо детей здесь довольно много. Об этом я тоже спросил госпожу Кай-кун. Она объяснила, что эта проблема приняла у них иную форму. Не иметь детей предпочитают, во-первых, женщины знатные и образованные — или просто легкомысленные, но желающие сохранить свою свободу (вот еще одно странное представление, понять которое нам с тобой очень трудно), во-вторых, наложницы, раздевающиеся танцовщицы и иные подобные им дамы; если у них и появляются дети, то очень, очень редко, да и то чаще всего по ошибке, когда они забудут вовремя принять маленькую белую пилюлю. Много детей бывает у женщин из простонародья. Есть, конечно, исключения: так, она сама знакома с одной семьей, где муж — известный ученый, да и жена отличается большим умом, и у них много детей, кажется, семь или даже девять. Она никогда не расспрашивала их об этом, но полагает, что мужу, прославившему свое имя на поприще не только науки, но и музыки, просто очень нравится быть о т ц о м. Такое случается, хотя и не часто. Кроме того, здесь играют роль и религиозные взгляды — госпожа Кай-кун объяснила мне и это, но подробный пересказ ее слов завел бы меня слишком далеко.

Вообще же, продолжала госпожа Кай-кун, в стране Ба Вай и соседних с ней государствах детей с каждым годом рождается все меньше, потому что люди здесь живут богато, у них есть магнитные световые картинки и другие развлечения. Однако имеется много стран, где ничего подобного нет,— эти страны, по словам госпожи Кай-кун, носят нелепое и на первый взгляд необъяснимое название «третий мир»,— там детей рождается очень много, даже слишком, так что на всех не хватает места, но в первую очередь не хватает еды.

— А Срединное царство, или Ки Тай, как ты его называешь, тоже принадлежит к странам, именуемым «третьим миром»? — спросил я.

— И да, и нет,— ответила она. Тут тоже все оказалось очень сложно.

— Хорошо,— продолжал я свои расспросы.— Если людей в тех стра-

нах стало так много, что им негде ногу поставить (что неудивительно, ибо ноги в этом мире у всех очень велики,— подумал я при этом, однако вслух не сказал, так как у госпожи Кай-кун, между нами говоря, ноги тоже слишком велики — по нашим понятиям, конечно), и если они от голода уже начинают пожирать друг друга — что, конечно, помогает сократить население, но не решает проблему полностью,— то почему люди оттуда не едут сюда, где еще достаточно и еды, и места?

— О, это очень просто,— ответила госпожа Кай-кун.— Они об этом не знают.

— А вы, конечно, не спешите сообщить им,— догадался я.

— Конечно,— подтвердила она.

И все же дело тут, как мне кажется, обстоит не совсем так. Попробую выяснить поточнее. Возможно, я еще спрошу об этом господина Юй Гэнь-цзы.

Так или иначе, детей у госпожи Да Х'мань нет. Она принадлежит к тем образованным и знатным дамам, которые «дорожат своей независимостью» — что бы это ни значило в приложении к женщинам. Приняла она нас радушно. Угощение тоже было вполне сносным. Шан-пань был охлажден как следует. Мы беседовали о том о сем, и я испытывал истинное удовольствие, хотя статуэтки, ковер и некоторые другие вещи, находившиеся в комнате, неприятно напомнили мне о буддизме.

Когда после ужина прошло некоторое время, госпожа Да Х'мань неожиданно предложила сходить «попариться». Я не понял, о чем идет речь, однако госпожа Кай-кун немедленно согласилась, говоря, что объяснять слишком долго, лучше уж я сам все увижу. Вообще же это освежает и бодрит.

Я не буду рассказывать тебе все подробности. Скажу лишь, что «парятся» большеносые в особых подвалах, именуемых «Сяо На» и введенных у них совсем недавно. Кто их изобрел и что он при этом думал, остается для меня загадкой. Скорее всего, это связано с одной из неискоренимых привычек большеносых — поливать себя водой по любому поводу. Об этом я как-нибудь напишу тебе подробнее. Вообще же я заметил, что большеносые удивительно любят быть мокрыми. Когда был придуман этот способ «париться», многие из большеносых немедленно устроили у себя в домах купальные подвалы. (У нас в Го-ти Ни-цзя тоже такой имеется; однако я в него не хожу.) Подвал обычно тесен, обшит досками и настолько жарко натоплен, что почти невозможно дышать. Войдя туда, большеносые усиленно поливаются водой, хотя и без того потеют, как напуганные поросята, и хлещут друг друга по спине свежесорванными розгами; худшее же из всего, что обязан совершать «парящийся»,— регулярные прыжки в холодную воду. С тех пор, как кипящая вода исключена у нас из списка дозволенных пыток, мир не видел ничего подобного.

Впрочем, сколь ни мучительна была эта пытка, благодаря ей я тоже пережил нечто любопытное: когда мы спустились в подвал, обе дамы, нисколько не стыдясь, разоблачились донага. Да-да, госпожа Да Х'мань тоже разделась без всякого стеснения. И хотя я протестовал, как мог, меня тоже заставили раздеться. Госпожа Кай-кун довольно язвительно шепнула мне, чтобы я бросил свои «Ки Тайские церемонии»: в Сяо На жеманиться не принято, и если бы я, как хотел сначала, оставил на себе штаны, то хозяйка сочла бы это крайне невежливым.

Итак, мы уселись: госпожа Кай-кун, госпожа Да Х'мань и я. Некоторое время спустя я осмелился поднять взгляд на нашу хозяйку. Она была худая, как мальчишка, и загорелая, точно раб после месяца полевых работ; грудь же у нее была поистине гороподобна. Величественные размеры груди здешних женщин бросились мне в глаза еще в той Харчевне Раздевающихся Дам, где мы побывали вместе с мастером Юй Гэнем, а потому я считаю своим долгом внести некоторые поправки в тот образ госпожи Кай-кун, который ты мог составить по полученным от меня письмам.

Для того, чтобы ты понял мои слова, мне придется сделать еще одно небольшое отступление: вначале я писал, как ты помнишь, что так же не

могу различать жителей здешнего мира, как не мог бы различить ящериц, сбившихся в плотный клубок в прохладной пещере (ты легко поймешь, откуда взялось это малоприятное сравнение, если внимательно читал мои письма, в чем я, впрочем, не сомневаюсь). Со временем я научился различать их лица, однако долго не умел отличать мужчин от женщин — если, конечно, лицо искомой персоны не украшала окладистая борода, что здесь встречается не так уж часто. У женщин большеносых всегда очень крупные (по нашим понятиям) ноги, почти ничем не отличающиеся от мужских. Долгое время я полагал, что все большеносые, встречающиеся мне на улицах, принадлежат к мужскому полу. Ведь, по нашим понятиям, женщине на улице просто нечего делать. Таким образом, я перенес наше представление о женщинах на здешние свои наблюдения. И как ты теперь уже знаешь, ошибся. Потом я какое-то время думал, что мужчин и женщин у большеносых можно различить по цвету зонтиков. В какой-то мере это верно, как я выяснил, однако способ этот действует лишь во время дождя, ибо большеносые пользуются зонтиками только для защиты от воды, зонтиков же для защиты от солнца не знают. А дождь у них хотя идет и часто, но тоже не всегда.

Потом, позже, я заметил, что у здешних женщин необычайно велика грудь. У нас, правда, старухи и кормилицы тоже имеют большую грудь, но мы воспринимаем это скорее как отклонение от нормы. Вообще грудь, нормальная по нашим понятиям, встречается у женщин большеносых редко. Кроме того, они нарочно носят платье, открывающее и подчеркивающее грудь. Первая неприкрытая грудь, увиденная здесь мною — ибо столь много раз описанное мной полупрозрачное платье с волнистым узором никак нельзя назвать прикрытием,— принадлежала госпоже Кай-кун. Вполне естественно, что мне, привыкшему к совершенно иным масштабам, она, при всем изяществе формы и окраске цвета юных персиков, показалась неправдоподобно огромной. Однако далее у меня была возможность наблюдать груди женщин, загоравших нагими на лугах в яркие солнечные дни, а также груди танцовщиц в Харчевне Раздевающихся Дам, куда привел меня господин Юй Гэнь-цзы; и, наконец, теперь я мог вблизи рассмотреть грудь госпожи Да Х'мань. В итоге могу сказать следующее: хотя женщины большеносых по возможности избегают рожать детей, а если рожают, то сами их не кормят (я узнал об этом из беседы с мастером Юй Гэнем, возникшей по поводу особенно выдающейся груди у одной из раздевающихся акробаток в упомянутой харчевне), груди у них тем не менее развиты чрезвычайно богато, и ног они девочкам не перевязывают. По н а ш и м понятиям, грудь госпожи Кай-кун столь же непомерно велика, сколь и ее ноги. Однако по з д е ш н и м понятиям она скорее мала, да и ноги тоже.

Наш великий мудрец с Абрикосового холма говорил: благородный муж, придя в чужой край, не стремится ввести там свои обычаи, а наоборот, подчиняется, насколько ему позволяют убеждения, обычаям этого края. Вот так и я, по крайней мере в этом отношении, придерживаюсь обычаев большеносых и нахожу большую грудь красивой. И, скажу тебе, в этом есть свои прелести. Однако, как я уже говорил, я не люблю бесед на интимные темы, а потому на этом закончу.

После того, как обе дамы наконец решили, что «попарились» достаточно, мы оделись и снова поднялись в квартиру госпожи Да Х'мань. Мое бедное тело потеряло при этом столько жидкости, что ссохлось, как сушеное яблоко, так что я проглотил, кажется, целую бутылку Шанпань одним глотком.

В ходе дальнейшей беседы как раз и выяснилось, что госпожа Да Х'мань занимается упомянутой наукой о душе. Моя возлюбленная, госпожа Кай-кун, сообщила ей только, что я — Ки Таец, приехавший в Минхэнь учиться. Госпожу Да Х'мань это страшно заинтересовало. Она начала говорить о различиях, существующих между, как она выразилась, «дальневосточной» душой и душой большеносых, которую она назвала «западной». При этом я довольно скоро убедился, что об учении великого Кун-цзы она

не имеет ни малейшего понятия, «дальневосточную» же душу связывает в первую очередь с ненавистным мне суеверием буддизма. Однако поучать ее в данной ситуации показалось мне неприличным, да и, кроме того, признаться, Шан-пань уже начал оказывать действие, окружив меня плотным, почти непроницаемым облаком у-вэй. Поэтому я лишь кивал, время от времени произнося: — Да, да.

Когда пришло время прощаться, госпожа Да Х'мань поблагодарила меня за чрезвычайно интересную беседу (хотя я за все время так и не произнес ничего, кроме «да, да») и сказала, что знакомство с моей удивительной душой сильно подвинет вперед ее любимую науку. Я поклонился и ответил, что сердечно благодарю ее за замечательное угощение, устроенное для столь ничтожного лица, как я, за не менее замечательное «попаривание» в купальном подвале — за столь гостеприимную возможность лицезреть ее выдающуюся грудь, напомнившую мне своими формами священные горы Тянь-Шань: образ ее запечатлится в моей памяти навеки.

Тут же выяснилось, что этого говорить не следовало, ибо госпожа Да Х'мань сделала недоуменное лицо и даже отступила на шаг назад. После, когда мы ехали домой, госпожа Кай-кун объяснила мне, что хвалить столь непринужденным образом грудь чужой женщины считается у них неприличным. Вот уж чего я не понимаю: она ведь действительно совершенно свободно предоставила мне свою грудь для обозрения! Ладно, пусть в этом разбирается, кто хочет. Мое дело — наблюдать и запечатлевать свои наблюдения. «Знающий,— говорит великий Кун-цзы в четвертой главе трактата «Лунь Юй»,— еще не столь совершенен, как ищущий; ищущий же не столь совершенен, как тот, кто безучастно познает окружающее».

Несколько дней спустя госпожа Кай-кун передала мне привет от госпожи Да Х'мань. Я спросил, простила ли она мне мою невольную бестактность. Да, сказала госпожа Кай-кун, конечно, потому что она потом старательно все обдумала и еще раз перечитала книги основателей своей душеспасительной науки. Сделанный мною комплимент она объясняет тем, что меня в детстве слишком рано отлучили от кормилицыной груди. Великое небо, до чего они здесь только не докопаются, подумалось мне. Кроме того, продолжала госпожа Кай-кун, моя душа показалась госпоже Да Х'мань столь интересной, что она готова принять меня совершенно бесплатно. Она предлагает мне самому назначить время и зайти к ней. Но я, скорее всего, не воспользуюсь этим приглашением.

Прими же самый сердечный привет и заверения в глубоких дружеских чувствах от твоего далекого друга – -

Гао-дая

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

понедельник, 25 октября

Мой дорогой, неоценимый друг!

Спасибо за чудесное и столь обрадовавшее меня письмо. То, что ты списал для меня все двадцать девять стихотворений, очень меня тронуло, хоть в этом и не было нужды. Кроме того, бумага, способная выдержать путешествие через века, все-таки слишком дорога, так что, по-моему, лучше тратить ее на вещи более достойные, нежели стихи высокопочтенных членов императорской Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал». Двадцать девять стихотворений! Из них девятнадцать принадлежат господину Куан Вэй-фо! Хотя я, уезжая, строго-настрого наказал, чтобы к осеннему состязанию поэтов каждый подал не более двух стихотворений. О чем только думал этот Куан Вэй-фо, сочиняя эту кучу стихотворений? Да еще таких длинных? Ведь мне придется читать все это... Вообще Куан Вэй-фо — один из назойливейших писак, которых я когда-либо видел. Когда его где-то не признают первым, не включают куда-то, он делается совершенно невыносимым. Зато лентяй Ку Гуа-шэн, как я вижу, опять не прислал ни строчки. Возможно, он не справился с заданием. Это, конечно, хорошо в том смысле, что на мою долю достанется одной глупостью меньше, однако столь явное пренебрежение предложенной честью уже граничит с наглостью. Великое небо, за какие грехи Сын Неба возложил на

меня сию почетную обязанность — начальствовать над его достопочтенной Палатой поэтов? Уж лучше бы я присматривал за разведением государевых пекинок или за удобрением казенных полей. В условленный срок я сообщу тебе, какому стихотворению можно присудить награду. Время у меня еще есть.

То, что вице-канцлер соизволил наконец дать согласие на брак своего сына с моей дочерью, очень меня радует. Теперь надо как можно скорее уладить это дело. Мне хочется, чтобы в следующем году, когда я вернусь — надеюсь, живым и здоровым,— ребенок был уже «на подходе». Так и передай вице-канцлеру с подобающей случаю кротостью. Если же этого не произойдет, то в будущем году я не приглашу его на праздник Жертвоприношения предкам — или посажу на самое худшее место. Кстати, которую из дочерей ты ему предназначил? Имя «Гао-фа» мне ничего не говорит. Это не та, у которой большие уши? Уши у нее от матери. В моей семье ни у кого не было таких ушей.

Стихов же мне, пожалуйста, больше не шли. Если этот лентяй Ку Гуа-шэн все же надумает прислать стихотворение, отошли его ему обратно, указав, что срок передачи стихотворений на конкурс уже истек. Двадцать девять стихотворений! Великое небо! Стихотворцев развелось у нас поистине слишком много. Скажу больше: недавно я снова имел долгую и очень приятную беседу с господином Ши-ми. Так вот, по его словам, с точки зрения большеносых, люди нашего времени прямо-таки изнывали от безделья, ибо только и знали, что сочинять горы стихов по любому поводу и без такового. Вот как мы выглядим в глазах потомков!

Впрочем, встретились мы с господином Ши-ми — произошло это уже несколько дней назад,— конечно, совсем не для того, чтобы обсуждать эти вещи. Он зашел за мной в Го-ти Ни-цзя в довольно ранний час, чтобы пригласить на заседание суда: я ведь хотел познакомиться с правосудием большеносых, ибо оно составляет неотъемлемую часть общественной жизни.

Мы вместе позавтракали в Го-ти Ни-цзя и пошли. Находилось здание суда совсем недалеко. Это оказалось не то здание, где я вынужденно провел свою первую ночь в этом мире. То был полицейский суд, теперь же мы пришли в Главный городской суд Минхэня.

Тот судья, с которым я познакомился в самом начале — он-то и препоручил меня, как ты помнишь, заботам господина Ши-ми,— заседает только в полицейском суде; однако он попросил своего коллегу из городского суда оказать нам дружескую услугу, и вот мы вошли и обратились прямо к нему. Зовут его господин Мэй Ло. Высокопочтенный судья Мэй Ло принял нас очень сердечно, однако в целом суд произвел на меня сугубо удручающее впечатление. Я уже достаточно хорошо узнал здешние нравы, так что, конечно, не ожидал найти величественного дворца с изящно расписанными колоннами. Однако то, что я увидел, было просто возмутительно. В этой постройке, хоть и довольно большой по размерам, нет и тени величия, и ничто в ней не напоминает о законе и порядке, хотя именно суд призван восстанавливать закон и порядок, когда те приходят в упадок.

Первое, что бросилось мне в глаза,— лавки, устроенные в нижнем этаже. Да-да, ты не ослышался: в здании суда помещаются лавки! В то время как в верхних покоях вершится священная справедливость, внизу торговцы предлагают всем желающим штаны, подушки, цветы, кожаные футляры и музыкальные тарелки! (Об этих музыкальных тарелках я обязательно расскажу тебе особо; но это уж в другой раз.)

Комната, где заседает господин судья Мэй Ло, имеет вид более чем жалкий. В ней странно пахнет, и мебель вся давно обносилась. По размерам эта комната походит на собачью конуру, и тем не менее там сидят двое судей, которые пошевелиться не могут, чтобы не задеть соседа. По всей видимости, судей здесь не уважает никто — ни народ, ни даже власти, именем которых вершится правосудие. Господин Мэй Ло с болью в голосе подтвердил эти мои наблюдения, добавив, что нижние лавки занимают гораздо более обширные помещения и отделаны много лучше, чем каморки судей.

На господина Мэй Ло в Главном суде города Минхэня возложена особая обязанность. Помнишь, в первое время я удивлялся, как эти стремительные повозки Ма-шин, железные дома на колесах и все остальное, заполняющее каменные улицы гигантского города, ухитряются не сталкиваться друг с другом. Однако позже я узнал, что удивляться не стоит. Они сталкиваются, и даже довольно часто. Повозки при этом ломаются, водители же получают увечья. Поломки бывают так велики, что починить повозку уже не удается; увечья тоже бывают велики, и тогда случается, что для водителя звучит последний гонг [1]. Если же водители остаются живы, то после лечения они затевают спор, кто виноват в столкновении, иначе говоря — кто из них будет платить за починку повозки другого.

Этими спорами в Главном городском суде занимаются шесть судей, и работы у них столько, что отдыхать некогда. Господин Мэй Ло — один из судей. Объяснив мне эти и другие подробности, господин Мэй Ло — другой судья, стол и стул которого так же находятся в этой комнате, куда-то отлучился — поднялся с места и сказал, что ему пора готовиться к заседанию. Он повязал себе на шею особый белый платок или бант, похожий на те, что наши женщины носили в эпоху династии Тан, и надел черную мантию.

Со мной происходит все та же история: хотя я уже знаю, сколь низко пали нравы в этом мире хаоса, я всякий раз лелею надежду, что у большеносых осталась хоть капля почтения перед обычаями прошлого. Мне никак не удается оставить эту надежду. И всякий раз я испытываю разочарование. Я так и не закалил свою душу. Видно, человек, всеми нитями души связанный с далеким прошлым, не способен привыкнуть к разочарованиям. Зал, в котором должно было состояться заседание суда — господин Мэй Ло объяснил господину Ши-ми, как пройти туда, и мы долго шли по узкому, темному коридору,— был на самом деле не зал, а комната, лишь немногим бóльшая той, где стоит стол судьи. Самая маленькая комнатка в моем постоялом дворе — дворец по сравнению с этим «залом». Ничто не говорило в нем о величии и достоинстве, приличествующих месту отправления правосудия. Мы сели на одну из задних скамей: она заскрипела, точно желая разделить мое настроение, вызванное этим убогим зрелищем. Людей в комнате было очень много: они стояли, переговариваясь громкими, низкими голосами,— не только мужчины, но и женщины! — и листали разные бумаги, производя невыносимый шум. Я пытался определить, отчего комната выглядит так убого. Может быть, из-за скрипучей скамьи? Или из-за полуразвалившихся стульев в первых рядах? (Один из стульев совсем сломался, и его части были небрежно свалены у стены.) Из-за стен, покрытых вездесущей копотью? Из-за большеносых, шумевших, точно на рынке? Да, из-за этого тоже, но прежде всего — это пришло мне в голову, когда мы с господином Ши-ми уселись на скрипучую скамью,— из-за удивительно низкого потолка. Хотя роста большеносые все, как правило, довольно высокого (даже женщины; так, госпожа Кай-кун, например, выше меня почти на целую голову), жить и работать они предпочитают в очень низких помещениях. Им едва хватает места, чтобы выпрямиться. Почему? На этот мой вопрос пока никто не сумел ответить. Наши храмы высоки, у дворцовых залов потолки — точно небо, и даже в частных домах мы стараемся устроить потолки так, чтобы они нас не подавляли. Большеносые же едва не касаются своих потолков головами. Как только это пришло мне в голову, я тотчас же спросил об этом господина Ши-ми. Он удивленно посмотрел на меня, явно не поняв сначала, что я имею в виду. Потом ответил: — Да нет, к чему лишнее пространство над головой? Ведь это неэкономно. А так мы при той же высоте здания можем сделать в нем больше этажей.— И это произнес господин Ши-ми, слывущий в своем мире мудрецом!

Вслух я ничего не сказал, но подумал: большеносые нарочно строят низкие потолки, потому что боятся по-настоящему ощутить собственное

---

[1] Образное выражение, обозначающее смерть.

достоинство. Ведь «лишнее» пространство над головой учит человека уважать себя. Почему же они этого боятся? Потому что достоинство может принадлежать лишь личности, каждому человеку в отдельности, будь он мандарин, мудрец или судья,— они же в своем мире не позволяют никому почувствовать себя личностью. Пускай лучше никто себя не уважает. Таков мир людей, не уважающих себя и вечно всем недовольных, и это они называют «властью народа». При этом многие большеносые, например, господин Ши-ми и мастер Юй Гэнь, очень хорошо понимают, что лишь достоинство создает порядок. Однако вслух они предпочитают об этом не говорить.

Прямо в толпу большеносых вошел судья, господин Мэй Ло. Некая дама, исполнявшая, как выяснилось, обязанности судебного чиновника и сумевшая даже этим болтливым большеносым внушить некоторое почтение, воскликнула: — Встать, суд идет! — Я, конечно, тотчас поднялся с места; поднялись и остальные сидевшие. Однако если ты думаешь, что вслед за этим они, как положено в настоящем суде, пали ниц, ожидая, пока судья займет свое место и позволит им вновь поднять лица, то ты жестоко ошибаешься. Никто из присутствующих и не подумал пасть ниц. Да и сделать это было бы довольно трудно, ибо пол был весьма нечист: на улице шел дождь, и в помещение нанесли много грязи. После того как судья дал знак садиться, я тихонько спросил господина Ши-ми, кто все эти люди. Оказалось, что многие из них — платные стряпчие. Здесь устроено так, что почти никто не ходит в суд сам. У большеносых имеется целое сословие людей, только тем и занимающихся, что ведут в суде чужие тяжбы. Отчего же тяжущиеся не ходят в суд сами? Оказывается, вовсе не от страха, а оттого, что ничего не смыслят в судопроизводстве. После, когда заседание окончилось, а высокопочтенный господин Мэй Ло сложил с себя мантию и белый платок, мы пошли в харчевню, расположенную тут же неподалеку, и долго с ним беседовали (я набрался смелости и пригласил высокопочтенного господина судью отобедать с нами, и он не отклонил приглашения).

Да, подтвердил он, нечто вроде справедливости в царстве большеносых поддерживается, однако справедливость эта, так сказать, расчленена, раздроблена на мельчайшие частицы и уложена в такое количество писаных законов, что запомнить их все никому не под силу, даже самому господину судье и его коллегам. Восстановление справедливости превратилось здесь в целую науку. Простые люди давно уже ничего в ней не понимают, а потому вынуждены нанимать стряпчих.

— Откуда же взялись все эти писаные законы? — спросил я.— Их принимает государство,— ответил господин Мэй Ло.

Слыхал ли ты что-либо подобное, мой милый Цзи-гу? Судьи здесь не восстанавливают издревле царящую справедливость, непоколебимую, пока соблюдается порядок и поддерживается взаимосвязь между небом и землей, не указывают государству и его слугам, что тем следует делать для ее восстановления, а лишь выполняют указы самого государства, точнее, его нерадивых слуг, возомнивших себя его хозяевами, как тот министр-мошенник Чжи, варвар с юга, встреченный мною в Харчевне Раздевающихся Дам,— здесь государство решает, что есть справедливость! То, что при этом в общественной жизни нет порядка, меня уже нисколько не удивляет.

Но вернемся к заседанию суда. Все уселись, и судья тоже. Рядом с ним села довольно молодая дама со строгим, даже унылым лицом. А это кто? — поинтересовался я. Оказалось, это помощница судьи, умеющая быстро писать и записывающая самое важное из того, что говорят сам судья и платные стряпчие.

Из самих же тяжб, разбиравшихся в этот день, я не понял почти ничего. Судья вынужден был то и дело призывать стряпчих к порядку и тишине в зале. Я поразился его терпению. Очевидно, долготерпение — основная добродетель здешних судей.

Тяжб было несколько, и разбирались они с необычайной быстротой. Судья несколько раз раздраженно замечал стряпчим, что все произносимое

ими представляет собой полнейшую ерунду. И тут проявился еще один порок всей системы: в ответ на это стряпчий лишь наклонял голову, разводил руками и сообщал, что он и сам это понимает, однако его подзащитный велел ему говорить именно так.

Одна из тяжб разбиралась дольше других. Случай был, судя по всему, давний, потому что произошел он этой, а возможно, даже и той зимой. Повозка Ма-шин поскользнулась на снегу и наехала не на другую повозку, а на угол дома. Стряпчий повозки, если я правильно понял, долго и горячо доказывал, что виновата не повозка, а дом. Судья в своем неисчерпаемом долготерпении возражал, что это совершеннейшая ерунда. Однако стряпчий настаивал; лицо его покраснело, а голос сделался хриплым. Я слушал, затаив дыхание. Судья тоже продолжал терпеливо слушать. Стряпчий же вошел в такой раж, что даже подскочил на месте и заявил, что такой судья его не устраивает — он требует другого судью. Я понимал, конечно, что мои мечты несбыточны, но все же не мог не вообразить, как судья простирает руку, и трое или четверо стражников уволакивают обнаглевшего стряпчего к палачу.

Однако ничего подобного не случилось. В зале, правда, поднялось некоторое волнение. Другие стряпчие пытались угомонить своего коллегу, прося его не говорить так долго, потому что иначе не хватит времени им самим. Вскоре, однако, все успокоились, и заседание продолжалось. Примерно через час после начала в зале стало так душно, что судье пришлось объявить перерыв. Я и господин Ши-ми тоже вышли. В коридоре господин Мэй Ло, судья, предложил сходить выпить чего-нибудь прохладительного. Он снял свою черную мантию, а платок оставил. Мы снова прошли через несколько длинных коридоров и попали в помещение, которое здесь в шутку называют «комнатой сплетен»; там стоял невообразимый шум. За столиками уже сидели стряпчие, только что так бурно споривши с судьей и друг с другом, все до единого человека, и рассказывали короткие истории, над которыми здесь принято смеяться; я их совсем не понимаю. Господин судья Мэй Ло представил нас присутствующим, и мы заняли свободный столик. Я сел в угол, стараясь выглядеть как можно незаметнее. Беседовать мы могли лишь с трудом, потому что говорили здесь все, как это обычно бывает у большеносых, одновременно. «Прохладительное», которого так жаждали стряпчие и господин судья, оказалось огромным бокалом Ма-люй из тонкого стекла, по форме немного напоминавшим тюльпан; многие из присутствующих, как я заметил, к нашему приходу опустошили по нескольку таких бокалов и ничуть не опьянели. Я осторожно осведомился у господина судьи, нельзя ли мне получить хотя бы маленький бокал Шан-пань. Увы, это оказалось невозможно. Поэтому я пил чай.

Нескольких стряпчих и судей мне назвали по именам, но я, конечно, не мог их запомнить. У одного из них была очень круглая голова, поросшая жесткими прямыми волосами, что делало его похожим на ежа; все громко выражали ему свое восхищение за то необозримое количество коротких историй, которое он сумел сохранить у себя в памяти. Некоторые из них он рассказал и мне. Я их, как уже говорил, не понял, однако на всякий случай сказал, что эти замечательные истории запомнятся мне навеки. Он, со своей стороны, проявил незаурядный интерес к кухне Срединного царства и сообщил, что любит готовить сам, причем именно наши блюда. Да, такое здесь тоже встречается. Мужчина может ни у кого не служить поваром и тем не менее заниматься приготовлением пищи. Я вынужден был разочаровать его, ибо не мог решительно ничего сказать о том, к а к у нас готовят. Я могу сказать только, нравится мне какое-то блюдо или нет; приготовление его — не моя забота.

Другой судья, обладавший весьма солидным брюхом, ел рыбу и одновременно писал что-то. Один стряпчий необычно высокого роста, с козлиной бородой, ухитрялся за едой читать книгу. Я не осмелился спросить, что это значит. Потом явился еще один стряпчий, одетый в шлем и сравнимый статью с воинами эпохи Хань... Мне сделалось страшно, и я хотел уйти, однако выяснилось, что указанный стряпчий не имел жестоких намерений и воевать не думал.

Потом со мной заговорил стряпчий, сидевший недалеко от меня; звали его, если я правильно записал, Ви-ли Вэй-ба. Он был примерно одного со мной роста, что меня приятно тронуло. Он обратился ко мне, но я не понял ни слова. Тогда упомянутый стряпчий с козлиной бородой, читавший книгу, заметив, что речь господина Ви-ли Вэй-ба мне непонятна, рассмеялся и сообщил, что это вовсе не удивительно, ибо тот родом из западных краев, а тамошние жители слишком ленивы, чтобы выговаривать слова как следует, потому что язык у них во рту растет задом наперед. В ответ на это господин Ви-ли Вэй-ба хладнокровно воззрился на говорившего и заявил — перевожу буквально: — Еще одно слово — и я опрокину этот бокал тебе на голову.— Я снова хотел бежать, однако господин Ви-ли Вэй-ба опять обратился ко мне и повторил свой вопрос, выговаривая слова как можно тщательнее: — А что, у вас, в Срединном царстве, в суде тоже такая потеха? — Нет,— ответил я, сделав одну третью поклона,— но я не премину рассказать дома о судебных обычаях, принятых в славном городе Минхэне, ибо не сомневаюсь, что эти обычаи вполне могут быть приняты и у нас на родине.

Тогда он поднял бокал и воскликнул: — Бу С'дэ-ло-ви! — выражение, мне уже знакомое и означающее, что он пьет, чтобы я не болел. Я снова поклонился, отпил чаю и ответил: — Бу С'дэ-ло-ви! — Я поднимаю эту чашку чая в надежде, что сла́ва и счастье не отвернутся от высокопочтенного поборника справедливости господина Ви-ли Вэй-ба, а также от его без всякого сомнения достойнейших и почтеннейших потомков.

Я был очень рад, когда мы наконец покинули это помещение. Вторая половина заседания была спокойнее. Стряпчих выступало не так много, и кричали они уже не так громко.

В комнату все время вносили и выносили какие-то бумаги. Иногда судья перелистывал их, как бы ища что-то. Бумаги судье подавали и стряпчие — без всяких поклонов, между прочим. Я спросил у господина Ши-ми, не содержатся ли в этих бумагах изъявления почтения по адресу господина судьи. Нет, сказал он, это всего лишь особое мнение, выразить каковое стряпчие считают нужным. Временами и судья отдавал стряпчим какие-то бумаги, принимавшиеся ими также без всякого почтения.

Но вот заседание закончилось. Стряпчие уже все разошлись, и судья отпустил домой унылую женщину-писца и другую женщину, помощницу. Тогда-то я и пригласил, как уже говорил, его и господина Ши-ми отобедать в ближайшей харчевне.

За обедом я успел расспросить его о многом. Например: обязан ли он читать все те бумаги, которые подают ему стряпчие и другие люди? Нет, ответил он, ибо если он в самом деле будет все это читать, у него через три дня помутится разум.

Как же тогда ему удается выяснить правду? — удивился я. Подумав, господин Мэй Ло сказал, что правду теперь вообще выяснить невозможно. У них есть изречение, не вошедшее в писаные законы, но тем не менее (а возможно, именно поэтому) верное: идя к судье, не ищи справедливости, а радуйся легкому приговору. Затем господин судья Мэй Ло глубоко вздохнул и добавил: в мире, где царит такой хаос, о справедливости и речи быть не может.

Мне господин судья Мэй Ло показался человеком, глубоко чувствующим и понимающим мировые взаимосвязи, и я надеюсь, что нам еще удастся встретиться и поговорить. На сей же раз мы с ним распрощались, и я удалился, унося в душе странное впечатление об обстоятельствах, в которых вершится справедливость в этом мире, лишенном чувства собственного достоинства.

Приветствую тебя из этого далекого мира, оставаясь тем не менее твоим близким другом —

Гао-дай

[ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ]
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

понедельник, 8 ноября

Мой дорогой Цзи-гу,

чем больше выхожу я за рамки частной жизни, тем более вынужден опасаться, что мое происхождение будет открыто. Избежать этого очень трудно. Когда я жил у господина Ши-ми, я находился, так сказать, под его защитой, и подобные опасения были излишни. Но теперь я живу в Го-ти Ни-цзя, где царит такая же несусветная толчея, как на прилетной доске хорошей голубятни в ясную погоду, и эта опасность намного выше. До сих пор мои истинные обстоятельства были известны лишь двоим: госпоже Кай-кун и господину Ши-ми. Господин Ши-ми относится к моему пребыванию в его мире и к самому путешествию во времени очень серьезно; он понимает, как важно для меня сохранять все в тайне. Живи он в нашем времени, его с полным основанием можно было бы назвать «благородным мужем» именно в том смысле, как это понимает великий Кун-цзы. Госпожу Кай-кун тоже можно бы так назвать — если бы она была мужчиной. Не считая похвалы красоте, это лучшее, что можно сказать о женщине. Но вот поверила ли она моему рассказу — не знаю. Сама она никогда ни о чем не спрашивала. Иногда мне кажется, что мою историю, которая здесь и в самом деле кому угодно показалась бы невероятной, она считает не слишком ловкой выдумкой, призванной скрыть какие-то иные обстоятельства, более правдоподобные, но гораздо менее благовидные. Впрочем, мне в любом случае удобнее оставить ее при своем мнении.

Отчего же я так боюсь «разоблачения», ведь в моем путешествии нет ничего предосудительного? Беда в том, что, открой я свое происхождение, на меня тотчас начнут глядеть как на призрак. Мне это было бы весьма неприятно. Кроме того, мне, скорее всего, просто не поверят. Это было бы для меня еще неприятнее, ибо тогда мне пришлось бы прибегать к доказательствам. Доказать-то я, конечно, доказал бы, но после этого немедленно стал бы вселенской диковиной и лишился возможности наблюдать, ибо сам превратился бы в предмет наблюдений. Нет, я не только предпочитаю, но и просто вынужден хранить свою тайну, чтобы наблюдать за всем, так сказать, из укрытия, стремясь привлекать к себе как можно меньше внимания, хоть это и нелегко, ибо и в платье большеносых мой облик еще слишком выделяется из общей картины здешнего мира.

Мастер Юй Гэнь вернулся. Теперь он живет в другой комнате, хотя и в той же Го-ти Ни-цзя. Он не устает задавать вопросы, так что опасность быть раскрытым грозит мне постоянно. Довериться же ему в полной мере, как господину Ши-ми и госпоже Кай-кун, я не могу. Поэтому я все время должен быть начеку, находя удовлетворительные ответы на его вопросы, а они бывают самые неожиданные. Одну западню, впрочем, я уже миновал: с лесоводом из Пекина мы поговорили. Уклониться было никак невозможно. Даму, заведующую главным Тэ Лэй-фанем нашего постоялого двора, господин Юй Гэнь-цзы довел чуть ли не до умопомрачения. Он велел ей звонить в Пекин до тех пор, пока его тамошний друг не отзовется. Сначала у нее просто не получалось. Потом получилось, но установившаяся было связь тут же оборвалась (видимо, это устройство действует все же не так безотказно, как кажется, во всяком случае, на таких больших расстояниях). Но вот наконец далекий лесник из Срединного царства отозвался — совсем тихо, еле слышно. К счастью, я так и не придумал, о чем завести с ним беседу. Произнеся несколько положенных вежливых фраз, я передал ему привет от господина Юй Гэня. И убедился, что наш пекинский правнук также утратил навык вежливого обхождения. Во-первых, он принял меня за уроженца Синьцзяни, говорящего на маловразумительном провинциальном наречии; во-вторых, он не осведомился ни о моем здоровье, ни даже о том, живы ли мои родители. Он передал лишь свой привет господину Юй Гэню. На этом, собственно, наш разговор и закончился. Однако господин Юй Гэнь остался очень доволен, так что эта напасть меня, надо полагать, миновала.

Но что в этом толку, если почти сразу же вслед за этим на меня свалилась другая. Причем тут дело, по-видимому, только начинается, так что сердце мое то и дело сжимается от страха.

Произошло все это вчера. Ничего не подозревая, я спустился в гостиную Го-ти Ни-цзя, где мы с господином Юй Гэнь-цзы договорились о встрече, чтобы пойти вместе распить бутылочку Шан-пань. И вот я иду и вижу: сидит он, а рядом с ним — кто бы ты думал? Настоящая, живая дама из Срединного Царства! Моим первым побуждением было немедленно бежать, но было поздно, ибо они меня уже увидели. Я был настолько потрясен, что позабыл даже о правилах вежливости — что, впрочем, как я теперь понимаю, оказалось мне только на руку. Да, это была настоящая дама из Срединного Царства, правда, одетая, как и я, в платье большеносых, причесанная, как женщины большеносых, с незабинтованными ногами и ничем не прикрытым лицом,— но все же, вне всякого сомнения, наша с тобой соотечественница. Мастер Юй Гэнь вскочил с места и радостно представил меня ей, очевидно полагая, что я при виде ее должен по меньшей мере запрыгать от восторга.

Но я овладел собой довольно быстро. Мне помогло и то, что родом эта дама оказалась с одного из островов у фуцзяньского побережья [1], который теперь тоже заселен представителями нашего народа. Выговор у нее был ужасный; впрочем, друг друга мы с грехом пополам понимали. Зовут ее «маленькая госпожа» Чжун. «Маленькая госпожа» означает у большеносых, во-первых, незамужнюю женщину, во-вторых — женскую прислугу в харчевнях, независимо от того, замужем она или нет. Когда мы с господином Юй Гэнь-цзы находились в городском саду, где жители Минхэня в хорошую погоду сидят под созревающими каштанами и пьют свои Бо-шоу или Ма-люй, нас обслуживала женщина, зад у которой по размеру превосходил лошадиный, руки были так велики, что удерживали по пятнадцати кружек Ма-люй, а ростом она была по меньшей мере на четыре головы выше меня — настоящий утес из мяса и жира. И все же господин Юй Гэнь-цзы обращался к ней: «Маленькая госпожа!» Это было осенью, в один из последних теплых дней. За столиком неподалеку от нас сидел господин, внешность которого показалась мне необычной даже по здешним понятиям. Господин Юй Гэнь-цзы вполголоса объяснил мне, что это один из известнейших поэтов Минхэня. Зовут его Си Гэй, и пишет он, по словам господина Юй Гэнь-цзы (если я правильно его понял), только в летние месяцы. Что ж, это весьма разумно. Я был бы только рад, если бы мои «Двадцать девять поросших мхом скал» тоже сочиняли свои стихи только летом. Но нет, они исправно пишут их каждый день, от зари до зари, и никакая буря им не помеха.

Господин поэт Си Гэй выглядит уже пожилым. Кожа на его лице словно задубела. По внешности я бы принял его за пастуха. Мастер Юй Гэнь тихонько сообщил, что обычно господина Си Гэя окружают друзья и поклонники, составляющие как бы его свиту. Быть приглашенным за его столик — большая честь, ценимая здесь даже больше, чем приглашение на ужин к верховному мандарину всей страны Ба Вай. В одиночестве, как сегодня, господин Си Гэй остается редко.

Хотя мастер Юй Гэнь говорил очень тихо, господин поэт, видимо, догадался, что речь идет о нем, и взглянул прямо на нас. Собрав лоб в невероятное количество морщин, он обратился к нам в грубовато-резкой манере, отличающей всех жителей Минхэня: — Я так понимаю, это вы обо мне говорите? — Я поднялся с места, сделал две трети поклона и произнес: — Я и в самом деле позволил себе непростительную дерзость заговорить своими жалкими, недостойными устами о непревзойденном мастерстве вашей высокопочтенной особы. Но я буквально лишь за миг до этого узнал, что мне выпала эта редкая удача, сравнимая лишь с лицезрением радуги во время восхода солнца,— увидеть прославленнейшего из поэтов великого города Минхэня. И сколь бы ни были тяжки мои прегрешения в те

---

[1] Гао-дай имеет в виду остров Тайвань, известный ему лишь понаслышке.

немногие годы, которые мне, невежественному червю, еще осталось влачить на земле, вся моя жизнь отныне будет озарена воспоминанием о том, что я целых несколько мгновений дышал одним воздухом с князем всех поэтов Минхэня и страны Ба Вай, с величайшим из поэтов мира.

— А, идите вы,— отозвался поэт,— садитесь-ка лучше ко мне, поговорим.

Я хотел почтительно отказаться и, как положено, дождаться третьего приглашения. Однако господин Юй Гэнь-цзы тут же собрал вещи и перешел за столик господина Си Гэя — рассудив, очевидно, что не стоит упускать случай, перед которым блекнет даже честь быть приглашенным к верховному мандарину. Поэтому и я перебрался за его стол, не забыв дважды произнести подобающие формулы извинения за то, что посмел омрачить своим присутствием сияние славы великого поэта.

— А, слушайте, идите вы,— отвечал на это поэт с замечательной скромностью, которой могли бы поучиться некоторые из наших «Двадцати девяти поросших мхом скал»,— не такой уж я великий, так, пишу просто в свободное время, что в голову взбредет.

В ответ я поклялся, что непременно попрошу своего друга достать мне книгу несравненных стихов господина Си Гэя и, хоть мой непросвещенный взгляд и осквернит их возвышенную чистоту, посвящу остаток жизни самому внимательному и почтительному восхищению ими.

— А, идите вы,— возразил поэт. Здесь нужно заметить, что это выражение, «идите вы», в разговорах жителей Минхэня отнюдь не означает требования немедленно удалиться. Оно означает лишь: «Не стоит говорить об этом» или «Не придавайте этому значения».

— Так вы из Ки Тая? — осведомился затем поэт. Говоря со мной, он разрезал на тоненькие ломтики местные плоды, напоминающие маленькие репки; ими жители Минхэня любят закусывать Ма-люй. Называются эти плоды «Лэй Ди'с». Разрезав очередной Лэй Ди'с, господин Си Гэй пересыпал ломтики солью и снова сложил из них целую репку.— Лэй Ди'с-ка должна плакать, как у нас говорят,— поучал он меня при этом в своей безграничной доброте. Он имел в виду сок, который должна была выделить репка благодаря действию соли.

— Вот как,— продолжал он.— Значит, вы из Ки Тая. Конфуция знаете? — «Конфуцием» большеносые называют великого Кун-цзы. Я испугался, ибо в первый миг мне показалось, что он намекает на мое собственное «древнее» происхождение, и у меня невольно вырвалось: — Лично не знаком.

Тут господин Си Гэй расхохотался в полный голос и несколько раз повторил, что я ему нравлюсь. Господин Юй Гэнь-цзы так и грелся в лучах снизошедшей на меня милости, хотя мастер Си Гэй не обменялся с ним еще ни единым словом. Оказалось, что о великом Кун-цзы господин Си Гэй кое-что слышал. Я немного рассказал ему об учении мудреца с Абрикосового холма. Господина Си Гэя это настолько заинтересовало, что он несколько раз задавал мне вопросы. Рассказал я ему и о Мэн-цзы, о том презрении, которое этот мудрец испытывал к войне и военачальникам, а также о чжэнмин [1], что привело его прямо-таки в неописуемый восторг.

— Да,— сказал он,— «исправление понятий» — это отлично. С понятиями дело у нас обстоит хуже некуда. Вы, наверное, заметили? — Я позволил себе с ним согласиться.— Сумасшедший дом,— продолжал он,— теперь называют «лечебницей для нервнобольных», тюрьму — «исправительно-трудовым заведением», харчевню — «предприятием общественного питания»! Да-да,— закивал он головой,— нужно исправлять понятия! Как это, по-вашему? — Чжэнмин,— подсказал я.— Чжэнмин,— повторил он несколько раз,— чжэнмин... Надо будет запомнить. Силен, собака, этот ваш Конфуций!

Не пугайся: господин Си Гэй вовсе не намеревался оскорбить мудреца с Абрикосового холма. На языке жителей Минхэня слово «собака»

---

[1] Чжэнмин — *букв.*: «исправление имен», одно из положений конфуцианства.

в соединении со словом «силен» означает высшую степень похвалы и одобрения.

Говорили мы долго. Когда я рассказал о взглядах великого Сюнь-цзы, считавшего человека злым по природе, но способным побороть свои злые помыслы, господин Си Гэй признался, что всей душой разделяет эти взгляды.— Да-да,— снова закивал он головой,— человек зол. Зол и глуп.— И процитировал, глядя на нависающие над нами листья каштана, строки своего любимого поэта и покойного учителя (его имя господин Си Гэй по моей просьбе записал для меня на бумажке. Нашими знаками его можно лишь приблизительно передать как «П'ле»). Строки были такие:

Да, человек, строй планы,
Считай себя светочем небес,
Придумывай, что хочешь:
Все равно у тебя ничего не выйдет.

Между тем к столику начали подсаживаться приятели господина Си Гэя, из которых по душе мне пришлись лишь немногие. Я намекнул господину Юй Гэнь-цзы, что пора уходить; он поднялся с места, я сделал поклон, заверив господина поэта в совершеннейшем почтении к нему самому и к его божественным стихотворениям, и мы удалились. Поэт еще прокричал мне вдогонку: — Я тоже конфуцианец! — Кстати, когда этот его Лэй Ди'с «заплакал», он и мне предложил несколько ломтиков, любезно поддев их ножом. Эти ломтики отрыгались мне еще долгое время после того, как мы покинули Каштановый павильон. Однако в остальном встреча с господином Си Гэй-цзы, пишущим только в летние месяцы, произвела на меня неизгладимое впечатление.

И все же, почему я о нем вспомнил? Ах, да: я говорил о необъятных телесах «маленькой госпожи» из Каштанового павильона, потому что так здесь принято обращаться к женской прислуге и вообще к незамужним женщинам, в том числе и к госпоже Чжун, с которой меня столь неожиданно познакомил господин Юй Гэнь-цзы в гостиной нашего постоялого двора.

Я уже не раз писал тебе, милый Цзи-гу, что одной из величайших странностей этого мира мне представляется положение и поведение женщин: они подражают мужчинам во всем, так что о каком-либо подчинении первых последним и речи быть не может. Я понимаю, что за тысячу лет многое могло и должно было измениться; но чтобы так изменились самые основы человеческих отношений?.. Мы много беседовали об этом с госпожой Кай-кун, и у каждого из нас находились достаточно весомые доводы. Я понял, что объяснить эти изменения одним лишь падением нравов и разрушением семейных уз не удастся. Госпожа Кай-кун предложила мне проявить по отношению к женщинам ту терпимость, которую великий Кун-цзы учит выказывать, например, варварам и торговцам. Никто из богов или людей, сказала она, никогда не утверждал, что женщина не способна быть цзюньцзы [1]. Что ж, против этого трудно найти возражения.

Как и госпожа Кай-кун, исполняющая должность учителя, маленькая госпожа Чжун тоже состоит на службе: она работает летающей горничной.

Ты, разумеется, спросишь: что такое летающая горничная? Чтобы объяснить это, мне снова придется сделать отступление. Этот мир, мир большеносых, настолько чужд нашему, что я, как ты можешь судить по моим письмам, испытываю величайшие затруднения всякий раз, когда пытаюсь описать тебе хотя бы степень этой отчужденности. Он не только заполнен иными, непривычными нам вещами: у большеносых свои, особые понятия, и мысль их движется неведомыми, чуждыми нам путями. Совпадений так мало, что мне часто бывает не от чего оттолкнуться, чтобы описать то или иное явление. Поэтому мои описания нередко походят на попытки объяснить слепой черепахе, как выглядит верблюд. И у верблюда, и у чере-

[1] Цзюньцзы — понятие, часто встречающееся в конфуцианских книгах и переводимое обычно как «благородный муж». Еще точнее ему соответствовало бы английское «джентльмен».

пахи имеются четыре ноги, голова и хвост, однако на этом совпадения кончаются, да и то ноги, голова и хвост у обоих совершенно различны.

В своих письмах я рассказывал тебе о поразивших меня вещах, стараясь объяснить и истолковать их в меру собственного моего разумения. Но мои рассказы, конечно, не могут дать полного представления об этом мире. Он изобилует еще множеством вещей, явлений и правил, охватывающих различные стороны жизни; я узнал и их, одни сумев объяснить себе, другие — нет, но в письмах так и не упомянул о них ни разу. Почему? Потому что описать все это не в человеческих силах. Представь себе, что я стою перед огромным тканым ковром, занимающим целую стену, с изображениями людей, животных и множества других предметов. Я могу бегло охватить его взглядом, но этот взгляд не может не быть поверхностным, отчего и описание ковра не получится ни полным, ни точным.

Так, я до сих пор не рассказывал тебе об искусственных летающих драконах. Впервые я увидел такого дракона, когда мы с госпожой Кай-кун катались на ее Ма-шин по живописным окрестностям Минхэня (мы побывали, кстати, на берегу поистине прекрасного озера, в деревушке под названием Ду Чжин). Было это еще летом; мы посетили несколько озер, расположенных к югу от Минхэня, и поехали назад по широкой и гладкой дороге, предназначенной только для повозок Ма-шин. Когда мы уже подъезжали к городу (ворот у городов больше нет; о въезде в город узнают по тому, что продольную дорогу пересекает несколько поперечных, отчего, как я убедился, там постоянно бывают заторы), я вдруг увидел, как совсем низко над нами пролетел огромный железный дракон. Он летел медленно и величественно, простерев крылья и далеко вытянув голову, скорее даже парил в воздухе, не обращая никакого внимания на нашу маленькую повозку, а потому не испугал меня; он снижался, очевидно, собираясь опуститься на землю, и скоро скрылся за крышами ближайших домов.

Если бы я увидел такое в первые дни моего пребывания здесь, я, вероятно, умер бы от страха. Но мне, к счастью, довелось увидеть этого серебристо-серого дракона уже после того, как я повидал в этом мире много чудес, и поэтому я отнесся к нему спокойно. Госпожа Кай-кун объяснила мне, в чем дело. Невдалеке отсюда, сказала она, находится большое поле, отведенное для драконов, чтобы они могли свободно садиться и взлетать. Через несколько дней мы с ней побывали на этом поле, и я увидел их своими глазами. Драконов здесь очень много. Они летают во всех направлениях и могут преодолевать большие расстояния. Некоторые из них летают даже в Срединное Царство. Долететь туда дракон способен менее чем за двадцать часов.

Драконы эти, конечно, не настоящие: они сделаны из железа. Это машины. Так же, как дома на колесах, возящие людей по каменным дорогам, эти железные дома с крыльями перевозят людей по воздуху. Когда мы были на Драконьем поле, я видел, как они садятся и взлетают. Грохот, производимый ими, превосходит всякое воображение: он гораздо сильнее того шума, который обычно сопровождает жизнь большеносых. Это ужасный гром, так сильно сотрясающий землю, что кажется, будто она вот-вот треснет и провалится под ногами. Но она все же не трескается. Приходится лишь удивляться, сколько всего способна выдержать матушка-земля.

Один серебристо-серый дракон может перевезти за раз сотню и более путешественников. Госпожа Кай-кун предложила купить для меня место внутри такого дракона. Она сказала, что уже много раз летала на драконах, и это совсем не опасно. Она, конечно, готова лететь на нем вместе со мной. Честно признаться, мне было бы любопытно испытать это; с другой же стороны, мудрец с Абрикосового холма говорит, что долг и добродетель предписывают человеку без особой нужды не подвергать опасности свою плоть, унаследованную им от родителей. Поэтому я отвечал, что подумаю и, возможно, полечу на драконе — как-нибудь в другой раз. Больше мы к этому разговору не возвращались.

Так вот. Путешественникам, летающим на этих драконах-машинах,

нужно что-то есть и пить, ибо путешествие часто продолжается несколько часов. Ведь если повозка летит по воздуху, с нее так просто не слезешь, чтобы сделать привал и закусить. Поэтому дракон берет с собой вдоволь разной еды и питья, путешествующих же, как в обычной земной харчевне, обслуживают подавальщики и горничные. Это особое ремесло, со своими правилами, и маленькая госпожа Чжун как раз и есть одна из таких летающих горничных. Этим она зарабатывает свое пропитание.

Я расспрашивал ее обо всем очень подробно — хотя бы для того, чтобы самому избежать ее вопросов. Она рассказала, что летать ей приходится очень много. Особенного она в этом давно уже ничего не находит. Бывают и неприятные ощущения — например, когда дракон начинает вдруг плясать в воздухе (иногда с ним такое случается). Тогда нужно крепко держаться за что-нибудь; из путешественников же многие начинают блевать. Убирать за ними, к сожалению, тоже входит в обязанности летающей горничной. Но в общем ей нравится перелетать из города в город. Иногда дракон отдыхает дня два или даже три, и тогда ей удается осмотреть город. Сейчас она таким образом пробудет несколько дней в Минхэне.

Господин Юй Гэнь-цзы, маленькая госпожа Чжун и я провели вместе весь вечер. Она меня ни о чем не спрашивала. Здешние люди, не только большеносые, больше любят говорить о себе, чем слушать других. Мне это даже на руку. Мы пообедали в весьма приличной, отделанной внутри деревом харчевне под названием «Черный лес». Народу в ней было немного. Господина Юй Гэнь-цзы там хорошо знали. Он велел позвать главного повара, господина Шао-ба, который и явился к нам, одетый во все белое; господин Юй Гэнь-цзы попросил его приготовить для меня что-нибудь без коровьего молока. Во мне пробудилась надежда, и я спросил господина Шао-ба, нельзя ли заказать тушеную собаку; нет, развел тот руками, к сожалению, нельзя. В остальном же обед оказался просто великолепен — для меня господин Шао-ба приготовил жаркое из косули,— да и напитки были выше всяких похвал. В этот раз мы пили не Шан-пань, а другой напиток, тоже пенящийся; он называется «Доу Пэй-нон» и ценится знатоками гораздо выше, чем просто Шан-пань, как сообщил мне господин Юй Гэнь-цзы. Кроме того, он и стоит втрое дороже. После этого мы посетили маленькую подземную питейную лавку, где гремела музыка, горел красноватый свет и стояли облака дыма. Было похоже на «Райский сад», только без раздевающихся акробаток. Здесь гости танцевали сами. Я, конечно, в этом не участвовал, а господин Юй Гэнь-цзы предложил маленькой госпоже Чжун исполнить с ним один танец. Правил здешнего танцевального искусства я совсем не понимаю. Танцы у большеносых, по нашим понятиям, крайне примитивны. Они просто держатся друг за друга и слегка подпрыгивают. Когда господин Юй Гэнь-цзы спросил, не хочу ли я пригласить маленькую госпожу Чжун на танец, я с поклоном извинился и сказал, что вынужден отказаться от этой чести, ибо не владею приемами местных танцев.

Поздно вечером мы наконец вернулись в Го-ти Ни-цзя. Мастер Юй Гэнь был уже весьма утомлен и немедленно удалился к себе. Я же вместе с маленькой госпожой Чжун поднялся к себе в комнату, и мы с ней выпили еще бутылку Доу Пэй-нон (оказалось, что этот напиток можно заказать и в нашей Го-ти Ни-цзя). После этого маленькая госпожа Чжун позволила мне разделить с ней ложе. Она, по обычаю большеносых, тоже сняла с себя совершенно всю одежду. Ноги у нее были не перевязаны, то есть, по нашим понятиям, все-таки довольно велики, зато грудь оказалась утешительно маленького размера. Форма ее волосяной рощицы вызвала у меня воспоминание о моей наложнице Фэн-ма, и я снова затосковал по родине. Затем маленькая госпожа Чжун заснула. Я же еще долго лежал без сна, со слезами вспоминая о своем доме в Кайфыне, о тебе, о Фэн-ма и о своей любимой Сяо-сяо. Возможно, однако, что это чувствительное настроение охватило меня из-за напитка Доу Пэй-нон, которого я выпил несколько больше, чем обычно. Потом наконец заснул и я — крепким, спокойным сном.

На этом я заканчиваю письмо и сердечно обнимаю тебя. Твой далекий друг —

Гао-дай

[ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ]
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

вторник, 23 ноября

Мой любезный старый друг Цзи-гу,

сообщу сразу, чтобы наконец покончить со всем этим: стихи я прочел. Я уехал за тысячу лет, сижу в комнате постоялого двора, в этом нелепом будущем, а за окном начинается сырое и дождливое ноябрьское утро, так что я наверняка промочу ноги, когда понесу это письмо к почтовому камню,— и все это ради того, чтобы прочесть восемь десятков — или сколько их там? — стихотворений досточтимых членов императорской Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал»! Но я прочел их. Наименее плохим из всех показалось мне стихотворение «Взвешиваю время» юного Ло Дэ-саня. Образ человека, взвешивающего сначала воду, потом воздух, свет и, наконец, время, показался мне весьма изящным, а заключение, что время для нас — самый тяжкий груз, как нельзя лучше совпадает с моим настроением. Я решил присудить награду ему. Так и сообщи членам Палаты поэтов. Он получит ее, когда я вернусь.

Кстати, я хочу позволить себе один маленький литературный розыгрыш. В одной из лавок, где торгуют книгами, я обнаружил книгу стихов Срединного Царства в переводе на язык жителей Минхэня. Целое собрание стихотворений множества поэтов! И с глубоким удовлетворением убедился, что из этих напыщенных болванов, членов императорской Палаты поэтов, туда не попал ни один — даже относительно неглупый Ло Дэ-сань. Почти все стихотворения, написанные в наше время или до него, были мне знакомы. Собрание включает также — обнаружив это, я вскочил с места и немедленно распростерся ниц,— стихотворение Его Высокочтимейшего Величества, Сына Неба, тебе тоже известное: «Тусклый месяц... Туман на цветы чуть заметную бросил прядь». Открывается все собрание стихами неизвестных поэтов эпохи Чжоу, а заканчивается теперешними, написанными в Срединном Царстве уже в эпоху большеносых.

Из этой книги я узнал, что через двадцать четыре года после моего возвращения у нас в стране родится мальчик, который станет великим поэтом под именем Оуян Сю. Он умрет в возрасте шестидесяти пяти лет. Одно из его стихотворений начинается так: «На небе облака, в душе тоска. Густые осень разбросала тени...» Я перевел все стихотворение обратно на наш язык. До рождения Оуян Сю — не могу сказать, узнаем ли мы о нем или нет, я не знаком с этой семьей,— мы еще доживем, до его смерти едва ли. Дома я перепишу эти стихи красивыми иероглифами и спрячу в своих бумагах. Возможно, когда-нибудь Оуян Сю найдет их... И очень удивится.

Несколько дней назад мы вместе с господином Ши-ми (госпожа Кайкун тоже была с нами) присутствовали при публичном музицировании. Оно нисколько не походит на наши концерты, а напоминает скорее сложный религиозный ритуал.

Все участники ритуала облачаются в парадное платье. Эти любители музыки собираются в большом, ярко освещенном зале и рассаживаются в креслах, прибитых к полу. Им раздают тетради с краткими заметками о той музыке, которую будут играть. Музыканты, все до одного одетые в черное, усаживаются на особом помосте в передней части зала. Взяв тетрадь, я узнал, что сегодня они будут играть две пьесы, два «Божественных созвучия». Подбираются пьесы не по жанру и не по обстоятельствам, при которых их принято исполнять, а исключительно по принадлежности тому или иному композитору. Удивительно, но здесь практически о каждой из музыкальных пьес известно, кто ее сочинил. Видимо, это оттого, что исполняется только новая музыка, сочинителя которой еще не успели забыть. Я уже писал, что столь любимый мною мастер Бэй Тхо-вэнь (мне будет не хватать его музыки, когда я вернусь) жил всего двести лет назад.

даже меньше. Так вот, это — почти самая старая музыка, которую можно здесь услышать. Пьесы, которым было бы более трехсот лет, исполняются крайне редко. Первое «Божественное созвучие» принадлежало мастеру Фань Шу-бэю, одну из пьес которого, «Форель», я уже знаю; второе сочинил мастер Шо-тао Го-ви, умерший совсем недавно.

Итак, мы уселись. Оркестр оказался необычайно многочисленным. В нем было никак не менее шестидесяти музыкантов. Там было много игравших на Ви-э Ло-чэнь, много С'ли П'ка и А-ти, и еще были флейтисты, трубачи и даже один барабанщик. Руководить оркестром, сказал господин Ши-ми, будет знаменитый мастер по имени Гай-тин, но его пока нет, он поднимется на помост позже. Не успел он вымолвить это, как внезапно снова начался страшный шум. Я думал, что уже привык к дурацкому обычаю большеносых устраивать шум по любому поводу, но им всякий раз удается застать меня врасплох. Когда появился мастер Гай-тин (он не из Срединного Царства, хоть имя и похоже), большеносые изо всех сил захлопали в ладоши. Поскольку госпожа Кай-кун и господин Ши-ми хлопали тоже, к ним присоединился и я. Так здесь принято выражать ликование. Мастер Гай-тин поднялся на помост, встал на скамейку, устроенную специально для него, и поклонился публике. Однако вслед за этим он крайне невежливо повернулся к публике спиной и погрозил музыкантам палкой. Те беспрекословно повиновались и начали играть. Видимо, музыканты здесь и понятия не имеют о дисциплине, ибо их начальнику все время приходилось размахивать палкой, а иногда даже очень сильно, чтобы они не бросили игру. После первой пьесы (состоявшей из двух частей) был перерыв, и мы вместе со всеми — была даже небольшая давка — вышли в прихожую, где некоторое время ходили взад и вперед. Потом мы еще выпили по бокалу Шан-пань — там в одном месте его продавали. Пьеса, исполнявшаяся после перерыва, состояла из четырех частей. Когда она закончилась, все снова захлопали. Музыканты встали, мастер Гай-тин раскланялся, и все разошлись.

Музыка, которую играет господин Ши-ми в кругу друзей, нравится мне гораздо больше. Публичные оркестранты играют слишком «по-большеносому», то есть прежде всего слишком громко. Особенно это касается пьесы, звучавшей после перерыва. Этот недавно умерший мастер Шо-тао Го-ви сочинил, по словам господина Ши-ми, больше дюжины таких «Божественных созвучий». То, которое я услышал, имело номер пять. Мне оно показалось чересчур воинственным, только третья часть была сдержаннее и спокойнее. Пьеса же, исполнявшаяся до перерыва — мастер Шу-бэй, хотя и скончавшийся в возрасте тридцати одного года, также сочинил несколько «Божественных созвучий»,— порадовала меня больше. У него она — восьмая, и он ее не закончил, поэтому в ней вместо положенных четырех частей было только две.

Мне хотелось бы понять эту пьесу, хотя это очень трудно — в несколько раз труднее, чем музыку «Небесной четверицы»: все время звучит сразу несколько тонов, создаваемых различными инструментами. Господин Ши-ми очень похвально отзывается об этой пьесе. Я же в этой путанице звуков так и не сумел различить гармонии. Не сомневаюсь, впрочем, что со временем я мог бы научиться и этому. Если я и буду о чем-то сожалеть, покинув мир большеносых, то, наверное, только о том, что не успел овладеть искусством проникать в их гармонию.

Одна часть «Божественного созвучия» номер восемь мастера Шу-бэя быстрая и довольно живая, другая же, наоборот, медленная. Именно эта вторая часть как нельзя лучше подтверждает, что звуки зарождаются в сердце человека, как сказано в главе «Юй ли» трактата «Ли-цзи». В некоторых местах я ощущал тесную внутреннюю связь с духом мастера Шу-бэя, хоть он и родился через много веков после меня, а умер все же раньше меня. В его звуках тоже сокрыта тайна, но иная, чем в музыке несравненного Бэй Тхо-вэня. Мастер Бэй Тхо-вэнь внушает п о ч т е н и е, мастер же Шу-бэй — любовь. Если бы я знал все это раньше, я, возможно, так настроил бы свой компас, чтобы попасть во времена мастера Шу-бэя. Может быть, я бы тогда

встретился с ним. Может быть, он полюбил бы меня. А вот с мастером Бэй Тхо-вэнем, сколь ни велико мое к нему уважение, я бы, наверное, встретиться не решился.

На этом я, пожалуй, прерву свои размышления о музыке; тебя они, наверное, не слишком увлекают, ведь ты никогда не спрашиваешь меня об ощущениях, какие я здесь испытываю, зато все время интересуешься, как устроен этот мир и на чем зиждется его государственность. И ты прав, разумеется, ведь такова была цель моего путешествия. Иначе оно не отвечало бы духу учения великого Кун-цзы.

Должен признать, что я, особенно слушая музыку, часто и в самом деле забываю о своем ранге мандарина и даже о Срединном Царстве. Но звуки умолкают, и я возвращаюсь к действительности, трезво напоминающей мне, что в мире большеносых можно найти все что угодно, даже таких замечательных мастеров, как Бэй Тхо-вэнь и Шу-бэй, но у них никогда не было нашего великого Кун-цзы.

На этом я прощаюсь с тобой, мой любезный друг; передай мои наилучшие пожелания Ло Дэ-саню. Стихотворение у него и в самом деле вышло неплохое. Возможно, я только потому не нашел его в упомянутом собрании, что за тысячу лет оно где-нибудь затерялось (этого ему, разумеется, передавать не надо). О твоих шариках я не забыл. Крепко обнимаю тебя и остаюсь —

твой Гао-дай

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

среда, 1 декабря

Дорогой Цзи-гу!

Незадолго до отъезда мастера Юй Гэня — для меня уже окончательного, ибо теперь он приедет в Минхэнь лишь в следующем году, когда меня здесь уже не будет,— у нас состоялась долгая и очень содержательная беседа. Хоть он и таскал меня по разным сомнительным заведениям, хоть он и не умеет сдерживать приступов веселья и вообще отличается весьма бурным нравом, а выпив лишнего, может сморозить невероятную глупость,— все же он человек глубокого ума. Теперь, простившись с ним навсегда — он, конечно, надеется на нашу новую встречу и рад ей; я же страдаю оттого, что не смогу оправдать его надежд,— теперь я имею право сказать об этом. Правда, он всего лишь мастер по выращиванию леса, но он много размышляет над той жизнью, которая его окружает, над жизнью большеносых, и мысли его, без сомнения, верны.

Жизнь большеносых и весь их мир неумолимо движутся к своему концу: таков общий вывод, сделанный мною не только из этой нашей беседы, ставшей естественным продолжением разговора о моих впечатлениях от гигантской кузницы, но и из всех моих здешних наблюдений в целом. Политическое устройство запутанно и создает благодатную почву для корыстолюбия политиков. Общественное устройство в беспорядке из-за того, что никто и ничто не обладает природным авторитетом. Семья как установление тоже почти отмерла. Религия — сплошное суеверие. Уцелела лишь торговля, которая в конечном итоге и определяет ход всех вещей.

Господин Юй Гэнь-цзы рассказал мне следующую притчу. Сам он из крестьян. У его отца был хутор — на равнине, простирающейся к северу от Ба Вай до самого моря. Однажды, получив деньги за хороший урожай, покойный господин Юй Гэнь-старший решил избавиться от старых шкафов и кроватей и завести новые. Так он и сделал, однако старые кровати и шкафы принадлежали еще бабке с дедом господина Юй Гэня-старшего, к тому же украшены ценной резьбой. (У нас бы никто и не подумал избавляться от таких вещей; большеносые же всегда предпочитают новое старому. Однако эту их нелепую привычку я уже описывал, и сейчас речь не о ней.) Итак, из уважения к предкам, что само по себе похвально, эти шкафы и кровати не попали ни под топор, ни в печку, а были оставлены в одной из пустующих верхних комнат. Там-то на них и набросились червяки-древоточцы. Получилось так, сказал господин Юй Гэнь-цзы, что эта комната оказалась как раз настолько теплой и влажной, сколько требуется древоточцам для

полного благоденствия. Червяки принялись размножаться, а поскольку шкафы и кровати снабжали их достаточным пропитанием, то они росли и размножались все быстрее. Их становилось все больше, и с каждым новым поколением они делались все толще, пока в конце концов кровати и шкафы не были съедены до последней крупинки, после чего эти огромные толстые червяки в одночасье издохли. Именно к этому моменту, к полному и окончательному краху и подходит сейчас жизнь большеносых.

Ход вещей в мире большеносых, сказал я, в конечном счете определяется торговлей. Однако эта торговля,— а тем самым и денежная система, и налоги, и государство, и вообще вся жизнь большеносых,— может существовать, лишь когда постоянно производится что-то новое, неважно, нужно оно кому-нибудь или нет. Такая экономика, как сказал господин Юй Гэнь-цзы, исправно работает до тех пор, пока рабочие не перестали приобретать повозки дороже тех, которые могут себе позволить. Большеносые живут в долг, они проедают свое будущее. И съедят его прежде, чем оно наконец наступит.

Я сказал тебе, что считаю религию большеносых суеверием? Если да, то я был не прав. Их религия была бы очень хороша — если бы они ей следовали. С ней произошло почти то же самое, что с даосизмом. Утонченная философия премудрого Лао-цзы была бы просто прекрасна, если бы люди были в состоянии следовать ей. Учение же великого Кун-цзы, не столь утонченное в теории, оказывается гораздо лучше на практике — именно потому, что ему возможно следовать. Религия большеносых очень хороша, но они следуют лишь внешним ее заветам, да и это делают слишком поверхностно. Сама по себе она — не суеверие, это они относятся к ней как к таковому. О вере же, которую они исповедуют на самом деле, я уже писал: это — Западное и Восточное учения. Причем «запад» и «восток» здесь следует понимать не в нашем смысле, ибо, противопоставляя Запад Востоку, большеносые не знают и не ищут середины.

Западное учение гласит, что счастье создается богатством. Обязанность каждого — стремиться к счастью по мере своих сил. Поэтому важнейшей заслугой человека Западное учение считает получение прибыли. При этом человек — чисто теоретически — должен руководствоваться определенными правилами морали. Эти правила могут выводиться как из суеверия, то есть религии, так и из общепринятых представлений о долге и добродетели. Но это теоретически. Практически же стоит прибыли только забрезжить на горизонте, как все моральные правила либо извращаются так, чтобы они не служили помехой, либо же, что гораздо проще, отбрасываются. Так,— рассказывал мастер Юй Гэнь, сам столкнувшийся с этим в своем лесоводстве,— известно, что уксусный дождь, разъедающий лес, зарождается из облаков дыма, того ядовитого пара, который уже в течение десятилетий, а кое-где и столетий испускают гигантские кузницы, среди коих виденная мною — одна из самых малых, и из тех смертоносных отходов, которые они же спускают в реки. Известны и имена виновных в том лиц. Однако если запретить кузницам испускать яды, они не смогут работать; если они не смогут работать, сократится прибыль (не только для высокопочтенного господина Начальника и таинственных хозяев руководимой им кузницы, но в первую очередь для самих рабочих); если же сократится прибыль, они сочтут, что лишились своего счастья. Поэтому мораль извращается, причем настолько, что даже разговор на эту тему считается неприличным. И вот министр Чжи, тот самый варвар с юга, выходит к народу и заявляет: ничего страшного! Того же, кто осмелится ему возразить, подвергают наказанию или по меньшей мере порицанию.

Самое интересное в том, говорит мастер Юй Гэнь, что министры-то и входят в число этих таинственных хозяев кузниц. Остальное тебе ясно.

Ты можешь подумать, что народ, устав дышать отравленным воздухом, однажды поднимет восстание. И ошибешься. Все рабочие кузниц состоят членами огромных ремесленных сообществ. Эти сообщества (они называются «Один раз дать», что звучит как насмешка; скорее их следовало бы называть «Десять тысяч раз отнять» [1]), однако, тоже озабочены лишь

[1] По-китайски «один раз дать» звучит как «И-гэй» (*нем.* IG — сокращенное обозначение профсоюза).

тем, чтобы обеспечить своим членам как можно большую прибыль, то есть, в конечном итоге, преследуют те же цели, что и таинственные хозяева кузниц, и продажный верховный мандарин, даже если и уверяют всех в обратном. Кроме того, сообщил господин Юй Гэнь-цзы, богатые и высокородные начальники этих обществ сами принадлежат к числу таинственных хозяев гигантских кузниц и даже открывают иногда собственные кузницы...

Таково, вкратце, Западное учение о благе прибыли. Восточное учение немногим лучше. Оно считает — и это показалось мне величайшей глупостью из всех, когда-либо слышанных мною,— что весь ход истории подчиняется нескольким совершенно незыблемым закономерностям. Хотя каждому, кто хоть раз дал себе труд задуматься над ходом истории, должно быть ясно, что роль всех (несомненно имеющихся в ней) закономерностей, вместе взятых, значительно уступает роли случая. История подобна потоку, знающему лишь один закон: течь ему положено с горы в долину. Но то, как он потечет, обойдет ли он эту скалу слева, а ту — справа, или наоборот, часто зависит от крохотного камешка, случайно оказавшегося на пути его первой капли.

Но нет, Восточное учение кладет в основу истории закономерность, и мало того: его основатель имел смелость заявить, что умеет вычислить эту закономерность. Мне это напоминает самоуверенные заявления астрологов.

Далее, Восточное учение исходит из того, что народ глуп — мысль, сама по себе не лишенная остроумия,— и что его следует буквально за руку вести к своему счастью. Счастье же, согласно этому учению, ожидает людей в отдаленном будущем. В чем оно состоит и как выглядит, никто из создателей учения не знает. Один из них, правда, провозгласил, что счастье — это когда никто больше не голодает и не ночует на улице. Но если это — все, кому нужно такое счастье?

Что ж, пускай глупый народ — хотя на самом деле он не так уж глуп — поверил и устремился к этому далекому и неведомому счастью. Что же сторонники Восточного учения будут делать дальше? Правильно: им придется (и уже пришлось) всеми силами укреплять свое государство, так что теперь в странах Восточного учения рядом с каждым человеком из народа стоит стражник с обнаженной саблей, чтобы тот не сбился с пути к положенному ему счастью. Наши правнуки в Срединном Царстве — какое счастье, что это произойдет лишь через тысячу лет! — тоже объявили себя приверженцами этого учения.

Самое удивительное в этом Восточном учении — то, что оно, обещая людям вещи столь гуманные и неуловимые, что они кажутся скорее поэтическими образами, упорно называет себя «рациональным и материалистическим мировоззрением».

Ныне Западное и Восточное учения, как и следовало ожидать, противостоят друг другу, однако не как две разные философские школы, противоборство которых ограничивается лишь сферою духа, а потому способно даже быть плодотворным, а как две вполне реальные силы: их вооруженные до зубов солдаты грозят друг другу, как могут. Войны же не случилось до сих пор только потому, считает господин Юй Гэнь-цзы, что ни одна из сторон не уверена в победе. Время от времени на окраинах их империй происходят вооруженные стычки, и тогда кому-то из противников удается наградить другого чувствительным пинком. Но на большее они не отваживаются. Мастер Юй Гэнь называет это равновесием страха. Ясно, что в таком мире ни о каком всеобщем процветании и речи быть не может. Впрочем, об этом я тоже уже писал, правда, в иной связи.

У Западного учения есть одно преимущество: счастье, отождествляемое с прибылью, выглядит не в пример доступнее счастья в отдаленном будущем. Преимущество же Восточного учения в том, что им проще пользоваться. Но ни одному из них не суждено когда-нибудь отпраздновать победу, говорит господин Юй Гэнь-цзы, и я не могу с ним не согласиться. И те и другие уже доедают свои шкафы и кровати.

О том же беседовал я и с господином Мэй Ло, судьей. Он сказал мне: напишите книгу, изложите в ней свои мысли, пусть о них узнают все. Ибо лишь посторонний способен открыть большеносым глаза — неважно, придерживаются ли они Западного или Восточного учения. (Господин судья Мэй Ло даже не подозревает, насколько я для них посторонен и даже «потусторонен».) Он дал мне книгу, написанную одним большеносым, жившим почти три века назад. Этот большеносый был аристократом очень древнего рода из страны западнее Ба Вай; звали его Мо Тэ-кьо. Книгу свою он написал от имени «постороннего наблюдателя» — некоего князя из далекой страны, весьма остроумно и нелицеприятно судящего о нравах большеносых. Кстати, страна, из которой прибыл этот князь, тоже была расположена где-то на Востоке... Можешь себе представить, как глубоко тронула меня эта книга. Возвращая ее господину Мэй Ло, я жалел, что не могу признаться ему в этом моем чувстве. Задал же я ему один вопрос: нашла ли книга господина Мо Тэ-кьо хоть какой-то отклик в сердцах большеносых? Да, конечно,— ответил господин Мэй Ло,— но, увы, весьма небольшой.

Так что и я не стану тратить время на сочинение книги для большеносых, помня слова мудреца с Абрикосового холма: «Учитель сказал: опровергать теории глупцов — напрасная трата сил».

Сердечно приветствую и обнимаю тебя —

твой Гао-дай

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

вторник, 7 декабря

Дорогой Цзи-гу,

год большеносых подходит к концу — так же, как и мое пребывание в их мире. На улице холодно, идет снег. Госпожа Кай-кун и маленькая госпожа Чжун разругались. Этого я тоже не понимаю. Вероятно, все дело в том, что женщина здесь привыкла держать себя по-мужски. Ей хочется, чтобы мужчина дарил ей одной всю свою благосклонность: вот уж действительно странное воззрение! Мало того, что это вредит здоровью: именно из-за этого, я уверен, в конце концов и распадается семья. Разве я не с равной нежностью и благодарностью принимал дары любви от обеих, от госпожи Кай-кун и маленькой госпожи Чжун? Разве не в равной мере я отдавал им свою мужскую силу, находя время для каждой?

Господин Юй Гэнь-цзы, мой добрый уехавший друг — он знал об обеих дамах,— предостерегал меня. Он говорил, что нынешние женщины присвоили себе право ревновать. Но что такое ревность? Всего лишь одна из форм зависти. Вот еще одна из странностей мира большеносых: зависть вообще считается у них дурным чувством — за исключением тех случаев, когда она выступает в форме ревности. На эту тему, говорит господин Юй Гэнь-цзы, у них существует обширнейшая литература — да, пожалуй, и вся литература большеносых так или иначе посвящена ревности.

Следуя предостережению господина Юй Гэнь-цзы, я по мере сил старался не допустить, чтобы обе дамы встретились, и ничего не говорил одной про другую. Сначала все шло хорошо, так как маленькая госпожа Чжун всегда прилетает в Минхэнь только на два-три дня, а у госпожи Кай-кун часто бывают самые разные дела, так что для меня у нее времени не остается.

Но вчера эта неприятность все же случилась. Маленькая госпожа Чжун приехала в Минхэнь неожиданно и решила навестить меня в то самое время, когда я ублажал госпожу Кай-кун. Я лишь повторял: тише, тише, потому что была ночь, и все соседи, наверное, уже спали. Не буду описывать тебе эту некрасивую сцену. Потоки слез — лишь самая малая ее часть. Мне пришлось выслушать много обидных слов, прежде чем обе они удалились. Точнее, собрались удалиться; однако вместе, по одной лестнице, они идти не желали. Поэтому каждая стояла и дожидалась, когда уйдет другая, продолжая тем временем осыпать меня упреками: одна — на языке жителей Минхэня, другая — на нашем языке. Лишь когда я сам сделал вид, что ухожу, они унеслись прочь, заявив, что ни ту ни другую я больше никогда не увижу.

Я запер за ними дверь и откупорил бутылку Шан-пань. Как жаль, мой милый Цзи-гу, что я не могу прихватить для тебя бутылочку этого чудесного напитка. Сумка моя не очень велика — боюсь, что, перегрузив ее, я застряну где-нибудь на полдороге. Очень, очень жаль. Тебе Шан-пань наверняка бы понравился.

Поцелуй за меня мою верную и далеко не такую ревнивую Сяо-сяо. Утешь ее и скажи, что я вернусь уже совсем скоро. Не сомневаюсь, что она все поймет правильно.

По-прежнему твой *Гао-дай*

[ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ]
[ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ]

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

четверг, 6 января

Мой дорогой друг Цзи-гу,

вот я и снова в Минхэне, у себя в комнате, в Го-ти Ни-цзя. Улицы завалены снегом, выходить не хочется. Только что старший ключник — с величайшими вежливостью и почтением, на какие только способен большеносый,— осведомился у меня, как долго я еще намерен оказывать их постоялому двору честь своим присутствием? Я ответил, что собираюсь уехать вскоре после последнего зимнего полнолуния (разумеется, прямо я ему о зимнем полнолунии не говорил, ибо большеносые никогда не смотрят, какая сейчас луна, полная она или нет, и не знают, когда будет следующая. Я назвал ему соответствующую дату их календаря, пользоваться которым давно уже научился). Почему он спрашивал меня об этом? Ответ на этот вопрос тоже наверняка удивит тебя. Он вовсе не намекал на то, что мне пора съезжать с этого постоялого двора, именуемого «Четыре времени года», как то немедленно пришло бы в голову нам с тобой. Отнюдь нет, ибо старшему ключнику прекрасно известно, что денег у меня достаточно, что постоялец я тихий и почти никогда не жалуюсь на нерадивость слуг, что я терплю, когда другие постояльцы в крепком подпитии выкрикивают несуразные слова, и часто заказываю Шан-пань, словом, что я — хороший постоялец, приносящий прибыль. Да старший ключник и сам не раз заверял меня, что я могу жить здесь (и, разумеется, платить деньги — чего он, впрочем, вслух не сказал, а только подумал), сколько мне заблагорассудится. Для чего же ему нужно было знать, когда я хочу уехать? Оказывается, для того, чтобы отметить у себя в книгах, когда он вновь сможет распоряжаться моей комнатой! Большеносые все время строят планы, пытаясь заглянуть в будущее, и только и знают, что размышлять, когда да как они смогут чем-то «распорядиться». Они не умеют просто сидеть и ждать. Это, без сомнения, тоже связано с их постоянным стремлением уйти прочь от самих себя. Большеносые и живут-то больше в будущем, чем в настоящем,— и всякий раз упускают это настоящее. Тогда они принимаются сокрушаться,— как говорилось в стихах, процитированных мне поэтом по имени Си Гэй, сочиняющим только летом,— что все их столь тщательно построенные планы рушатся, и вообще все происходит иначе, чем ожидалось. Они не понимают, что такой проблемы просто не возникает, если не слишком задумываться над будущим. Планируй весну, не планируй — она все равно наступит. Здесь, в Минхэне, она наступает поздно, говорит старший ключник. Он боится, что к моему отъезду ни снег, ни холода еще не сойдут.

Несмотря на столь унылую погоду — или нет: прежде я никогда бы не поверил, но теперь в этом убедился: именно ради этой унылой погоды мы с госпожой Кай-кун и отправились в горы. Эти горы, где снегу, разумеется, еще больше, чем здесь, расположены к югу от Минхэня. Ехали мы туда на повозке Ма-шин два часа. На обычной повозке, запряженной лошадью, мы бы добирались до них, наверное, двое суток. Мы прибыли в местечко, именуемое Ки Цзи-бу и премерзкое на вид. В нем совсем нет домов, а есть

только Го-ти Ни-цзя. И жителей, как я понял, тоже нет, одни постояльцы. Все приезжие одеты в странные пестрые Ко-туни; они только и делают, что толкутся на улицах и очень громко разговаривают, почти кричат. Они нарочно подставляют лица зимнему солнцу, и те немедленно приобретают ярко-красную окраску. Сначала я никак не мог понять, чем же занимаются большеносые (хотя в данном случае их, скорее, следовало бы называть «красноносыми») в этом Ки Цзи-бу, и какая сила тянет их в горы в столь безотрадное время года, когда всякий нормальный человек предпочитает оставаться в долине.

Ответ не прост. Ты помнишь, как я рассказывал о госпоже Да Х'мань, подруге госпожи Кай-кун, и нашем совместном посещении купального подвала? А мой рассказ о покупке загадочного предмета по имени Нань Ло? Так вот, одно с другим тесно связано, и мало того: все это прямо связано с удивительной и чрезвычайно распространенной среди большеносых любовью к воде. Они обожают быть мокрыми. Конечно, мы тоже моемся, и благородный, а тем более образованный муж следит, чтобы тело его было чистым и издавало приятный запах. Но все это — ничто по сравнению с тем, что устраивают большеносые: это, на мой взгляд, переходит уже всякие границы. Как и любому суеверию, этому водолюбию находится (специально для людей образованных) научное объяснение: его объявляют полезным для здоровья. Вот уж в чем я решительно сомневаюсь!

Однако при мытье большеносые поливаются водой, пожалуй, даже меньше нашего. Господин Юй Гэнь-цзы говорил мне, что читал где-то, будто две трети большеносых вообще никогда не моются по-настоящему. Что, очевидно, недалеко от истины, если судить по тем запахам, которые нередко приходится ощущать чувствительному носу, особенно когда входишь в их жилища. Однако в теплое время года они непременно бросаются в любой водоем, будь в нем хоть проточная, хоть стоячая вода, и долго плавают взад-вперед. С наступлением холодов они посещают особые, только для того устроенные пруды, накрытые крышей, где воду нарочно подогревают. Или спускаются в купальные подвалы, где, раздевшись догола, поддают жару, пока не взмокнут от пота. Летом, устав мокнуть сами, они надувают свои Нань Ло, которые суть не что иное, как маленькие суденышки, сшитые из ткани, и ездят по воде туда-сюда, изо всех сил гребя веслами. Кроме того, в парках и садах в любую погоду можно увидеть большеносых, бегущих расхлябанным шагом, недостойным благородного человека. Все это они делают с одной-единственной целью — как можно сильнее взмокнуть от пота. У них существуют поля, покрытые красноватым песком и перегороженные сеткой: большеносые скачут по ним, как бешеные, гоняя перед собой маленькие белые шарики (эти шарики немного больше размером, чем были у той танцовщицы — ну да ты понял, о чем я говорю), и еще другие поля, с травой, по которым носятся две дюжины большеносых, гоняя один шарик еще большей величины. И тоже старательно потеют. С возрастом, когда сил для таких потогонных упражнений уже не хватает, они ездят в особые места, где вырыты мелкие водоемы. Там они закатывают штаны и долго бродят по воде с неизвестной целью. Однажды я видел такое в Ящике Дальнего Видения. Это было, пожалуй, самое смешное из всего, что я здесь видел, за исключением разве того нелепого представления с пением и плясками — я имею в виду «Повесть о Стране, где все улыбаются».

Зимой же, когда вода делается слишком холодной или даже замерзает, они купаются в снегу. Да-да, хочешь верь, хочешь нет: они усаживаются в повозки Ма-шин и едут хоть два, хоть три часа, чтобы только добраться до какой-нибудь горы или холма. Там они пересаживаются в другие повозки, подвешенные к веревкам, и те завозят их на вершину, откуда они и бросаются вниз очертя голову с намерением основательно вываляться в снегу. Чтобы хоть немного уменьшить опасность и замедлить падение, они привязывают к ногам длинные тонкие доски, в руки же берут пару палок. Ими-то они и притормаживают, когда скорость слишком возрастает. Но все равно очень многие большеносые, как и следовало ожидать,

ломают себе руки, ноги и даже шеи, сорвавшись с обрыва, наехав на дерево или на другого, еще менее ловкого большеносого. Однако подобных увечий здесь не стыдятся. Скорее наоборот.

Выучиться купанию в снегу согласился и я — ради госпожи Кай-кун. Еще летом и потом осенью она часто приглашала меня поехать с ней купаться в пруду или озере, но я всегда отказывался. Теперь же, в этом Ки Цзи-бу... Я просто не мог ей отказать. Не потому, что поверил, будто мне и вправду понравится валяться в снегу, в чем она меня долго убеждала, а только потому, что, честно говоря, ощущал свою вину перед нею из-за истории с маленькой госпожой Чжун. Поэтому я согласился. Госпожа Кай-кун привела меня к учителю снежного купания. Мне выдали пестрый Ко-тунь, напоминающий ту забавную одежду, в которую дикие жители Севера наряжают своих детишек, пару длинных досок (они носят красноречивое название «покойник» [1]) и палки. Я почтительно приблизился к господину учителю, однако с удивлением обнаружил, что это — совсем молодой человек весьма неопрятной наружности, к тому же с грубыми манерами. Волосы у него были жирные, длинные, изо рта пахло. Он громко и довольно-таки невежливо прокричал что-то, и мы, я и еще человек десять учеников, поднялись на вершину горы и выстроились у самого ската. Желая уверить его в моем усердии, я первым бросился вниз, стараясь вываляться в снегу как можно сильнее, и первым докатился до его ног — к сожалению, опрокинув и его самого. А поскольку одна из моих длинных досок, видимо, нанесла ему довольно чувствительный удар по голове, он закричал еще громче и, хоть это и казалось невозможным, еще невежливее. Однако я не утратил самообладания; поднявшись на ноги, я поклонился, как сумел, ибо привязанные к ногам доски мне все-таки сильно мешали, и произнес:

— О высокочтимейший и достойнейший учитель снежного купания, вы видите перед собою ничтожнейшего и бездарнейшего из учеников, чья неосведомленность в искусстве учтивой речи столь велика, что он не в состоянии выразить словами переполняющее его чувство великого сожаления по поводу возможных повреждений, неумышленно нанесенных им вашей прекрасной голове. Я раскаиваюсь так же глубоко и искренне, как раскаивался бы, поднеся своей теще горсть крупы вместо положенного жареного поросенка в день Новогоднего праздника.— Он схватился за голову и закричал еще громче; что он кричал, я не понял. Тогда он замахал руками. Когда же я обнаружил свое намерение подняться наверх и проделать все еще раз, голос у него и вовсе сорвался; однако по отдельным выражениям и общему тону я наконец догадался, что господин учитель приносит мне свои извинения, но категорически отказывается обучать меня своему искусству.

Я пошел прочь. Поскольку без госпожи Кай-кун (она куда-то ушла, пообещав забрать меня после занятий, то есть через час) я не умел расстегнуть сложный механизм, соединявший неудобные доски с моими ногами, идти к местной Го-ти Ни-цзя мне пришлось прямо в них. От прохожих, попадавшихся мне на пути, я слышал много недобрых слов. Когда я собрался перейти улицу, одна бойкая повозка Ма-шин проехала по моим доскам прямо у меня перед носом. Зато они сделались короче, и это в какой-то мере облегчило мне остаток пути. В Го-ти Ни-цзя слуга помог мне избавиться от них совсем. Я был совершенно мокрым от пота и, поднявшись к себе, сразу лег в постель. Что ж, по крайней мере в этом отношении — хорошенько взмокнуть — цель моей поездки оказалась достигнутой.

Госпожа Кай-кун купалась в снегу с удовольствием. Она не пропускала ни одного дня. Все ее тело было покрыто жуткими синяками. Впрочем, нашим любовным утехам это нисколько не мешало.

В Ки Цзи-бу мы пробыли больше десяти дней. После того, как учитель снежного купания исключил меня из числа учеников, я большей частью проводил время в Го-ти Ни-цзя в полном одиночестве, в основном за чтением. Я пытался заговаривать со слугами, но разговора у нас не

---

[1] «Ши» (*нем.* Schi — лыжи) по-китайски означает «покойник».

получалось: местечко Ки Цзи-бу расположено в провинции Ти-лой, где говорят на странном, малопонятном языке, многие звуки которого напоминают отрыжку. Кроме того, мне показалось, что к числу добродетелей, несомненно отличающих жителей этого края, высокоразвитый ум все-таки не относится. Так что я был рад, когда настало время отъезда. Я предложил госпоже Кай-кун направить повозку Ма-шин куда-нибудь, где вообще нет снега — пусть даже дорога туда займет все двадцать часов, а не два. Однако на это у госпожи Кай-кун не было времени. Она, как я уже знаю, исполняет должность учительницы: учит детей и молодых людей (не только девушек, но, как это ни странно, и юношей) правильному употреблению родного языка. Теперь ей нужно торопиться назад, чтобы продолжить занятия. Только через три месяца в занятиях снова наступит перерыв, достаточно длительный, чтобы она могла куда-нибудь поехать. Но меня здесь тогда уже не будет.

Да, мы с ней все-таки помирились. В письме, найденном мною на почтовом камне по возвращении в Минхэнь, ты спрашивал, каким образом я, несмотря на ссору с госпожой Кай-кун, тем не менее отправился вместе с ней в путешествие. Что ж, могу рассказать, как это случилось.

Когда обе дамы столь поспешно покинули меня той ночью, я сначала испытал сильное облегчение. Однако уже на следующий день горько пожалел, что лишился даже того немногого, что хоть как-то скрашивало мою жизнь в этом мире. Мне было жаль расстаться и с маленькой госпожой Чжун, летающей горничной, но более всего — я сразу это понял — мне не хватало бы госпожи Кай-кун. Поэтому я купил букет местных крупных цветов, жемчужный браслет и кольцо с блестящими камушками, которые очень ценятся большеносыми (одно это кольцо обошлось мне в два лана серебра), нанял на постоялом дворе лакея и отправил все это к ней. Через пару дней я пошел к ней сам, собравшись произнести перед ее порогом изысканную речь (я даже письменно набросал ее перед этим), но она, не дав мне и рта раскрыть, бросилась мне на шею и прильнула своими губами к моим, облизывая их языком (у большеносых это считается признаком особо страстной любви), в промежутках не уставая повторять, что я — ее «любимый маленький Ки-тайчонок».

Тогда-то я и понял, что душа моя склоняется к госпоже Кай-кун гораздо более, чем к любой иной женщине в прошлом.

Потом она сказала, что сердится на меня, но не за тот случай с маленькой госпожой Чжун, а за подарки. Столь дорогие вещи дарят, по ее словам, лишь любимой наложнице министра, когда хотят таким образом косвенно его подкупить. Этого я, признаться, никак от нее не ожидал. Не скрою, что до тех пор я считал госпожу Кай-кун большой любительницей красивых и дорогих вещей. Однако, пожалуй, я переоценил свое умение читать по ее лицу. В свое оправдание могу сказать лишь, что столь упрощенный способ покаяния подсказало мне мое представление об общей грубости чувств у большеносых. Теперь же, если называть вещи своими именами, я вынужден признать, что госпожа Кай-кун — не женщина в нашем понимании, какими мы их привыкли видеть, а в самом деле человек. Так что расстаться с нею будет для меня стократ горше, чем я думал вначале.

Когда мы приехали домой из Ки Цзи-бу, купленные мною цветы уже завяли. Кольцо и браслет она тогда отдала мне назад. Пристыженный, я решил забыть о них и оставил в кармане парадного Ко-туня, который бросил небрежно в комнате постоялого двора в надежде, что кто-нибудь из горничных или слуг украдет их. Однако, когда я вернулся, они были на месте. Такова жизнь: полагаться на изначальное зло человеческой природы нельзя даже в мире большеносых.

Отправляясь к ней вчера вечером, я снова захватил с собой кольцо и браслет. И попросил ее, раз уж так все обернулось, отдать их от моего имени уважаемой подруге, госпоже Да Х'мань, в знак моего почтения перед ее наукой о человеческой душе. Но госпожа Кай-кун все-таки остается женщиной: сейчас она смеется, а через миг уже плачет, если не то и другое вместе. Она вновь облизала мои губы, засмеялась и сказала, что не так уж

на меня сердится, чтобы сделать еще и это. Кроме того, ей прекрасно известно, что на самом деле я далеко не так высоко ценю эту науку о душе, чтобы отдать за нее целых два с лишним лана серебра. И потом, ее уважаемая госпожа подруга недавно имела неосторожность ее обидеть. Поэтому госпожа Кай-кун взяла у меня кольцо и браслет, решив их примерить, но вдруг улыбнулась и удалилась в другую комнату. Не прошло и мига, как она вернулась полностью обнаженной и тогда надела и браслет, и кольцо: хочу, объяснила она, чтоб эти вещи по-настоящему засверкали. Ну, тогда уж и я бросил о них думать, а просто упал в ее объятия.

Иногда ее душа кажется мне загадкой. В ней слишком много противоречий. Описать все это очень трудно. Как бы мне хотелось, чтобы ты тоже ее увидел! С одной стороны, все ее мысли и чувства, как у большинства большеносых, направлены на нее самое, на ее собственное благополучие, важнее которого, кажется, и нет ничего на свете. С другой же — она все время заботится о других, и речь тут не только обо мне, что было бы понятно, но и еще об очень многих, часто даже совершенно незнакомых людях, которым она помогает, как может, всегда относясь к ним доброжелательно. С одной стороны, она — человек весьма образованный, можно даже сказать, ученый, достигший, пусть даже по меркам большеносых, подлинных высот развития духа, с другой же — она лишь тогда чувствует себя спокойной и уверенной, когда познает немалые (даже по нашим меркам) радости плотской любви. В одежде она скорее похожа на мальчика, без одежды же ее формы превосходят всякое воображение. С одной стороны, она слишком часто разделяет самые нелепые представления большеносых, с другой — ласкова и мягка, как кошечка, и послушна, как ребенок (когда с ней умело обращаются, что мне, к сожалению, удается не всегда).

Я и в самом деле очень люблю ее. Когда я обратился к ней с просьбой поехать куда-нибудь, где нет снега, и она ответила, что сможет сделать это лишь после первого весеннего полнолуния, а я сказал, что меня тогда давно уже здесь не будет, она заплакала. Мы долго с ней говорили. И я понял, что у нее тоже тяжело на душе, гораздо тяжелее, чем я думал прежде. Да, это моя ошибка. Возможно, я ошибался также, считая большеносых существами менее чувствительными, нежели мы, хотя у них — или, возможно, именно потому, что у них все чувства сразу выходят наружу. А я ведь и госпожу Кай-кун не выделял из их числа. Возможно, я был не прав с самого начала, и чувства у большеносых в результате их бесконечных копаний в собственной душе вовсе не отмерли, а лишь затаились под грудой всевозможных наслоений. Однако страдание открывает им путь наружу. Я спросил у госпожи Кай-кун, будет ли она страдать, когда я уеду. Да, ответила она. И снова заплакала. Я больше не знал, что сказать ей, и молча глядел на стену. Так было уже несколько раз. Свидания наши с госпожой Кай-кун теперь наполнены грустью. Но что поделать, если миг моего отъезда неумолимо приближается? Он настанет через несколько дней после последнего зимнего полнолуния. Если я пропущу его, мне уже никогда не вернуться.

Недавно Мудрец Му — так зовут кошку госпожи Кай-кун — поймал на балконе птичку. Это было как раз в тот день, когда мы уезжали в Ки Цзи-бу. Мудреца Му с собой не взяли. На время нашего отсутствия о нем должна была позаботиться подруга госпожи Кай-кун, не госпожа Да Х'мань, а другая. Но это так, к слову. В самый разгар наших дорожных приготовлений (это значит, что я стоял без дела, а госпожа Кай-кун без конца перекладывала свои платья, раздумывая, какие брать с собой, а какие — нет) с балкона вдруг донеслись вопли и отчаянное чириканье, и вскоре в комнату вошел Мудрец Му, держа в зубах птичку, похожую на нашего дрозда. Дрозд вырывался, чирикая в смертельном ужасе, а Мудрец Му быстро тащил его к своему лежбищу, устроенному в корзине. Госпожа Кай-кун закричала и выбежала вон; комнату заполнили пух и перья. Я захлопал в ладоши и поймал Мудреца Му, который, в свою очередь, выпустил несчастного дрозда. Дрозд взлетел и уселся на книжную полку. Мудрец Му злобно зашипел, и я вынес его в другую комнату. Госпожа Кай-кун

вернулась, и мы убедились, что дрозд совсем не пострадал. Птичка лишь сильно испугалась, что вполне понятно, и была вся растрепана. Мы распахнули окно. Дрозд привел в порядок свои перышки, отряхнулся и улетел восвояси.

Такова жизнь. Я люблю кошек; к Мудрецу Му я привязался всей душой, потому что он напоминает мне мою Сяо-сяо. Птиц я тоже люблю; что же делать, если кошки ловят их и убивают? Мне понятна страсть кошки к охоте, и я восхищаюсь ее ловкостью и быстротой. И все же я бросился на помощь птице. Естественному порядку вещей это противоречит. На самом деле я рад был бы помочь обеим. Сердце мое разрывается на части. Мне хочется вернуться домой, в родное время, но хочется и остаться...

Завтра мы с госпожой Кай-кун снова пойдем на песенно-танцевальное представление под названием «Повесть о Стране улыбок». Госпоже Кай-кун хотелось посмотреть какое-нибудь другое представление, но мне слишком хотелось еще раз увидеть именно эту повесть, даже если от смеха у меня начнутся колики в животе.

На этом пока заканчиваю и остаюсь — твой далекий, верный и, несмотря на все улыбки, печальный друг —

Гао-дай

[ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ]

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

суббота, 22 января

Дорогой Цзи-гу!

Спасибо за большое и подробное письмо. Сейчас я не буду разбирать всех вопросов, которые ты затронул, ибо до моего возвращения осталось совсем немного. Так что ты не слишком утруждай себя выполнением моих обязанностей, а отвечай всем так: я написал, что приеду вскоре после последнего зимнего полнолуния. У нас нет больше дел настолько срочных, чтобы они не могли подождать до того времени. Однако к одному вопросу я все же хочу вернуться, тем более что он прямо с этим связан. Неужели я действительно написал в предпоследнем письме, что день моего возвращения приближается н е у м о л и м о? Нет, я не сомневаюсь, что ты все прочел верно,— и, хотя сам уже не помню, как именно выразился, все же хорошо помню, что в последнее время испытывал это ощущение довольно часто: неумолимость приближающегося дня отъезда повергала меня в отчаяние. И все же я уеду, ибо должен уехать. Тебе, как никому, мой милый Цзи-гу, ведомы движения моей души и сердца, а из моих писем ты мог узнать их еще лучше. Да что говорить: это связано с госпожой Кай-кун.

От путешествия в этот далекий и чуждый для меня мир я мог ожидать чего угодно, только не этого, да еще в моем, увы, уже более чем зрелом возрасте. Сейчас я снова сижу в нижней гостиной моего постоялого двора, давшего мне приют и уже почти ставшего для меня родным домом, попиваю ледяной Шан-пань и вдыхаю благовонный дым одной из моих любимых коричневых Да Ви-доу. Шан-пань всегда пьют очень сильно охлажденным. В это время, зимой, пузатую бутылку чудесного напитка можно было бы просто вынести во двор и поставить в снег, и она быстро бы охладилась. Но нет, большеносые так не поступают, ибо знают иной способ создавать холод. Этот способ действует и летом. Нам с тобой известно, что люди (я имею в виду людей в нашей стране) умеют создавать тепло; холода они создавать не умеют. Когда приходит зима и становится зябко, можно разжечь огонь в очаге или надеть шубу. Однако летом, когда наступает жара, мы не в силах с ней ничего поделать, и нам остается лишь потеть, отдуваться, издавать стоны да искать подходящее местечко в тени, лучше всего где-нибудь у воды. Большеносым же и эта закономерность природы показалась слишком неудобной, и они научились делать ледяные шкафы. Если открыть дверцу такого шкафа, тебя так и обдаст холодом, точно ты повстречал злого демона и почувствовал его дыхание. Пузатую бутылку оставляют в таком шкафу часа на два, и она делается совершенно

холодной. У теплого Шан-паня вкус весьма неважный. По словам госпожи Кай-кун, теплый Шан-пань — это «конец света».

Зачем я рассказываю тебе обо всем этом? Затем, чтобы отвлечься от тех вещей, которые я решился тебе рассказать и которые, как ты уже догадываешься, разбивают мне сердце. Госпожа Кай-кун меня обманула. Она сама употребила это слово; тем же словом она назвала и мои скромные развлечения с маленькой госпожой Чжун. Понятия о нравственности у большеносых таковы, что женщины тоже предъявляют права на единоличное обладание мужчиной (впрочем, я сильно сомневаюсь, чтобы оба они могли радоваться этому достаточно долго). Госпожа Кай-кун рассказала, что тогда, обнаружив все это дело с маленькой госпожой Чжун и сильно на меня разгневавшись, она решила мне отомстить. И вот в один из следующих дней (или, точнее, в одну из следующих ночей) она отдалась человеку, в свое время долго ее домогавшемуся. Он — ученый, выдержавший государственный экзамен, и зовут его господин Хэ Сен-хоу.

Разговор у нас с ней получился долгим и горьким. Сейчас я уже не помню, что она рассказывала мне по своему побуждению, а что выпытывал у нее я сам, лишь усугубляя свои мучения. Я расспрашивал ее так долго, пока не узнал всего в мельчайших подробностях — и расстроился окончательно. Этот ученый, господин Хэ Сен-хоу, вообще живет не в Минхэне. Однако в то время он по чистой случайности снова приехал и, встретившись с госпожой Кай-кун, возобновил свои дерзкие домогательства, которых не оставляет уже несколько лет. Госпожа Кай-кун, по ее словам, так сильно на меня гневалась, что в этот раз решила ему уступить. И позволила ему разделить с ней ложе! Ты видишь, даже кисть дрожит в моей руке, стоит мне только подумать об этом. Меня мало утешает, что госпожа Кай-кун, как она сама утверждает, не испытала при этом особого наслаждения, поскольку тот ученый — то ли боясь простудиться, то ли из иных соображений — не снял чулок во время любовного акта. Чулки же у него были коротенькие и ужасного коричневого цвета. От этого, сказала госпожа Кай-кун, ей все время было смешно — несмотря даже на жажду мести.

После этого я целых несколько часов подряд размышлял, где нанять убийцу и какую смерть ему назначить. Больше всего мне хотелось его оскопить. Впрочем, потом, когда я немного остыл, мне пришло в голову, что когда госпожа Кай-кун рассказывала мне все это, его уже давно и след простыл.

Однако мне пришлось сделать из этой истории еще один вывод, гораздо более глубокий. Госпожа Кай-кун любит меня много сильнее, чем я до сих пор думал. Я сообщил тебе это не из тщеславия. Было бы лучше, если бы оказалось верным мое первоначальное мнение, если бы чувства госпожи Кай-кун были именно таковы, какими я и представлял их себе так долго: не любовь, таящаяся глубоко в сердце и с каждым днем крепнущая, а мимолетное увлечение, легкое приключение красивой избалованной женщины со странным человеком, вся прелесть которого в странности и заключается. Да, это было бы лучше, потому что тогда мне было бы не так больно — о, если бы это было так! Теперь же для меня нет ничего дороже любви госпожи Кай-кун, истинную силу которой я познал только теперь.

Как ты знаешь, госпожа Кай-кун — единственный человек здесь (кроме, конечно, господина Ши-ми), которому известно мое подлинное происхождение. Все прочие считают меня лишь посланцем далекой страны, даже не догадываясь о далеком времени. Но лишь теперь, после наших горьких бесед, мне стал ясен смысл некоторых слов, которые госпожа Кай-кун произносила в последнее время. Лишь теперь мне ясно, в чем истинная причина ее печали. И даже ее «месть», ради которой она отдалась этому бездарному шарлатану, выдержавшему государственный экзамен, тоже объясняется отнюдь не только историей с маленькой госпожой Чжун. Истинная причина заключается в следующем: госпоже Кай-кун больно расставаться со мной, она охотно поехала бы вместе со мной в прошлое. Она бросила бы все, что у нее есть в этом мире, терпела бы все неудобства, которые ее, несомненно, ожидали бы в мире нашем, забыла бы о напитке

Шан-пань и даже согласилась бы есть жареных собак — если бы я только взял ее с собой. Но ей слишком хорошо известно, что это невозможно. Компас времени может перенести только о д н о г о.

Поэтому, говорит она, у нее теперь в жизни просто нет надежды. А это, говорит она, для человека самое страшное. Будь она поглупее, она бы придумала себе надежду, она бы каждый день раздувала в себе ее искорку — и это помогло бы ей жить дальше. Но, увы, она не настолько глупа, чтобы суметь обмануть себя таким образом. Поэтому, говорит она, ее с каждым днем охватывает все более глубокая тоска, и она спрашивает себя: ну за что, за что все это стряслось именно с ней?

Ч т о именно стряслось, спросил я. Она не ответила, но я и так знаю: это — ее необычайно сильная («проклятая», как она сама выразилась) любовь ко мне. Я говорю об этом опять-таки не из тщеславия. Признаюсь честно: я не понимаю, что нашла эта высокая, красивая женщина в таком маленьком, далеко не молодом и для нее совершенно незначительном мандарине? А она, как видишь, погружается в черную тоску, делающуюся с каждым днем все глубже, оттого что не видит для себя никакой надежды. Потому-то она и уступила домогательствам того ученого господина, и не только уступила, а буквально подбила его на это.

Я понял ее невысказанный вопрос. Ей хотелось спросить, почему бы мне не остаться здесь, вместе с ней, в этом мире. Она боялась высказать его вслух. А я — я боялся на него ответить. Поэтому я встал, отошел в сторону и стал разглядывать стену...

И вот мне пришло в голову: я отправляю свои письма в прошлое, на тысячу лет назад. Ты сохранишь их. В свое время ты передашь их в запечатанном конверте своему старшему сыну. Надеюсь, что они и дальше пойдут через века в целости и сохранности. И через тысячу лет придут в тот город, где я нахожусь сейчас. Возможно, это произойдет уже через несколько месяцев — и через тысячу лет. Может быть, они попадут к кому-то, кто сумеет их прочитать. И, может быть, их когда-нибудь прочтет госпожа Кай-кун. Кто знает, что произойдет через тысячу лет?

И если ты, моя прекрасная госпожа Кай-кун, когда-либо прочтешь эти строки — что должно случиться, непременно случается, как говорил Чжуан-цзы,— то знай, что я любил тебя: я, который уже тысячу лет как мертв, любил тебя всю эту тысячу лет. Теперь я скажу тебе, почему не остался тогда с тобой и вернулся в свой мир: потому что я принадлежу своему миру, и еще потому, что о б е щ а л вернуться. Если бы я хоть раз не выполнил своего обещания, то жизнь моя пришла бы в беспорядок, и я перестал бы быть собой. Мне понадобилось много лет, чтобы это понять, но теперь я это понимаю. Потому я не могу остаться. Я должен уехать. Прости меня — хотя бы ради того, что я любил тебя. Если ты прочтешь эти строки, моя прекрасная госпожа Кай-кун, попробуй рассмотреть их со всех сторон, попробуй взглянуть на них моими глазами, так сильно страдающими от всякого беспорядка. Но знай, что я все равно любил тебя.

Прости и ты, мой любезный Цзи-гу, что вместо письма к тебе у меня вышло письмо к госпоже Кай-кун. Верю, что ты, как друг, поймешь мою откровенность, ибо перед кем еще я мог бы так раскрыть свою душу? Больше пока ничего написать тебе не могу.

От всего сердца обнимаю тебя —

твой Гао-дай

[ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ]

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

пятница, 4 февраля

Мой дорогой Цзи-гу,
ты совершенно прав, говоря, что я, будучи как-никак начальником императорской Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал», тем не менее до сих пор ни словом не обмолвился о литературе большеносых. Дело, конечно, не в том, что я внезапно утратил интерес

к литературе, а скорее в том, что у большеносых давно уже нет литературы. У них есть теперь только книги.

Как только я достаточно овладел языком большеносых и научился разбирать их иероглифы, я начал по мере сил знакомиться с их литературой. Я читал самые разные вещи, одни из них мне нравились, другие нет; были и произведения, которых я просто не понял. У большеносых нет единой литературы — так же, как нет и единого языка, что мне при случае удалось выяснить. Так что, утверждая, что я в какой-то мере умею читать и говорить на языке большеносых, я, строго говоря, допускаю неточность. Я говорю на языке жителей Ба Вай, которым пользуются здесь, в Минхэне, а также в некоторых горных местностях и еще на равнине, тянущейся на север от моря. Однако у большеносых есть еще множество других языков. Так, госпожа Кай-кун говорит не только на языке народа Ба Вай, но знает еще и язык народа, живущего западнее. Своих учеников она учит правильному употреблению и этого языка. Кроме того, госпожа Кай-кун долго изучала литературу обоих этих народов. Так что своими сведениями о литературе, имеющейся на языке народа Ба Вай (сами они называют его «Языком добродетели» [1]), я обязан прежде всего тем беседам, которые вел об этом с госпожой Кай-кун.

Самые древние из произведений этой литературы возникли лишь немногим раньше нашего времени — того, в котором живешь ты и скоро снова буду жить я. По большей части это весьма кровожадные песни, невероятно длинные, которых, однако, ныне никто из большеносых прочесть не в состоянии, ибо их язык, в отличие от нашего, за долгое время сильно изменился. Госпожа Кай-кун заметила как-то, что большеносому эпохи кровожадных песен, попади он в теперешнее время, было бы вначале так же трудно объясняться с окружающими, как и мне.

Несколько столетий спустя у них вошло в обычай (и стало признаком образованности и тонкого обращения) писать на другом языке, к тому времени уже вымершем: он назывался Лао-динь. Теперь на этом языке, разумеется, тоже никто не говорит. Потом, во время одной долгой войны, длившейся целых тридцать лет, народ Ба Вай снова вспомнил о своем «Языке добродетели», однако, по словам госпожи Кай-кун, произведения той эпохи отличаются такой цветистостью и напыщенностью, что читать их теперь тоже очень трудно. Лишь около двухсот лет назад один мастер (его официальное имя звучит совсем по-нашему: Ле Синь, а домашнее имя означает «Бог добр к нему») начал писать вещи, читаемые и почитаемые и сегодня. Госпожа Кай-кун очень высоко его ценит. После Ле Синя, к которому Бог был добр, жили два поэта, считающиеся его последователями и пользующиеся величайшим почетом у большеносых (впрочем, только у населяющих страну Ба Вай, если уж быть точным). Одного из них звали «Спускающийся с небес», другого — «Поднимающийся в небеса» [2]. Я читал стихотворения того и другого; они и в самом деле производят неплохое впечатление. После них, говорит госпожа Кай-кун, литература стала заметно расти вширь. Многие писатели нашли свое призвание в том, чтобы продолжать и комментировать труды «Спускающегося с небес», однако вскоре в литературе возникло новое течение, объявившее всех прежних авторов ненужным старьем и провозгласившее одну цель: изображать мир таким, каков он есть. Из этого, конечно, не могло выйти ничего путного (это слова уже не госпожи Кай-кун, а мои), ибо большеносые, как я уже писал тебе, вообще не умеют видеть мир таким, каков он есть. Одним из наиболее замечательных поэтов этого нового течения был, по словам госпожи Кай-кун, некий «Великий капитан», лицом сильно походивший на «Спускающегося с небес», чему Великий капитан, разумеется, был только рад.

Литература же последнего столетия совершенно необозрима. Можно

---

[1] Гао-дай использует иероглиф «дэ» (добродетель), звучание которого, видимо, показалось ему наиболее схожим со звучанием слова «Deutsch» («немецкий»).

[2] Очевидно, Гао-дай имеет в виду Гёте и Шиллера; госпожа Кай-кун, судя по всему, рассказала ему об эпитетах, которыми их награждали современники.

сказать, пользуясь словами госпожи Кай-кун, что «каждый пишет, как ему вздумается». И чем меньше придерживается он каких бы то ни было правил, тем большую популярность приобретает. А поскольку правил как таковых в литературе большеносых давно уже нет, то писать берется буквально каждый — чего, впрочем, и следовало ожидать. Ведь сочинение стихов и повестей — занятие гораздо более приятное и не столь утомительное, как многие другие, и, кроме того, пользующееся большим почетом; не удивительно, что в писатели зачисляет себя у большеносых чуть ли не каждый второй. Это не в последнюю очередь объясняется тем, что у большеносых всех детей поголовно учат читать и писать. Здесь так же, как и во многих других вещах, приходится признать, что дело, само по себе доброе и благородное, в данном случае — всеобщее обучение и образование, слишком скоро обнаруживает и свои теневые стороны. Когда пишут все, слава пишущего коротка. Это ясно.

Госпожа Кай-кун давала мне для чтения разные книги. Она говорила, что это ее любимые книги, поэтому по ним нельзя составить представление обо всей их литературе в целом, скорее наоборот: они представляют лишь малую ее часть. Впрочем, ясно, что даже если бы я прожил здесь не один год, а целую сотню лет, мне все равно не удалось бы познакомиться со всей литературой.

Я прочел одну весьма объемистую книгу, написанную более ста лет назад. Книга называлась «Позднее лето»; она показалась мне весьма высоконравственной и духовной. Имени автора я не запомнил. Более всего на свете автор — по крайней мере, если судить по этой его книге — любит розы. В общем и целом книга производит вполне достойное и умиротворяющее впечатление. После этого я прочел книгу другого современного автора; она называлась «Судебное дело» и оказалась весьма мрачна и сурова. Он описывает, как некоего человека преследуют безликие, никак не обозначенные власти, он же, передвигаясь лишь с величайшим трудом, как во сне, не может защитить себя. Третью книгу я так и не понял как следует: называлась она «Блуждания и заблуждения» и повествовала о вещах, ничего мне не говорящих. Я признался во всем госпоже Кай-кун, которая была этим немало разочарована, ибо считала автора — пусть не во всех, но по крайней мере во многих его вещах — величайшим знатоком «Языка добродетели», писавшим с несравненным изяществом и подкупающей простотой. Возможно, я не смог этого оценить, сказала госпожа Кай-кун, потому что не знаю ни времени, ни обстоятельств, в которых он жил. Возможно. Но тогда к чему было давать мне эту книгу?

Потом я прочел еще одну книгу, очень толстую, автор которой назывался просто «Мужчина», и больше никак. В ней он очень подробно, а местами и с юмором рассказывает историю одной семьи, все больше и больше запутывающейся в обстоятельствах. Мне она так понравилась, что я решил прочесть еще что-нибудь из написанного этим «Мужчиной», однако меня ждало разочарование. Другая его книга, оказавшаяся еще толще первой, называлась «Волшебная гора», и говорилось в ней исключительно о людях, страдавших легкими. Третью его книгу, озаглавленную «Выдержавший экзамен ученый по имени Сжатый Кулак», я отложил, прочтя всего несколько страниц.

Так что в целом литература большеносых находится не только в совершенно отличном от нашего, но и в весьма странном состоянии. Как ты мог понять из краткого обзора, сделанного для меня госпожой Кай-кун и по мере возможности изложенного мною выше, древней литературы большеносые почти совсем не читают — прежде всего потому, что язык изменился слишком сильно. Однако они и имен своих древних авторов не помнят. Это, на мой взгляд, объясняется отсутствием у большеносых привычки чтить старину. Почтенный возраст для них ничего не значит. Стоит появиться чему-то новому, как они без всякой проверки тут же признают его лучшим, чем старое. Кажется, я уже приводил этот пример: старая, изношенная и много раз чиненная ось повозки, без сомнения, уступает новой, только что изготовленной. Тут новое, без сомнения, лучше

старого. От нового ковра больше толку, чем от протертого старого, новая масляная лампа выгоднее старой, треснувшей, новая шуба теплее изношенной, лопнувшей по швам. Однако эту истину, неоспоримую для многих предметов обыденной жизни, большеносые переносят вообще на все вещи, включая философию и литературу. Они и тут не привыкли чтить старину: любая новая философия, новая литература кажутся им предпочтительнее старых — только потому, что они новые. Большеносые и тут применяют в качестве меры все ту же ось от повозки, что, само собой, есть совершенная бессмыслица, ибо эта мера применима лишь к изнашивающейся вещи. Но кто же когда-либо слышал, чтобы стихотворение изнашивалось от частого чтения? А большеносые именно так и полагают. Вероятно, они просто уже не могут иначе, потому что рассматривают все и вся только с точки зрения выгоды. Потому-то они и ценят выше всего такую литературу, от которой ожидают для себя выгоды, что уже само по себе нелепо. Они называют ее «деловой литературой»: это книги, в которых говорится о политике, об обществе, и авторы их усиленно претендуют на полезность своих трудов. Вообще на взгляды автора здесь обращают гораздо больше внимания, чем на его стиль. Что, впрочем, вполне объяснимо, ибо взгляды и в самом деле изнашиваются, как оси у городских повозок. Не удивительно, что большеносым то и дело приходится придумывать себе новые взгляды.

Вначале я, как ты помнишь, боялся за исход своего путешествия в этот далекий и чуждый мир, предпринятого — что уж скрывать — из чистого любопытства, и сильно сомневался, принесет ли оно хоть какую-то пользу. Однако теперь я знаю, что благодаря ему я сделал большой шаг вперед в своем развитии. Только теперь, достигнув вполне зрелого возраста, я вправе сказать, что мое образование завершено — не потому, что я досконально познал здешний мир со всеми его удобствами и неудобствами, и не потому, что узнал, как будут жить люди через тысячу лет, а потому, что понял разницу между привычкой воспринимать людей такими, каковы они есть, и попыткой установить, какими они должны быть. Об этом я беседовал со многими большеносыми. Все они думают только о том, какими люди должны быть. Зачем вам это? — всякий раз спрашивал я.— Затем, отвечали мне, чтобы научить людей быть такими, какими они должны быть. Что за глупость, думал (но не говорил) я в ответ: во-первых, у них существует добрая сотня представлений о том, какими должны быть люди, и все эти представления противоречат одно другому, во-вторых же, и это главное, люди все равно останутся такими, каковы они есть. Как кошка не может не ловить мышей, так и человек не может не искать своей выгоды, и испокон веку он рисковал всем, чтобы приобрести выгоду за счет другого. Много ли в таком случае проку от самого изощренного философствования? Однако большеносым ничуть не надоедает философствовать на эту тему, ибо они мечтают построить мир, справедливый и счастливый для всех. Одни верят, что это будет возможно, когда во главе государства станут мудрецы, другие полагают, что подобный мир будет построен, когда у каждого будет больше, чем ему необходимо, третьи считают, что для этого достаточно лишь поровну поделить имущество всех между всеми... Все это сплошная глупость. Вот он, сделанный мною шаг вперед: в мире большеносых я наконец понял, что никакие шаги вперед невозможны.

Уже в течение по меньшей мере трех тысяч лет (считая назад от времени большеносых) мудрецы убеждают нас, что рая на земле быть не может. Сколько ни есть на свете мудрецов, совершенно разных, это единственный пункт, в котором все они сходятся. Однако большеносые не желают признавать и этого. Они лгут сами себе, утверждая, что с помощью все новых «шагов вперед» можно когда-нибудь достичь земного рая. Вместо чистых и светлых небес их мир прикрывает огромный лист бумаги, на котором начертана ложь, выдуманная для себя ими самими. Не удивительно, что все под ним начинает тлеть и гнить. Я не утверждаю, что тут существует прямая связь, однако ты помнишь, как я писал тебе, что одним из первых моих впечатлений в этом мире была вонь.

Так что не приходится удивляться, если большеносые и в литературе

предпочитают новое старому, считая, что новое-де всегда лучше. Почти все, что пишется ныне в Минхэне, в стране Ба Вай и вообще на «Языке добродетели», посвящено тем странным обстоятельствам, в которых находится сейчас бывшее царство Дубинноголового императора. Чтобы ты понял, о чем речь, мне придется сделать еще одно отступление. Если я не ошибаюсь, в одном из писем я уже писал об этом императоре, последнем из правившей здесь династии: по словам господина Ши-ми, его звали Ви-гэй, он был вторым императором этого имени и имел, как говорилось в народе, деревянную голову. Так вот, около семидесяти лет назад, если считать от моего настоящего времени, этот Ви-гэй Деревянноголовый развязал большую войну, которую проиграл. Его свергли и отправили в отдаленное поместье, где он и провел остаток дней, ради развлечения распиливая дрова. После падения его династии в стране начались смуты, которыми наконец воспользовался некий маляр, чтобы объявить правителем себя. Этот новый правитель провозгласил, разумеется, свою собственную теорию о том, какими должны быть люди. Но, не желая слишком утруждать себя, он просто объявил, что в земной рай войдут лишь люди со светлыми волосами (что само по себе довольно странно; дело в том, что я видел его портреты, и всюду он изображен с черными волосами). Этот узурпатор в свою очередь тоже развязал войну — и тоже проиграл ее, получив ряд весьма чувствительных ударов — не лично, к сожалению, а лишь в отношении своего войска.

После поражения и смерти узурпатора его страна разделилась. Одна часть приняла Восточное учение, другая решила следовать Западному (об обоих учениях я писал тебе в свое время). Каковы бы ни были достоинства и недостатки этих учений, в само́м разделе страны, казалось бы, нет ничего особенного. Сколько раз претерпевало разделы наше многострадальное Срединное Царство, сколько мелких и мельчайших княжеств возникало в его пределах, но оно всегда воссоединялось. Разве эти разделы помешали развитию мысли, разве послужили они к падению морали? Конечно, лучше, когда правителю подвластно большое царство, ибо тогда ему легче решать многие насущные вопросы: устанавливать единый размер колеи повозок, вводить единые деньги, меры длины и веса. Однако на мысль человеческую ни эти, ни иные меры никак не влияют. Если правитель мудр, в большой стране он может сделать больше добра, чем в малой; но если он глуп, он натворит там и больше бед. Однако мудрые правители встречаются значительно реже глупых — вот почему я отношусь к большим царствам без особого воодушевления. И, в конце концов, разве наши великие учители, Кун-цзы и Лао-цзы, жили не в маленьких государствах?

Однако у большеносых и по этому поводу имеется свое, совершенно иное мнение. Всякое изменение их государственной территории и даже попытка такого изменения представляются им величайшим, совершенно невыносимым несчастьем. Похоже, что их политики умеют мыслить только с картой страны в руках. Они готовы стерпеть все: обесценивание денег, бегство жителей из страны, упадок ремесла и торговли, отупение народа и опошление культуры — лишь бы карта оставалась неизменной. Государство кажется им неким нерасчленимым организмом, и если у него отнимут хотя бы одну провинцию или даже деревню, большеносые поднимают такой крик, как будто у них отняли ногу или руку. Большеносые, населяющие страну «Языка добродетели», воспринимают раздел своей страны так болезненно, как будто это их собственное тело разрубили на две части.

Впрочем, здесь я справедливости ради должен привести точку зрения господина судьи Мэй Ло, во многом совпадающую, кстати, с точкой зрения господина Ши-ми: ощущение разрубленного тела, говорит судья Мэй Ло, преследует не всех жителей страны, а лишь политиков, и это они убеждают остальных в том, что те также испытывают подобные ощущения. На самом же деле огромному большинству населения — по крайней мере здесь, в западных частях бывшей империи Деревянноголового,— совершенно безразлично, отсутствуют ли какие-либо из бывших ее частей или нет. Правда, людям в восточных частях не все равно, говорит господин судья,

однако и их это интересует тоже лишь постольку, поскольку им там из-за еще большей бездарности и продажности министров живется много хуже, чем здесь, на западе. В остальном же люди и там мало интересуются географической картой.

Тем не менее здесь, в западных частях, жалобная песнь по поводу этого разделения сделалась уже своего рода государственной политикой, которой должен подпевать каждый, кто желает приобрести в обществе хоть какой-то вес. То же относится — здесь я снова возвращаюсь к столь интересующему тебя вопросу — и к местной литературе. Успехом пользуются лишь сочинения, вплетающиеся в общий хор жалоб по поводу указанного разделения и требующие скорейшего воссоединения обеих частей бывшего государства. Лучше всего, говорит госпожа Кай-кун, это удается авторам, бежавшим из восточной части в западную. Их считают здесь истинными героями и охотно покупают их книги. Некоторые из этих книг я тоже прочел. Сам понимаешь, что я не стал утруждать себя запоминанием имен авторов. Лишь одна из них показалась мне достойной внимания; она называлась «Пары и люди из тех, кто уходит», автора же звали Бо Доу. Впрочем, и ее мне не захотелось бы взять с собой на родину.

Мой милый Цзи-гу, до нашей с тобой встречи осталось всего несколько дней. Я уже сейчас благодарю тебя за все то, что ты по доброте своей сделал, выполняя мои обязанности все это время. Сердечно обнимаю тебя и желаю всего наилучшего. Как всегда твой —

Гао-дай

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

воскресенье, 13 февраля

Мой любимый старый друг Цзи-гу!

Я испытываю двойное облегчение, хотя приближающаяся разлука с госпожой Кай-кун, конечно, омрачает мои последние дни здесь. Я испытываю двойное облегчение: господин Ши-ми наконец съездил в будущее и, главное, вернулся. В день, когда я относил предыдущее письмо на почтовый камень — он, как ты помнишь, находится совсем недалеко от дома господина Ши-ми, возле маленького мостика через канал, который я принял вначале за канал Голубых колоколов,— в тот день я посетил господина Ши-ми и еще раз попытался отговорить его от этой затеи. Но он остался тверд в своем намерении. Мне ничего не оставалось, кроме как выполнить свое обещание. На другой день я принес ему компас времени, показал, как им пользоваться, и проводил к месту перемещения, где он и исчез у меня на глазах. Перед этим он снова пообещал, что будет обращаться с компасом с величайшей осторожностью и далеко во времени не поедет.

С какими чувствами я возвращался домой, в Го-ти Ни-цзя, ты, конечно, догадываешься. Вечером мы вместе с госпожой Кай-кун (которая при этом страшно скучала) смотрели песенно-танцевальное представление «Страна, где все улыбаются», однако в этот раз мне было не до смеха. После этого мы с ней долго говорили. Госпожа Кай-кун сказала, что она достаточно эгоистична, чтобы желать господину Ши-ми остаться там, в будущем, ибо в таком случае я мог бы остаться с ней. Потом она заплакала. Ответить мне было нечего; я встал и принялся разглядывать стену. Все, что я мог ей сказать по этому поводу, я уже говорил ей; тебе я писал об этом в одном из предыдущих писем. Я должен вернуться домой, в родное время, потому что обещал вернуться. Нарушив свое обещание, я разрушил бы тот порядок, который составляет основу моей жизни. Я должен уехать. Я не могу хотеть остаться. Расставание наше будет горьким. Госпожа Кай-кун грозится немедленно броситься в объятия ученому господину Хэ Сен-хоу, но я этому не верю, ибо не могу представить, чтобы она еще раз позволила разделить с собой ложе человеку, не снимающему при этом чулок. Хотя, возможно, мне все же следовало оскопить его — на всякий случай.

Прошло еще несколько дней, пока наконец в моей комнате на постоялом дворе зазвонил колокольчик репкообразного Тэ Лэй-фаня, и я с облегчением услышал в нем голос господина Ши-ми. Голос мне не понравился.

Господин Ши-ми сказал лишь, что очень мне благодарен и что он зайдет ко мне через несколько часов, чтобы вернуть компас и сумку.

Я ожидал его в нижней гостиной. Он вошел, схватил мою руку и долго тряс ее, как это принято у большеносых, потом отдал мне сумку и чуть не залпом выпил бокал Шан-пань. Затем мы зажгли по большой коричневой Да Ви-доу, и после приличествующего молчания я спросил, как оно было.

Господин Ши-ми сообщил, что сначала поехал вперед недалеко, лет на двадцать, а потом еще раз, на расстояние примерно вдвое большее, но в целом не более, чем на сто лет. И снова умолк.— И что же, мой благородный друг и выдержавший экзамен ученый, господин Ши-ми,— спросил я,— вам удалось там увидеть? — Но он лишь помотал головой, вздохнул и провел рукой по глазам. Поматывание головой из стороны в сторону вообще-то означает у большеносых отрицание, однако в данном случае, как я понял, этот жест выражал беспомощность или, лучше сказать, то обстоятельство, что все оказалось даже хуже, чем можно было ожидать. Однако мне этого было недостаточно. Меня охватило нечто вроде злорадного любопытства: действительно ли будущее большеносых именно таково, каким я его себе и представлял? Но подробнее господин Ши-ми рассказывать отказался. Он лишь продолжал мотать головой. Взглянув на него внимательнее, я увидел его глаза, наполненные невыразимым ужасом. Мне сделалось жаль его, и я прекратил расспросы. Тем более что все и так было ясно... Мы еще немного посидели молча, и затем господин Ши-ми сказал, что больше всего ему хотелось бы уехать вместе со мной в прошлое. Но он знает, что компас времени может перенести только о д н о г о. Потом он обнял меня, говоря, чтобы я обязательно еще навестил его перед отъездом, и ушел.

Через несколько дней друзья-музыканты господина Ши-ми снова встречаются у него в доме. Для меня это будет последней встречей с ними. Так постепенно разрываются узы, связывающие меня со здешним миром. Этой музыки мне тоже будет не хватать. Однако порядок, пусть в печали, лучше радости без порядка, если нельзя иметь и то и другое вместе, а это, как мы знаем, встречается крайне редко.

Мои письма становятся все короче. Уже совсем скоро мы будем вместе сидеть под пинией в твоем саду, на западной лестнице Птичьего павильона, и я буду рассказывать тебе обо всем, о чем не успел написать. Конечно, я с радостью бы привез тебе станочек для глаз, облегчающий чтение, но это не имеет смысла: как объяснил мне тот высокосведущий человек, который в свое время через посредство госпожи Кай-кун делал такой станочек для меня — я нарочно спрашивал,— изготовить такой станочек для оставшегося на родине друга он может, лишь если будет точно знать зоркость его глаз. Большеносые учитывают мельчайшие различия в зоркости глаза и умеют измерять их. Поэтому заказывать станочек наугад не имеет смысла, ибо скорее всего получится так, что ты в нем будешь видеть даже хуже, чем без него. Но не расстраивайся: я привезу тебе другую вещь, которая наверняка тебя порадует. С ее помощью ты тоже сможешь лучше видеть. Обнимаю тебя и пока остаюсь —

твой Гао-дай

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

воскресенье, 20 февраля

Мой милый Цзи-гу,
возможно, это мое последнее письмо к тебе. Должен признаться, что сейчас, бродя по обширной нижней гостиной в моей Го-ти Ни-цзя, именуемой «Четыре времени года», я испытываю грусть. Ведь и Го-ти Ни-цзя, и весь город Минхэнь почти целый год были моей новой родиной. Где бы человек ни жил, по своей ли воле или нет, долго или даже очень недолго, там всегда остается частица его сердца. Мы живем настоящим, а настоящее — это всего лишь миг. Будущее становится настоящим, когда приходит его миг. Но миг тут же проходит, уходя в прошлое, а прошлое существует лишь в воспоминании. Воспоминание же непрочно. Со временем оно становится

зыбким, потом тает и исчезает. Воспоминание — единственное, что остается нам от ушедшего настоящего; если о нем не вспоминают, то его все равно что не было вовсе. То же относится и к людям. Если мы перестали вспоминать о предках, значит, у нас их уже нет. Значит, мы сами отрезали себя от неба, и беспорядок уже наступил.

Большеносые не верят в порядок. Само это слово стало у них если не ругательством. то, во всяком случае, предметом споров между стариками и молодыми (впрочем, это противопоставление относительно: я убедился, что бывают, так сказать, и молодые старики, и юные старцы). Молодые воспринимают порядок как несвободу, как запрет делать то, что им хочется и когда хочется, как некоего стражника. Старикам же порядок представляется всеобщей дисциплиной, когда все ходят где положено и думают только как положено. Таким образом, истинный смысл порядка оказался большеносыми утрачен. И если судить по теперешнему состоянию дел, вернуть ему этот смысл они не смогут. Молодые твердят, что порядок, о котором мечтают старики, отдает кладбищенским покоем, старики же упрекают молодых в том, что устраиваемый ими беспорядок перерастает в полный хаос. Да, истинный смысл порядка ими утрачен. Одна из причин этого, видимо, в том, что свое время и силы они тратят главным образом на копание в собственной душе, стараясь уяснить, чего та желает в данный момент, а чего нет. Если выясняется, что душа в данный момент не желает ничего определенного, они глядят в потолок и называют это «раскрепощенностью духа». Истинный смысл порядка ими утрачен. Порядок же — это осознание своего места в общей гармонии настоящего. На это большеносые возразили бы, что настоящее само по себе отнюдь не гармонично, поэтому нечего и осознавать. Да, такой довод они даже сочли бы неоспоримым. Однако благородному мужу должно быть ясно, что настоящее всегда гармонично, нужно лишь дать себе труд прислушаться к этой гармонии, понять ее, а это возможно, лишь когда человек не пытается все время уйти как можно дальше «вперед», прочь от самого себя. Но этого-то большеносые как раз понять не желают. Они не могут перепрыгнуть через свою тень. Они утратили само о щ у щ е н и е порядка. Сделав очередной шаг «вперед», они ушли от него прочь.

Нельзя сказать, однако, чтобы никто из большеносых не догадывался об этом. В книге одного из современных авторов я нашел замечательную фразу: тот, кто все время шагает, проводит полжизни на одной ноге. Эту фразу я часто цитировал в беседах со многими большеносыми. Они соглашались, улыбались, однако потом чело их снова омрачалось облаком нежелания понять. Нет, с ними ничего не поделаешь. Пора домой.

И все же мне грустно. Часть моего настоящего — и не такая уж малая часть, ведь я прожил здесь почти год,— на глазах съеживается, превращаясь в воспоминание. Этот мир был моей родиной, и это останется ему; как с родиной, я с ним и прощаюсь. Нечего говорить, что важнейшей частью этого мира — или уже этого воспоминания? — была госпожа Кай-кун. Теперь я помаленьку привожу в порядок все мои здешние дела. Мне не хотелось бы, чтобы воспоминания, которые этот мир сохранит обо мне, были беспорядочными. Я отдал прощальные визиты. Самым важным из них была встреча с Небесной четверицей четыре дня тому назад. Господин Ши-ми и его друзья решили на прощание доставить мне радость и исполнили пьесу, с которой началось мое знакомство с музыкой большеносых: пьесу в тоне юй мастера Бэй Тхо-вэня. После этого господин Ши-ми предложил каждому по бокалу Шан-пань; все встали. Господин Ши-ми произнес краткую речь, сказав, что я, его друг Гао-дай, вскоре должен возвратиться домой, и все выпили за мое счастливое возвращение. Господин Дэ Хоу подарил мне портрет мастера Бэй Тхо-вэня; кроме того, мне подарили картинку с изображением самих музыкантов, держащих свои инструменты.

Потом я нанес визит господину судье Мэй Ло и его супруге, которая приготовила для меня замечательное угощение. Мы беседовали об истинном смысле порядка, и господин судья Мэй Ло пообещал мне прочесть

книгу «Лунь Юй», которую я на прощание подарил ему. Кроме того, я подарил ему лист бумаги, на котором со всем доступным мне искусством вывел иероглифы «чжэнмин» и имя Сюнь-цзы.

Господину Юй Гэнь-цзы я написал письмо в тот северный город, где он живет, и поблагодарил его за наши многочисленные беседы. Маленькой госпоже Чжун я послал нефритовую цепочку — госпожа Кай-кун против этого не возражала. В Го-ти Ни-цзя я расплатился по счету, размеры которого в первый миг привели меня в изумление. Впрочем, я не истратил и половины ланов серебра, привезенных мною из дому. Когда я уплатил по счету, старший ключник вызвал хозяина постоялого двора, господина Мо, и тот долго жал мне руку, заверяя, что всегда рад видеть меня своим гостем. Я похвалил устройство его постоялого двора и солгал ему, что обязательно приеду снова. Иногда ложь бывает необходима для сохранения всеобщей гармонии. Я прочел это у одного автора, о котором не упомянул по забывчивости, когда писал о литературе большеносых. Звали его Хай Ми-доу, он умер около двадцати лет назад, если считать от моего теперешнего времени. В одной из его книг я прочел: опасна только та ложь, в которую человек верит сам; когда человек лжет и знает это — мастер Хай Ми-доу называет такую ложь «наглой ложью»,— это не опасно. То нежелание понять, которым большеносые встречают любые неподходящие им мысли,— это ложь, которой они верят сами, а потому опасная. И здесь, как видишь, возникает та же проблема: многие из них п о н и м а ю т это и даже высказывают вслух, но в жизни никто этим не руководствуется. Они лишь соглашаются, улыбаются, а потом тут же прячутся за плотной завесой своей — совершенно сознательной! — лжи.

Господин судья Мэй Ло помог мне, кстати, покончить с делом хозяина той повозки. Было установлено, что хозяин гнал свою повозку со скоростью гораздо большей, чем дозволяется властями. Господин судья Мэй Ло устроил мне встречу со стряпчим, которого зовут Кэй-в'; он оказался гораздо более вежливым человеком, чем можно было предположить по его письму ко мне. Господин Кэй-в' сказал, что его подзащитный признает свою вину. Если бы он не ехал так быстро, то ничего бы не случилось — или, по крайней мере, его повозка не пострадала бы так сильно от удара о дерево. Не желая покидать этот мир несостоятельным должником, я передал господину Кэй-в' половину суммы, востребованной хозяином повозки, то есть пять ланов серебра, и еще вручил один лан лично господину Кэй-в' за труды. На этом, как сообщил мне господин судья Мэй Ло, сотрясая, по обычаю большеносых, мою правую руку, наше судебное дело можно было считать исчерпанным.

Те немногие дни, которые мне еще остались после того, как я расплатился по счету на постоялом дворе, я провожу всецело с госпожой Кай-кун. Я оставлю ей все письма, полученные от тебя. Чтобы ей было в чем их хранить, я купил изящную лакированную шкатулку, которую можно принять за изделие Срединного Царства — если, конечно, не быть слишком строгим. О предстоящей разлуке мы больше не говорим. Когда мы с ней вместе смотрели «Повесть о Стране улыбок», мы смеялись и улыбались друг другу. Ей же я отдам оставшиеся ланы серебра и золотые чашечки. Несколько лет назад она гостила в одной далекой стране, на юге (я видел картинки), и купила там себе дом, стоящий на поросшем деревьями холме, откуда далеко видны луга и поля. Но дом совсем развалился, и крыша у него прохудилась. Деньги, которые госпожа Кай-кун сможет выручить за серебро и чашечки, она потратит на починку дома. Мы оба подумали, хотя и не высказали этого вслух, что тогда, приезжая туда, она будет жить в м о е м доме.

Кроме того, я хочу подарить ей эмалевый браслет: ценность его ничтожна, зато цвет будет напоминать обо мне. Он цвета Дракона. Кроме того, это и цвет чувства.

Свой отъезд я думал сначала устроить так, чтобы госпожа Кай-кун и господин Ши-ми проводили меня к месту перемещения, к маленькому

мосту над каналом; мы могли бы еще выпить по бокалу Шан-пань на прощание, а потом они отступили бы на несколько шагов... Но позже я решил, что это ни к чему. Будет лучше, если я уйду и один отправлюсь в обратный путь, чтобы покинуть этот мир так же, как я в него прибыл. Так я и поступлю. А на той стороне, если можно так выразиться, уже будешь ждать меня ты, держа на руках мою любимую Сяо-сяо, которой я расскажу о Мудреце Му.

Прощай же, любезнейший друг мой, наша встреча уже близка.

Твой Гао-дай

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ, И ПОСЛЕДНЕЕ

воскресенье, 27 февраля

Милый Цзи-гу,

я все-таки решил написать тебе еще одно краткое письмо, чтобы сообщить точный день и час моего прибытия.

Сегодня полнолуние. Я приеду, заметь это, ровно через четыре дня. Погода стоит холодная, но ясная. Большеносые, которые так любят заглядывать в будущее по любому, даже самому пустяковому поводу, пытаются предсказать и погоду. Иногда их предсказания даже сбываются. Теперь они предсказывают, что в ближайшие четыре дня погода останется такой же, как была. Здесь пока не заметно никаких признаков весны, но это меня больше не волнует, ведь ты пишешь, что в твоем саду уже цветут магнолии, так что я приеду в самый разгар нашей родной весны. Жди меня через четыре дня, точно в начале часа Лошади [1]. «Труд окончив, скромно уходи: так повелевают Небеса», сказано в книге Дао [2]. Я закончил свой труд, сумев сохранить его в тайне. Труд этот был нелегок. Но все же большеносые не узнали, что я наблюдал за ними. И не узнают. Моим современникам я не расскажу ничего. Почему — ты знаешь.

Господин Ши-ми просил и даже умолял меня описать мои впечатления от мира большеносых, того мира, с которым я познакомился в Минхэне и вообще в стране Ба Вай, изложив их на бумаге. Он сделает все, сказал он, чтобы их напечатали. Эти впечатления, сказал он, для большеносых просто неоценимы в силу их, так сказать, естественной непредвзятости.

Я отказался. Не потому, что сомневаюсь в ценности своих впечатлений для большеносых (для них-то они во всяком случае были бы ценнее, чем для моих современников). И время у меня еще есть; я писал бы, наверное, прямо на языке большеносых, чтобы избавить их от необходимости переводить, просто излагая то, о чем писал тебе в своих письмах, только в более упорядоченной и сжатой форме. Но я отказался. Потому что знаю, что произошло бы с книгой какого-то Гао-дая, изданной на местном языке среди множества прочих. Большеносые прочтут ее; когда для них настанут трудные времена, они прочтут ее даже внимательно. Да, они прочтут его книгу, кивая и соглашаясь с ее мыслями, а потом отложат ее и вернутся ко всем своим бесконечным делам, которые считают единственно «настоящими». С этими их «настоящими делами» ничего нельзя поделать.

Я рассказал господину Ши-ми историю о привратнике Цветочной страны из двадцать второй книги Чжуан-цзы, историю, в которой правитель Ен посещает Цветочную страну, и ее привратник пытается растолковать ему смысл жизни (дао) и долга (дэ). Но Ен не понимает. Привратник сердится, и дальше я просто процитировал эти прекрасные слова, запавшие мне в память: «Сказав это, Привратник оставил его и повернулся, чтобы уйти. Ен двинулся за ним со словами: — *Я хотел бы спросить*...— Но Привратник отвечал ему: *«Поздно»*.

Я не дерзаю сравнивать себя с Привратником, а тем более с великим Чжуан-Цзы. Однако и я могу теперь сказать о себе: «Гао-дай отвечал большеносым: «Поздно».

---

[1] Час Лошади («у») — двухчасовой период с одиннадцати утра до часу пополудни; таким образом, Гао-дай сообщает, что прибудет домой третьего марта, около одиннадцати утра.

[2] Заключительные строки одного из стихов книги «Дао Дэ-цзин».

Таковы мои последние слова из мира большеносых — если не считать сердечного привета тебе, мой добрый друг, которого я через несколько дней смогу заключить в свои объятия. На этом заканчивает письмо и расстается с тобой до скорого свидания твой —

Гао-дай,
мандарин и начальник императорской Палаты поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом скал», помещающейся в Кайфыне, столице Срединного Царства.

От переводчика

Перевод этого романа показался мне не столько трудной, сколько чрезвычайно необычной работой: иногда я даже не мог ответить себе, с какого же именно языка перевожу — с немецкого или китайского? В конце книги автор (не Гао-дай, а сам Герберт Розендорфер) приводит солидный список литературы по истории и культуре Китая, которую изучил в ходе работы над романом. Мне пришлось прочесть и это, и еще многое другое — чтобы разгадать те загадки, которые они оба (немец Розендорфер и китаец Гао-дай) то и дело загадывают читателю.

Особенно это касается, конечно, попыток Гао-дая передать китайскими иероглифами немецкие слова и названия. Со страной Б а в а й и ее столицей М и н х э н е м все ясно: это — земля в современной ФРГ, а когда-то самостоятельное королевство Бавария и город Мюнхен, славный своим пивом, которое приготовляется там во множестве сортов, однако подразделяется, по мнению Гао-дая, всего на два вида — Б о - ш о у и М а - л ю й, то есть «большой» и «малый», в зависимости от величины бокалов или кружек, из которых его пьют.

С другими напитками — кока-колой, кофе и шампанским, которые достопочтенный мандарин называет Г о - г а о Г о - л я, Г о - ф э й и Ш а н - п а н ь, тоже все более или менее ясно. В средневековом Китае их, естественно, не пили, тем более что кока-кола прибыла из Америки — «страны, о которой мои современники и не слыхали, потому что никто из них там не бывал», говорит Гао-дай. По той же причине удивляют его и «желтоватые клубни» картофеля, тоже попавшие на наш стол с заокеанского континента.

Дальше становится труднее. Начинается конфликт двух культур. Оказывается, в Китае не пили молока. Ну, может быть, пили козье, но коровьего не пили точно. Поэтому само молоко, кефир (К э - Ф ы) и прочие молочные продукты (сливочное М а С ы - л о и великолепный немецкий С ы, о котором мы в нашей стране, кажется, уже прочно забыли) вызывают у него тошноту. Что поделаешь: разные культуры, разные вкусы. Не удивительно, что замечательный шоколадный торт, испеченный хозяйкой дома и столь обрадовавший остальных гостей, тоже вызывает у Гао-дая одно отвращение. Чтобы лучше понять его, представьте себе, что вас угощают слегка прожаренной собачьей печенкой, которую Гао-дай так любит.

В Китае (чуть было не написал: «в К и Т а е») вообще иначе едят. Во-первых, едят не вилками (это тот странный инструмент, который Гао-дай называет В э й - к а), а палочками; во-вторых, *никогда* не едят пищу в таком раскаленном виде, как ее привыкли поглощать мы. То ли в этом виноваты электрические плиты, не позволяющие толком регулировать нагрев, то ли климат (в Европе, говорят, даже тарелки подогревают, чтобы пища дольше не остывала!), но мы ведь действительно теряем из-за этого и массу вкусовых ощущений, и здоровье в конечном итоге.

Теперь, правда, в Европе есть китайские рестораны, да и вообще европейцы едят помаленьку рис и лапшу, привезенную из Китая М а р о Б о - л о (знаменитый путешественник Марко Поло из города Венеции жил в Китае с 1271 по 1283 год, а потом вернулся),— «но они их, конечно, портят», как выразился Гао-дай, с трудом узнав в таком ресторане, рисе и лапше произведения своей родины.

Иными были и понятия о красоте в Срединном Царстве. Женщина должна была иметь исчезающе-маленький (по нашим понятиям) бюст и столь же маленькие ноги, для чего их ей с детства перевязывали специальными бинтами.

Из книги Розендорфера действительно можно многое узнать о Китае, пожалуй,

больше даже, чем о ФРГ. Китайское платье с просторными полами и широкими рукавами оставляло открытым только лицо и руки, как у мужчин, так и у женщин; его находили удобным и красивым. Тогда так ходили все, и никто на людях не обнажался. То, что пляжи для желающих загорать нагишом (их там называют FKK — пляжи «свободной культуры тела») сильно удивили средневекового мандарина, нам понятно. Однако нам с вами трудно даже представить себе, насколько потрясло Гао-дая «обрезанное во всех местах» платье с волнистым узором, обтягивавшее великолепные формы госпожи Кай-кун! Хотя она, без сомнения, тоже находила его удобным и красивым.

Кстати о госпоже К а й - к у н, и заодно уж о господине Ш и - м и. Если Ши-ми (или Шу Ши-ми, как наш высокопочтенный мандарин сообщает вначале) означает, скорее всего, немецкую фамилию «Шушмидт», то об истинном написании фамилии дамы остается только гадать. Это, несомненно, фамилия, потому что в одном месте Гао-дай указывает, что ее «домашнее имя» — Агата (это он еще может выговорить). Это может означать «Кайдерн», «Гайгер», даже «Крайзинг». Возможно, впрочем, что Розендорфер нарочно запутал дело, не желая, чтобы у читателя возникли какие-то определенные ассоциации, как иногда поступают немецкие писатели, выдумывая для своих героев самые невероятные фамилии.

Поэтому мне и приходилось передавать искаженные китайским произношением немецкие слова в русской транскрипции или просто описывать их — как, например, в случае с В о н - н и Ч и - х а, то есть дворничихой, которая по-немецки называется ничуть не лучше. Философ, известный нам как Конфуций, фигурирует у него под своим истинным именем К у н - ц з ы или Мудреца с Абрикосового холма и т. д. «Голубую денежную бумажку», переданную Гао-даем достопочтенной даме Вон-ни Чи-ха, я уж не стал объяснять: сейчас у нас слишком многие знают, что банкнота в сто марок — голубого цвета. Ну, а то, что автомобиль он называет «повозкой Ма-шин», отель — «постоялым двором», а унитаз — «фарфоровым родником», тем более вполне объяснимо.

Поэтому я и не ставил себе задачи объяснить и растолковать читателю все загадки, имеющиеся в книге. Ведь она, в конце концов, написана для того, чтобы мы с вами, европейцы уж или не совсем европейцы, задумались над нашей собственной жизнью, услышали голос времени, не знавшего ни Чернобыля, ни шума, ни газа на грязных асфальтовых улицах. И хотя Розендорфер (а вместе с ним — Гао-дай) пессимистичен в своих оценках, у людей все же есть будущее, и оно прорастает сегодня во многих странах мира.

Роман печатается с сокращениями, поэтому кое-что останется для читателя загадкой. Узнать же, кто такой мастер Юй Гэнь, что такое «маленькие белые шарики» и зачем главный герой ездил в горы, вы сможете, когда роман выйдет целиком.

ХУА ЖУЙ

Из цикла «Сто дворцовых строф»

Перевод с китайского М. БАСМАНОВА

От переводчика

С древних времен в классической китайской литературе особое место занимала так называемая «дворцовая поэзия», получившая широкое распространение в Танскую эпоху (618—907 гг.) и в эпоху Пяти династий и Десяти царств (936—976 гг.). Авторы «дворцовых стихотворений» (царствующие особы, их приближенные, а также цзинюй — придворные певицы и танцовщицы) прославляли деяния мудрых правителей и храбрых полководцев, выражали свое восхищение прекрасными храмами и дворцами, живописали горы и реки в местах увеселительных прогулок элиты китайского общества. Среди тех стихотворцев, кому удалось с непревзойденным мастерством и изяществом запечатлеть жизнь царского двора, была талантливая поэтесса Хуа Жуй, жившая в X веке (царство Позднее Шу, 935—965 гг.). Более ста ее стихотворений включались в сборники «дворцовой поэзии», издававшиеся в последующие эпохи.

Хуа Жуй (ее настоящее имя Фэй) родилась и выросла на территории современной провинции Сычуань. Обаятельная и разносторонне одаренная, она была приближена ко двору и вскоре стала старшей женой правителя Мэн Чана. Правитель нежно любил и боготворил свою избранницу, которая виделась ему не просто цветком, а «венчиком цветка» (по-китайски — «хуа жуй»). Супруги были неразлучны и счастливы. Одно из свидетельств тому — стихотворение на мелодию «Весна в яшмовой башне», запечатлевшее сцену интимной жизни монаршей четы. (Некоторые литературоведы авторство данного стихотворения приписывают самому правителю Мэн Чану.)

Как из яшмы сотворена!
Словно снег, и чиста и нежна...
Вдруг повеяло ветром с пруда,
Льется запах цветов из окна.

Сквозь оконную штору с небес
Заглянула за полог луна,
И волнистые пряди волос
Озарила лучами она.

Но покинуто ложе. Вокруг
Никого. Во дворце тишина.
В Млечный Путь залетела звезда,
Миг один — и уже не видна.

Размышляю: когда же нашлет
Ветер западная сторона?..[1]
Дни летят. И, боюсь, Новый год
Незаметно пожалует к нам!

Судьба так переменчива! Безмятежная жизнь Хуа Жуй в глубинных покоях дворца под сенью дворцового парка неожиданно окончилась. В 965 году царство Позднее Шу было завоевано более могущественным царством Сун. Поэтесса оказалась пленницей и вслед за Мэн Чаном вместе с трехтысячной свитой была отправлена в сунскую столицу. Страдая от сознания неотвратимости обрушившейся на нее и ее родину беды, она — следуя под конвоем завоевателей — написала на стене пограничной почтовой станции Сямэнь пронзительные строки:

---

[1] В Северном и отчасти в Центральном Китае в конце года дуют холодные ветры с запада, из Гобийской пустыни. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Вот покидаем Шудао —
Отчего края пределы,
Сердце мое разрывается,
Скорби моей нет предела!

Года длинней день весенний,
Нехотя движутся кони.
Пересекая дорогу,
Дуцзюань [1] жалобно стонет.

Красота и обаяние Хуа Жуй обратили на себя внимание сунского императора Тай-цзу. Он включил пленницу в круг своих наложниц и стал домогаться ее расположения. Однако Хуа Жуй была непреклонной и даже после того, как супруг ее Мэн Чан был умерщвлен, в глубине души оставалась преданной ему: рискуя навлечь на себя гнев сунского властителя, она тайком поклонялась собственноручно нарисованному портрету любимого. У нее был гордый и независимый нрав. Однажды, когда Тай-цзу спросил, что она думает о причинах падения царства Позднее Шу, поэтесса, вместо ожидаемого от нее похвального слова о могуществе и доблестях сунского императора, ответила дерзким стихотворным экспромтом:

Государь, не готовый к войне,
Белый флаг водрузил на стене.
Но об этом в глубинах дворца
Разве было ведомо мне!

Все сто сорок тысяч бойцов
Разом сдали доспехи врагу.
Одного хотя бы из них
Как назвать храбрецом я могу?

Наследный принц Тай-цзу возненавидел Хуа Жуй. Ему претила близость императора со строптивой чужеземкой. Согласно преданиям, он при первом же удобном случае не преминул избавиться от нее: во время выезда придворной свиты на охоту Хуа Жуй была поражена в самое сердце стрелой принца. (По другой версии, Хуа Жуй была «удостоена императорской милости», получив разрешение покончить с собой.)

Более одиннадцати веков отделяют нас от трагических событий, связанных с последними годами жизни поэтессы, а дошедшие до наших дней ее стихотворения не утратили свежести и очарования. Читая лирические миниатюры Хуа Жуй, мы словно бы развертываем свитки мастеров китайской живописи, и перед нами предстает тщательно выписанный далекий мир во всем богатстве красок. И в этом мире голосом поэтессы заявляет о себе женщина древнего Китая, высокообразованная, талантливая, способная тонко чувствовать и возвышенно любить, готовая принести себя в жертву во имя чести и долга.

* *

Я красавицей первой слыла,
Во дворце государя росла,
Представала пред ликом его,
Им, порой, отстраненной была.

И тогда, на исходе дня,
Под весенние ивы шла,
Иль у пруда, где персик цветет,
Я грустила, присев у ствола.

С шумом, криком наперебой
Забавлялись служанки стрельбой.
Вдруг сорвался с пращи и в кусты
Закатился шар золотой.

И в смятении иволги прочь
Упорхнули одна за другой.
И с ветвей осыпался цвет,
Землю в пурпур окрасив собой.

---

[1] Разновидность кукушки. Согласно поверьям, дуцзюань, провожая весну, горестно рыдает до тех пор, пока кровь не хлынет из горла.

*

Так и ломится стол от блюд!
И чего не увидишь тут...
За спиной именитых гостей
Повелений прислужницы ждут.

В полдень стольник велит нести
Фарш из линя на общий суд...
Рыбака, что поодаль стоит,
Показаться гостям зовут.

*

Ветерок вешним утром подул.
Я одета, я в сад иду.
Там украдкою ветку цветов
Отломила, спускаясь к пруду:

Под приглядом придворных всегда,
Осторожно себя веду...
Встретив иволгу, горстку бобов
Я бросаю в нее на ходу.

*

Извиваясь, будто дракон,
Простирается пруд далеко.
Ветви тонкие ив на ветру
Разметались у двух берегов.

Словно дивный Цзяннани пейзаж [1]—
Описать не находится слов,—
Где нарядные лодки снуют
Посреди бирюзовых валов.

*

Наступил новый месяц. И вот
Зал дворцовый заполнил народ.
Верно, в несколько тысяч толпа
Ожидает царских щедрот.

Большинство здесь молчанье хранит.
Редко кто вдруг кого позовет...
А наложница, явно смутясь,
Мимо царского ложа идет.

*

На коляске моей расписной
Проезжаю под самой стеной.
Вот и пруд, где прислуга меня
Ожидает давным-давно.

На пруду нежный лотос цветет.
Лодку мерно качает волной.
И по ветру цветов аромат
Разливается надо мной.

*

Всюду лотос. И запах цветов
Заполняет рыбачий кров.
Стая карпов играет в воде,
Обещая богатый улов.

Вот и дамы без лишних слов
Поспешают со всех концов...
Тут нельзя ни кричать, ни шуметь —
Рыбаков порядок таков.

*

Из восточных палат, вот беда,
Удаляться нельзя никуда [2].
На дворец, обнесенный стеной,
Ветер яростный дует с пруда.

Поутру одеваюсь теплей.
Замер гонга последний удар.
А за сеткой окна вдалеке
Пламенеет под солнцем вода.

*

Покидаю покои дворца
И брожу у стены без конца.
Перезвон золотых кастаньет
Вместе с ветром доносится в сад.

Ночь царит. И луны яркий свет
Пробивается сквозь деревца.
И не молкнут вдали у воды
Звуки струн и певцов голоса.

---

[1] Живописные пейзажи Цзяннани воспеты в произведениях многих художников и поэтов.

[2] В восточной стороне дворца обычно отводились помещения для младших жен и наложниц правителей.

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ

К 200-летию со дня рождения

*К****

Вглубь одного стихотворения

С английского

Тайны смерти пребудут, не будет лишь нас,
Все пребудет, лишь труп наш остывший не дышит,
Поразительный слух, тонкосозданный глаз
Не увидит, о нет, ничего не услышит... [1]

Шелли

Отхлынув, морская волна оставила на песчаном берегу тело утонувшего юноши; стихия Воды, столь поспешно завладевшая его жизнью, теперь вернула не принадлежащее ей Земле. «Даже самая смерть Шелли,— писал К. Бальмонт,— может быть рассматриваема как прекрасный символ, совпадающий со всей его личностью. Он утонул в море — в той стихии, которую он любил больше всего,— в море, обтекающем землю, обнимающем весь мир изумрудной полосой, как призрак духовной красоты обнимает вселенную,— в неисчерпаемом море, которое поет нам от века и до века о беспредельности стремления и о величии нашей жизни».

Константин Бальмонт, своими переводами открывший Шелли русским читателям, удивительно верно заметил, что обожаемый им романтик «в продолжение всего своего существования на земле был в каком-то идеальном возбуждении, он всегда как бы помнил о другом, более красивом мире, откуда он пришел, и с изумлением смотрел вокруг себя, стараясь в этом воплощении увидеть, сквозь призму своей мечты, воспоминания угасшего лучшего дня и рассвет нового золотого века». Русский поэт был удивительно точен и в другом — в определении истоков внутреннего одиночества Шелли. «Он должен был всю свою жизнь быть одиноким, потому что он был нежнее, чем люди, глубже, чем люди, таинственнее, чем люди, которых он любил».

Действительно, люди, причинявшие Шелли боль и тщетно стремившиеся ожесточить его сердце, не ведали, что творили. Спасением от мирской суетности, от недужности отношений было уединение (слияние с природой), охранявшее аристократизм духа.

Природы ласковой соседство
Меня покоем обдает —
Упасть бы навзничь, вспомнив детство,
И выплакать бы груз тягот,
Конец которым не придет,
Пока меня не тронет тленье —
Могильным холодом скует
Черты лица, и моря бденье
Напевом осенит последний всплеск мышленья.

«Стансы, написанные в часы уныния близ Неаполя»

Уединение было недолгим: в жизнь Шелли вплетались судьбы личностей удивительных. Всё развивалось словно по законам романтического жизнетворчества. Биография поэта видится нам как роковая цепь горестных событий: первый брак Шелли с Харриет Вестбрук распался, и не им избранная покончила самоубийством; периодические финансовые неурядицы и опасения не стать наследником по смерти деда подталкивали поэта к вынужденному скитальчеству; казалось бы, удачный союз с Мери Уолстонкрафт Годвин не принес ожидаемого счастья: в младенчестве умирали рожденные ими дети...

Дружба Шелли с Байроном — скорее, странное притяжение двух совершенно разных людей. Очень точно эту контрастность различил Томас Мур: «Высказывания мистера Шелли, великолепно знавшего поэзию и имевшего смелую, глубоко мистическую систему философских взглядов, чрезвычайно занимали лорда Байрона и влекли его прочь от будничных забот и привычных ассоциаций к более абстрактным, еще не исхоженным путям мысли. И коль

[1] Здесь и далее в статье процитированы стихи Шелли в переводе К. Бальмонта *(Прим. ред.)*

скоро контраст есть живительная сила взаимоотношений, то трудно было найти двух людей, более созданных для интереснейшего спора, ибо мнения их почти во всем были различны». Чтобы уловить ключевые моменты мировоззрения поэта, предоставим ему самому слово. «Невозможно отрицать существование души вселенной, души разумной и благой. В подтверждение этого, быть может, я не в состоянии привести доказательств; но каждый лист на дереве, каждое насекомое, ползающее по земле, представляют сами по себе убедительные доводы. Отрицая существование высшего разума, мы уничтожаем главное доказательство существования будущей жизни» (из письма к Томасу Хоггу 1811 года). Всюду Шелли видел знаки небесного могущества.

Незримого Начала тень, грозна,
Сквозь мир плывет, внушая трепет нам,
И нет препон изменчивым крылам —
Так ветра дрожь среди цветов видна;
Как свет, что льет на лес в отрогах гор луна,
Ее неверный взор проник
В любое сердце, в каждый лик,
Как сумрак и покой по вечерам,
Как тучки в звездной вышине,
Как память песни в тишине,
Как все, что в красоте своей
Таинственностью нам еще милей.

«Гимн интеллектуальной красоте»

Поэтический мир Шелли слишком своеобразен, непредсказуем, образно зыбок, чтобы вызвать однозначное и легкое его приятие. Вот почему поэта оценят лишь те, кто, обладая тонким эстетическим чутьем, уже накопил опыт постижения прекрасного; за пологом недосказанности тогда откроется чудный вид — свежий, дышащий жизнью лес, омытый утренним дождем, переливы радуги, тающей в бездонной голубизне. И душа, словно облако, теперь устремляется к неземным пределам. Эта устремленность ввысь (прочь от земной юдоли) характерна для многих стихов Шелли; его лирический гений будто парит над миром прекрасным, все же мечтая о неземном.

В представленном на суд читателя стихотворении «К***» (адресат которого не установлен) как раз и дается возможность проследить, как через недосказанное (или невысказанное) слово, чувство отвергнутое (или презренное), надежду, превратившуюся в отчаяние, возносится к Небесам молитва достичь и узреть запредельное, обрести мир в душе. Перед вами — подборка новых прочтений оригинала, уже хорошо известного по переводам К. Бальмонта и Б. Пастернака. Разные переводческие ракурсы, надеемся, наметят пути к еще не созданному *идеальному* русскому переводу. Символично, что первым в нашей подборке — поэт, который смог открыть в стихах Шелли «огонь столепестковой розы», распустившейся в саду английского романтизма.

А. ГИРИВЕНКО

To —

I

One word is too often profaned
For me to profane it,
One feeling too falsely disdained
For thee to disdain it,
One hope is too like despair
For prudence to smother,
And pity from thee more dear
Than that from another.

II

I can give not what men call love,
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not,
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow?

***

Слишком часто заветное слово людьми осквернялось,
Я его не хочу повторять,
Слишком часто заветное чувство презреньем встречалось,
Ты его не должна презирать.
И слова состраданья, что с уст твоих нежных сорвались,
Никому я отдать не хочу,
И за счастье надежд, что с отчаяньем горьким смешались,
Я всей жизнью своей заплачу.

Нет того в моем сердце, что в мире любовью зовется,
Но молитвы отвергнешь ли ты?
Неудержно вкруг солнца воздушное облачко вьется,
Упадает роса на цветы,
Полночь ждет, чтобы снова зари загорелося око,
И отвергнешь ли ты, о, мой друг,
Это чувство святое, что манит куда-то далеко,
Прочь от наших томительных мук?

Перевод К. БАЛЬМОНТА

К...

Опошлено слово одно
И стало рутиной.
Над искренностью давно
Смеются в гостиной.
Надежда и самообман —
Два сходных недуга.
Единственный мир без румян —
Участие друга.

Любви я в ответ не прошу,
Но тем беззаветней
По-прежнему произношу
Обет долголетний.
Так бабочку тянет в костер
И полночь к рассвету,
И так заставляет простор
Кружиться планету.

Перевод Б. ПАСТЕРНАКА

К ...

I

Унижено слово, зато
Его не унижу,
Хоть чувство не ставят в ничто,
Оно всех превыше,
Надежда не обольщена,
В отчаяньи сжалась,
Не чья-нибудь жалость нужна,
Нужна твоя жалость.

II

Все то, что зовется людьми
Любовью — нелепо,
Мое обожанье прими,
Угодное Небу,
Стремленье к звезде мотылька
И ночи к предзорью,
И верность, что так далека
От нашего горя.

Перевод Вл. КОРНИЛОВА

К ...

I

То слово, что стерли уста,—
Не трону устами,
То чувство, чья слава пуста,—
Наполни мечтами;
Надежда бессмертна, пока
Она безнадежна,
Твоя доброта мне легка,—
Иная — ничтожна.

II

Бог с ним, что любовью слывет;
Не лучше ль почтенье
Души, что тебя вознесет
К небесному зренью,
В стремлении мошки к звезде,
Ночей — к светлой дали,
Служенье благой высоте
В юдоли печали?

Перевод А. СПАЛЬ

К ...

I

Глумясь, обесценивать слово
Негоже певцу.
Твердить мне, что чувство не ново,
Тебе не к лицу.
Жестоко являть осторожность,
Надежду губя:
Ведь есть состраданье — возможность
Жалеть, не любя.

II

Влеченье же к высшему — свято.
То Неба наказ,
Чтоб к звездам с земли виноватой
Мольба вознеслась.
Так бабочка бьется в томленье
О Млечном Пути;
Не чувственно это влеченье —
И ты мне прости.

Перевод А. ШАРАПОВОЙ

К ...

I

В банальность обращено
Людьми это слово —
Не станет уже оно
Святынею снова.
Но то, отчего в груди
Так сладко и больно,
Будь доброй, не осуди,
Не рань, хоть невольно.

II

Любовью ли назову
Я чувство, которым
Возносимся наяву
К небесным просторам?
Влечет мотылька к звезде,
Ночь грезит зарею,
Мы рвемся куда-то, где
Минует земное.

Перевод А. ГРИБАНОВА

К ...

I

Есть слово издевке под стать,
Есть страсть, как несчастье.
Но нам ли с тобой принимать
В глумленье участье.
Есть глупость надежды, вполне
С отчаяньем схожей.
И твое сострадание мне
Людского дороже.

II

Любви, как у всех, я не дам,
Но вдруг ты позволишь
Сердцем к милостивым небесам
Взмыть с мольбою всего лишь,
Как к звезде мотылек от земли,
Ночь к рассвету, не боле.
Это ревность к тому, что вдали
От печальной юдоли.

Перевод С. ГАНДЛЕВСКОГО

*К ****

I

То слово так мало ценимо
Во мненье людском.
То чувство насмешкой гонимо —
Признаюсь ли в нем?
В отчаянье темном, как видно,
Надеждам сойтись.
О сжалься! Пусть жалость обидна,—
Хоть так отзовись.

II

Нет, это не то, что другие
Любовью зовут.
Так высшего рода стихии
Все в мире влекут.
Так бабочка в пламя стремится,
Созвучие — в стих.
Так рвется душа за границы
Просторов земных.

Перевод О. ДЕНИСОВОЙ

МОНТЕГЮ РОДС ДЖЕЙМС

Рассказы

С английского

«Чудачества — тяжелая причуда»,— сказал русский поэт Александр Кушнер, попутно заметив, что место чудачествам скорее в Англии, «где туман как молоко», нежели в России. Оставляя в стороне вопрос о русских чудаках, который вполне заслуживает стать предметом самостоятельного обширного исследования, согласимся с поэтом: склонность к чудачествам — и впрямь распространенное свойство английского национального характера.

Скажем, в прошлом веке был в Оксфордском университете профессор Чарльз Латвидж Доджсон, блестящий математик и логик, чьи труды прекрасно известны специалистам. Профессор увлекался фотографией и сделал немало снимков, прочно вошедших, по мнению знатоков, в анналы художественной фотографии. Профессор жил один, слыл и был строгим педантом. Одним словом, являл собою законченный образец английского чудака. Но если б не это — мир никогда не узнал бы писателя Льюиса Кэрролла с его сказкой «Алиса в стране чудес» (1865), которую профессор первоначально придумал и рассказал своим маленьким приятельницам, дочерям университетского коллеги.

Похожим образом сложилась литературная судьба и другого университетского профессора, но уже не в Оксфорде, а в Кембридже. Монтегю Родс Джеймс был на тридцать лет моложе доктора Доджсона и преуспел не в точных науках, а в филологии и изучении древностей, но тоже изрядно: оставил труды в области палеографии, религиоведения, медиевистики, внес заметный вклад в изучение Библии и апокрифических текстов, создал уникальные каталоги средневековых рукописей, хранящихся в крупнейших библиотеках Великобритании.

В отличие от автора «Алисы», который был крайне застенчив, сторонился шумных компаний да еще страдал заиканием, М. Р. Джеймс, или Монти, как звали его приятели и коллеги, любил общество, умел найти подход ко всем, от студента-первокурсника до дряхлого университетского старожила, состоял во многих клубах и объединениях, живо вникал во все хитросплетения академических административных и научных интриг, умудряясь при этом последовательно выступать на стороне здравого смысла. У него была масса друзей, сторонников и почитателей; он долгие годы пробыл на посту декана Королевского колледжа и директора Итона, привилегированной школы-интерната для мальчиков, где в свое время учился и откуда поступил в Кембридж.

Многообразные увлечения М. Р. Джеймса в основном отражали круг его научных интересов и ими определялись. Он очень любил старые церкви, в первую очередь витражи, в которых хорошо разбирался; тут, возможно, свою роль сыграл отец, священник-евангелист весьма строгих правил, мечтавший, чтобы будущий ученый избрал, подобно своему старшему брату, духовную стезю.

М. Р. Джеймс любил путешествовать, причем всем видам транспорта предпочитал велосипед. Об этом его увлечении легко догадаться: уголки старой Европы, равно как и пейзажи родной Англии, он описывает пером человека, лично побывавшего на месте действия.

Он повидал мир, но свет для него клином сошелся на Королевском колледже и любимом Итоне. К этим двум цитаделям ученья он был привязан по-мальчишески самозабвенно. Мальчишеской была и его страсть к любительскому театру, тесным компаниям, розыгрышам, ритуалам. Эта страсть, рискнем предположить, и дала английской литературе признанного классика жанра, именуемого в британской критике «рассказом с привидением» («a ghost story»),— Монтегю Родса Джеймса.

Подобно доктору Доджсону... Нет, разумеется, вклады Льюиса Кэрролла и М. Р. Джеймса в английскую и мировую литературу несопоставимы, хотя на своем уровне последний занимает почетное место, но речь идет о сходстве судеб, не книг. Так вот, своеобразные новеллы М. Р. Джеймса тоже возникли как бы сами собой. Их, можно сказать, породил ритуал — автор начал писать их, чтобы зачитывать под Рождество (а что за Рождество без привидений и прочей нечисти!) в кругу друзей и знакомых.

Большинство литературоведов по привычке относят «рассказ с привидением» к не очень взыскательной беллетристике, в лучшем случае — к несерьезным забавам серьезных людей. Между тем это весьма почтенный и хорошо разработанный жанр британской литературы, коему в разное время и в разной степени послужили, отдали дань и воздали должное очень не похожие друг на друга писатели — Вальтер Скотт, Ч. Диккенс, У. Коллинз, Генри Джеймс, Р. Киплинг, О. Уайльд, Г. Д. Уэллс, У. С. Моэм, Л. П. Хартли, Грэм Грин, Мюриэл Спарк. Показательно, что жанр в конце концов получил признание и в академических кругах, свидетельством чему — не так давно выпущенная издательством Оксфордского университета весьма представительная антология, включающая образцы «рассказа с привидением» за два столетия.

Диккенс, вероятно, первый оценил эстетический потенциал «рассказа с привидением» как особой формы литературной страшной сказки для взрослых, способной развлекать наставляя. Он и сам выступал в этом жанре, и охотно предоставлял другим страницы своих журналов «Домашнее чтение» и «Круглый год».

Внутренний, далеко не всегда ясно осознанный протест против материального и духовного образа жизни викторианской Англии вызвал к жизни значительное литературное явление — неоромантизм с его повышенным интересом к необычному, необъяснимому и просто фантастическому (Д. Конрад, Р. Л. Стивенсон, Р. Киплинг, Г. Р. Хаггард, Б. Стокер). Протест этот косвенным образом проявился и в таком примечательном факте, что к сюжетам о привидениях обращались — и с блеском! — один из рафинированнейших художников эпохи Генри Джеймс и один из самых здравомыслящих ее умов Г. Д. Уэллс, а один из ее ученейших мужей, М. Р. Джеймс, как уже говорилось, стал признанным классиком «рассказа с привидением».

Между двумя мировыми войнами и во вторую половину нынешнего столетия жанр претерпел известные изменения, будучи вытеснен в русло откровенно коммерческой беллетристики. Впрочем, к нему продолжали обращаться и вполне респектабельные писатели — Д. Кольер, Л. П. Хартли, Уолтер де ла Мар или Мюриэл Спарк.

Как всякий литературный жанр, «рассказ с привидением» имеет свой эстетический канон, в отношении которого, правда, нет полного единодушия, за исключением того, что в рассказе должно фигурировать привидение. Многие, в том числе и автор этой статьи, склоняются к тому, что произведение должно отвечать первозданной природе жанра, которая не допускает легкомысленной, тем паче пародийной или комической трактовки главной темы. В то же время воссоздание в «рассказе с привидением» атмосферы напряженной, неуютной, жутковатой, вызывающей у читателя ощущение страха или хотя бы приятные (сказка все-таки) мурашки, не исключает, видимо, обращения к юмору и иронии.

Новеллы М. Р. Джеймса выдержаны в классическом викторианском ключе, и даже юмор, которого они подчас не лишены,— чисто викторианского свойства: он заложен в характерах викторианских джентльменов и их слуг, а также в комической предсказуемости их реакций на непредсказуемые обстоятельства, с которыми им вольно или невольно приходится сталкиваться.

М. Р. Джеймс не любит ни растолковывать, ни останавливаться на подробностях сверх необходимого, что, кстати, помогает ему добиваться желаемого результата, когда он вводит в повествование главных героев — привидений, призраков, нечистых духов. Не пытаясь завлечь читателя смакованием несусветных ужасов, он в первую очередь рассчитывает на его воображение. Изысканная недоговоренность со зловещим подтекстом — отличительное свойство творческой манеры М. Р. Джеймса. Эффект недоговоренности тем сильнее, что писатель предельно точен в описаниях места действия.

Хотелось бы сказать и еще об одной особенности новелл М. Р. Джеймса: они «рассказаны» не столько антикварием, сколько филологом. В сюжете часто ведущую роль играет именно «текст» в филологическом понимании слова, действительно существующий или придуманный автором,— рукописи, старинные эзотерические книги, документы семейных и муниципальных архивов, предания и легенды, зафиксированные на письме или бытующие в изустной передаче. Отличить у М. Р. Джеймса подлинный «текст» от стилизации практически невозможно.

«Детское живет в человеке до седых волос»,— афористически сказал Александр Грин в новелле «Жизнь Гнора». Что ж, сохранить в себе ребенка до самой смерти — тоже своего рода чудачество. Это неистребимое свойство, как нам кажется, и заставляет весьма солидных и даже степенных взрослых браться за перо, чтобы создать литературную страшную сказку, в том числе и британскую ее разновидность — «рассказ с привидением». И тем же, пожалуй, детским — в личном, но и в общечеловеческом, «родовом» смысле — можно объяснить непреходящее тяготение читателей всех возрастов к фантастике такого типа. Но не только этим.

Однофамилец кембриджского филолога англо-американский писатель Генри Джеймс дал этой фантастике образное определение — «...причудливый и зловещий узор, вытканный на холсте заурядного и повседневного». «Узор» притягивает, и без него картина любой великой национальной литературы будет выглядеть неполной и пресноватой. М. Р. Джеймс вплел в общий «узор» свою прочную разноцветную нить, и в этом его скромная заслуга перед английской изящной словесностью.

В. СКОРОДЕНКО

Меццо-тинто [1]

Кажется, не так давно я имел удовольствие рассказывать вам историю, приключившуюся с моим другом Деннистауном во время поисков экспонатов для Кембриджского музея.

По возвращении в Англию он не стремился предать широкой огласке результаты своих изысканий, однако о происшедшем стало известно довольно широкому кругу его друзей и среди прочих — некоему джентльмену, возглавлявшему в те времена музей изящных искусств при другом университете. Разумеется, следовало ожидать, что история сия произведет на него впечатление чрезвычайное, ибо, в сущности, интересы его были весьма близки склонностям Деннистауна, и что он с восторгом примет любое истолкование столь захватывающего приключения, поскольку самому ему судьба не сулила когда-либо пережить подобное. Правда, некоторым утешением служило то, что в его обязанности не входило приобретение старинных рукописей: манускриптами занималась некая библиотека. Да, только тамошние специалисты могут обшаривать, когда им заблагорассудится, самые глухие уголки континента в поисках бесценных сокровищ... Наш же герой имел счастье удовольствоваться расширением и пополнением и без того великолепной коллекции английского ландшафтного рисунка и гравюры, коей располагал вверенный ему музей. Однако, как это выяснилось впоследствии, даже столь заурядная и изученная область искусства может таить в себе нечто непостижимое и загадочное, в чем мистер Уильямс неожиданно для себя убедился.

Тем, кто имеет хотя бы самый ничтожный интерес к коллекционированию ландшафтного рисунка, несомненно, известно имя одного лондонского торговца, чьи услуги поистине неоценимы в подобном деле. Мистер Дж. У. Бритнелл регулярно публикует достойные всяческого восхищения каталоги своих обширных и постоянно обновляющихся фондов гравюр, карт и набросков старинных сельских особняков, церквей и городов, видов Англии и Уэльса. Разумеется, каталоги сии не являлись для мистера Уильямса откровением, однако, поскольку в музее его хранилось огромное количество ландшафтных рисунков, он был регулярным, хотя и не слишком щедрым клиентом мистера Бритнелла; он посещал торговца не затем, чтобы снабжать того раритетами, а чтобы восполнить пробелы музейной коллекции из числа произведений художников средней руки.

И вот как-то в феврале прошлого года на столе у мистера Уильямса появился очередной каталог, присланный из лавки мистера Бритнелла с отпечатанным на машинке посланием самого торговца. Оно гласило:

Дорогой сэр,

Убедительно просим Вас обратить особое внимание на экспонат за номером 978 в приложенном каталоге. Мы будем счастливы направить его Вам для изучения.

Всегда преданный Вам

Дж. У. Бритнелл

Найти номер 978 в каталоге было для мистера Уильямса делом нескольких секунд (что он и отметил про себя), и в указанном разделе он обнаружил следующие сведения:

978. Автор неизвестен. Интересный образец меццо-тинто: сельская усадьба начала века. 15x10 дюймов, в черной рамке; 2,25 фунта.

Прочитанное не слишком вдохновило мистера Уильямса, да и цена показалась ему чрезмерной. Однако, поскольку мистер Бритнелл, знавший свое дело и своих клиентов, судя по всему, высоко оценил гравюру, мистер Уильямс отправил торговцу открытку с просьбой прислать экспонат для изучения; наряду с означенной меццо-тинто он заказал еще несколько указанных в каталоге гравюр и набросков. Вслед за этим мистер Уильямс преспокойно занялся текущими делами, не испытав трепетного предчувствия.

---

[1] Меццо-тинто (средний и окрашенный, *итал.*) — «черная манера», вид углубленной гравюры. *(Здесь и далее, кроме специально оговоренного случая, прим. перев.)*

Посылка всегда приходит днем позже — что и доказал в очередной раз мистер Бритнелл, подтвердив справедливость расхожего изречения.

Она была доставлена в музей в субботу после полудня, когда мистер Уильямс уже ушел домой, и посему посыльный отнес ее на квартиру к заказчику, дабы тот мог, не теряя воскресного дня, просмотреть содержимое и возвратить владельцу те образцы, что не собирался оставить себе. Мистер Уильямс обнаружил посылку, когда возвратился с приятелем к чаю.

Из содержимого посылки нас интересует лишь довольно объемистая гравюра в технике меццо-тинто, заключенная в черную рамку; я уже цитировал ее описание, содержавшееся в каталоге мистера Бритнелла. Однако следует, вероятно, обрисовать сей предмет искусства несколько подробнее, хотя я отнюдь не надеюсь, что мое описание даст вам полное представление о картине. Словно две капли воды похожих на нее «близнецов» и ныне можно увидеть в большинстве старых гостиниц или в галереях идиллических сельских усадеб.

Гравюра являла собой весьма посредственное меццо-тинто, а посредственное меццо-тинто, пожалуй, наихудший из всех существующих видов гравюр. На ней была изображена с фасада довольно большая сельская усадьба прошлого века, с тремя рядами подъемных окон, обрамленных кладкой из неотесанного камня, с парапетом, украшенным по углам шарами или вазами, и небольшим портиком в центре. С обеих сторон усадьбу окружали деревья, а перед домом раскинулась просторная лужайка. На узком поле гравюры чернела лаконичная надпись: «Автор: А. У. Ф.».

Гравюра, похоже, была выполнена художником-дилетантом. Уму непостижимо, что побудило мистера Бритнелла назначить за нее цену в 2.25 фунта.

С нескрываемым пренебрежением мистер Уильямс перевернул гравюру лицом вниз: на оборотной ее стороне был приклеен бумажный ярлык; левая половина его оторвалась, на правой же сохранился обрывок надписи: в верхней строке буквы «...нгли-холл», в нижней — «...ссекс».

«Вероятно, стоит определить, что за местность изображена здесь,— подумал мистер Уильямс,— это можно без труда проделать при помощи географического справочника, а потом надо просто отослать меццо-тинто обратно мистеру Бритнеллу с комментариями, подвергающими сомнению компетентность сего джентльмена».

Мистер Уильямс зажег свечи, так как уже смеркалось, приготовил чай и пригласил к столу друга, с которым они только что сыграли партию в гольф (я полагаю, выдающиеся умы университета, о котором идет речь, предаются этому занятию отдыха ради); чай был выпит под приятную беседу, подробности которой читатель, играющий в гольф, может с живостью вообразить, но каковые всякий порядочный писатель не вправе навязывать людям, гольфом не увлекающимся.

Словом, собеседники пришли к выводу, что иные удары могли бы быть поточнее и что в критических случаях ни одному из соперников не сопутствовала удача, на которую может рассчитывать человек. Тут гость — назовем его мистер Бинкс,— взяв в руки гравюру, спросил:

— Что это за место, Уильямс?

— Как раз это я и намереваюсь выяснить,— ответил хозяин, направляясь к полке за справочником.— Взгляните на оборотную сторону. Какой-то Холл, название которого заканчивается на «нгли», по всей вероятности, где-то в Сассексе или Эссексе. Половина слова оторвана, как изволите видеть. У вас нет никаких соображений на этот счет?

— Гравюра, вероятно, от Бритнелла? — сказал Бинкс.— Хотите приобрести ее для музея?

— Я бы, пожалуй, купил шиллингов за пять,— ответил Уильямс,— но Бог знает почему этот Бритнелл хочет за нее две гинеи. Не могу понять почему. Гравюра скверная, на ней даже нет ни одной человеческой фигуры, что хоть сколько-нибудь оживило бы мертвый пейзаж.

— В самом деле, она, пожалуй, не стоит двух гиней,— согласился

гость.— Но по-моему, работа недурна. Лунный свет передан весьма искусно, да и человеческие фигуры, насколько я успел заметить, присутствуют — во всяком случае, одна-то уж точно, на переднем плане.

— Посмотрим,— отозвался Уильямс.— Что ж, лунный свет действительно передан неплохо. Ну а где же человек? Да, в самом деле... Вот же он, почти у самой рамки! Но здесь только голова видна.

И правда, почти у самого края виднелась похожая на черную кляксу не то женская, не то мужская голова в черном капюшоне. Человек был изображен со спины, смотрящим на дом. До этого момента Уильямс просто не замечал его.

— Все равно,— сказал он,— хотя гравюра несколько лучше, чем мне показалось вначале, я не могу тратить две гинеи из казенных денег на изображение какой-то неведомой мне местности.

Профессора Бинкса ждали дела, и он вскоре откланялся. А Уильямс провозился с географическим справочником почти до обеда, тщетно пытаясь определить название поместья.

«Если бы сохранилась гласная в середине слова, тогда все было бы куда проще,— подумал он.— А так это может быть что угодно, начиная с Гестингли и кончая Лэнгли. Да что там, названий с таким окончанием наверняка куда больше, чем мне представляется, а в этой дрянной книжонке нет указателя окончаний».

Обед в колледже мистера Уильямса начинался в семь. Нет нужды подробно останавливаться на этом эпизоде, тем более что в столовой наш герой встретил коллег, с которыми в тот самый день играл в гольф, и словечки, не представляющие для нас ни малейшего интереса, так и порхали над обедающими, поспешу объяснить — термины, исключительно относящиеся к гольфу.

Еще час-другой собравшиеся провели в приятной послеобеденной беседе. И уже совсем под вечер Уильямс в компании ближайших друзей удалился в свои апартаменты, где они, вне всякого сомнения, выкурили по трубочке и сыграли партию в вист. Во время перерыва между этими занятиями Уильямс взял со стола гравюру и, даже не удостоив ее взглядом, протянул проявлявшему некоторый интерес к изящным искусствам гостю с пояснениями, откуда взялась эта меццо-тинто и что она собой представляет,— словом, изложил все те подробности, каковые нам уже хорошо известны.

Джентльмен взял гравюру в руки, внимательно осмотрел и заметил с явной заинтересованностью в голосе:

— Она недурна, Уильямс. Прекрасно передает дух романтического периода. Мне кажется, особенно удался художнику лунный свет. Да и фигура на переднем плане весьма впечатляет, хотя и отличается некоторой гротескностью.

— В самом деле? — удивился Уильямс, занятый в данный момент приготовлением виски с содовой для всей честной компании, а потому лишенный возможности подойти и взглянуть на гравюру.

Час был уже довольно поздний, и гости засобирались по домам. После их ухода Уильямсу надо было еще написать пару писем и сделать несколько мелких дел.

Наконец, уже за полночь, он собрался лечь спать: зажег свечу у кровати и погасил лампу. Неожиданно его внимание привлекла гравюра, лежавшая на столе изображением вверх — на том самом месте, где ее оставил гость, последним рассматривавший ее. Взгляд Уильямса упал на картину в тот момент, когда он тушил лампу. То, что он увидел, настолько поразило его, что он едва не выронил свечу. Как теперь утверждает сам Уильямс, останься он тогда в кромешной тьме, его наверняка хватил бы удар. Однако, поскольку этого не произошло, он смог поставить свечу на стол и хорошенько рассмотреть гравюру.

То, что предстало его глазам, было абсолютно реальным, совершенно немыслимым, но бесспорным фактом: в самом центре лужайки перед неизвестной усадьбой чернела фигура какого-то человека, между тем еще

в пять часов того же дня там никого не было. Существо как бы ползло на четвереньках по направлению к дому; очертания его тела скрывал просторный черный балахон с белым крестом на спине.

Я не знаю, что следует предпринять здравомыслящему человеку в подобной ситуации. Могу лишь поведать, что сделал мистер Уильямс. Он взял гравюру за уголок и отнес ее по коридору в самую дальнюю комнату. А там засунул в ящик стола, повернул ключ, плотно закрыл за собой все двери и наконец лег в постель — сделав прежде запись относительно невероятных превращений гравюры, начиная с того момента, как она попала к нему в руки, и поставив под написанным свою подпись.

Сон не скоро пришел к нему; он утешался лишь тем, что факт странного «поведения» меццо-тинто подтверждается не только его сомнительным свидетельством. Гость, который разглядывал гравюру перед ним, несомненно, тоже увидел нечто подобное — иначе Уильямсу пришлось бы заподозрить что-то неладное либо с собственными глазами, либо с рассудком.

Поскольку же, к счастью, вероятность этого исключалась, наутро ему надлежало сделать две вещи. Во-первых, тщательней исследовать гравюру и с этой целью позвать кого-нибудь в свидетели; а еще предпринять самые решительные шаги по определению изображенной на меццо-тинто местности. А потому он намеревался пригласить к завтраку своего соседа Нисбета и посвятить утро изучению справочника географических названий.

Нисбет оказался не занят и явился в 9.30. С прискорбием должен заметить, что хозяин был еще не совсем одет, несмотря на столь поздний час. Во время завтрака о меццо-тинто не упоминалось вовсе, разве что Уильямс выразил желание услышать мнение гостя относительно некоей имеющейся у него гравюры. Однако читатели, знакомые с университетской жизнью, могут сами вообразить восхитительно широкий набор тем, кои способны обсуждать во время воскресного завтрака двое членов Совета Кентерберийского колледжа. Едва ли что-либо ускользнуло от их внимания, начиная с гольфа и кончая большим теннисом. И все же я вынужден отметить, что Уильямс был несколько не в себе, ибо ему не давали покоя мысли о той чрезвычайно странной картине, что лежала в соседней комнате лицом вниз в ящике стола.

Но вот наконец раскурена первая утренняя трубка: настал момент, которого так ждал Уильямс. С волнением, я бы даже сказал с трепетом, он прошел по коридору, отомкнув замок, извлек картину, по-прежнему держа меццо-тинто лицом вниз, чуть ли не бегом возвратился в гостиную и протянул гравюру гостю.

— Вот,— сказал он.— А теперь, Нисбет, я бы хотел услышать от вас подробно, что вы видите на этой картине. Опишите мне ее, если вы не против, в деталях. Я потом объясню вам, зачем мне это нужно.

— Что ж,— начал Нисбет.— Здесь изображена сельская усадьба, я полагаю, английская. Светит луна...

— Луна? Вы уверены в этом?

— Абсолютно. Правда, луна ущербная — если уж вам так дороги детали, к тому же в небе есть облака.

— Превосходно. Продолжайте. Готов поклясться,— заметил в сторону Уильямс,— там вообще не было никакой луны, когда я смотрел на гравюру в первый раз.

— Больше, пожалуй, ничего особенного сказать нельзя,— продолжил Нисбет,— в особняке один, два... нет, три ряда окон, по пять в каждом ряду, кроме нижнего этажа, где вместо среднего окна портик. И...

— А человек? — спросил Уильямс с нескрываемым интересом.

— Здесь нет ни единой фигуры,— пожал плечами Нисбет,— но...

— Как нет? Никого? Там, на лужайке, на переднем плане?

— Ни единой живой души.

— И вы готовы поклясться в этом?

— Разумеется. Но я вижу кое-что еще.

— Что же?

— Одно из окон нижнего этажа — слева от входа — открыто.

— В самом деле? Боже праведный, так он, верно, в дом забрался! — вскричал Уильямс в сильнейшем волнении, подбежал к дивану, на котором сидел Нисбет, выхватил у него гравюру и впился в нее глазами. Все обстояло именно так, как говорил Нисбет. Человек действительно исчез, зато окно было отворено. Уильямс, постояв с минуту в безмолвном изумлении, наконец справился с собой и, подойдя к письменному столу, что-то быстро написал. Затем подал Нисбету два листка и попросил того сначала поставить подпись на одном из них — то было описание картины, которое вы только что прочли, а затем зачитал вслух то, что было на другом,— свидетельство, собственноручно записанное Уильямсом в минувшую ночь.

— Что бы все это могло означать? — спросил Нисбет.

— Вот именно,— ответствовал Уильямс.— Во всяком случае, как мне представляется, следует сделать одну вещь — нет, даже три. Во-первых, надо спросить у Гарвуда (так звали его гостя, уходившего последним), что́ именно видел он, затем сфотографировать гравюру, прежде чем передавать ее кому-то, а еще все-таки выяснить, что это за усадьба и где она находится.

— Я умею фотографировать,— сказал Нисбет,— и сфотографирую сам. Но знаете, похоже, мы являемся свидетелями какой-то трагедии. Вопрос только в том, произошла она уже или еще только грядет. Вы должны непременно выяснить, что это за место. Да,— повторил Нисбет, снова взглянув на гравюру,— думаю, вы правы: он проник в дом. И если я не ошибаюсь, в одной из комнат сейчас происходит неладное.

— Вот что,— сказал Уильямс.— Отнесу-ка я ее нашему старику Грину (то был старший член Совета, в течение многих лет исполнявший обязанности казначея).— Он наверняка знает это место. У нас ведь есть земельная собственность в Эссексе и Сассексе, и он, несомненно, не раз бывал в этих местах.

— Я тоже думаю, что он должен знать,— отозвался Нисбет,— однако давайте сначала сфотографируем гравюру. Хотя нет, Грина, кажется, сегодня нет в колледже. Вчера он не явился к обеду, и я слыхал, он куда-то отправился на воскресенье.

— Действительно,— согласился Уильямс.— Говорят, он уехал в Брайтон. Тогда сфотографируйте гравюру, а потом я схожу к Гарвуду и попрошу тоже дать ее описание, а вы в мое отсутствие не спускайте с нее глаз. Я начинаю думать, что две гинеи — не такая уж большая цена.

Вскоре он возвратился, приведя с собой Гарвуда. По описанию Гарвуда, в тот момент, когда он смотрел на картину, человеческая фигура видна была уже целиком, однако еще не достигла середины лужайки. Он хорошо запомнил белый знак на одеянии, хотя не мог бы утверждать, что это крест.

Его показания были тщательно записаны и скреплены подписью самого рассказчика, после чего Нисбет приступил к фотографированию.

— Что вы намереваетесь делать? — спросил он.— Сидеть и смотреть на нее до вечера?

— Пожалуй, не стоит,— ответил Уильямс.— Полагаю, мы еще увидим завершение этой истории. Ведь с того момента, как я впервые взглянул на гравюру, могло произойти все что угодно, однако за это время тот человек всего лишь забрался в дом. Конечно, он мог сделать свое дело и уйти, однако тот факт, что окно открыто, говорит, по-моему, о том, что он еще в доме. Поэтому я пока что оставляю гравюру со спокойной душой. К тому же, я думаю, в дневное время никаких перемен не случится. Так что мы можем выйти прогуляться, а потом вернуться к чаю или даже позже. Я оставлю картину на столе и запру дверь на замок. Войти сюда может только рассыльный — больше никто.

Все единодушно сошлись на мысли, что предложенный план превосходен и что если провести этот день втроем, то меньше риска проговориться о происходящем кому-нибудь постороннему, ведь любой слух о подобных метаморфозах может переполошить все Общество по изучению оккультных явлений.

Попрощаемся же с уважаемыми джентльменами до вечернего чая. Итак, в пять вечера или около того все трое поднимались по лестнице, ведущей в апартаменты Уильямса. Дверь оказалась открытой, что вызвало некоторое удивление, однако тут же они вспомнили, что по воскресеньям рассыльные обычно приходят за поручениями на час раньше, чем в будние дни. Тем не менее их ожидал сюрприз.

Сначала они увидели гравюру, прислоненную к стопке книг на столе,— в том же положении, как они ее оставили; затем — рассыльного профессора Уильямса, который сидел в кресле, взирая на картину с неприкрытым ужасом. Каково? Мистер Филчер [1] (это имя я вовсе не выдумал) пользовался репутацией образцового слуги и являл собой пример для подражания как в собственном, так и в окрестных колледжах, так что сидеть в хозяйском кресле и вообще проявлять повышенный интерес к хозяйской мебели и картинам — нет, это было совершенно немыслимо!

При появлении мистера Уильямса и его гостей мистер Филчер вздрогнул и, сделав над собой усилие, поднялся. Затем произнес:

— Прошу прощения, сэр, за то, что позволил себе тут рассесться.

— Ничего страшного, Роберт,— прервал его мистер Уильямс.— Я как раз собирался спросить ваше мнение относительно этой гравюры.

— Э-э, сэр, не смею давать вам советы, но я бы, пожалуй что, не повесил такую картину там, где ее увидит моя дочурка, сэр.

— Вот как? Почему?

— Да, сэр. Я помню, однажды она увидала Библию какого-то там Дорэ, бедная девочка, а ведь картинки там совсем не такие страшные, как вот эта, и верите ли, нам пришлось сидеть с ней потом не одну ночь, а уж попадись ей на глаза эта шкелетина, утащившая бедного младенца,— или уж не знаю, что это такое,— да она просто со страху бы померла. Вы же знаете, как это с детишками — дрожат от каждого пустяка. Знаете, сэр, это дурная картина, и не стоит оставлять ее на виду — там, где на нее может наткнуться кто-нибудь со слабыми нервами. Вам что-нибудь угодно нынче, сэр? Благодарю вас, сэр.— И образцовый мистер Филчер удалился собирать поручения прочих профессоров, а читатель может не сомневаться, что после его ухода Уильямс с гостями, не тратя времени даром, собрались вокруг картины.

На ней по-прежнему была изображена усадьба, ущербная луна и плывущие облака. Но окно, до сего момента распахнутое, было теперь притворено, и фигура снова виднелась на лужайке — только теперь существо уже не ползло на четвереньках, а стояло, вернее, шагало размашистым шагом к полю гравюры. Луна светила сзади, и черный капюшон почти полностью скрывал лицо, так что черты его можно было лишь угадывать; тем не менее этого оказалось довольно, чтобы зрители возблагодарили Создателя за то, что различают столь мало: высокий, покатый лоб и несколько выбившихся прядей редких волос. Голова существа была опущена, а руки крепко сжимали какой-то предмет, очертаниями смутно напоминавший младенца, однако невозможно было определить, жив он или мертв. Зато ноги призрака были видны совершенно отчетливо, и ноги эти были ужасающе тощими.

С пяти до семи часов наши джентльмены просидели, не отрывая глаз от картины. Однако больше ничего так и не произошло. В конце концов они пришли к согласию, что гравюру можно оставить на некоторое время и, возвратившись к ней после обеда, ждать дальнейшего развития событий.

Однако когда они собрались вновь после самого непродолжительного отсутствия, то обнаружили, что гравюра на месте, но фигура исчезла и видна только усадьба, залитая лунным светом.

А потому им не оставалось ничего другого, как провести вечер над справочниками и путеводителями. В конце концов Уильямсу повезло: возможно, он заслужил это. В 11.30 вечера он обнаружил в путеводителе Марри [2] по Эссексу следующие строки:

---

[1] Filcher — мелкий воришка *(англ.)*.

[2] Джеймс Марри — английский издатель, издававший путеводители и словари, в том числе «Оксфордский английский словарь».

Эннингли. Некогда церковь была интересным архитектурным памятником эпохи норманского завоевания, однако в прошлом веке подверглась значительной реконструкции в стиле классицизма. Здесь находятся родовые усыпальницы Франсисов, а их усадьба, внушительный особняк эпохи королевы Анны — Эннингли-холл, расположена в парке за церковным двором и занимает площадь в 80 акров. В настоящее время род Франсисов угас, так как последний его представитель пропал при загадочных обстоятельствах в младенческом возрасте в 1802 г. Отец ребенка, Артур Франсис, был известен в округе как талантливый художник-любитель, работавший в технике меццо-тинто. После исчезновения сына он вел затворническую жизнь и в третью годовщину несчастья был найден мертвым в собственной студии, рядом с только что законченной гравюрой, изображавшей его усадьбу. Гравюра обладает довольно большой художественной ценностью.

Это было, похоже, именно то, что нужно, и действительно, возвратившийся мистер Грин тотчас же признал в изображении на меццо-тинто поместье Эннингли-холл.

— А что вы можете сказать об этом ужасном существе, Грин? — задал естественный вопрос Уильямс.

— Не знаю, право, как вам и ответить. Во всяком случае, когда я впервые побывал в тамошних местах, я слышал разговоры о какой-то трагической истории — а случилась она задолго до меня,— о том, что старый Франсис славился тем, что жестоко преследовал браконьеров и никогда не упускал случая выжить человека, которого подозревал в потраве, со своих земель; так он постепенно избавился ото всех, кроме одного. В те времена сквайры могли делать то, о чем теперь и мечтать не смеют. В общем, тот, оставшийся, был единственным потомком очень древнего рода — такое часто случается в нашей стране. Кажется, его семья некогда даже владела поместьем. Припоминаю такой же случай в моем приходе.

— Как в романе «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей» [1]? — вставил Уильямс.

— Пожалуй, да, хотя сам я так и не смог заставить себя до конца прочесть эту книгу. Тот парень мог показать на церковном дворе не одну могилу своих предков, и жизнь здорово озлобила его. Однако Франсису, по слухам, никак не удавалось добраться до него — парень старался не ссориться с законом, пока однажды ночью егеря не застигли его в лесу как раз на границе владений Франсиса. Я могу показать вам это место, оно рядом с бывшими поместьями моего дяди. Можете вообразить, какой разразился скандал, тем более что этот парень, Годи (да, точно, Годи, так его звали, я был уверен, что вспомню,— Годи), к своему несчастью, застрелил одного из егерей. Франсису только того и нужно было, и по решению суда присяжных — вы же знаете, какие были присяжные в те времена,— беднягу Годи вздернули, не успел он и глазом моргнуть. Я видел место, где он похоронен — на северной стороне церковного кладбища: по тамошним обычаям всех казненных через повешенье и самоубийц хоронят на северной стороне. Все полагали, что потом какой-то друг Годи — явно не родственник, потому что бедолага был один как перст, последний в своем роду, если можно так выразиться, spes ultima gentis, [2]— выкрал сынишку Франсиса и таким образом положил конец и его роду. Не знаю, все это слишком экстравагантно для провинциального браконьера, но теперь, пожалуй, я бы сказал, что старина Годи отомстил собственноручно. Бр-р! Прямо мороз по коже. Налейте мне виски, Уильямс!

Уильямс сообщил о случившемся Деннистауну, а тот изложил обстоятельства дела в одной чрезвычайно пестрой компании, в которой был я, а также некий чернокнижник, профессор офиологии. С прискорбием скажу, что последний в ответ на вопрос, что он думает по этому поводу, только заметил: «Ну, в этом Кембридже и мастера на выдумки!..» Нечего и говорить, что ответ его был воспринят соответствующим образом.

Добавлю лишь, что в настоящее время гравюра хранится в музее; ее обследовали со всем возможным тщанием на предмет обнаружения симпатических чернил, однако безрезультатно; мистер Бритнелл ничего не знал о гравюре, за исключением того, что она незаурядна, и никогда более на ней ничего не происходило, хотя она и пребывала под неусыпным надзором.

Перевод Г. ДУТКИНОЙ

---

[1] Роман английского писателя Томаса Харди (1840—1928).

[2] Самая последняя надежда *(лат.)*.

«Ты свистни, тебя не заставлю я ждать» [1]

— Я полагаю, профессор, вы очень скоро покинете нас, ведь семестр закончился? — спросил некто, совершенно не участвующий в нашем повествовании, у профессора онтографии [2]: они оказались рядом за праздничным столом в гостеприимном зале Сент-Джеймс-колледжа.

Профессор был молод, изящен, весьма тщательно одет, и ответы его отличались удивительной точностью.

— Да,— ответил он.— В прошедшем семестре мои друзья настояли, чтобы я занялся гольфом, и я думаю отправиться на Восточное побережье — точнее говоря, в Бёрнстоу (полагаю, вам известен этот город), на неделю или даже на десять дней, совершенствоваться: я пока не очень хорошо играю. Надеюсь, я смогу отправиться туда завтра.

— О, Паркинс,— воскликнул другой его сосед,— если вы едете в Бёрнстоу, не посмотрите ли там на городище — приорию тамплиеров [3]? Дайте мне знать, не стоит ли покопать там летом.

Легко предположить, что эти слова произнес человек, интересующийся всяческими древностями, но — поскольку он появляется лишь в прологе — нет необходимости говорить о нем подробно.

— Разумеется,— ответил профессор Паркинс,— если вы объясните, где находится это городище, я сделаю все, что в моих силах, и по возвращении опишу расположение участка. Или, если хотите, напишу вам подробно, только скажите, где вы предполагаете находиться.

— О, спасибо, не утруждайтесь. Просто я раздумывал, не поехать ли на летние каникулы с семьей куда-нибудь в том направлении, и мне пришло в голову, что, поскольку английские приории чаще всего строились не по регулярному плану, я мог бы во время отпуска заняться чем-то полезным.

Сама мысль о том, что снятие плана какой-то приории можно считать занятием полезным, показалась нашему профессору несколько абсурдной. А его сосед продолжал:

— Городище — правда, оно вряд ли видно на поверхности — теперь должно располагаться в непосредственной близости от прибрежной песчаной полосы: как известно, море в этой части побережья неуклонно наступает. Судя по карте, городище находится примерно в трех четвертях мили от гостиницы «Глобус», на северной окраине города. А где вы предполагаете остановиться?

— По правде говоря, *именно* в гостинице «Глобус»,— ответил Паркинс,— я снял там комнату. Не мог найти ничего подходящего в других местах: меблированных комнат в зимнее время почти никто не сдает; при всем при том мне сказали, что, если я хочу снять достаточно просторную комнату, это должен быть двойной номер, с двумя кроватями, и никто не согласится убрать оттуда вторую кровать, потому что некуда, и все в таком роде. Но мне необходима большая комната — я ведь беру с собой книги, мне нужно поработать; и хотя мне не очень нравится, что в моем, пусть временном, кабинете будет стоять пустая кровать — я уж не говорю о двух кроватях! — я полагаю, что смогу как-нибудь перетерпеть это неудобство, это ведь не очень надолго.

— Это ты вторую кровать в номере называешь «неудобством», а, Паркинс? — спросил грубоватый некто, сидевший напротив.— Послушай,— продолжал он,— давай-ка я приеду и посплю на ней ночку-другую, составлю тебе компанию.

Профессор вздрогнул, но ему все же удалось любезно улыбнуться в ответ:

---

[1] Строка из стихотворения шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759—1796), перевод С. Маршака.

[2] Онтография (on, ontos — сущее; grapho — пишу, *греч.*) — описание сущего.

[3] Тамплиеры — «храмовники», средневековый католический духовно-рыцарский орден, основан в Иерусалиме после 1-го крестового похода (ок. 1119 г.). Назван по резиденции учредителей ордена, находящейся вблизи церкви, воздвигнутой, по преданию, на месте древнего храма Соломона. Отделения ордена распространились во всех странах Европы. Упразднен папой Климентом V в 1312 г. Приория — местное отделение ордена с резиденцией приора, главы отделения.

— Разумеется, Роджерс, ничего не может быть лучше. Но боюсь, тебе будет скучновато, ты ведь не играешь в гольф?

— Нет, упаси Боже! — ответил невоспитанный мистер Роджерс.

— Ну вот видишь. Я же буду работать. А все остальное время — проводить на поле. И тебе, несомненно, будет очень скучно там, о чем я и говорю.

— Не знаю, не знаю. Там наверняка будет кто-нибудь из знакомых; но, Паркинс, если ты не хочешь, чтобы я приехал, так и скажи — одного слова достаточно, я не обижусь. Ты же сам всегда говоришь, правда не может быть обидной!

Паркинс и в самом деле был всегда исключительно вежлив и необыкновенно правдив. Пожалуй, мистер Роджерс несколько излишне злоупотреблял этими всем известными качествами нашего профессора. В данный момент в душе Паркинса бушевала целая буря противоположных чувств, которая и помешала ему ответить сразу. Когда буря утихла, он произнес:

— Ну что ж, если ты хочешь, чтобы я сказал правду, Роджерс, я сейчас раздумывал над тем, достаточно ли просторна комната, о которой я говорил, чтобы нам обоим было в ней удобно; и кроме того,— учти, я не стал бы говорить об этом, если бы ты не настаивал,— не будет ли твое присутствие некоторой помехой мне во время работы?

Роджерс громко рассмеялся:

— Хорошо сказано, Паркинс! Прекрасно! Обещаю не мешать тебе работать; можешь на этот счет быть спокоен. Нет, я не приеду, если ты не захочешь, но мне подумалось, я мог бы тебе пригодиться — отгонять привидения.

Здесь у всех желающих была возможность заметить, как Роджерс подмигнул и толкнул локтем в бок рядом сидящего. Можно было также заметить, как покраснел Паркинс.

— Прошу прощения, Паркинс,— продолжал Роджерс.— Я зря это сказал. Совсем забыл, что ты не любишь пустой болтовни на эту тему.

— Да,— ответил Паркинс,— раз уж ты заговорил об этом, я действительно *не люблю,* когда заводят легкую беседу о том, что вы называете привидениями. Человек в моем положении,— продолжал он, слегка возвысив голос,— должен быть очень осторожен, чтобы не создавать у других впечатления, что он одобряет существующие в этом отношении предрассудки. Тебе хорошо известно, Роджерс — или должно быть известно,— ибо я никогда не скрывал своих взглядов...

— Нет, нет, старина, ты и в самом деле их никогда не скрывал,— вставил Роджерс sotto voce [1].

—...Я считаю, что малейшая видимость, малейшее впечатление, что я делаю уступку расхожим верованиям в существование таких вещей, были бы равны отречению от всего самого для меня святого. Но боюсь, мне не удалось завладеть вашим вниманием.

— «Вашим *нераздельным* вниманием», если цитировать доктора Блимбера [2],— вмешался Роджерс, успешно делая вид, что всерьез стремится к точности.— Но прости, Паркинс, я не хотел тебя перебивать.

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал Паркинс.— Не помню никакого Блимбера; может быть, он преподавал здесь еще до меня. Но я не собираюсь развивать эту тему. Уверен, ты знаешь, что́ я имею в виду.

— Да, да, конечно,— поспешно согласился Роджерс,— ты совершенно прав. Мы обсудим все это более детально в Бёрнстоу или в каком-нибудь другом месте.

Приведя здесь этот диалог, я попытался воссоздать впечатление, которое он произвел на меня самого. Паркинс, мне кажется, какими-то своими повадками больше напоминает старую суетливую клушу, чем молодого человека; но абсолютно лишенный — увы! — чувства юмора, он все же вызывает уважение искренней и неколебимой приверженностью

[1] Вполголоса, приглушенно *(итал.)*.

[2] Мистер Роджерс неточен: см. «Домби и Сын», гл. XII *(прим. автора)*.

своим убеждениям. Не знаю, разделяет ли это впечатление читатель, но таков уж характер нашего профессора.

На следующий день Паркинсу удалось — как он и рассчитывал — покинуть Кембридж и прибыть в Бёрнстоу. Он был радушно принят в гостинице «Глобус» и благополучно расположился в просторном номере с двумя кроватями, о котором ему говорили; прежде чем отойти ко сну, он разместил все необходимое для работы в идеальном порядке на огромном и весьма удобном столе, что стоял у внешней стены комнаты в эркере. Все три окна эркера смотрели в сторону моря: центральное выходило прямо на море, а в левое и правое открывался вид вдоль берега на север и на юг, соответственно. С южной стороны можно было видеть деревушку, примыкавшую к городу, а с северной не видно было никакого жилья, лишь песчаный берег и вдали — замыкавший его невысокий утес. Прямо перед центральным окном протянулась лужайка, не очень широкая; там и сям на жесткой траве лежали старые якоря, кабестаны и тому подобные предметы; за лужайкой шла широкая тропа, за ней — песчаный берег. Возможно, когда-то гостиница стояла в большем отдалении от моря; как бы то ни было, сейчас от воды ее отделяло не более шестидесяти ярдов.

Все остальное население «Глобуса» составляли, разумеется, любители гольфа, и среди них попадались особи, заслуживающие специального описания. Самой заметной фигурой я, пожалуй, назвал бы ancien militaire [1], секретаря одного из лондонских клубов. Он обладал голосом необычайной силы и необычайно твердыми протестантскими убеждениями, которые и излагал весьма громогласно. Обычно поводом для их провозглашения становилось посещение церкви, где служил викарий, человек весьма достойный, но имевший явное пристрастие к ритуалам, ярким и живописным, каковое (пристрастие) он рыцарственно пытался подавить из уважения к традициям Восточной Англии [2].

После приезда в Бёрнстоу профессор Паркинс, одной из главных черт которого была отвага, провел большую часть следующего дня, занимаясь тем, что сам он называл совершенствованием в игре в гольф, в компании вышеупомянутого полковника Уилсона; и ближе к вечеру — не знаю, был ли тому виною процесс совершенствования или нет,— физиономия и манеры полковника обрели столь яростную окраску, что даже Паркинс дрогнул при мысли, что им придется возвращаться в гостиницу вместе. Бросив украдкой быстрый взгляд на встопорщившиеся усы и побагровевшие щеки старого воина, он твердо решил, что поступит мудро, предоставив крепкому чаю и табаку возможность повлиять на настроение полковника, прежде чем наступивший час обеда сделает новую встречу неизбежной.

— Пожалуй, сегодня я попробую пройти домой берегом,— размышлял наш профессор,— да-да, конечно, ведь тогда я смогу взглянуть — еще достаточно светло — на развалины, про которые толковал Дизни. Кстати, я пока не знаю точно, где они расположены, но полагаю, что где-нибудь здесь да наткнусь на них.

Должен заметить, что в этом он преуспел в самом буквальном смысле слова, так как, выбираясь из дюн на усыпанный галькой берег, зацепился ногой за корень, обвившийся вокруг довольно крупного камня, и растянулся плашмя. Встав на ноги и оглядевшись, он обнаружил, что вышел на неровную площадку, всю испещренную углублениями и возвышениями. Эти возвышения, когда он подошел поближе и рассмотрел их, оказались глыбами песчаника, скрепленными известью и почти целиком скрытыми под дерном. По-видимому — совершенно справедливо заключил Паркинс,— он находится на том самом городище, которое и обещал разыскать. Вполне возможно, что здесь стоило поработать лопатой — труды исследователя были бы вознаграждены: остатки фундаментов лежали не слишком глубоко и могли пролить яркий свет на общий план приории. Ему смутно

---

[1] Старый воин *(франц.)*.

[2] East Anglia — королевство на востоке Англии, существовавшее в VI— VIII вв. На его территории сейчас находятся графства Норфолк и Суффолк.

припомнилось, что тамплиеры, которым принадлежало это городище, имели обычай возводить круглые храмы, и он подумал, что ряды углублений и возвышений, близ которых он стоял, образуют что-то вроде круга. Мало найдется людей, кто мог бы устоять перед искушением предпринять небольшое любительское исследование в области, совершенно ничего общего не имеющей с их собственным делом,— хотя бы ради удовольствия продемонстрировать, какой успех ожидал бы их, займись они ею всерьез. Наш профессор, если и испытывал нечто подобное этому неизменному побуждению, был, однако, искренне озабочен стремлением помочь мистеру Дизни. Поэтому он весьма тщательно измерил шагами замеченную им окружность и записал ее приблизительные размеры в свою записную книжку. Затем он принялся исследовать прямоугольный выступ, идущий в восточном направлении от центра круга: Паркинс предположил, что по виду выступ мог служить основанием подиума или алтаря. С одной стороны выступа — северной — кусок дерна отвалился или был содран каким-нибудь мальчишкой или иным созданием ferrae naturae [1]. Почему бы, подумал профессор, не исследовать здесь почву, не поискать следы каменной кладки; и он вытащил ножик и стал аккуратно счищать землю. Тут последовало новое открытие: стоило ему чуть поскрести, как слой земли провалился и открылось небольшое отверстие. Он зажег спичку, потом другую, третью, чтобы рассмотреть, что это за дыра, но ветер был слишком сильным. Постукивая по стенкам отверстия ручкой ножа, поцарапав его бока лезвием, Паркинс смог сделать вывод, что это скорее всего искусственное углубление в каменной кладке. Оно было прямоугольным, и его стенки, дно и верх, хотя и неоштукатуренные по-настоящему, казались гладкими на ощупь и совершенно правильными по форме. Разумеется, там ничего не было. Впрочем, нет! Вытаскивая нож, он услышал, как металл звякнул о металл, и когда он просунул в отверстие руку, его пальцы нащупали цилиндрический предмет, лежащий на дне углубления. Вполне естественно, что Паркинс взял и вытащил этот предмет на свет, теперь уже быстро тускнеющий. Ясно было, что это — творение рук человеческих: металлическая трубка дюймов четырех в длину и, несомненно, очень и очень давнего происхождения.

К тому моменту, когда Паркинс убедился, что в странном хранилище больше ничего нет, он обнаружил, что уже слишком поздно и слишком темно для того, чтобы продолжать исследование городища. То, что он успел предпринять, неожиданно оказалось весьма интересным, и он решил назавтра пожертвовать несколькими светлыми часами дня во имя археологии. Цилиндрический предмет, который теперь благополучно покоился у него в кармане, несомненно, представлял какую-то, пусть очень малую, ценность, профессор был в этом совершенно уверен.

Прежде чем направиться к дому, Паркинс бросил последний взгляд на окрестный пейзаж; вид, открывшийся его взору, был торжественно-мрачен: на западе в тусклом желтоватом свете виднелись дюны и поле для гольфа; редкие одинокие фигуры, вырисовываясь на фоне неба, двигались в сторону павильона, где хранились клюшки и прочие аксессуары; приземистая башня Мартелло [2], огоньки деревни Олдси, бледная лента прибрежного песка, через равные промежутки пересекаемая деревянными гройнами [3]; темное рокочущее море. Резкий ветер дул с севера, но когда Паркинс двинулся в сторону «Глобуса», он повернулся к ветру спиной. Он быстро шагал, хрустя галькой, запинаясь о голыши, и наконец добрался до песчаной полосы, где идти стало много легче и, если бы не гройны, через которые нужно было перебираться каждые десять шагов, гораздо удобнее. Последний взгляд, брошенный им назад, чтобы оценить пройденное от развалин приории расстояние, выявил возможность обрести спутника: некая неясная фигура, казалось, делала невероятные усилия,

---

[1] Дикой природы *(лат.)*.

[2] Приморское оборонительное сооружение в виде круглой башни; ряд таких башен был построен на юго-восточном побережье Англии в связи с возможным вторжением наполеоновских войск (ок. 1803 г.).

[3] Гройн — сооружение для задержания песка, волнолом.

чтобы поравняться с профессором, но все эти усилия оставались тщетными. Я хочу сказать, что этот возможный спутник вроде бы бежал ему вслед — так выглядели его движения,— но расстояние между ним и Паркинсом нисколько не сокращалось. Во всяком случае, так показалось нашему профессору, и он подумал, что это ведь наверняка кто-то незнакомый, и нелепо ждать на дороге, пока незнакомец его нагонит. При всем том, подумалось ему, идти вдвоем вдоль пустынного берега гораздо приятнее, если только, разумеется, можно было бы самому выбрать себе компаньона. В те дни, когда он еще не был столь просвещенным человеком, ему случалось читать *о таких* встречах в пустынных местах, что даже сейчас он не мог спокойно об этом думать. Однако, пока он шел к гостинице, он все думал и думал о подобных встречах, особенно об одной из них: она поражает воображение многих из нас в тот или иной период нашего детства.

«И вот вижу я во сне, что не успел этот христианин пройти несколько шагов, как — глянь — через поле ему навстречу мчится злой дух, а может, и сам враг рода человеческого...» [1]

«А что бы я сейчас сделал,— подумал наш профессор,— если бы, оглянувшись, увидел на фоне желтого на закате неба четкий черный силуэт и разглядел у этого существа рога и крылья? Интересно, остался бы я стоять на месте или бросился бы бежать со всех ног? К счастью, этот джентльмен, что следует за мной, вовсе не таков, да и расстояние между нами какое было, такое и осталось. Ну, при его темпах я получу обед гораздо раньше, чем он; и — о Боже — до гонга-то всего минут пятнадцать! Надо бежать!»

И в самом деле, у Паркинса почти не осталось времени, чтобы переодеться к обеду. Когда за столом он снова увидел полковника, мир или, во всяком случае, та его толика, какую могла вместить душа воина, снова воцарился в груди старого джентльмена. Мир не покинул его и тогда, когда после обеда партнеры уселись играть в бридж, ибо Паркинс оказался игроком вполне приличным, даже более того. В результате, когда незадолго до двенадцати наш профессор возвращался в свой номер, он признался себе, что вполне удовлетворен тем, как провел вечер, и подумал, что даже долгие две или, возможно, три недели жизнь в «Глобусе» будет вполне сносной, если все пойдет как сегодня, и особенно — подчеркнул он про себя — если я продолжу совершенствоваться в игре в гольф.

Когда он шел к себе, навстречу ему попался спешивший куда-то коридорный. При виде профессора он остановился и сказал:

— Звиняюсь, сэр, а только когда я ваш пинжак чистил, как раз из кармана эта штука возьми и выпади. Я ее прям на комод положил, сэр, в вашем нумере, сэр. Кусок трубы, сэр, или вроде того. Благодарю вас, сэр. Увидите, она прям там, на комоде, сэр, да, сэр. Спокойной ночи, сэр.

Эта речь послужила Паркинсу напоминанием об открытии — пусть не очень значительном,— которое ему удалось сделать перед обедом. Любопытство, овладевшее нашим профессором, когда он принялся рассматривать находку при свете зажженных свечей, было весьма велико. Предмет, который он поворачивал то одной, то другой стороной к свету, был сделан из бронзы, это не вызывало сомнений, и формой своей очень напоминал современный собачий свисток; на самом деле он и был — ну да, разумеется! — не чем иным, как свистком. Паркинс уже поднес его к губам, но свисток был совершенно забит мелким слипшимся песком или землей, которую нельзя было извлечь, просто постукивая по трубке; пришлось выскрести все это ножом. Не изменив и на этот раз своей обычной чистоплотности, Паркинс выскреб землю на листок бумаги и подошел с ним к окну, чтобы вытряхнуть мусор. Распахнув раму, он увидел, что ночь ясная и звездная, и задержался у окна на мгновение, чтобы взглянуть на море; взгляд его отметил запоздалого прохожего, стоявшего на берегу прямо против гостиницы. Он закрыл окно, слегка удивленный тем, как поздно

[1] Отрывок из известного произведения английского писателя и священника Джона Беньяна (1628—1688) «Путешествие пилигрима».

ложатся спать жители Бёрнстоу, и снова поднес свисток к свету. О да, на нем, несомненно, имеются какие-то знаки! И не просто знаки — буквы! Паркинс легонько потер свисток — этого оказалось совершенно достаточно: глубокие надрезы, образовывавшие буквы, были ясно видны, но по зрелом размышлении профессор должен был признать, что смысл написанного ему столь же неясен, как и смысл слов, явившихся на стене пред Валтасаром [1]. Надписи были и на передней, и на задней стенках свистка. Одна выглядела так:

FLA
FUR BIS
FLE

Другая:

卐 QUIS EST ISTE QUI UENIT 卐

«Мне следовало бы разобраться в том, что это значит,— подумал Паркинс,— но боюсь, латынь совсем выветрилась у меня из памяти. Подумать только, я даже не могу вспомнить, как по-латыни «свисток»! Правда, длинная надпись кажется совсем простой. По-моему, она должна означать «Кто есть тот, кто идет?». Ну что ж, самый лучший способ выяснить, что к чему,— это, разумеется, свистнуть».

Он осторожно подул в свисток и сразу остановился, испуганный и в то же время приятно пораженный звуком, который сам же извлек. Казалось, этот звук вобрал в себя бесконечность, и, тихий и слабый, он все же должен был быть слышен на много миль окрест. Этот звук, видимо, обладал также силой вызывать в сознании видения (таким свойством обладают и многие запахи). Паркинс совершенно четко, хотя и на краткий миг, увидел широкое, темное пространство ночи, продуваемое резким ветром, и посередине одинокую фигуру — он не мог бы сказать, что́ это существо делало там. Может быть, он успел бы увидеть больше, но видение исчезло, прерванное неожиданным порывом ветра, ударившим в оконную раму, таким неожиданным, что Паркинс поднял голову и едва успел заметить белый промельк птичьего крыла: видно, морская птица вилась где-то неподалеку, за темным окном.

Звук, извлеченный из свистка, очаровал нашего профессора; он не мог удержаться, чтобы не подуть в свисток снова, на этот раз гораздо смелее. Звук был самую малость громче, а может быть, вовсе и не громче, но повторение разбило иллюзию: никакой картины в сознании не возникло, хотя Паркинс очень на это рассчитывал.

— Но что это? Силы небесные, какую же мощь набрал ветер всего за несколько минут! Что за невероятный вихрь! Ну вот! Так я и знал — оконные задвижки совершенно никуда не годятся! Ах! Так я и думал — обе свечи задуло! Да этот ветер всю комнату вверх дном перевернет.

Первым делом нужно было ухитриться закрыть окно. Паркинс сражался с узкой оконной рамой довольно долго — вполне можно было успеть сосчитать до двадцати; создавалось ощущение, будто он выталкивает за окно здоровенного домушника, таким сильным был напор ветра. Вдруг ветер ослаб, окошко с силой захлопнулось, и задвижка защелкнулась сама собой. Теперь нужно было снова зажечь свечи и проверить, что успел натворить (если успел!) в комнате этот ветер. Нет, казалось, все в порядке, даже стекло в раме осталось целым. Но шум, как видно, потревожил по меньшей мере одного постояльца гостиницы: слышно было, как в номере этажом выше сердито расхаживает в носках по полу полковник Уилсон и громко ворчит.

---

[1] Валтасар — последний вавилонский царь. По преданию, в ночь взятия Вавилона персами устроил пир (отсюда — «валтасаров пир»). В разгар пира, где чашами для вина служили сосуды, захваченные в иерусалимском храме, и где прославлялись вавилонские боги, таинственная рука начертала на стене непонятные слова: «мене, мене, текел, упарсин». Лишь иудейский мудрец Даниил смог расшифровать надпись, предсказавшую гибель Валтасара и раздел Вавилона между персами и мидянами. Предсказание сбылось.

Неожиданно быстро возникнув, ветер улегся не сразу. Он стонал за окном, мчась мимо гостиницы, и временами поднимал такой отчаянный вой, что — как заметил совершенно безучастно Паркинс — люди с необузданным воображением могли почувствовать себя весьма неуютно; даже те, кто умел обуздывать свое воображение — подумал наш профессор через четверть часа,— были бы счастливы, если бы ветер затих.

Заснуть Паркинс не мог. Ветер ли отогнал сон, возбуждение от игры в гольф или археологические изыскания в приории мешали ему спать, он не мог бы с уверенностью сказать. Он бодрствовал довольно долго, во всяком случае, достаточно долго для того, чтобы вообразить (боюсь, и сам я подвержен этому в сходных ситуациях), что стал жертвой всякого рода недомоганий: он принялся считать удары сердца, убежденный, что оно вот-вот остановится; в голове его роились серьезные опасения по поводу работы легких, мозга, печени и т. п., подозрения, которые — он был совершенно уверен — исчезнут с первым светом дня, но которые ни за что не желали оставить страдальца до того самого момента. Некоторым утешением, искупающим эти муки, явилась мысль, что кто-то еще, так сказать, плывет с ним в одной лодке. Где-то поблизости (в темноте нелегко было определить точное направление) метался в постели, шурша и скрипя, какой-то сосед.

Следующая стадия наступила, когда Паркинс, закрыв глаза, решил предоставить сну всевозможные привилегии. И тут снова перевозбуждение дало о себе знать в иной форме — в форме живых картин. Experto crede [1], картины действительно возникают перед закрытыми глазами пытающегося призвать к себе сон и часто бывают ему столь мало по вкусу, что приходится открыть глаза снова, чтобы эти картины рассеять.

То, что на этот раз пришлось испытать нашему профессору, было в высшей степени неприятно. Он обнаружил, что картина, привидевшаяся ему, постоянно повторяется. Разумеется, когда он открывал глаза, она исчезала, но когда он снова закрывал их, она опять возникала, и действие развивалось, не ускоряясь и не замедляясь, точно так, как прежде. Вот что он увидел.

Тянущийся вдаль берег — галечник и узкая песчаная полоса на краю моря, пересеченная частыми черными гройнами, спускающимися к самой воде: место, настолько напоминающее то, где он совершал свою вечернюю прогулку, что за отсутствием особых примет невозможно было отличить одно от другого. Свет тусклый, впечатление такое, что надвигается шторм; зимний вечер; сыплет мелкий холодный дождь. Ни одного актера на этой мрачной сцене. Но это лишь поначалу. Затем вдали возникает некий подпрыгивающий темный предмет; минута — и становится ясно, что это бежит человек; он подпрыгивает, перебираясь через гройны, и каждую минуту беспокойно оглядывается. Человек все ближе, ближе, теперь уже вполне очевидно, что он не просто обеспокоен — он смертельно напуган, хотя лица его не различить. К тому же он совершенно выбился из сил, но все бежит, и каждое новое препятствие дается ему с гораздо большим трудом, чем предыдущее.

«Переберется ли он через следующее? — подумал Паркинс.— Оно кажется чуть выше, чем другие».

Да, полуповиснув на волноломе, человек перебросил через него ноги и кулем свалился на другую сторону (ближнюю к зрителю). Здесь, словно и в самом деле не имея сил подняться, он остался, скорчившись за волноломом, глядя вверх в мучительном волнении.

До сих пор никакой причины пугаться не было явлено взору; но вот вдали, там, где берег уходил за горизонт, возникло какое-то мельканье; что-то светлое, колеблющееся из стороны в сторону двигалось быстрыми, неровными рывками. С невероятной скоростью увеличиваясь в размерах, это «что-то» оказалось фигурой неопределенных очертаний, укутанной в бледные, трепещущие на ветру покрывала. В ее движении было нечто

---

[1] Поверьте опытному *(лат.)*.

такое, что заставило Паркинса усомниться в желании рассмотреть ее поближе. Она останавливалась, вздымала руки горе, склонялась к песку и так, согнувшись, мчалась поперек песчаной полосы к воде, затем назад; потом, выпрямившись во весь рост, снова устремлялась вперед со скоростью невероятной и ужасающей. Наступил момент, когда, словно повиснув в воздухе и раскачиваясь то вправо, то влево, фигура остановилась всего в нескольких шагах от волнолома, за которым спрятался беглец. Дважды и трижды бросался преследователь безрезультатно в разные стороны и вдруг замер на месте, воздел руки и устремился прямо вперед, к волнолому.

Это и был тот момент, когда решимость не открывать глаза каждый раз изменяла Паркинсу. Измучившись от множества дурных предчувствий: у него, видимо, портится зрение, опасно переутомлен мозг, возможно, уже сказывается излишнее курение и тому подобных,— он в конце концов решил зажечь свечу, взять книгу и провести ночь без сна; это будет лучше, чем мучиться бесконечным созерцанием мрачной панорамы, что, несомненно — он совершенно ясно это понимал,— было лишь извращенным отражением его вечерней прогулки и вызванных ею мыслей.

Чирканье спички о коробок и яркий язычок огня испугали кого-то: какие-то ночные твари — крысы или что там еще — заскреблись, зашуршали (он это четко слышал) по полу, бросившись прочь от кровати. О Боже, спичка погасла, вот идиотизм! Но вторая горела дольше, и ему удалось зажечь свечу и достать книгу, над которой он и трудился весьма сосредоточенно, но не очень долго, пока здоровый (теперь уже здоровый!) сон не сморил его окончательно. Чуть ли не впервые за свою четко организованную и аккуратную жизнь Паркинс забыл задуть свечу, и когда его разбудили утром, в восемь, в подсвечнике еще тлел огонек, а на столике у кровати неприятно поражали взгляд морщинистые наплывы свечного сала.

После завтрака он был у себя в номере, добавляя завершающие штрихи к своему костюму для гольфа — судьба снова подарила ему полковника Уилсона в качестве партнера,— когда вошла горничная.

— О, прошу прощения, сэр,— сказала она,— может быть, принести вам еще одеял, сэр?

— О, благодарю вас,— ответствовал Паркинс.— Да, пожалуй, это было бы неплохо. Похоже, становится несколько холодней.

Не прошло и минуты, как горничная вернулась с одеялом.

— На какую из кроватей положить одеяло, сэр? — спросила она.

— Что? Да вон на ту. На ту, где я спал сегодня ночью,— ответил он, указывая на свою кровать.

— О, конечно, сэр. Прошу прощения, сэр, только вы, кажется, и на другой спать попробовали; по крайности, мы их обеи сегодня перестилали.

— Что вы говорите? — удивился Паркинс.— Но это какой-то абсурд! Я вовсе не притрагивался ко второй кровати, только раз положил на нее свои вещи. Неужели вам и в самом деле показалось, что кто-то на ней спал?

— О да, сэр! — отвечала горничная.— Как же, все на ей было перевороченo и помято, еще и по сторонам расшвыряно; прошу прощения, сэр, а только, похоже, кому-то и вовсе плохо спалось в эту ночь, сэр.

— Боже мой,— сказал Паркинс.— Ну что ж, возможно, я устроил больше беспорядка, чем предполагал, когда распаковывал вещи. Разумеется, я должен извиниться перед вами за доставленное излишнее беспокойство. Кстати, я жду приятеля, он вскоре должен приехать из Кембриджа. Он займет эту кровать на две-три ночи. Я полагаю, это возможно, не правда ли?

— О да, сэр, конечно, сэр. Спасибо, сэр. Это никакое не беспокойство, сэр, правда, сэр, — ответила горничная и удалилась — похихикать с подругами.

Паркинс отправился на поле с твердой решимостью совершенствоваться в игре.

Я очень рад возможности сообщить вам, что он настолько преуспел в этом занятии, что полковник, который поначалу сетовал на свою

горькую судьбу, ожидая нового дня мучений в компании нашего профессора, через некоторое время разговорился, и голос его гремел над равниной, словно — здесь я позволю себе воспользоваться выражением одного из наших не очень известных поэтов,— словно «орган под куполом огромного собора».

— Совершенно необычный для этих мест ветер поднялся сегодня ночью,— рокотал полковник.— В тех местах, где я родился, сказали бы, что кто-то тот ветер высвистал.

— Вот как, неужели? — воскликнул Паркинс.— Неужели этот предрассудок все еще бытует в ваших местах?

— Ну не знаю, предрассудок не предрассудок,— прогремел полковник,— а только в это верят и в Дании, и в Норвегии, и у нас, в Йоркшире [1], особенно на побережье; а я знаю, и, учтите, знаю по собственному опыту, что если уж деревенские жители, поколение за поколением, крепко держатся чего-то, за этим обычно что-нибудь да кроется. Но, внимание — ваш удар (или как там еще он должен был бы это назвать: пусть читатель, умеющий играть в гольф, вообразит себе соответствующие реплики через соответствующие промежутки времени).

Когда беседа возобновилась, Паркинс сказал:

— A propos [2] к тому, о чем вы только что говорили, полковник. Полагаю, я должен прямо сказать, что я придерживаюсь весьма твердых убеждений на этот счет. Фактически я могу утверждать, что во всем, что касается так называемого «сверхъестественного», я — человек абсолютно неверующий.

— Как?! — воскликнул полковник.— Неужели вы хотите убедить меня, что не верите в ясновидение, в привидения и всякие такие вещи?

— Ни в какие такие вещи я не верю,— твердо заявил Паркинс в ответ.

— Ну что ж,— сказал полковник,— мне представляется, сэр, что в таком случае вы нисколько не отличаетесь от какого-нибудь саддукея [3].

Паркинс собрался было ответить, что, по его мнению, саддукеи — самые здравомыслящие из всех, описанных в Ветхом завете; однако, не будучи вполне уверен в том, что они вообще упоминаются именно в этом труде, предпочел рассмеяться в ответ на обвинение.

— Возможно, возможно,— сказал он,— но... эй, мальчик, мою клюшку, пожалуйста! Извините, полковник, одну минуту...

(Краткий перерыв в беседе.)

— А теперь по поводу высвистывания ветра. Моя теория, если позволите, такова: закономерности, управляющие возникновением ветров, пока еще не вполне известны, а рыбакам и им подобным деревенским жителям неизвестны вовсе. Какой-нибудь человек с привычками эксцентрического характера, мужчина, женщина — не важно, или вообще какой-то незнакомец часто появляется на берегу в необычный час. Люди слышат, как он посвистывает. Вскоре поднимается яростный ветер; человек достаточно образованный, способный читать показания барометра или в совершенстве знающий приметы, мог бы легко предсказать этот ветер. Простой народ в рыбацких деревушках не имеет барометров и знаком лишь с самыми примитивными правилами предсказания погоды. Что же может быть естественнее, чем возникновение уверенности в том, что именно описанный мною персонаж вызвал ветер? Так же естественно и страстное стремление этого мужчины (или женщины) сохранить репутацию существа, способного вызывать ветер. Ну вот, например, вчерашний ветер: случилось так, что я сам воспользовался свистком. Я свистнул дважды, и ветер, казалось, возник точно в ответ на мой призыв. Если бы кто-то меня увидел...

Во время столь страстного изложения профессорских взглядов аудитория вела себя довольно беспокойно, сам же профессор, боюсь, впал, пожа-

---

[1] Графство Йоркшир расположено между восточными отрогами Пеннин и побережьем Северного моря.

[2] Кстати *(франц.)*.

[3] Саддукеи — религиозно-политическое течение в Иудее во II веке до н. э. Отличались, в частности, тем, что не допускали отклонений от буквы писаного Закона Моисея, отвергали учение о трансцендентности божества, бессмертии души и т. п.

луй, в излишне менторский тон; но, услышав последнюю фразу, полковник застыл на месте как вкопанный.

— Вы воспользовались свистком, говорите? — спросил он.— А что это был за свисток? Прошу вас, вам бить.

(Перерыв в беседе.)

— Насчет этого свистка, про который вы спросили, полковник. Довольно любопытная штука. Он у меня в кар... Впрочем, нет, я, оказывается, оставил его в номере. Между прочим, я его только вчера нашел.

И тут Паркинс поведал полковнику историю о том, как и где был найден свисток; выслушав весьма подробный рассказ, полковник фыркнул и заключил, что на месте Паркинса поостерегся бы пользоваться вещью, принадлежавшей папистам [1]: ведь никогда, вообще-то говоря, не знаешь, что у них у всех на уме было, есть и будет, это можно утверждать без всяких оговорок. От этой темы он перешел к обсуждению безобразного поведения местного викария, который объявил в воскресенье, что пятница — праздник святого апостола Фомы и в одиннадцать утра в церкви состоится по этому поводу служба. Сей поступок, как и многие другие, заставил полковника заподозрить — и подозрение его было весьма сильным,— что викарий — скрытый папист, если вообще не иезуит; Паркинс же, не чувствуя себя способным полностью разделить воззрения полковника в этой области, удержался от возражений. В результате партнеры столь успешно сыгрались утром, что ни один, ни другой и не помышлял о том, чтобы разойтись после ланча.

Игра и после ланча шла вполне успешно, во всяком случае, настолько успешно, что наши партнеры забыли обо всем на свете, пока им не помешал тускнеющий свет дня. Только тут Паркинс вспомнил, что собирался продолжить археологические изыскания в приории; но это не так уж важно, утешил себя он: сегодня, завтра — какая разница; лучше он отправится домой вместе с полковником.

Как раз когда наши партнеры собирались повернуть за угол дома, какой-то мальчуган, на предельной скорости мчавшийся им навстречу, чуть было не сбил полковника с ног; и тут, вместо того чтобы броситься наутек, прижался к его коленям, дрожа и задыхаясь. Первым — вполне естественным — побуждением храброго воина было высказать шалуну свое глубочайшее неодобрение, но, едва успев произнести первые слова упрека, полковник обнаружил, что мальчик от ужаса почти утратил дар речи. Расспросы поначалу ни к чему не привели. Когда же мальчик немного отдышался, из его груди вырвались рыдания, больше похожие на вопль; обняв колени полковника Уилсона, он никак не желал их отпускать. В конце концов от колен его все-таки удалось отцепить, но вопить он так и не перестал.

— Что такое, что, собственно, с тобой случилось? Что такое ты натворил? Может быть, тебе что-нибудь померещилось? — расспрашивали мальчишку оба джентльмена.

— Ой-ой-ой, я смотрю, а оно махает мне из етого окошка, махает и махает,— вопил тот.— Ой-ой-ой, мне этого не надо, я не хочу!

— Из какого еще окошка? — раздраженно спросил полковник.— Ну хорошо, довольно плакать, возьми себя в руки, мой мальчик.

— Да из окошка, спереду етого дома,— ответил мальчуган.

Тут Паркинс вознамерился отправить мальчишку домой, но полковник не согласился: необходимо добраться до самой сути происшедшего, заявил он; это очень вредно — пугать детей так, как напугали этого мальца, и если выяснится, что какие-то люди сыграли с ним злую шутку, они должны будут понести наказание. И в результате целой серии вопросов он вытянул из мальчонки такое вот повествование: мальчик играл на зеленой лужайке перед «Глобусом» с другими ребятами; потом они все, говорил он, «побегли домой чай пить», и он тоже собрался, «да случайно посмотрел на окошко спереду етой гостиницы, а *оно* оттеда махает, махает; *оно*-то вроде большое,

---

[1] Пренебрежительное прозвище католиков.

вроде человек, и вроде на ём белое такое надето, а только лица не разглядеть; и оно махает и махает, вроде к себе зовет; и оно вроде неправильное какое-то, вроде и не человек вовсе, или человек, только какой-то не такой». А горел ли в комнате свет? Нет, ему и в голову не пришло посмотреть, горит он там или нет. А какое это окно? Самое верхнее или на втором этаже? На втором, «агромадное такое, кнаружи выступом, еще и два малых по бокам».

— Ну хорошо, мой мальчик,— сказал полковник, задав парнишке еще несколько вопросов.— Теперь беги-ка домой. Я полагаю, кто-то хотел тебя попугать. В следующий раз — ты ведь храбрец, не правда ли, ты ведь настоящий англичанин? — просто швырни в него камнем... Впрочем, нет, пожалуй, не надо камнем, а просто пойди и поговори с официантом или лучше с самим мистером Симсоном — хозяином гостиницы — и скажи ему... Да-да, скажи ему — это я посоветовал тебе к нему обратиться.

На лице мальчишки отразилось некоторое сомнение по поводу возможности побеседовать с мистером Симсоном и изложить ему свою жалобу, но полковник как будто вовсе этого не заметил и продолжал:

— И вот тебе шесть пенсов... впрочем, нет, я вижу, это шиллинг,— беги-ка быстрей домой и забудь обо всем поскорее.

Юный герой поспешно поблагодарил утешителя и со всех ног бросился прочь, а полковник и Паркинс повернули за угол и подошли к фасаду гостиницы, чтобы произвести рекогносцировку. Только одно окно соответствовало описанию, которое они услышали от мальчишки минутой раньше.

— Очень любопытно,— сказал Паркинс,— очевидно, мальчик говорил о моем окне. Не могли бы вы, полковник Уилсон, подняться вместе со мной в мой номер, буквально на одну минуту? Возможно, нам удастся выяснить, не позволил ли кто-нибудь себе безобразничать там в мое отсутствие.

Вскоре они стояли в коридоре перед его дверью, и Паркинс протянул было руку, чтобы ее открыть, но вдруг остановился и принялся похлопывать себя по карманам.

— Это даже серьезнее, чем я предполагал,— растерянно произнес он.— Я теперь вспомнил, что запер дверь, когда уходил сегодня утром. И она ведь действительно заперта. Более того, вот он — ключ.— И Паркинс показал полковнику ключ от номера.— Ну что ж,— продолжал он,— если слуги в этой гостинице завели обычай заходить в номер в отсутствие постояльца, я могу лишь сказать... Ну, я могу сказать, что я этого не одобряю ни в коем случае.

Сознавая, что эти последние слова прозвучали несколько слабовато, он принялся отпирать дверь (которая и в самом деле оказалась запертой) и зажигать свечи.

— Нет,— произнес он,— кажется, никто ничего здесь не трогал.

— Кроме вашей постели,— сказал полковник.

— Простите, но это вовсе не моя постель,— возразил Паркинс,— я не пользуюсь этой кроватью. Но вид у нее и правда такой, словно кто-то затеял тут какие-то игры.

И правда, одеяло и простыни были скомканы и скручены, подушки разбросаны самым невероятным образом. Паркинс задумался.

— Должно быть, дело вот в чем,— произнес он наконец,— я распаковывал накануне свои вещи и привел постель в беспорядок, а они с тех пор так ее и не застелили. Возможно, кто-то приходил здесь прибрать, и мальчик увидел их в окно; потом горничных неожиданно позвали, они ушли и дверь заперли. Да, я думаю, именно так оно и было.

— Что ж, позвоните и выясните, так ли это,— посоветовал полковник, и Паркинсу понравилась практичность этого совета.

Горничная немедленно явилась и — если передать ее речь вкратце — опровергла предположение нашего профессора, напомнив ему, что привела постель в порядок, когда джентльмен еще был в номере. Нет, никаких других ключей у нее сроду не было. Все ключи сам мистер Симсон держит; он-то бы знал, если кто тут был; пусть джентльмен у самого и поспрошают.

Тут крылась какая-то загадка. Тщательное обследование убедило их,

что из номера не исчезло ничего ценного; кроме того, Паркинс прекрасно помнил, как были расположены на столе и на тумбочке всяческие мелочи, и не сомневался, что никто не позволил себе по отношению к ним никаких проказ. Более того, и мистер Симсон, и его супруга в один голос заявили, что никто из них никому не давал второго ключа от номера ни утром, ни днем. Паркинс — человек очень справедливый — при всем желании не мог обнаружить в выражении лиц и в поведении хозяина, хозяйки и даже горничной ничего такого, что говорило бы о нечистой совести. Естественно, наш профессор начал склоняться к мысли, что мальчишка скорее всего просто надул полковника.

Полковник же был необыкновенно молчалив и задумчив и за обедом, и позже, вечером. Прощаясь с Паркинсом и пожелав ему доброй ночи, он проворчал, грубовато и почти неслышно:

— Вы знаете, где меня найти, если я вам понадоблюсь ночью.

— О, как же, как же, разумеется; благодарю вас, полковник; однако я не думаю, что может возникнуть такая необходимость. Очень надеюсь, мне не придется вас тревожить. Кстати,— спохватился он,— я так и не показал вам тот старинный свисток, о котором рассказывал? Нет, мне кажется, нет. Вот он, смотрите.

Полковник Уилсон поднес свисток к свече и осторожно поворачивал его то одной, то другой стороной к свету.

— Вы разбираете надпись? Что она, по-вашему, означает? — спросил Паркинс, забирая свисток.

— Нет. Свет очень тусклый. Что вы предполагаете с этим свистком делать?

— О, знаете ли, когда я вернусь в Кембридж, я представлю его на суд тамошних археологов и выясню, что они по этому поводу думают; и вполне возможно — конечно, если они сочтут его достойным внимания,— подарю свисток какому-нибудь музею.

— М-м! — произнес полковник Уилсон.— Что ж, может, вы и правы. А только, если бы он был мой, я зашвырнул был его подальше в море. Бессмысленно вас уговаривать, я прекрасно это понимаю; полагаю, вы как раз из тех, про кого говорят: век живи, век учись... Надеюсь, жизнь убедит вас, очень на это надеюсь. Желаю вам спокойной ночи.

Он повернулся и пошел наверх, а Паркинс остался внизу на лестничной площадке, не успев вымолвить ни слова в ответ. Вскоре каждый из джентльменов уже готовился ко сну в своей комнате.

К сожалению, по какой-то несчастной случайности на окнах профессорского эркера не было ни ставен, ни занавесей. Прошлой ночью Паркинс совершенно не обратил на это внимания, но сегодня все говорило за то, что ночь будет лунной. Более того — полная луна, поднимаясь все выше по небосклону, будет светить прямо ему в лицо, когда он уснет, и, несомненно, заставит его проснуться. Оценив печальную перспективу, наш профессор рассердился было, но природная находчивость, которой я могу только позавидовать, пришла ему на помощь: использовав дорожный плед, несколько булавок, трость и зонтик, он сумел соорудить перед окном некий экран, который — если только не рассыплется — мог полностью преградить лунному свету доступ к изголовью кровати. И вскоре наш профессор уже весьма удобно расположился на этой самой кровати. Когда листы солидного фолианта оказали наконец желаемое воздействие, побуждая чтеца немедленно отойти ко сну, профессор обвел комнату сонным взглядом, задул свечу и откинулся на подушки.

Должно быть, он очень крепко заснул и проспал так час-полтора, когда вдруг лязг и грохот сотрясли комнату; это неожиданное пробуждение наш профессор при всем желании не мог бы назвать приятным. Он, однако, сразу понял, в чем дело: столь искусно сооруженный экран не устоял, и яркая морозная луна теперь сияла прямо Паркинсу в лицо. Это было в высшей степени неприятно. Следует, видимо, встать и восстановить сооружение, но стоит ли вылезать из постели? Сможет ли он заснуть, если ничего не делать?

Несколько минут Паркинс лежал, обдумывая разные возможности; потом он вдруг резко повернулся на другой бок и с широко раскрытыми глазами, затаив дыхание, прислушался. Он был совершенно уверен — он слышал! — на другой кровати, у противоположной стены комнаты что-то происходило. Завтра он потребует, чтобы кровать убрали из номера, видимо, в ней по ночам безобразничают крысы. Вот — затихло. Нет, снова какое-то движение, шуршание, вся кровать трясется: вряд ли такое могут устроить крысы!

Я вполне могу вообразить себе недоумение, замешательство и ужас нашего профессора, потому что лет тридцать тому назад видел точно то же самое — во сне; но мой читатель, видимо, и представить себе не может, какой страх охватил Паркинса, когда он увидел, как некая белая фигура вдруг поднялась и села на кровати, которую он считал совершенно пустой. Одним прыжком он выскочил из постели и бросился к окну, где на полу лежало его единственное оружие — трость, с помощью которой он вчера соорудил свой экран. Оказалось, что ничего более неудачного он и придумать не мог, потому что неизвестное существо вдруг плавно выскользнуло из постели и, раскинув в стороны руки, заняло позицию между обеими кроватями и дверью. Паркинс, совершенно сбитый с толку, следил за ним в ужасе. Почему-то сама мысль о том, чтобы попытаться проскользнуть мимо и выскочить за дверь, была ему невыносима; он не вынес бы и малейшего, случайного прикосновения к этому существу; а если бы оно само вдруг коснулось Паркинса... Нет, лучше выброситься в окно, чем допустить такое. Существо задержалось на какое-то мгновение в темной части комнаты, в черной полосе тени, и Паркинс не мог видеть его лица. И вдруг оно снова двинулось вперед, полусогнувшись, и профессор с ужасом и в то же время с облегчением понял, что оно — слепое, потому что оно, казалось, ощупывает пространство, водит вокруг укрытыми покрывалом руками без цели и смысла. Полуотвернувшись от Паркинса, существо, видно, вдруг почувствовало, что стоит недалеко от кровати, которую тот только что покинул, и бросилось к ней; склонившись над постелью, оно принялось ощупывать подушки и делало это так, что Паркинса стала бить дрожь: он никогда в жизни и предположить не мог, что бывает *такая* дрожь.

Не прошло и нескольких минут, как существо убедилось, что постель пуста; тогда, снова двинувшись вперед, теперь уже лицом к окну, оно впервые вышло на свет и предстало во всей красе.

Паркинс, который терпеть не может, когда его об этом расспрашивают, как-то обмолвился о нем в моем присутствии, и единственное, что мне удалось понять из его рассказа, единственное, что он запомнил, было невообразимо ужасное, кошмарное *лицо из смятого полотна*. Каково было выражение этого лица, он не мог или не желал сказать; но было ясно: страх, который это лицо внушало, способен был лишить разума кого угодно.

Но времени для того, чтобы рассматривать это существо, не оставалось. С невероятной быстротой оно двинулось на середину комнаты и, размахивая руками, коснулось уголком покрывала щеки Паркинса. Он не смог — хотя прекрасно понимал, какую опасность навлечет малейший изданный им звук,— не смог сдержать возглас отвращения, и это дало преследователю искомый ключ. Одним прыжком существо оказалось рядом со своей жертвой, и уже в следующий миг Паркинс, спиной выбив окно, полувисел на подоконнике, крича во всю мощь своих легких, а полотняное сморщенное лицо нависло над его собственным, чуть его не касаясь. В этот критический момент, почти в самую последнюю секунду, пришло спасение. Вы, разумеется, уже догадались: рывком распахнув дверь, в комнату ворвался полковник Уилсон, как раз вовремя, чтобы успеть увидеть ужасающую сцену в эркере. Когда он подбежал к окну, там оставался лишь один участник происшествия: потеряв сознание, Паркинс лежал лицом вниз на полу, а перед ним валялась куча измятого постельного белья.

Полковник Уилсон не стал задавать вопросов. Он занялся прежде всего тем, чтобы выдворить из комнаты посторонних, а потом уложил Паркинса обратно в постель; сам же, завернувшись в профессорский плед, занял

вторую кровать и провел на ней остаток ночи. На следующее утро, очень рано, в Бёрнстоу приехал Роджерс, который был встречен гораздо радушнее, чем это могло случиться днем раньше, и все трое долго совещались в номере у профессора. Когда совещание окончилось, полковник Уилсон вышел из дверей гостиницы, держа двумя пальцами — указательным и большим — некий предмет, который он и закинул далеко в море, так далеко, как только весьма мускулистая рука старого воина могла этот предмет закинуть. В тот же день, но значительно позже, позади гостиницы вспыхнул костер, посылая в небо густые клубы дыма: пахло горелым тряпьем.

Должен признаться, я не припомню, какое объяснение происшедшему придумали его участники для обслуживающего персонала и гостей отеля. Каким-то образом нашему профессору удалось очиститься от подозрений в том, что он подвержен приступам белой горячки, а гостинице — избежать репутации «дома с привидениями».

Не возникает особых вопросов по поводу того, что случилось бы с Паркинсом, не вмешайся вовремя полковник Уилсон. Профессор выпал бы из окна либо сошел с ума. Но вовсе не столь очевидно, *что* еще — кроме как напугать до смерти — могло сотворить с ним создание, явившееся к нему по зову свистка. Казалось, в нем нет абсолютно ничего материального, если не считать одеял и простынь, из коих оно соорудило себе какое-то подобие тела. Полковник, который помнил примерно такой же случай, имевший место в Индии, высказал мнение, что если бы Паркинс схватился с этим существом вплотную, оно не могло бы причинить ему большого вреда: вся его сила, по-видимому, и была в том, чтобы внушать страх. Все это происшествие, заключил полковник, лишь подтверждало его мнение о римско-католической церкви.

Мне больше нечего рассказать моим читателям; вы и сами можете себе представить, что взгляды нашего профессора в отношении некоторых частных сюжетов стали гораздо менее определенными, чем прежде. Пострадали и его нервы: теперь зрелище неподвижно висящего на двери стихаря [1] выводит его из равновесия, а пугало, увиденное как-то в поле в пасмурный зимний день, стоило ему не одной бессонной ночи.

Жил да был человек близ кладбища...

Таков, как вы знаете, зачин сказки про ведьм и духов, которую юный принц Мамилий [2] — самый милый шалунишка у Шекспира — рассказывал своей матушке и придворным дамам, как раз когда король явился в сопровождении стражников и спешно отправил королеву в темницу. Продолжения у сказки не было: Мамилий вскоре умер, а пока не умер, не имел случая, да и возможности, рассказать ее до конца. Интересно, что там было дальше? Шекспир, разумеется, знал, да и я возьму на себя смелость утверждать, что тоже знаю. Мамилий ничего нового выдумывать не собирался: скорее всего, эту сказку и вы не раз слышали, а может быть, и рассказывали сами. Каждый из нас волен облечь ее в ту форму, которая больше по душе. Я предпочту такую:

— Жил да был человек близ кладбища. Дом его понизу был каменный, а второй этаж — деревянный. Фасад выходил на улицу, а вот окна в задней стене глядели прямиком на кладбище. Когда-то дом принадлежал приходскому священнику, но священник был человек семейный (дело происходило во времена королевы Елизаветы I), и ему нужен был дом попросторней; да к тому же супруга его терпеть не могла вида кладбища ночью, ведь именно на кладбище выходили окна ее спальни. Она говорила, что каждую ночь видит... впрочем, вовсе неважно, что она там говорила, только донимала

---

[1] Стихарь — длинная одежда с широкими рукавами, облачение церковных служителей.

[2] У. Шекспир. «Зимняя сказка»; Мамилий — юный принц сицилийский, сын короля Леонта и королевы Гермионы.

она своего мужа до тех пор, пока он не согласился переехать в дом побольше, на главной улице деревни, а в старом доме поселился Джон Пул, вдовец, который и стал жить там в полном одиночестве. Люди говорили, что он скуповат.

Похоже, он и вправду был скряга; во всяком случае, вел он себя странно и неприятно. В те давние времена существовал обычай хоронить покойников ночью, при свете факелов, и было замечено, что как только на кладбище похороны, Джон Пул торчит у окна, иногда в нижнем этаже, иногда наверху — в зависимости от того, где лучше видно.

И вот наступила ночь, когда должны были хоронить одну старуху. Она была довольно богата, но в деревне ее не очень любили. Как водится в таких случаях, говорили, она, мол, не христианка и вроде бы по ночам в канун Иванова дня [1] или Всех Святых [2] ее и дома-то застать невозможно. Глаза у нее были красные, как у кролика, лицо — отворотясь не насмотришься, и даже нищие никогда не стучались в дверь ее дома. Но, умирая, она завещала церкви полный кошель денег.

В ночь ее похорон не было ни грозы, ни бури: погода стояла тихая, ясная. Только никто не хотел нести покойницу, и трудно было найти охотников освещать ее последний путь факелами, хотя старуха оставила на похороны гораздо больше денег, чем обычно платили за такую работу. Хоронили ее в шерстяном саване, без гроба. У могилы стояли только те, кому положено, больше никого не было, да еще Джон Пул смотрел из окошка. И вот перед тем, как первые комья земли посыпались в могилу, священник наклонился и швырнул что-то на мертвое тело — что-то звякнуло, а он тихо произнес слова, которые вроде бы звучали примерно так: «Да обратятся твои деньги в прах вместе с тобою». Потом священник поспешил прочь от могилы, а за ним и другие, остался только факельщик — посветить могильщику и его сынишке, пока те завалят могилу. Делали это не больно старательно, так что на следующий день — а он как раз пришелся на воскресенье — прихожане довольно резко выговаривали могильщику (он же был и церковным сторожем), что, мол, эта могила самая неаккуратная на всем кладбище. И правда, когда он сам пошел посмотреть, ему показалось, что холмик выглядит гораздо хуже, чем он его оставил ночью.

Тем временем Джон Пул ходил по деревне с видом каким-то необычным — вроде бы чему-то радовался, но в то же время и чего-то боялся. И вечера стал проводить в трактире, а это было уж вовсе необычно; если же кто-нибудь вступал с ним в беседу, он тут же за столиком давал понять, что получил кое-какие деньги и ищет себе дом получше.

— Что ж, ничего удивительного,— заметил как-то ему в ответ кузнец,— я и сам не стал бы жить в таком доме. Мне по ночам всякие ужасы мстились бы.

Хозяин трактира спросил, что за ужасы.

— Ну, вроде кто-то карабкается по стене к окошку или еще что похуже,— сказал кузнец.— Не знаю сам. Старуха Уилкинс — ее ведь всего неделю, как схоронили, верно?

— Ладно тебе,— сказал хозяин,— подумал бы, чего несешь. У человека тоже чувства могут быть. Мастеру Пулу, может, и слушать такое неприятно.

— Мастер Пул и глазом не моргнет,— сказал кузнец.— Он там уж сколько проживает, сам небось все знает получше других. Я чего толкую — я бы такой дом себе не выбрал, точно говорю. То колокол звонит, то факелы по ночам, когда кого хоронят, и все эти могилы... Вроде все спокойно лежат, и вокруг ни души... а только, говорят, на них огоньки по ночам светятся, а, мастер Пул? Вы-то сами эти огоньки видели иль нет?

— Нет, я не видел, не приходилось,— хмуро ответил мастер Пул и спросил себе еще кружку; домой он отправился поздно.

В ту ночь, когда он уже улегся в постель, разыгрался ветер. Ветер

[1] 24 июня.
[2] 31 октября.

стучал в окна, стонал и выл, не давая Джону заснуть. Джон вылез из постели и прошел, шлепая босыми ногами, к шкафчику у противоположной стены. Оттуда он вытащил что-то — что-то звякнуло — и спрятал у себя на груди, под ночной рубашкой. Потом подошел к окну спальни и взглянул на кладбище.

Вам когда-нибудь приходилось видеть в церкви медные мемориальные доски, очень давние, с изображением человека в саване? Заметили — саван собран в такой странный пучок как раз на макушке? Что-то вроде этого торчало из могилы в том самом месте, которое Джон Пул так хорошо запомнил. Он бросился в постель и замер: не шевелил ни ногой, ни рукой.

Скоро что-то тихонько поскреблось о раму окна. В ужасе, сам того не желая, Джон Пул обратил туда свой взор... Увы! Меж ним и освещенным луной небом возник черный силуэт головы со странным пучком на макушке... Затем в комнате очутилась некая фигура. На пол, шурша, посыпались комья засохшей земли. Тихий, хриплый голос спросил: «Где они?» — и зазвучали шаги: кто-то бродил по комнате туда и сюда, спотыкаясь и шаркая ногами. Время от времени Джон Пул мог видеть, как «оно» заглядывает в углы и под стулья; потом услышал, как открываются дверцы шкафчика у противоположной стены, как скребут по пустым полкам отросшие ногти. Затем темная фигура резко повернулась и направилась к кровати; постояв с минуту над замершим Джоном, она воздела руки горе и хриплым голосом возопила:

— ВОТ ОНИ ГДЕ!

В этом месте его Королевское Высочество принц Мамилий (который, несомненно, рассказал бы все это гораздо короче, чем я) с громким криком бросился на самую младшую из придворных дам, которая в ответ пронзительно завизжала. Ее Величество королева Гермиона тут же схватила шалуна и, сдерживая смех, задала ему хорошую трепку. Раскрасневшийся, обиженный, готовый расплакаться, он был бы тут же отправлен в постель, если бы не заступничество его жертвы, которая к этому времени уже оправилась от потрясения, так что принц получил разрешение остаться с дамами вплоть до того часа, когда его обычно отсылали спать. Но к этому часу шалунишка настолько развеселился, что, пожелав всей честной компании спокойной ночи, пообещал рассказать, как только представится возможность, сказку пострашнее этой раза в три.

Перевод И. БЕССМЕРТНОЙ

Ф. СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

Вечер на ярмарке

РАССКАЗ

Перевод с английского И. БАГРОВА

Фицджеральд, кажется, прочитан нами весь: редкостные его книги много раз популярно издавались и переиздавались, начиная с трехтомника 1977 года, впервые показавшего этого писателя во весь рост. Правда, трехтомник сильно запоздал — при жизни Фицджеральд у нас совсем не печатался, его лучшие книги стали появляться по-русски лишь с середины 60-х. Зато оценен он был сразу по выходе «Великого Гэтсби» в русском переводе. А дальше волна публикаций Фицджеральда, не прерываясь, шла по нарастающей — второй его шедевр, роман «Ночь нежна», и недописанный, но так много обещавший «Последний магнат», и рассказы, среди которых есть замечательные. И довольно наивная, хотя точно передававшая умонастроение эпохи книжка «По эту сторону рая» — в Америке она в мгновенье ока сделала дебютанта знаменитостью. И фрагменты автобиографической книги «Крушение», которую Фицджеральд так и не довел до конца. И даже записные книжки.

После хемингуэевского «Праздника, который всегда с тобой», после написанной Э. Тернбуллом биографии — она у нас вышла в серии «ЖЗЛ» — у каждого, наверное, есть свое представление и о яркой личности Фицджеральда, и об окружавшей его атмосфере. И обо всей его недолгой жизни: поначалу такой счастливой, под конец ужасающей.

Бывают люди, сосредоточившие в себе отличительные приметы своего времени, чтобы стать его символом. Есть время Фицджеральда, «век джаза», как сказано им самим об Америке 20-х годов. Этого времени он не пережил, угаснув вместе с эпохой. Последнее десятилетие было для Фицджеральда лишь порой стремительного и неостановимого саморазрушения, когда жизненные и литературные катастрофы преследовали его с неотвратимостью рока.

У него были достаточные причины считать свою жизнь трагической. Но неудавшейся — едва ли. Какая неудача, если при всей поражающей беспечности, с какой Фицджеральд относился к собственному таланту, он тем не менее сумел прочертить в американской литературе след, который не сотрется никогда?

Из десятков его несобранных в книги рассказов, которые большей частью писались наспех и с единственной целью отсрочить постоянно висевшую над ним угрозу нищеты, испытание временем выдержали немногие. Но и в тех из них, которые он, загнанный обстоятельствами в тупик, сочинял для хорошо плативших еженедельников, сверкнет иной раз органичное для Фицджеральда ощущение действительности как карнавала — то праздничного, то печального,— и его чуть скептический юмор, и вечная его ностальгия по юности, когда все переживается впервые, а оттого по-настоящему остро — влюбленность, ревность, наивная надежда, насмешка судьбы.

Эта пронзительная тоска по «утраченным счастливым минутам», может быть, запоминается в книгах Фицджеральда больше всего остального. Во всяком случае, ею созданы особый лад и неповторимое обаяние его прозы. Персонажи Фицджеральда, воссозданная им духовная ситуация «века джаза» давно принадлежат истории. Но та лирическая нота, которую сразу распознает его внимательный читатель, с годами нисколько не ослабела — все та же грустная музыка, тот же чистый, трогательный звук.

А. ЗВЕРЕВ

I

Лишь узкая речушка разделяла оба города. Окраины одного наползали на правый берег, другого — на левый, их соединяли многочисленные мосты, и уже не разобрать, где кончался один город и начинался второй. Во всяком случае, на предполагаемом стыке под бдительными и ревнивыми очами соседей-соперников каждый год устраивалась главная ярмарка штата. Из-за удобного местонахождения да высоких урожаев, прославивших здешних фермеров, ярмарка слыла едва ли не самой представительной и богатой в стране: обильные хлеба, тучный скот, садовые и полевые машины. Для почтеннейшей публики устраивались рысистые бега, а потом и автомобильные гонки. Можно прокатиться на настоящем аэроплане. А как захватывало дух на центральной аллее — средоточии развлечений, не уступавших нью-йоркскому Кони-Айленду: и на Луну слетаешь, и всяких ужасов насмотришься. Венчало ярмарку большое театрализованное представление с фейерверком, воскрешающее времена Гражданской войны,— эпизоды битвы при Геттисберге. Это действо, совмещавшее приятное с полезным, проводилось ежевечерне на стадионе.

Жарким сентябрьским днем (хотя солнце уже клонилось к закату) из недр городка «Чудеса за грош» вынырнули два паренька лет пятнадцати, слегка обалдевшие от сладостей и шипучки и подуставшие — как-никак восемь часов на ногах. Один — темноволосый, миловидный, с пытливым взглядом — значился (если верить исчерпывающей подписи на прошлогоднем учебнике истории Древнего мира) как «Базил Дьюк Ли, улица Остролистая, город Сент-Пол, штат Миннесота, Соединенные Штаты, Северная Америка, Западное полушарие, Земля, Вселенная». Ростом он уступал своему спутнику, однако казался выше: дело в том, что он носил еще короткие штаны и явно из них вырос; его же друг — Рипли Бакнер-мл. — уже неделя как «перебрался» во взрослые, длинные штаны. И такая вот мелочь (настолько естественная, что и не заметить) сейчас самым пагубным образом отражалась на многолетней дружбе Базила и Рипли. Все эти годы Базил играл ведущую роль в их незримом союзе, а сейчас он ее утратил, и все из-за какого-то лишнего полуметра ткани! Базил пребывал в смятении и растерянности: на людях Рипли Бакнер выказывал заметное равнодушие к некогда столь приятному обществу друга. Длинные «взрослые» брюки казались Рипли вестником свободы: конец всем детским запретам и притеснениям. А друг был живым и весьма нежеланным напоминанием недавней унизительной поры — раз ходит в коротких штанах, значит, еще маленький. Себе Рипли в таких мыслях не признавался, но весь сегодняшний день был тому подтверждением: Рипли часто и без причины сердился на друга, высмеивал его, подчеркивая, что он — взрослый, а Базил — еще ребенок. И тот очень болезненно принимал вдруг возникшую разницу в их положении. В августе на семейном совете постановили: хотя в сентябре Базил отправляется на восток страны, чтобы там продолжить образование, длинные брюки ему носить рано, еще «нос не дорос». Он тогда возразил: ведь за полмесяца на три сантиметра вытянулся. И хотя мама тут же нашлась: «Не напасешься брюк, раз не по дням, а по часам растешь»,— у Базила затеплилась надежда, что со временем ее удастся уговорить.

Выйдя из душной палатки на солнце, ребята немного постояли в раздумье, созерцая ярмарочное многолюдье. На лицах у мальчишек запечатлелись и вполне понятная пресыщенная усталость, и жажда чего-то такого «этакого», чего именно, они и сами толком не знали. Домой идти не хотелось (вернутся они лишь к положенному часу), зрелищами и утехами они сыты по горло (во всяком случае, на сегодня). Требовалось что-то новое, что резко бы повернуло плавное течение дня.

Рядом они увидели стоянку машин — обычную, малоприметную. Но вот взгляд их привлекла маленькая красная машина, прильнувшая в земле, точно готовясь к прыжку,— быстрая и сильная, как жизнь. И называлась модель «Дикая кошка». Еще лет пять будет она предметом вожделений миллионов американских мальчишек. На запрокинутом сиденье, являя

полную отрешенность, томно развалилась яркая блондинка с кукольным лицом.

Мальчишки так и застыли. Девица удостоила их лишь холодным взглядом и отвернулась, не меняя ленивой позы, устремив надменный взор в небеса. Базил и Рипли переглянулись, но не отошли. Поняв, что глазеют до неприличия откровенно и уже привлекают внимание прохожих, потупились и нарочито внимательно стали рассматривать машину.

Прошло несколько минут, и появился молодой человек — румяный, рыжеволосый, в желтом костюме, при шляпе, в желтых же перчатках — и сел в машину. Мотор стрельнул раз, другой, потом заработал ровно и ритмично, словно в барабан забили. Машина плавно тронулась и унесла девушку и щеголеватого водителя, в нем ребята опознали Лихача, сына местного пивовара Пакстона.

Базил и Рипли повернулись и, крепко задумавшись, пошли к главной аллее. Они смутно догадывались, что Лихач — подонок, и все же завидовали: надо ж, укатил навстречу закату в шикарной машине и встретит таинственную, темную ночь в обществе таинственной, томной девушки с кукольным лицом. Пожалуй, зависть и подтолкнула приятелей окликнуть другого обольстителя, но рангом пониже — их сверстника, долговязого Элвуда Лиминга, он как раз выходил из тира.

— Эй, подожди, Эл! Подожди!

Тот обернулся и остановился. Среди «приличных» мальчиков в городе Эл считался беспутным малым: он пил пиво, водился с шоферней, а от бесчисленного количества сигарет сделался худым как спичка. Заслышав оклики знакомцев, он переменился: прищурился, напустив на себя вид скучающего светского льва.

— Привет, Рип. Держи пять. Привет, Базил, старина. Держи пять.

— Чем занимаешься, Эл? — спросил Рипли.

— Ничем. А вы?

— Тоже ничем.

Элвуд Лиминг еще больше сощурил глаза, вроде задумался, потом решительно щелкнул языком.

— А не найти ли хорошеньких девочек? — предложил он.— Я сегодня днем видел здесь крошек, очень даже ничего.

Рипли и Базил затаили дыхание, напряглись. Год назад поступок Элвуда потряс их — он сходил в варьете «Звезда», а сейчас он и их приглашает в свою взрослую, поспешающую семимильными шагами жизнь.

Рипли — как-никак тоже взрослый! — решил, что его новое положение обязывает к решительности.

— Отлично! Я — за!

— И я — за,— промямлил Базил.

Рипли рассмеялся, скорее чтобы скрыть смущение, а не для того, чтобы задеть за живое Базила.

— А тебе еще подрасти не мешает! — и он взглянул на Элвуда, ища поддержки.— Оставайся-ка здесь, мы детей с собой не берем.

— Помолчал бы уж! — взорвался Базил.— Сам-то давно ли длинные брюки надел? С неделю всего.

Однако Базил чувствовал, что меж ним и приятелем — пропасть. И сейчас он обуза. Впрочем, все-таки потащился следом.

Шествие возглавлял Элвуд Лиминг. Зорким глазом смотрел он окрест — так, наверное, смотрели первые поселенцы. Вокруг парами гуляли девушки, они встречали его взгляд — взгляд «настоящего» мужчины» — и приветливо улыбались, однако Элвуд всех отвергал: одна — толстая, другая — как доска, третья — неласково смотрит. Вот впереди они заметили двух девушек, ускорили шаг — Элвуд уверенно, Рипли — скрывая робость, Базил — с нежданно проснувшимся волнением.

Поравнялись. Базилу казалось, сердце сейчас выскочит из груди. Он даже отвернулся, и до него донесся голос Элвуда:

— Здравствуйте, девочки. Как вам отдыхается?

Вдруг они сейчас полицию позовут? Или их с Рипли мамы из-за угла появятся?

— Здравствуй, здравствуй, малыш.

— И куда же вы, девушки, направляетесь?

— Никуда.

— Пойдемте с нами.

И вот уже они стоят рядом. С удивлением и облегчением Базил увидел, что прехорошенькие девушки — его сверстницы. Только прически высокие да губы накрашены, как у взрослых. Он сразу выделил одну, она и говорила тише и вела себя скромнее. Базил обрадовался, что Элвуд выбрал другую, ту, что побойчее, и они немного обогнали Базила с его избранницей и Рипли.

Сумерки еще не собрались, и первые огоньки, зажигавшиеся там и сям, светили тускло. Толпа поредела, оставив в ярмарочных улочках стойкие ароматы жареной кукурузы, арахиса, черной патоки, копченых колбасок. Они смешивались с совсем не противными здесь запахами стойла, конюшен, сена. Всё в разноцветных лампочках, лениво крутилось «чертово колесо». Прогрохотали над головой пустые вагончики «американских горок». Жара спала. С севера дохнул ядреный ветерок — предвестник осени, и защемило сердце, захотелось куда-то бежать.

Базил знал, что, когда гуляешь с девушкой, разговор строится по-особому, но ему было никак не подладиться под Элвуда: тот говорил со своей спутницей значительно, как бы намекая, что доверяет ей — ведь нежданно-негаданно он обрел родственную душу. Базилу же, чтобы избежать гробового молчания (на Рипли надежда плохая; он лишь раз-другой глупо хохотнул без всякой причины), пришлось разглагольствовать об ярмарочных диковинках, которые попадались по пути.

— А вот здесь бычок о шести ногах. Вы его видели?

— Нет, не видела.

— А здесь мотоциклист аж по потолку катается. Вы тут уже были?

— Нет, не была.

— Смотрите! Наполняют горячим воздухом воздушный шар. Наверное, скоро и фейерверк начнется.

— А вы уже смотрели представление?

— Нет еще. Завтра пойду. А вы?

— Каждый вечер смотрю. У меня брат там с фейерверком помогает.

— Ух ты!

Интересно, что бы сказал брат, узнай, что она с незнакомыми парнями. И каково ей сейчас: может, так же неловко и глупо себя чувствует, как и он, Базил? Стемнело. А ведь он обещал прийти домой к половине восьмого, иначе завтра вечером не видать ему никакого представления. Он догнал Элвуда.

— Слушай, Эл, а куда мы идем?

Тот обернулся и подмигнул.

— К «Старой мельнице».

— Ух ты!

Базил снова чуть поотстал. Пока он отсутствовал, Рипли с девочкой успели взяться за руки. Базила кольнула ревность, и он еще раз, пристрастнее, оглядел спутницу: пожалуй, она красивее, чем на первый взгляд. В темных глазах таилась загадка. Зажглись фонари, и заблестели, заиграли глаза у девочки: они сулили радостные, волнующие минуты, как и темное небо — прохладную ночь.

Базил уже подумывал, не взять ли и ему девочку за руку, но пока решение зрело, она вдруг засмеялась вслед за Рипли — неизвестно чему. Причем сквозь смех то и дело спрашивала, над чем он ржет, но тот лишь заливался пуще прежнего. Они то одновременно обрывали веселье, то, не сговариваясь, снова принимались хохотать.

Базил с отвращением посмотрел на Рипли.

— В жизни такого идиотского ржания не слышал!

— Неужто? — едва выговорил, давясь от смеха, Рипли.— Неужто,

дитятко ты наше?! — Он согнулся в три погибели, умирая от хохота, подружка не отставала. «Дитятко» больно ударило и отрезвило Базила, точно ушат холодной воды. В волнении он позабыл о главном — так порой калека забывает о хромоте и пускается бегом, но увечье тут же напоминает о себе.

— Подумаешь взрослый какой! Лучше скажи, у кого брюки спер? Что, слабо? Небось...— «у отца» чуть не сорвалось у него в порыве негодования, но он вовремя осекся: отец у Рипли, как и у Базила, умер.

Идущая впереди парочка остановилась, поджидая у ворот с надписью «Старая мельница». Аттракцион уже закрывался, у деревянного причала покачивались прогулочные лодки — на канале можно даже покататься. Элвуд со своей девушкой сел на переднюю банку и сразу же обнял спутницу. Базил помог «своей» устроиться и сам сел было рядом, но тут меж ними вклинился Рипли. Базил даже противиться не стал — до того было муторно на душе.

Отплыли от берега. Уже спустились сумерки, каждый звук разносился далеко-далеко. Где-то впереди на другой лодке запели, голоса то стихали, то приближались, и чудилось в этом нечто таинственное. Канал изгибался подковой, и возвращающиеся лодки проходили совсем рядом, разделенные лишь полоской суши да ночной мглой.

Поначалу все трое мальчишек кричали наперебой, особенно старался Базил: ему нужно было пусть в чем-то, но превзойти Рипли, хотя бы перекричать. Вдруг он сообразил, что над каналом разносится лишь его голос, а вода мягко бьется о борта. Даже не взглянув на друга, Базил понял: тот обнял девушку.

Лодка едва-едва двигалась по течению. Вот сбоку на берегу в красных языках бумажного пламени заплясали «черти» — лодка миновала «ад»,— и Базил заметил, что Элвуд со своей девушкой уже сидят щека к щеке. Лодка снова нырнула во мрак. И снова плещет вода о борт, и снова кто-то поет, то совсем рядом, то будто удаляясь. Базил даже голову туда повернул, изображая живой интерес, даже окликнул невидимых певцов — впрямь ли те рядом? Потом вдруг обнаружил, что лодку очень легко раскачать, и предался этой убогой забаве, пока Элвуд не обернулся и не крикнул:

— Эй, чего добиваешься?!

Они вернулись к причалу, парочкам пришлось ненадолго разъять теснейшие узы, а несчастный Базил выпрыгнул на берег.

— Купи нам билеты. Мы хотим еще прокатиться! — крикнул ему Рипли.

— Мне, пожалуй, хватит. Домой пора,— отозвался Базил, с натугой изобразив беспечность.

Рипли засмеялся — презрительно и торжествующе. Девушка подхватила.

— Ну что ж, дитятко, покойной ночи,— радостно крикнул Рипли.

— Да заткнись ты! Пока, Элвуд!

— Пока, Базил!

Лодка отошла от берега. И опять мальчишечьи руки легли на девичьи плечи.

Пока, дитятко!

Пока, скотина безрогая,— крикнул Базил во тьму.— Так где же ты брюки-то спер, а? Где?

Но лодка уже скрылась во чреве ночи, и лишь смех Рипли разносился гулко и далеко.

II

Испокон веков все мальчишки одержимы одной мечтой: поскорее вырасти. Порой у них прорывается нетерпение и недовольство путами детства, но это на словах. А на деле они почти всегда довольны — и весьма! — своей участью. Иногда Базилу хотелось быть постарше, но только чуть-чуть. И длинные брюки никогда не являлись вопросом жизни и смер-

ти. Конечно, неплохо бы иметь их, но разве сравнить брюки с футбольной формой или таким романтическим одеянием, как шелковый цилиндр и плащ-пелерина: именно в таком виде благородные разбойники имеют обыкновение появляться на улицах Нью-Йорка.

На следующее утро он проснулся с мыслью о брюках. Сейчас ничего важнее нет. Только настоящие брюки помогут наладить отношения со сверстниками, только настоящие брюки избавят его от насмешек друга, который совсем недавно ходил за ним как нитка за иголкой. То, что из-за коротких штанов Базил прозевал девушку, не так уж его и огорчало. Но все должно быть по справедливости; пусть победит сильнейший, только чтоб уж состязались на равных. Гнусно, когда нужно бороться, а руки связаны. Базил предчувствовал, что то же самое повторится и осенью, в школе. Нет, мириться с этим нельзя! Утром за столом он самым решительным образом потребовал от мамы брюки.

— Что с тобой, сынок? — изумилась она.— Раньше тебе вроде было все равно.

— Мне они позарез нужны! — заявил Базил.— Умру, а не пойду в школу, пока брюки не купишь.

— Ну зачем ты говоришь глупости!

— И совсем не глупости. Правда, скорее умру... Не будет брюк — незачем и в школу уезжать.

Базил так распалился, что почти убедил маму в своей безвременной кончине.

— Ну перестань, не говори глупостей, ешь спокойно. Хочешь — прямо после завтрака в магазин иди.

Базил немного успокоился, хотя волнение еще давало себя знать: он все ходил и ходил взад-вперед по комнате.

— Понимаешь, парень просто не парень, если нет брюк! — неистово убеждал он. И, довольствуясь таким доводом, добавил: — Совсем не парень, а не знаю что! Скорей умру, а...

— Перестань сейчас же! Небось, тебя дразнит кто-нибудь.

— Никто меня не дразнит! — горячо возразил он.— И не думает никто дразнить!

После завтрака служанка позвала его к телефону.

— Это Рипли,— вкрадчиво проговорила трубка. Базил воспринял известие довольно прохладно.— Ты, надеюсь, не обиделся за вчерашнее?

— Я? Нет. С чего бы?

— Да так. Слушай, ты ведь знаешь, мы сегодня на фейерверк идем.

— Знаю,— тепла в голосе Базила не прибавилось.

— Так вот, у одной девчонки, у той, что с Элвудом была, есть сестра, еще красивее. Она тоже может сегодня вечером прийти, хочешь, будет с тобой. Собираемся в восемь, все равно раньше девяти фейерверк не начнут.

— А что до девяти делать?

— Да хоть на «Старую мельницу» махнем. Мы вчера еще три раза катались.

В трубке замолчали. Базил взглянул на дверь — плотно ли закрыта?

— Слушай, а ты свою целовал? — спросил он.

— Еще бы! — На другом конце провода глупо захихикали.— Знаешь, Эл говорит, он на машине приедет. Мы за тобой в семь заскочим.

— Идет! — грубо бросил Базил и как бы между прочим добавил: — А я сейчас в магазин за брюками иду.

— Правда, что ль? — И снова Базил уловил далекий хохоток.— Значит, к семи чтоб был готов.

В десять часов дядюшка Базила встретил племянника у магазина одежды. Базилу даже сделалось стыдно: хлопот всем родным куча, да и расходы немалые. По дядюшкиному совету он выбрал два костюма: один — цвета шоколада — на каждый день, другой —темно-синий — для особых выходов. Их, правда, нужно было еще подогнать по фигуре, но решили, что один из костюмов непременно пришлют на дом в тот же день.

Искреннее, хотя и недолгое раскаяние в расточительстве понудило Базила идти домой из центра пешком. На верхней улице у дома ван Шеллингеров он задержался: допрыгнет или нет до высоко посаженного пожарного крана? Небось, во «взрослых» брюках уже не попрыгаешь. Попробовал раз, другой, словно прощаясь с детской забавой, и так увлекся, что не заметил, как к дому подъехала роскошная черная машина хозяев и остановилась у входа.

— Привет, Базил! — донеслось до него.

С гранитного крыльца второго по величине особняка в городе на него смотрело милое, нежное личико, богато обрамленное светлыми, почти белыми локонами.

— Привет, Глэдис!

— Зайди-ка на минутку!

Базил повиновался. Глэдис ван Шеллингер, годом младше, была спокойной, очень хорошо воспитанной девочкой — таких по обычаю здешних мест готовят для замужества в восточных штатах. У Глэдис была гувернантка, играла она всегда с одними и теми же девочками, либо у себя дома, либо у них. В свободе, столь доступной для всех ребятишек в любом городке западных штатов, ей было отказано. Во дворе у Уортонов она ни разу не появлялась: ни в вечерних «посиделках», ни в ребячьих играх не участвовала.

— Базил, я хочу тебя кое о чем спросить. Ты идешь сегодня вечером на фейерверк?

— Да, конечно.

— А не хочешь пойти с нами, у нас там ложа заказана?

Базил мгновенно оценил предложение и чуть было не согласился, но какая-то таинственная сила заставила его отказаться. Отказаться от очевидного удовольствия ради сомнительного предприятия, с точки зрения логики малоинтересного.

— Никак не получится. Извини.

По лицу Глэдис скользнула недовольная тень.

— Жаль. Заходи ко мне, Базил, как-нибудь. Через месяц я ведь на Восток уезжаю, в школу.

Базил пошел дальше, на душе сделалось скверно. Глэдис ван Шеллингер никогда не была его девушкой, как, впрочем, и чьей-либо, сейчас они разъезжаются по школам, и это их сближает: на Востоке, сказочном Востоке их ждут приключения, они оба — избранники Судьбы, и не так важно, что Глэдис из богатых, а он, Базил,— среднего достатка. Жаль, что не удастся посидеть с ней в ложе на вечернем представлении.

Три часа дня. Базил листал каталог модной одежды и чутко прислушивался: никак опять позвонили в дверь. Всякий раз он выбегал на лестницу и, свесившись вниз, кричал:

— Хильда, мне ничего не привозили?

Четыре часа дня. До чего ж все-таки Хильда безразлична к таким важным вещам, до чего ж неповоротлива и медлительна. Он спустился вниз и сел подле двери. Но никто не приходил. Он позвонил в магазин, и деловитый служащий сказал:

— Полу́чите вы костюм. Непременно получите, обещаю вам.

Но Базила не очень-то обнадежило это обещание, и он перебрался на крыльцо — оттуда он издали увидит доставочный фургон с одеждой. В пять часов вернулась домой мама.

— Им ведь еще подогнать нужно. Может, с этим задержка,— попыталась она вселить в сына надежду.— Привезут завтра утром.

— Завтра утром?! — возопил Базил.— Мне он сегодня вечером позарез нужен!

— Я на твоем месте не огорчалась бы. Магазины в половине шестого закрываются, время еще есть.

Базил с отчаянием взглянул на дорогу, нахлобучил шапку, выскочил на улицу и бросился к трамвайной остановке. Но что-то, видимо, вспомнил и так же стремительно вернулся.

— Если приедут, пусть меня подождут,— наказал он матери.

— Хорошо, передам,— без особой радости согласилась та.

Ждать трамвая пришлось долго, и когда Базил добрался до магазина, то, к своему ужасу, увидел запертые двери и опущенные жалюзи. Он успел догнать последнего продавца и растолковал тому, что костюм непременно нужен сегодня. Но продавец был явно не в курсе дела. Как фамилия Базила — мистер Шварце?

Нет, не Шварце. Затем последовала выразительная тирада.

Базил пытался внушить продавцу, что мерзавцу, посулившему доставить костюм, больше в этом магазине не работать. После чего, понурившись, побрел домой. Как же идти на представление, если нет костюма! Лучше уж вообще не ходить! Просидеть весь вечер дома, а его более удачливые сверстники будут проноситься по «Млечному Пути», кататься с загадочными и беспечными спутницами у «Старой мельницы». Он же, из-за тупости, лености и подлости продавца, останется дома! Еще день, другой, и ярмарка закончится, и НИКОГДА — понимаете, НИКОГДА! — не узнает он ту, самую прекрасную, самую желанную, неуловимую, как туман, обещанную красавицу — сестру одной из вчерашних девочек. Они унесутся в лунную ночь на шикарных машинах, а он никого так и не поцелует. И останется лишь горько вздыхать по утраченным счастливым минутам (а наглого продавца он таки заставит уволить, пусть знает, во что обошлось его злодейство). Конечно же, Базилу и в голову не могло прийти (как, наверное, и каждому в его возрасте), что в будущем у него появятся не менее страстные желания.

Он вернулся домой. Посыльного из магазина, разумеется, не было. Базил бесцельно побродил по дому и в половине седьмого наконец сел ужинать с мамой, тяжело облокотившись на стол.

— Что-то ты, сынок, совсем не ешь?

— Не надо, спасибо.— Базил не вслушивался в мамины слова и подумал: кажется, она ему что-то предложила.

— До школы у тебя еще больше двух недель. Стоит ли так расстраиваться?

— Да я вовсе и не расстраиваюсь. Просто голова целый день болит.

К концу ужина Базил совсем заскучал. Взгляд его бессмысленно вперился в торт-безе, и он с совершенно отрешенным видом съел три куска.

В семь часов он услышал звуки, предвосхищавшие (будь он в ином настроении) полную романтических приключений ночь.

У крыльца остановилась машина Лиминга, и Рипли Бакнер позвонил в дверь. Базил угрюмо поднялся из-за стола.

— Я сам открою,— опередил он Хильду. И, обернувшись к матери, объяснил с неизвестно к кому обращенным укором: — Сейчас вернусь. Только скажу, что я сегодня ни на какое представление не еду.

— Зачем ты так, Базил? Не глупи. Неужели из-за того...

Но Базил уже не слышал. Открыв дверь, он предстал перед Рипли. Позади того на дороге нетерпеливо подрагивала старая, неуклюжая машина Лиминга. Вовсю светила луна.

И вдруг: тырх-тырх-тырх! На улице появился доставочный фургон! Из него выскочил человек, пробежал вперед по улице, вернулся, подошел к крыльцу, в руках у него была большая коробка.

— Подождите меня! — крикнул Базил ребятам.— Я сейчас! Только переоденусь. Эл, ну будь другом, подожди!

В темноте мелькнул огонек сигареты. Эл что-то сказал шоферу. Машина перестала дрожать — мотор заглох. А на небе вдруг высыпали звезды.

III

Итак, он едет на ярмарку! Ярмарка вечером — не чета ярмарке дневной (так же как и девочка вечером — она излучает какой-то особый свет). Фанерные будки, павильоны спят, темнеют лишь их силуэты, еще более загадочные и таинственные, чем сокрытые внутри аттракционы. И люди,

гуляющие по ярмарочному городку группами и порознь,— тоже как потусторонние тени.

Мальчишки торопились: они уговорились встретиться с девочками у павильона «Пшеница». Едва Базил приметил во тьме троицу, он почуял неладное. Подойдя поближе, с тревогой вгляделся в девичьи лица, и, пока ребят представляли друг другу, ему открылась страшная правда: младшая сестра, «предназначавшаяся» ему, была уродиной — пигалица с невыразительным лицом, прыщи кое-как скрыты толстым слоем дешевой пудры, бесформенный рот, губы то кривятся, то складываются бантиком — очевидно, в этом, по ее разумению, и заключается обаяние.

Словно в полусне услышал он, как к Рипли обратилась его подружка:

— Не знаю, право, идти ли мне с тобой. Я сегодня с одним молодым человеком познакомилась, и мы вечером условились встретиться.

Переминаясь с ноги на ногу, она поглядывала и влево, и вправо, а изумленный и напуганный Рипли пытался взять ее под руку.

— Пойдем,— настаивал он,— ведь я первый с тобой договаривался.

— Так я ж не знала, придешь ты или нет,— ответила изменщица.

Элвуд и две сестрицы тоже принялись уговаривать ее.

— На «чертовом колесе» я еще, может быть, и покаталась бы,— уступила капризница,— но на «Старую мельницу» — ни за что. Моему новому парню это бы не понравилось.

Самолюбию Рипли был нанесен сокрушительный удар: он так и застыл с открытым ртом, отчаянно вцепившись в руку юной кокетки. Базил то с вымученной предупредительностью, то с бесконечной укоризной смотрел на «свою» девочку. Один Элвуд, кажется, был доволен.

— Ну так идем на «чертово колесо»? — нетерпеливо спросил он.— Что, нам здесь всю ночь стоять?

У билетной кассы строптивая Оливия — так звали девочку — приостановилась и стала озираться — верно, ждала, не объявится ли соперник Рипли.

Но вот внизу замерли на миг лодочки «чертова колеса». Оливия поддалась уговорам, и все три парочки — каждая со своими заботами! — расселись и медленно поплыли вверх.

Как бы хорошо прокатиться сейчас с кем-нибудь другим или вовсе одному, думалось Базилу, смотреть на огоньки внизу, они бы подмигивали совсем по-иному, и бархатистая тьма обнимала бы так ласково, и так красиво рдела пурпурная полоска в небе — там совсем недавно догорало солнце. Но и обижать тех, кого он считал слабее и несчастнее, Базил не мог. И в конце концов обратился к соседке:

— А ты живешь в Сент-Поле или в Миннеаполисе?

— В Сент-Поле. Учусь в школе номер семь.— И вдруг подвинулась к Базилу.— А ты, я вижу, не из робких,— видно, хотела подбодрить спутника.

Он обнял девушку — плечо у нее оказалось теплым. Вот колесо вознесло их наверх, к бескрайнему небу. Вот они поплыли вниз, словно порывы ветерка, долетали до них обрывки песен и мелодий. Старательно отводя глаза, Базил обнял спутницу покрепче, а когда они снова взмыли вверх, во тьму, наклонился и поцеловал девушку в щеку.

Новое ощущение всколыхнуло душу. Но тут случайно краешком глаза он увидел лицо новой подружки... Когда они опустились и колесо остановилось, Базил облегченно вздохнул.

Не успели все три парочки вновь собраться, как Оливия восторженно заверещала:

— Вот он! Вот он! Это Билл Джонс, я с ним днем познакомилась! Это с ним у меня свидание!

Навстречу манерно, точно цирковой пони, вышагивал паренек примерно их лет и вертел в руках ротанговую тросточку. Приглядевшись повнимательнее, ребята узнали в щеголе — кого бы вы думали! — конечно же, обаятельнейшего Хьюберта Блэра.

Он подошел. Как обычно, со смешком поздоровался. Снял модную

кепку, лихо покрутил ее, уронил, но поймал на лету и нахлобучил набекрень.

— Вот ты где, красотка,— кивнул он Оливии,— я тебя здесь пятнадцать минут прождал.

И шутливо огрел ее тросточкой, Оливия лишь довольно захихикала. Хьюберт Блэр умел так разговаривать, что девицы четырнадцати лет от роду (и некоторые женщины постарше и попроще) мгновенно теряли голову. Он великолепно владел своим телом, каждый шаг изящен и красив. О его нахальном носике-пуговке уже упоминалось, а еще он умел заразительно смеяться и тонко льстить. Сейчас он извлек из кармана ириску, прилепил ко лбу, тряхнул головой, и ириска, как по команде, угодила прямо в рот. Да, и слепому видно, что сегодня вечером у Рипли девушку уведут. Все так засмотрелись на проделки Хьюберта, что не заметили искорку надежды в глазах у Базила, он отступил на шаг, потом на два, на три... Так по-английски, не прощаясь, уходит каждый уважающий себя благородный разбойник. С присущей им грацией он пролез в прореху брезентовой ограды и оказался на задах павильона «Тракторист и хлебопашец». Очутившись в безопасности, Базил почувствовал, как легко стало на душе, а вспомнив о Рипли, который пока не ведает о своих «обязательствах» перед новой, нежданно-негаданно обретенной подругой, он, согнувшись пополам, разразился в ночной мгле веселым хохотом.

IV

Десятью минутами позже некий молодой человек пробирался (хоть и торопливо, но осторожно) задворками ярмарки к центру, где вот-вот начнется фейерверк. Помахивая на ходу модной (только что купленной) ротанговой тростью, он и взглядом не удостаивал девушек, засматривавшихся на него. Сейчас — на короткое время — их внимание докучало ему, он и так растратил в бестолковой суете драгоценные минуты, вместо того чтобы радоваться новым брюкам. Он купил самый дешевый билет и вслед за толпой вошел на беговую дорожку, обрамлявшую стадион, и стал отыскивать свой сектор. Солдаты, изображавшие северян, уже устанавливали пушку, готовясь сыграть битву под Геттисбергом. Мальчик, засмотревшись, остановился, и тут из ложи его окликнули:

— Базил, иди к нам! — То была Глэдис ван Шеллингер.

Базил обернулся, и его вновь поглотила суета: пришлось любезничать с четой Шеллингеров, здороваться еще с какими-то людьми, которым его представляли как «сынишку Алис Райли». Его усадили на первые места, рядом с Глэдис.

— Как здорово, правда? — сияя, прошептала она.

Ничего не возразишь — здорово! Просто уму непостижимо, как несколькими минутами раньше он мог довольствоваться обществом заурядней девиц. Добродетельные чувства — признательность и благодарность — теплой волной захлестнули душу.

— А до чего ж здорово к восточному побережью поехать! Может, мы еще с тобой в одном поезде окажемся.

— Да и я жду не дождусь школы,— признался Базил,— даже вот брюки купил. Не в коротких же штанах ехать.

Одна из дам, сидящих сзади, наклонилась к нему:

— Я очень хорошо знаю твою маму. Да и одного твоего дружка. Рипли Бакнер — мой племянник.

— Правда?

— Рипли такой милый мальчик,— любезно улыбнувшись, заметила миссис ван Шеллингер.

И тут, словно по мановению волшебной палочки, явился Рипли, собственной персоной: на ярко освещенной дорожке уже никого не осталось, и маленькая, но убийственно смешная процессия — этакий парад в цирке лилипутов — привлекла внимание многих.

Впереди шагали Хьюберт Блэр и Оливия. Кавалер, как заправский

тамбурмажор, ловко орудовал тросточкой, его дама лишь радостно взвизгивала в такт. За ними шел Элвуд Лиминг со своей девушкой. На ходу они умудрились не разнимать объятий, поэтому двигались весьма причудливо. Замыкали (но отнюдь не скрашивали) шествие Рипли Бакнер и недавняя Базилова приятельница, не менее громкоголосая, чем Оливия.

Базил остолбенело уставился на Рипли: лицо у того все время менялось. То оживлялось, и он начинал чуть не до упаду смеяться над каждой глупой шуткой, то съеживалось в горькую гримасу, из чего можно было заключить, что вечер не ахти как удался.

Все три пары прошествовали в двух шагах от ложи, но особо пристального внимания не почувствовали — ведь на них глазел едва ли не весь стадион. Равно не услышал Рипли и шепотка, скромно прошуршавшего по ложе.

— Какие странные девочки! — хмыкнула Глэдис.— А мальчик впереди, это и есть Хьюберт Блэр?

— Он самый,— кивнул Базил, прислушиваясь к разговору за спиной.

— ...утром его матери непременно обо всем расскажу.

Пока Рипли был на виду у всего стадиона, Базил ничего, кроме мучительного стыда за друга, не испытывал. Но сейчас вдруг вновь накатили добродетельные чувства, причем этот вал был мощнее предыдущего. Он и впрямь посмеялся бы от души, да только мать Рипли возьмет да не отпустит сына осенью в школу за тридевять земель. Правда, и в этом ничего страшного нет. Нет, Базил вовсе не жестокосердный. Просто врожденная мальчишечья жестокость к обреченным не успела облечься в лицемерную жалость.

А тем временем на стадионе под любимые мелодии южан и гимн северян «Звездно-полосатое знамя» завершилась битва при Геттисберге. Провожая Глэдис к машине, Базил по какому-то внутреннему побуждению обратился к тетушке Рипли:

— По-моему, это... это несправедливо, рассказывать его маме. Ведь он никого не обидел. Он просто...

Тетушка, все еще раздосадованная происшествием, обернулась, холодно и свысока взглянула на Базила и отрезала:

— Я поступлю так, как сочту нужным.

Базил насупился и молча залез в машину ван Шеллингеров.

Они с Глэдис расположились на откидных сиденьях. И тут вдруг он понял, что она ему очень нравится. Украдкой он брал девочку за руку, чувствовал ее тепло, вспоминал, что скоро они разъедутся по школам, и эта мысль, ему казалось, сближала.

— Приходи ко мне завтра,— она не просила, скорее требовала.— Мамы не будет дома, она разрешила пригласить кого захочу.

— Хорошо.

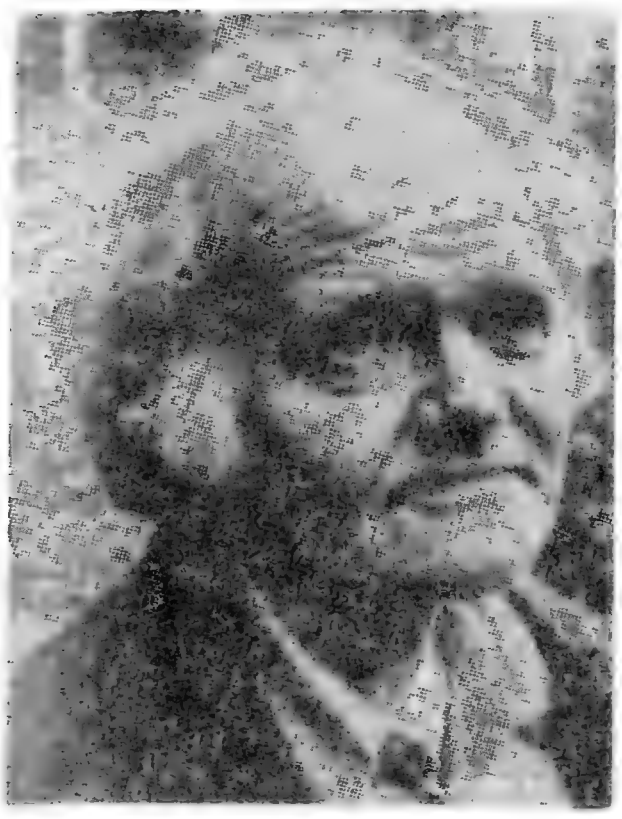
Машина затормозила у дома Базила. Глэдис наклонилась к Базилу и прошептала:

— Знаешь что...

Мальчик напряженно застыл, он чувствовал на щеке дыхание Глэдис. Ему так хотелось поторопить ее: машина остановилась, родители, подремывавшие на заднем сиденье, вот-вот проснутся и, не дай Бог, услышат. До чего ж Глэдис красивая! В ней нет красоты яркой, броской, зато столько изящества и утонченности — а эти качества в ее мире ценятся очень и очень высоко.

— Знаешь что, Базил... приходи ко мне завтра... с Хьюбертом Блэром.

Шофер открыл дверцу, супруги ван Шеллингер вздрогнули и пробудились. Машина тронулась, а Базил задумчиво смотрел ей вслед, пока она не завернула за угол.



ХАРАЛД СВЕРДРУП

Перевод с норвежского Л. ГОРЛИНОЙ

Муравейник

У самой земли слышится слабый шорох
хвойных иголок и тысячи ног.
Тихо падает лист и заслоняет солнце.
Объявлена тревога.
Словно крохотные матросы у паруса,
муравьи хлопочут у листа
и тащат его прочь.
Мир не погиб
и на этот раз.

Следы на песке

У нее веселый шаг,
высокий подъем и узкая ступня.

У него — степенная, большая ступня,
длинный пружинистый шаг и смущенные пальцы —
они оставляют в песке скупые ямки.

И вот уже четыре ноги образуют круг.
И невидимый поцелуй плывет в воздухе.

Те, что вместе состарились

Осень придает старым супругам особую хрупкость.
Стирает их пол, наделяет одинаковым выражением лица.
Набрасывает сети морщин.
Покрывает волосы мерцающим серебром.
В старых супругах
проступает отдаленное сходство со звездными туманностями,
куда они держат путь.

© H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 1985
© Den Norske Bokkeubben, 1987

В усадьбе

Крестьянин с женой сумерничают
после дневных трудов и укладываются прежде,
чем на дне небесного сундука слабо затеплятся звезды.
Лежа на низкой кровати с пологом,
они слушают страстный рев быка
и отдаются ритму неторопливого вальса.
Семя посеяно. И сон запахивает людей в свою борозду.

Пробудившись, они видят умытое солнце
и небесный купол в мыльной пене.
Старое дерево у дома купается в птичьих трелях.
Крестьянин с женой гадают на гуще утреннего кофе
и видят: их ждет долгая жизнь
с буднями, праздниками и детьми.

Иероним Босх

Твой ад нам сегодня представляется раем,
он такой голубой и по-ягнячьи белый,
даром что в нем летают страшные птицы, а обнаженные люди
заключены в яичную скорлупу.
Твои смертные грехи сияют как семисвечники.
И даже сам Сатана наделен
искрометным юмором.

Жить под угрозой гибели

Научиться жить под угрозой гибели,
как живут птицы, рыбы и кролики,
не менее важно, чем вопить о конце света.
Нас от века охватывает головокружение на вершине Ендин,
по обе стороны которой зияют бездны озер.
Мы от века плывем между Сциллой и Харибдой,
а с левого и правого борта, по носу и за кормой
нас поджидает смерть.

Капля воды

Капля воды отражает силуэт города
с высокими домами, колокольнями и ресторанами,
людей, что швыряют камни и бесчинствуют
и любят бездумно и бессловесно,
людей, что сажают деревья, а потом умирают.
Капля воды отражает спелую ниву и звездную тьму,
солнце и облака, смог и падающих камнем стрижей,
выхлопные газы и безработицу и людей, не способных
на слова и поступки. Все различимо,
все собрано в капле воды,
тяжелой от запечатленного в ней мгновения.

Дрозд

Дрозд — утренняя птица, он взлетает на вершины,
поднимает из моря солнце и опускает звезды,
приветствует рыбаков, домашних хозяек и рабочий люд
лихой морской песней, которую у них перенял.

Потом он улетает в тень
и переворачивает листья, как умудренный жизнью старик.
Склонив голову набок, принимает телеграммы
из глубины земли.
Его пропитание —
судьба и случайность.

Дрозд — вечерняя птица, он взлетает на вершины,
опускает в море солнце и достает звезды.
Он вещает на волне высокого безумия,
потустороннего разума и сострадания.

Погладь кошку

Если у тебя тяжело на душе,
расчеши волосы.
Если не полегчало,
погладь кошку.
Я не называю самоубийство
трусостью:
жизнь требует немалого мужества
и кошачьей выносливости.
Представь, что тебя сунули
в мешок с камнем и бросили в воду
(я видел кошку,
живущую уже десятую жизнь
и трущуюся о ноги
своего девятого убийцы).

После дождя

Деревья и кувшинки унизаны каплями.
Негромко переговариваются мокрые листья.
Майский жук угрюмо ворчит на лету,
он молится тишине
и расплавленным галактикам коровьих лепешек
перед иконами жарко горящих маков.
На компасе летнего дня подрагивает темная стрелка.
Я становлюсь почти богобоязненным и почти счастливым,
потому что вижу, слышу и умираю, не переставая жить.

Местожительство: Млечный Путь

Летом коровам полезно пастись на лугах,
говорит наш сосед Суллюнд — вот уже десять лет
он получает премии за хорошее молоко и его
фотографируют для газет вместе с его мычащими подружками.

Суллюнд въедет в вечность на тракторе.
Он будет раскидывать навоз и рубить деревья в звездном лесу.
Будет утром и вечером взирать на зеленые нивы Господа Бога
вместе со своими венерами, вегами и буренками.

Святой Петр позволит ему пользоваться доильным аппаратом,
хотя на фермах вечности у людей предостаточно времени.
Млечный Путь — подходящее место для жизни.
Суллюнд и там будет чувствовать себя как дома.

Перед сумерками

Мы слышим: солнце касается дождевых капель
и ударяет в синий раскатистый гонг вечера.
Твои волосы хранят неуловимый свет лета.
Твое тело — это холмы и долины, над которыми раскинулась радуга. Скоро стемнеет. Мы гаснем.
Целый миг наши сердца несутся со скоростью света.

Час милости

Сердце дня бьется ровно.
Пергамент над лесом исчерчен солнечными письменами.
Дрозд посылает мне свои сигналы,
пригвождая меня к уходящему мгновению.
Не отнимай у меня этой чаши. Я знаю, что скоро умру.
До последнего вздоха я буду говорить о любви.
Дай мне, когда пробьет мой час, ощутить милость солнца,
коснувшегося меня сиянием,
что ведет начало
от забытой египетской
династии света.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

«ЦВЕТЫ ЗЛА»

Имморалистическая трагедия в западной литературе

Перед вами первый выпуск «Литературного гида», тематического досье, которое отныне станет традиционным в номерах «ИЛ». Что такое «Литературный гид»? Это углубленное исследование некоей темы или проблемы; это «журнал в журнале» (а в отдельных случаях и целый номер), посвященный феномену культуры, на который редакция хочет обратить внимание читательской аудитории: литературное течение, направление в культуре, одна из ведущих литератур современности или, возможно, крупное писательское имя. Таким образом, наше досье станет путеводителем по современной литературе и культуре и, как мы надеемся, со временем образует целую галерею наиболее примечательных явлений в них. В каждом из «залов» этого импровизированного музея «Литературный гид» не только представит вам тематическую экспозицию (художественную прозу, поэзию, эссеистику), но и сопроводит показ комментарием опытных экскурсоводов, в роли которых выступят ведущие отечественные и зарубежные критики, литературоведы, культурологи.

Открывается новый раздел экзотической и до настоящего времени у нас мало изученной страницей. Мы дали этому выпуску название знаменитого поэтического сборника Шарля Бодлера, которое стало нарицательным для обозначения имморалистической линии в западной литературе, произведений, бросающих дерзкий вызов общепринятым нормам нравственности.

В дальнейших номерах нынешнего года «Литературный гид» представит следующие темы: «Феминизм: идеи и образы», «Современная японская литература», «Писатель в изгнании», «Культура постмодернизма», «Современная французская литература», «Феномен бестселлера».

СОДЕРЖАНИЕ

С. ЗЕНКИН — Писатель в маске монстра 138

ЛОТРЕАМОН — Из «Песен Мальдорора» (*Перевод с французского Н. Маевич*) 150

ГОТФРИД БЕНН — Лирика (*Перевод с немецкого и вступление А. Карельского*) 162

ЖАН ЖЕНЕ — Дневник вора (*Перевод с французского Нонны Паниной*) 170

С. ЗЕНКИН

Писатель в маске монстра

Связь искусства со злым, разрушительным началом — постоянная тема эстетической рефлексии нашего столетия. «Плохая литература делается при помощи прекрасных чувств», «ни одно подлинное произведение искусства не обходится без сотрудничества дьявола»,— заявлял Андре Жид в своей книге «Достоевский» (1923) [1]; а другой авторитетный деятель французской литературы Жорж Батай свою вышедшую в 1957 году книгу критических статей так прямо и озаглавил: «Литература и Зло», рассматривая последнее как неотъемлемый элемент художественного творчества. Разумеется, не приходится говорить о том, что искусству как-то способствуют безнравственные и преступные деяния, которые художник может совершать в жизни; полную ясность в этот вопрос внесли тоталитарные режимы XX века с их губительной системой приручения и развращения талантов, втягивания их в гнусности, творимые государством. Речь идет о другом: в процессе самого творчества художник должен уметь отрешиться от любых внеэстетических ограничений, неважно — идеологического или этического свойства. Не будем сейчас обсуждать такую точку зрения, достаточно отметить, что она чрезвычайно влиятельна в современной культуре.

Нас интересует явление более узкое — те случаи, когда фундаментальный имморализм искусства непосредственно, демонстративно выражается в самом произведении, когда писатель сознательно идет на то, чтобы шокировать и оскорблять «нравственное чувство» своих читателей.

Но что же это за «нравственное чувство» и с какой, собственно, моралью имеет дело литература?

Из повседневной практики нам известно, что существуют два сорта морали: одну можно назвать философской, другую, на первый случай, «житейской». Разницу между ними интуитивно ощущает каждый: «в книгах пишут так, а в жизни делается иначе». Часто полагают, что «житейская» этика просто «более эгоистична» или же «менее требовательна», чем философская, но это не так: в определенных ситуациях она с чрезвычайной жесткостью диктует человеку опасные и вполне бескорыстные поступки, вплоть до прямого самопожертвования. Размежевание происходит совсем в другой плоскости.

Центральные категории любой этики — добро и зло. В философской морали они обычно понимаются именно как отвлеченные категории, независимые от конкретных взаимоотношений людей и задающие незыблемую координатную ось для оценки их поступков. Эти категории — наподобие вечных, холодновато-идеальных вершин, которые управляют людскими делами, но сами пребывают выше их.

Напротив, «житейская» нравственность (в широком смысле слова) помещает добро и зло непосредственно в мир, где живут люди. Добро и зло рассматриваются здесь не столько во временной перспективе (одно за другим происходят события, которые последовательно оцениваются по неизменным законам этики), сколько в рамках некой пространственной картины: мир разделяется на области добра и зла, и каждый человек помещает себя по ту или другую сторону границы, а пересекающий ее называется «пре-ступником». У каждого свое место — на территории добра или зла. Заметим: философская этика обыкновенно толкует о злых или добрых *поступках,* тогда как «в жизни» мы чаще оперируем пред-

---

[1] А. Жид. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 2. Л., 1935. С. 456.

ставлениями о «хороших» и «плохих» *людях,* зримо олицетворяя в них отвлеченные понятия.

Но, спустившись из горнего мира в дольний, этические категории неизбежно деформируются, смешиваясь с другими, менее идеальными способами членения культурного пространства. Так, абстрактная оппозиция «добро — зло» осложняется более приземленным и более внятным многим людям противопоставлением «свои — чужие». Сколь бы критично ни относились мы к собственному «моральному облику», каким бы грешником ни считали себя лично, в нашем сознании живет образ «референтной группы» (рода, религии, общины, компании), которую мы априорно и безотчетно признаем источником добра; противостоящие же группы рассматриваются как по крайней мере потенциальные враги, носители зла. Оттого-то в «житейской» этике даже весьма развитых обществ зачастую скрывается (и при случае удручающе обнаруживает себя) анекдотическая «мораль готтентота»: добро — это если я ограблю своего соседа, а зло — если он ограбит меня... Оттого в нашем сознании так глубоко укоренены стереотипы групповой морали (патриотической, партийной, воинской... мафиозной), где в качестве наипервейшей добродетели фигурирует не любовь или справедливость, но *верность* своему сообществу.

Более того: даже тогда, когда подобная мораль стремится придать себе универсальный характер, избавившись от национальной или корпоративной ограниченности и опершись на абсолютный авторитет религиозной веры, на первом плане для нее все равно остается противопоставление «своих» (единоверцев) «чужим» (иноверцам). Даже такая исторически развитая религия, как христианство, устами своего основателя проповедовавшая абстрактно-философские, гуманистические добродетели (такие, как любовь к ближнему и, что особенно характерно, любовь к врагу, то есть к «чужому»), тем не менее сохранила в неприкосновенности ревниво-племенной «моральный кодекс» Ветхого завета, две первые заповеди которого предостерегают против языческого инаковерия: «да не будет у тебя других богов» и «не делай себе кумира». Пафос мировой религии никогда не мешал христианству разделять мир на христиан и «неверных»; подобное различие проецируется и на мир загробный, поделенный на рай и ад. Метафизические Добро и Зло в своем соотношении воспроизводят структуру этического добра и зла: пусть даже все мироздание имеет божественное происхождение и в силу этого благо, но за его пределами все же остается антимир, где господствует небытие и дьявольское зло.

Таким образом, мораль, которую мы предварительно обозначили как «житейскую», в конечном счете, в высшей своей форме, является моралью *религиозной;* ведь основа религиозного чувства — именно переживание общности, сопричастности с единоверцами, символически выражаемое в фигурах богов.

Литература, конечно же, работает не с отвлеченно-философской этикой (ей с нею просто нечего делать), а с этой «житейской», религиозной моралью. И если она вызывающе отвергает подчас эту мораль, то бессмысленно корить ее за «антигуманность»; следует уяснить себе, что ее противником является здесь такая форма этики, которая в принципе не может признавать равную ценность за *каждым* человеком [1]. Литературный имморализм последних двух столетий есть, таким образом, не что иное, как соперничество литературы с религией. Конфликт между ними зародился уже в эпоху Просвещения, когда писатели совместно с философами исподволь приучали общество к возможности вообще обходиться

---

[1] Все это сказано не затем, чтобы «осудить» религиозную мораль. Есть все основания полагать, что такая этика совершенно необходима человеку как существу смертно-ограниченному и вместе с тем общественному. Следует лишь развеять распространенные иллюзии о том, что религия представляет собой единственный и всеобъемлющий источник нравственности. На самом деле она дает рождение лишь той специфической форме нравственности, которая ей соприродна.

без религии, но по-настоящему разгорелся он в XIX веке, когда литература, вновь проникшись религиозным чувством, попыталась *сама занять место* религиозного культа, стать преимущественной сферой, где переживается сакральное различие «своего» и «чужого» мира. Пожалуй, ярче всего этот конфликт проявился во французской литературе — в стране, которая еще в XVIII веке прочно заняла ведущее место в процессе секуляризации и рационализации культуры.

Метафизическое томление по небытию возникло в литературах Европы в конце XVIII века, в пору увлечения «кладбищенской» лирикой и «готической» прозой. Позднее, у романтиков, стало складываться и осознанное эстетическое убеждение, что творчески воссоздать сущее можно, лишь выйдя за его пределы, найдя себе точку опоры по ту сторону реальных вещей и «правильных» людских взаимоотношений. Тут-то и оказались кстати, с одной стороны, дуалистические представления о мировом Добре и Зле, а с другой — многовековая традиция литературной обработки подобных моделей мира, восходящих к древней мифологии. В знаменитом романтическом «двоемирии» обыденной реальности не обязательно противопоставлялся мир идеала и доброго волшебства; то мог быть и мир инфернальный, область абсолютного Зла, контакт с которым составляет необходимое звено в судьбе личности — как действующего героя, так и творящего автора. Зло стали рассматривать как диалектический момент добра или, во всяком случае, как момент общего развития, снимающего противопоставление добра и зла (мысль, заложенная в «Фаусте» Гёте, а впоследствии с необычайной энергией развитая неоромантиком Ницше).

Чтобы оттенить интересующее нас культурное явление, можно взять в качестве впечатляющего «контрольного примера» до-романтическую трактовку зла в произведениях маркиза де Сада. В истории литературы трудно сыскать более яростного богохульника и ниспровергателя морали, с воодушевлением живописующего все новые и новые грандиозные картины «преуспеяния порока». Вместе с тем современному массовому читателю романы Сада кажутся бледными и пресными; в этих жестоких фантазиях есть что-то простоватое, и несметное количество творимых в них злодеяний никак не переходит в художественное качество, в романном мире не возникает таинственно-сакральной ауры, присущей «настоящему» мировому Злу. Сад был современником первых романтиков, и ему в высшей степени присуща тяга к небытию (выражающаяся и в физическом уничтожении персонажей, и в систематическом поругании духовных ценностей), но напрасно искать в его книгах романтического двоемирия — а именно к романтической трактовке зла приучила нынешнего читателя двухвековая литературная традиция, как «высокая», так и «масскультурная». Мир Сада однороден, в нем повсеместно властвует одно лишь зло, тогда как добро — благодушное покрывало иллюзий, которое писатель, в традициях сатирического реализма XVII — XVIII веков, бескомпромиссно срывает с действительности. В сакральной мифологической картине мира абсолютное зло помещается в области «чужого» — в лесу, за морем, в стране варваров, в подземном аду. У Сада оно уютно располагается в «нашем», посюстороннем мире, не нуждаясь ни в какой трансцендентности. Соответственно и автору романа не приходится за ним далеко ходить; на его щеках не разглядеть ожогов от адского пламени, которые виделись современникам на лице Данте Алигьери. Автор пытается представить себя (правда, не совсем убедительно — и эта *неудача* составляет главное новаторство и оригинальность Сада!) в обескураживающе плоском образе благонамеренного сочинителя, показывающего картины порока лишь затем, чтобы отвратить от него своих читателей... Выведя на сцену с небывалой откровенностью стихию Зла, он пытается удержать ее в бутафорском картонном сосуде классицистической морализации, словно сам не догадываясь, какое сатанинское зелье там заварено. Возможно, он и впрямь не вполне это сознавал, и если так, то здесь-то и заключалось его «безумие», стоившее ему полного непони-

мания среди современников. Ведь мало того, что Сад за публикацию безнравственных сочинений был упрятан в сумасшедший дом, где провел тринадцать лет, до самой смерти, но еще и много позднее никто из культурных людей (за крайне редкими исключениями, такими, как Гюстав Флобер) и думать не думал, чтобы этот автор мог представлять интерес для кого-либо, кроме специалистов по душевным болезням. В жизни маркиз де Сад оказался самым настоящим изгоем, отверженным, но культурного смысла его отверженность тогда так и не обрела.

Вместе с тем в литературе уже в скором времени центральной фигурой байронического романтизма сделался отщепенец, спознавшийся с мировым Злом. Пушкин, составляя в «Евгении Онегине» краткий каталог такого рода героев («или задумчивый Вампир, или Мельмот, бродяга мрачный, иль Вечный жид, или Корсар, или Таинственный Сбогар»), закономерно объединяет в нем как персонажей собственно инфернальных (Мельмот, Вампир), так и «обыкновенных» злодеев-разбойников (Корсар, Сбогар), не имеющих по сюжету связей с иным миром. Действительно, в мистической идеологии романтического бунта все они тождественны: восстание против человеческого общества, вызывающие нарушения его морали важны здесь лишь как символ мирового мятежа против творца и вседержителя вселенной.

Это очень двусмысленный, в чем-то извращенный бунт. Бог остается неуязвим в своем небесном убежище, и возмущение против него принимает, по сути, неадекватную форму, обращаясь на сотворенный им мир. Богоборчество оборачивается преступлениями против людей. Иные из бунтарей, чувствуя эту логическую неувязку, даже объявляют своим противником именно земной мир, его несправедливое устройство (Иван Карамазов: «Я не бога не принимаю... я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять»); Альбер Камю возводил такую позицию к гностической ереси Маркиона, считавшего материальный мир творением «антибога»-Демиурга. Но, как бы там ни было, карамазовские самооправдания не помогают. В конечном итоге все упирается в один вопрос: может ли человек жить за чертой религиозной этики, за рамками освященного небом социума? Другой герой Достоевского, Раскольников, поставил над собой именно такой эксперимент, совершив метафизическое убийство: задача состояла в том, чтобы доказать свое высшее «право» — насильственно оборвать, перерубить преступным топором пуповину, связывавшую его с миром людей и религиозно-нравственных ценностей. Как известно, эксперимент дал отрицательный результат. Но как этот результат интерпретировать? Раскольников «покаялся» и сдался полиции не потому, что осознал, в духе философско-гуманистической этики, абсолютную ценность любой, даже самой никчемной человеческой жизни, а потому, что невтерпеж стало жить, чувствуя, что окружающие смотрят на него (или, по крайней мере, должны были бы смотреть) как на «убивца». Зарубленная старуха сама по себе не тревожит его совесть, но он не выдержал ужасной участи отщепенца, пораженного самой страшной карой, какую только знают архаические общества,— остракизмом.

В. Вересаев писал о подобных героях Достоевского, что, переступив было роковую черту дозволенного, они никак не могут сделать следующего шага: «Переступили черту — и стоят» [1]. Вместо того чтобы смело и уверенно идти дальше, к вершинам сверхчеловечества, или, по излюбленному образу Ницше, пуститься в пляс от радостного ощущения своей божественной свободы, они, словно околдованные, топчутся на пресловутой черте, вновь и вновь упражняются в переступании ее... В известной мере так обстоит дело не только с героями русского писателя, но и вообще с богоборцами и ниспровергателями морали, которыми так богата литература романтической традиции. Их странное поведение

[1] В. Вересаев. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 3. М., 1985. С. 133.

объясняется не столько духовным бессилием (хотя сами они и склонны казнить себя за малодушие), сколько той культурной ролью, которую они призваны играть,— ролью медиаторов, посредников между добром и злом, между «нашим» и «чужим» миром.

Одним из таких трагических бунтарей был Шарль Бодлер, писавший, что «в каждом человеке всечасно присутствуют сразу два устремления — одно к богу, другое к сатане» [1]. В отличие от поэм Байрона и его последователей, он продемонстрировал эту двойственность не в душе вымышленного литературного героя, но, с обезоруживающей откровенностью, в себе самом, в «своем обнаженном сердце». В его стихах тягой ко злу одержим сам поэт, который отрекается от Христа вместе с апостолом Петром, затевает бунт против небес вместе с «сыновьями Каина», мужественно нисходит в ад вместе с нераскаянным Дон Жуаном, поет от своего собственного лица «литанию сатане». Вместе с тем он сохраняет и противоположное влечение к Идеалу, выполняя роль связующего звена между божественным и дьявольским началом. Именно поэтому в художественном мире бодлеровской лирики с непривычной даже для романтиков силой проявляется сакральное начало: городской пейзаж выглядит волшебно-зачарованным, домашние кошки предстают фантастическими идолами, плавание по морям завершается нисхождением в преисподнюю, а само поэтическое творчество мыслится как «намекающая ворожба» [2]. В таком контексте особенный смысл приобретают «шокирующие» произведения Бодлера — например, раннее (до сих пор не переведенное на русский язык) стихотворение, где поэт в самом омерзительном облике изображает свою любовницу-проститутку; или же более известное стихотворение «Падаль», где сладострастно-детальное описание разлагающегося трупа животного завершается обращением лирического героя к своей возлюбленной: вот, смотрите, во что превратится ваша красота после смерти... Такие поэтические жесты, в которых этический вызов (оскорбительное женоненавистничество) знаменательно переплетается с эстетическим («пощечиной общественному вкусу»), являют собой род юродства, сакрального «антиповедения»: демонстративно пачкаясь в грязи, поэт тем самым подчеркивает свое обособленное положение в мире, обусловленное способностью проникать за черту этого мира. Своего лирического героя Бодлер охотно показывает больным — собственно, и название его главной книги «Цветы зла» может переводиться и как «Цветы недуга», а в посвящении поэт прямо характеризует ее как «болезненные цветы»,— только это не заурядно-бытовой, а священный недуг, знаменующий собой соприкосновение поэта-шамана с иным, метафизически и этически потусторонним миром.

Таким образом, эстетизация зла, которую принято считать характерной чертой «декаданса», фактически означает, что поэт, художник открыто берет на себя сакральную роль жреца, профессионального «преступателя черты». Поскольку же роль эту он «незаконно» перенимает у официального исполнителя — священника,— то в рамках христианского общества он не может не ощущать себя альтернативным, «теневым» жрецом, носителем негативной сакральности, то есть «про́клятым». Выражение «проклятые поэты», вошедшее в оборот с легкой руки Верлена и имевшее поначалу узкий и «невинный» смысл (поэты, недооцененные критикой и публикой), в силу своей глубокой архаической семантики сделалось гордым названием целой плеяды крупных поэтов, первое место в которой занимает Бодлер. В одном из его стихотворений («Напутствие» или, точнее, «Благословение») поэт уже при рождении вызывает ужас и отвращение у собственной матери:

«Такое чудище кормить! О правый боже,
Я лучше сотню змей родить бы предпочла.
Будь трижды проклято восторгов кратких ложе,
Где искупленье скверн во тьме я зачала!..»

(Перевод В. Левика)

---

[1] Ch. Baudelaire. Oeuvres complètes. P., 1968. P. 632.
[2] Ch. Baudelaire. Op. cit. P. 626.

Слово сказано: поэт, отягощенный связью с миром зла и небытия, воспринимается окружающими как «чудище», как *монстр*. Один из предшественников Бодлера, писатель-романтик Петрюс Борель, еще в 1831 году сравнивал себя с «ликантропом» — человековолком. А один из последователей Бодлера, Изидор Дюкасс, взявший себе литературный псевдоним Лотреамон (1846—1870), развернул такого рода образность с впечатляющей откровенностью и многообразием.

«Я зарос грязью. По мне ползают вши. Свиней тошнит от моего вида. Струпья и корки покрыли чешуей мою кожу, сочащуюся желтоватым гноем. Мне не ведомы ни воды рек, ни роса облаков. На моем затылке, как на навозной куче, вырос огромный поганый гриб. Сидя на бесформенной насыпи, я вот уже четыре века не шевелил ни рукой, ни ногой. Мои ноги вросли корнями в землю, и теперь к животу поднимается некий многолетний нарост, кишащий гнусными паразитами,— это еще не растение, но уже и не плоть...» Перед нами фрагмент (в переводе Н. Стрижевской) из «Песен Мальдорора», главной книги Лотреамона, напечатанной в 1869 году. Здесь, конечно, изображается монстр — чудовищное межеумочное существо, принадлежащее отчасти человечеству, а отчасти дикой природе. Но этот образ напоминает и древнеиндийские предания об аскетах, сливающихся с природой,— таких, как легендарный поэт(!), автор «Рамаяны» Вальмики, который много лет неподвижно простоял на месте, пока не был весь покрыт муравейником [1]. Врастание в землю — характерная мифологическая медиация между природой и культурой, придающая лотреамоновскому персонажу сакральное достоинство. Та же священная аура исходит и вообще от свойственного ему оборотничества: Мальдорор многолик, он предстает перед нами то человеком, то спрутом, то орлом; обернувшись каким-то фантастическим земноводным существом, он совокупляется с акулой... Свою отделенность от рода человеческого он демонстрирует и в своих действиях — жестоких и немотивированных злодеяниях. По инфернальной страсти к убийствам, истязаниям, изнасилованиям, глумлению над людьми он может сравниться разве что с самыми чудовищными героями Сада, а по своей фантастической безнаказанности, неуловимости и мрачному всесилию — с другим, несколько позже созданным литературным персонажем, как и он сам, завораживавшим воображение французских сюрреалистов,— суперпреступником Фантомасом из романов М. Аллена и П. Сувестра... Лирический герой Бодлера не отвечал злом на ненависть людей, свою враждебность к ним он обычно выражал в мазохистском самоуничижении или же в кощунственных хулах, обращенных в небо. Лотреамон — тоже неистовый бунтарь-богоборец. Бог претерпевает от него примерно то же поношение, что библейский Ной претерпел от своего непочтительного сына Хама: его выставляют на позор то в виде непотребного пьяницы, валяющегося у дороги, то в виде похотливого развратника, явившегося в грязный притон... И все же главной жертвой Лотреамона-Мальдорора становятся сами люди — герой губит их с такой яростью, а автор описывает все это с такой тщательностью, что в конечном счете получается даже парадоксальный результат: злодеяния Мальдорора выглядят невсамделишными, а «Песни» Лотреамона приобретают иронические, полупародийное звучание. Например, в рассказе о чудовищном надругательстве, которому Мальдорор подвергает маленькую девочку, в качестве орудия убийства фигурирует «американский ножик с дюжиною лезвий на все случаи жизни» — и эта несообразно конкретная бытовая деталь, буквально прорывая внебытовую абстрактность фона, поражает своим откровенным мальчишеством: ведь такой «американский ножик» — мечта любого подростка... Недаром в критике давно уже подмечено, что «Песни Мальдорора» странно напоминают те устные «готические» истории, что рассказываются по ночам в школьных интернатах.

[1] Во французской поэзии на этот сюжет написано стихотворение Леконта де Лиля «Смерть Вальмики» — не послужило ли оно Лотреамону одним из многочисленных литературных источников для его книги?

Такая инфантильность вовсе не вредит художественному достоинству «Песен», как не вредит ему откровенная, сознательная вторичность и литературность многих мотивов. Лотреамон просто яснее многих выразил общую черту, которая присуща мировосприятию романтиков и благодаря которой в дальнейшем романтическая эстетика столь органично вошла в состав литературы для детей. Романтическое бунтарство по самой своей сути — черта духовного отрочества, в нем происходит самоопределение и самоосуществление личности, страдающей от неустойчивости, ненадежности своего положения в обществе (порой и в весьма зрелом возрасте — вспомним еще раз Бодлера, официально признанного недееспособным и взятого под опеку). Своими жестокими выходками, прорывами «по ту сторону» Мальдорор стремится избавиться от порабощающей власти божественного Отца, с которым он схватывается не на жизнь, а на смерть в самых экзотических обличьях (например, приняв облик спрута). Но в конечном счете избавления добился не герой, а автор «Песен» — этот юноша-поэт, безвестно сгинувший в 24 года в осажденном пруссаками Париже, но до тех пор успевший, как писал в своем классическом исследовании о нем писатель и критик Морис Бланшо [1], полностью переродиться, преобразиться в ходе написания «Песен Мальдорора». Впрочем, метаморфоза оказалась столь же разрушительной, как и жестокие подвиги Мальдорора, и в конечном счете самоубийственной.

Действительно, в «Песнях Мальдорора» Лотреамон нарушил основополагающий принцип романтической эстетики — принцип личностной цельности героя. У романтиков личность — скрепляющий центр всего мироздания; она еще может расщепиться, по закону двоемирия, на две контрастные ипостаси (как Жан Сбогар у раннего романтика Нодье или доктор Джекиль у неоромантика Стивенсона), но не должна рассыпаться на множество разнообразных, разительно несхожих масок; а именно так и происходит в «Песнях Мальдорора» благодаря головокружительному оборотничеству их героя, а также «плавающей» повествовательной точке зрения. В одних фрагментах книги рассказ ведется от первого лица, в других — от третьего (иногда это более или менее определенный свидетель, иногда абстрактный повествователь), а, скажем, история об убийстве девочки вводится и вовсе причудливым и неправдоподобным способом: это свиток, написанный, а затем утерянный матерью ребенка, жалкой нищенкой, и подобранный не кем иным, как самим Мальдорором, который, оказывается, уже и сам позабыл о совершенном некогда преступлении... Разорванность образа героя находит себе продолжение в рвано-фрагментарной структуре всей книги, где ни один отрывок не связан сюжетно ни с одним другим. В итоге стройный сакральный космос «классического» романтизма, расчлененный на области добра и зла, чей рубеж пересекает четко определенный герой-медиатор,— уступает место стихийной бесформенности, где теряются следы художественной личности и тем самым подрывается основа сакрального переживания, которым жил байронический романтизм. «Речь идет уже не об образах небытия, создаваемых упорными усилиями сознания, а о небытии самого сознания»,— комментирует Альбер Камю [2].

Учитывая все это, можно понять парадоксальный поворот художественной судьбы Изидора Дюкасса, происшедший в самом конце его творческого пути. В 1870 году, перед самой смертью, он выпустил — на сей раз под собственным именем, а не под псевдонимом Лотреамон — небольшое сочинение, озаглавленное «Стихотворения» [3]. В этом тексте (сугубо прозаическом) поэт с жаром отрекается от романтического бунтарства, заявляя, что «ставит на место меланхолии — мужество, на

---

[1] *См.* M. Blanchot. Lautréamont et Sade. P., 1949.

[2] А. Камю. Бунтующий человек. М., 1990. С. 183.

[3] Основываясь на более или менее спорном толковании одного из писем автора, это произведение нередко обозначают подзаголовком «Предисловие к будущей книге», отсутствовавшим в прижизненном издании.

место сомнения — уверенность, на место отчаяния — надежду, на место злобы — доброту, на место хныканья — чувство долга, на место скепсиса — веру, на место софизмов — холодное спокойствие и на место гордыни — скромность». Подобное отречение, вообще говоря, не раз наблюдалось у романтиков, лишний раз подтверждая преходяще-отроческую природу их бунта; здесь же оно особенно интересно тем, как в нем доводятся до предела — до абсурда — те тенденции, что наметились еще в «Песнях Мальдорора». Переметнувшись от зла к добру, решившись проповедовать сугубый конформизм вместо бунтарства, с какой-то подозрительной истовостью изрекая плоские максимы «здравого смысла» (на память приходит убийственная серьезность Флобера, воспроизводящего «прописные истины» в своем знаменитом «Лексиконе» или же в «Буваре и Пекюше»), поэт окончательно разрушает внутреннюю связность текста, который рассыпается уже не на сюжетные фрагменты, а на отдельные фразы, никак не сочлененные одна с другой. Тем самым уже не только содержание, но и форма произведения оказывается несовместимой с сакральными функциями. Если торжество здравого смысла над мятежным духом в «Стихотворениях» остается достаточно двусмысленным — проповеднический пафос поэта звучит еще более пародийно, чем утрированные «ужасы» «Песен Мальдорора»,— то зато несомненным является другое, не менее важное событие: крушение романтической концепции вдохновенного поэта-шамана и, шире, отказ от превращения художественного творчества в суррогат религии.

Последнюю масштабную попытку все же осуществить эту культуропреобразовательную программу предприняли в XX столетии сюрреалисты (кстати, именно они извлекли из полного забвения творчество Лотреамона). Они сделали своим творческим принципом мистическое переживание бессознательной «сверхреальности» — и немедленно столкнулись с тем, что наше бессознательное кишит жестокими, аморальными влечениями и фантазмами. Именно поэтому в произведениях сюрреалистов — Бретона, раннего Арагона или, скажем, уже упоминавшегося выше Жоржа Батая, весьма близкого к сюрреалистам по творческим устремлениям,— столь часты мотивы жестоких и, что важно, беспричинных злодеяний, о которых повествуется с безупречным хладнокровием. Сюрреалисты подняли на щит полупародийный, полусерьезный трактат английского романтика Де Квинси под красноречивым названием «Об убийстве, рассматриваемом как одно из изящных искусств». Андре Бретон заявлял во «Втором манифесте сюрреализма», что простейший сюрреалистический акт — выйти на улицу с револьвером в каждой руке и палить наугад в прохожих. Бретон ввел в оборот и понятие «черный юмор», составив целую его антологию, в которую вошли и Сад, и Борель, и Де Квинси, и Бодлер, и Лотреамон... Но «черный юмор» — он и есть юмор; жестокие мотивы имеют в нем игровую функцию и не скреплены сакральным образом «проклятого поэта». Чтобы имморальные тексты не воспринимались «понарошку», необходимо, чтобы кто-то взял на себя за них моральную ответственность, а в эстетике сюрреализма поэт не обладает такой ответственностью: он не активный медиатор между добром и злом, а лишь пассивный *медиум,* доносящий до людей темные образы бессознательного. А потому не дай бог никому принять всерьез его жестокие вымыслы и попытаться, например, реализовать на практике бретоновскую заповедь насчет «простейшего сюрреалистического акта». Дело даже не в том, что стрелять в невинных прохожих — бесчеловечно и уголовно наказуемо. Жан-Поль Сартр в новелле «Герострат» показал средствами реалистической прозы, как некий человек вознамерился на самом деле совершить этот акт «черного героизма» — и как гадко, трусливо, катастрофически *несакрально* это у него получилось. Сюрреализм «закрыл» проблему зла в литературе: в отсутствие фигуры священного (или, что то же, проклятого) поэта оно остается хотя и волнующим, но все же чисто фиктивным, от реально-жизненного зла его отделяет непроходимая стена.

Сломать эту стену, возвратившись к традициям романтического имморализма, попытался уже в середине нашего столетия еще один писатель — Жан Жене (1910 — 1986). Прежде чем стать профессиональным литератором (прозаиком, поэтом, драматургом), он долгое время вел жизнь самого настоящего отверженного, изгоя: он был вором-рецидивистом, да еще и гомосексуалистом, торговавшим своим телом... И вот обо всем этом он с беспрецедентной откровенностью поведал в своих книгах, нимало не раскаиваясь в своей прежней жизни и показывая ее как вполне органичный, по-своему нормальный способ существования. Из мира уголовников и извращенцев в мир респектабельной культуры он шагнул без видимых душевных терзаний, без всякого очистительного кризиса, задав читателям своих талантливых книг нелегкую задачу осмыслить «нравственное уродство» их автора.

Ситуация была, конечно, не совсем нова. В числе предшественников Жене можно вспомнить поэта-вора Франсуа Вийона, но, правда, тот в своих «Завещаниях» все же сожалел о своем беспутстве, а стихи во славу разбоя слагал буквально на другом языке — на непонятном большинству людей воровском арго. Более близкую аналогию Жану Жене может составить другой персонаж, заявивший о себе в золотую пору литературного байронизма, в 1836 году.

В этом году в Париже был казнен по приговору суда тридцатишестилетний Пьер-Франсуа Ласенер, профессиональный грабитель и убийца, вместе с тем не чуждый и литературному творчеству [1]. Во время процесса он обратил на себя внимание вызывающе презрительным отношением к правосудию и к обществу в целом, а также тем, что, сам не строя никаких иллюзий относительно собственной участи, с садистским удовольствием «топил» своих сообщников, еще пытавшихся как-то выкрутиться (заметим эту черту!). В ожидании казни он успел написать книжку воспоминаний и сентиментальных стихов; изданная после его смерти, она осталась одной из «проклятых» книг французской литературы (а в XX веке была представлена в бретоновской «Антологии черного юмора»). Своим литературным и жизненным опытом Ласенер продемонстрировал, что один из способов стать «проклятым», сакрально заклейменным поэтом,— прямая уголовщина; этой возможностью и «воспользовался» юный Жан Жене, еще не ведая о своей будущей литературной карьере.

Уголовный мир порождает отверженность особого типа — не индивидуальную, а коллективную, которая антропологически восходит не к образу «про́клятого» колдуна, а к несколько иному архетипу. Это так называемый «мужской дом», зарегистрированный этнографами у многих первобытных народов,— совместное проживание неженатых юношей, обыкновенно входящее составной частью в обряд инициации (посвящения в полноправные члены племени). В «мужском доме» молодые люди ведут обособленную жизнь вдали от семей, пропитание себе зачастую добывают не трудом, а «узаконенным», ритуальным воровством, вступают во временные, беспорядочные половые связи (промискуитет). Все эти черты, в той или иной степени встречающиеся и во многих замкнутых корпорациях нового времени — таких, как русские опричники или же вызывавшие завороженный интерес Жана Жене гитлеровские войска СС,— показаны писателем и в быту уголовного мира. Правда, сексуальная мораль XX века достаточно либеральна, и, чтобы по-настоящему нарушить ее, промискуитета уже недостаточно; потому-то воры и бандиты, о которых пишет Жене, не развратники, а сплошь гомосексуалисты. Именно они привлекают к себе главное внимание автора. «В банде (ассоциации злоумышленников) отвагу проявляют молодые парни и гомосексуалисты,— пишет он в автобиографическом «Дневнике вора» (1945, опубл. 1949).— Именно они — инициа́торы рискованных налетов. Они играют роль оплодотворяющего начала...» Очень важно это сближе-

[1] Между прочим, он выведен под своим собственным именем в качестве одного из персонажей знаменитого фильма М. Карне «Дети райка».

ние, почти отождествление «молодых парней» (в оригинале сказано еще определеннее — «мальчишки», «малолетки») и «гомосексуалистов». Половая извращенность, понятая у Жене как культурный жест, сопрягается с юношеским бунтарством романтиков (здесь оно принимает форму разбойной дерзости, удали) и с юношеской же этикой «мужского дома», включающей воровские набеги как элемент взросления. Соответственно гомосексуалисты в изображении Жене — настоящий цвет преступного мира, поэтичнейшая его часть [1]. В этом замкнутом, густозамешенном на эротике сообществе действует особая иерархическая система, которую Жан-Поль Сартр, автор капитального психоаналитического труда о Жане Жене, остроумно сопоставил с феодальной иерархией [2]. Страстное обожание, которое питает юноша Жене к «крутым» ворам и особенно к убийцам,— это привязанность вассала к сюзерену, подмастерья к мастеру, благоговение клирика перед святым.

Последнее сравнение хотя и звучит кощунственно, но вполне уместно, ибо художественный мир Жене переполнен сакральными переживаниями, и даже кражи и грабежи автор изображает как род священнодействия. Изымая краденые деньги и вещи из «законного» порядка, в рамках которого они функционировали, он как бы приносит их в жертву некоему языческому божеству; неважно, что он и сам пользуется плодами жертвоприношения — ведь и античные боги удовлетворялись дымом от жертвенного костра, предоставляя людям вкушать мясо закланного животного... Именно потому, что преступление священно, его можно кому-то *посвятить*: «Стилитано первым удостоился подобной чести. Я думаю, что я обязан ему своим посвящением в воры, то есть мысль о его теле, неотступно преследовавшая меня, не позволяла мне струсить. Его красоте, его спокойному бесстыдству я посвятил свои первые грабежи». Характерно, что сакральная кража здесь прямо связывается с инициацией, с «посвящением в воры». С другой стороны, этнографам известно, что в первобытных обрядах жрец сам отождествляется с приносимой им жертвой; и именно в виде жертвоприношения изображает Жене в автобиографическом романе «Чудо о розе» (1943, опубл. 1946) смерть на эшафоте убийцы Аркамона, обожая его как «идеального преступника». Сам он — не убийца и приблизиться к этой высшей породе людей может лишь ценой аскезы, намеренно унижая себя, жертвуя своим достоинством своему божеству (конкретному «вору в законе»? или самому дьяволу, как сказано где-то в «Дневнике вора»?). Добровольно избранная им роль пассивного педераста — как раз такое жертвоприношение неведомому богу [3].

Но есть еще и высшая форма самопожертвования, открытая Жаном Жене,— это *измена*. Таким поступком человек уничтожает, пускает по ветру самое ценное, чем он обладает,— свою корпоративную честь, уважение сотоварищей. «Дневник вора» пестрит упоминаниями «любви к измене», горячо разделяемой автобиографическим героем книги. «Эта *погоня* за предателями и предательством была не чем иным, как одной из разновидностей эротизма»,— признается он. Высший праздник для него — предательски разорвать узы любви и дружбы, связывающие его

---

[1] Во избежание недоразумений следует пояснить, что Жене не мог знать дикого обычая, бытующего в уголовно-лагерном мире нашей страны,— когда пассивные педерасты выделяются в отверженную касту неприкасаемых. Как показывают социологические исследования последних лет (см., например: «Век XX и мир», 1992, № 3, с. 36—44), явление это возникло в советских тюрьмах и лагерях во времена сравнительно недавние; что же касается Жене, то он показывает «дифференцированное» отношение блатного мира к гомосексуалистам — есть среди них такие, что опустились, торгуют собой и вызывают к себе презрение и враждебность, но есть и смелые, энергичные «бойцы», связанные прочными узами однополой любви и никому не уступающие по воровским «заслугам».

[2] См.: J.-P. Sartre. Saint Genet, comédien et martyr. P., 1952. P. 112—113.

[3] В романе Жене «Керель из Бреста» (1946, опубл. 1947) эта идея разработана особенно изощренно (или, если угодно, извращенно): матрос-убийца Керель, предательски зарезав своего друга и сообщника, в порядке «епитимьи», искупительной жертвы погибшему, добровольно отдается владельцу местного борделя, предстающему кем-то вроде божества разврата...

с очередным любовником. «Всю дорогу я тешился горькой радостью, обещая себе забрать на почте деньги и отослать их Пепе в Монхучскую тюрьму...— рассказывает он об одной из таких измен.— Выйдя на улицу, я разорвал купюры, собираясь сбросить их в водосток, но, чтобы сделать разрыв более ощутимым, я склеил обрывки денег на лавке и устроил себе роскошный обед. Пепе, должно быть, подыхал от голода в тюрьме, но ценой этого преступления я счел себя свободным от моральных забот». В этом замечательном эпизоде характерны три последовательных момента: сперва готовность героя, следуя «закону», отослать попавшему в беду товарищу причитающиеся тому деньги (впрочем, ворованные), затем внезапное, ничем внешне не мотивированное намерение устроить из этих денег «чистое», бескорыстное жертвоприношение (порвать и выбросить) и, наконец, окончательное решение — сделать жертвенный обряд максимально унизительным для себя, превратив его в позорный акт эгоистической измены (я проем и пропью деньги, а «настоящий» их владелец пусть подыхает с голоду). Жене-предатель — не садист, а мазохист; сакральное проматывание чужих денег сопровождается у него столь же сакральным расточением достоинства самого жреца, и в то же время такая жертва приносится *во искупление,* чтобы таким образом *освободиться* от дружеских уз. Жан Жене — совсем не «добропорядочный» член преступного сообщества, он скорее сближается с «преступающими черту» романтическими героями (вспомним предательское поведение на суде «поэта-убийцы» Ласенера). Нарушая первую заповедь групповой этики — заповедь верности, он взамен обретает головокружительную свободу от своей собственной «референтной группы». Он отвержен дважды: общество отвергает его как вора и извращенца, но дух предательства отторгает его и от блатного мира [1]. Уголовник XX века осознает себя с помощью образа романтического монстра, соединяющего в себе три отрицательные «добродетели»: воровство, половую извращенность и предательство.

Итак, сбывается завет великого английского декадента и имморалиста Оскара Уайльда: жизнь подражает искусству. Вот только сама жизнь при этом совершенно «олитературивается»: найдя для себя образ поэта-монстра, Жене вынужден поддерживать его чрезвычайными усилиями стиля. Его проза, писанная, безусловно, очень талантливой рукой, подчеркнуто литературна, переполнена «красивой» и патетической образностью, сентиментально-романтическими мотивами (как известно, вообще типичными для культуры уголовного мира). В то время как многие писатели XX века, пользуясь отталкивающе «натуралистическими» образами, рассчитывают именно на их шоковый эффект, Жан Жене считает необходимым постоянно компенсировать этот эффект преувеличенной эстетизацией мира. Достаточно привести в качестве примера центральный эпизод романа «Чудо о розе», поражающий своей подчеркнуто условной патетикой (можно сказать иначе — дурным вкусом): в восторженном видении юного вора Жене кандалы, в которые закован осужденный на казнь убийца Аркамон, предмет его обожания,— вдруг покрываются белоснежными цветами роз...

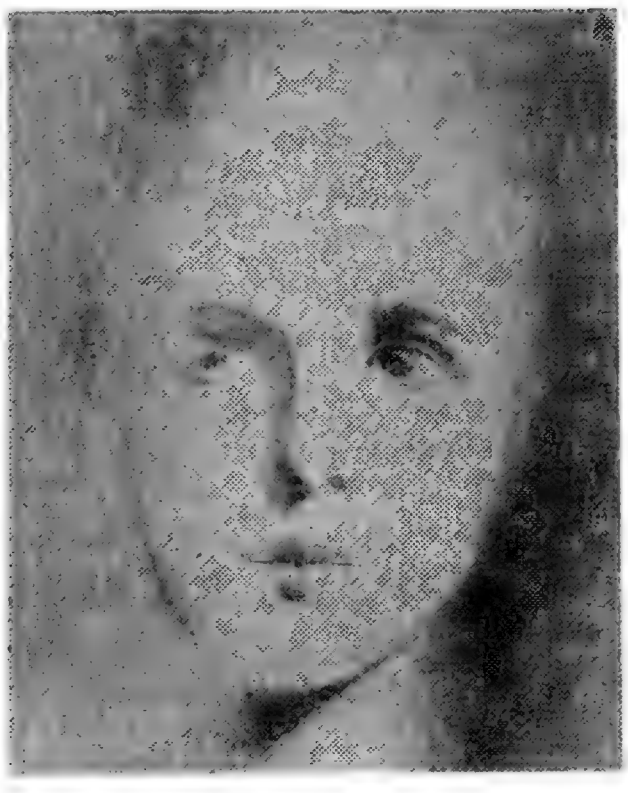
Причина «литературности» Жене — не в слабости его таланта, а в романтической наследственности, тяготеющей над его творчеством. Отталкивающая гнусность изображаемого им мира меркнет в не совсем натуральном блеске литературной красивости; точно так же в эротической прозе его современника Генри Миллера непристойность изображаемых сцен совершенно поглощается густой литературностью стиля. Результат же парадоксален: нарисованные непосредственно «с натуры»,

---

[1] Ю. В. Манн в монографии «Поэтика русского романтизма» (1976) выявил сходную структуру конфликта в байронической поэме: ее герой является изгоем как в «большом» обществе, так и среди отверженных (разбойников, пиратов, цыган); правда, от последних его отделяет скорее образованность и принадлежность к аристократической культуре, тогда как в случае Жене причина «вторичного» отщепенства противоположная: отторжение происходит не «вверх», а «вниз», герой сознательно опускается ниже своих товарищей.

взятые прямо «из жизни» образы предстают сугубо искусственными и невсамделишными. Искусство фиктивных подобий торжествует над самой что ни на есть грубой реальностью; и это в какой-то момент ощутил сам Жене — в конце 40-х годов он отошел от автобиографической прозы и обратился к театру, создавая все более условные, карнавально-игровые пьесы; об одной из них он писал, что она призвана служить «прославлению Образа и Отблеска».

Итак, фигура имморального монстра, созданная Жаном Жене из реального материала собственной жизни, фатально оказалась литературной, условно-романтической. Культурные перегородки, разделяющие искусство и жизнь, добро и зло, устояли против очередной попытки их сокрушить. Подобно творчеству маркиза де Сада, художественный опыт Жана Жене может служить «контрольным опытом», демонстрирующим историческую границу того явления, что называется литературным имморализмом. Начавшись вместе с романтизмом, его история и исчерпана с завершением истории романтизма, в результате чего две формы переживания сакрального — искусство и религия — оказались вновь расставлены на различные (пусть и неокончательные, проблематичные) места. Современная литература устроена так, что зло, вступая в нее, должно полностью изменить собственной природе, превратившись в условно-литературное зло. Что, конечно, весьма утешительно для всех ревнителей и поборников добра.



ЛОТРЕАМОН

Из «Песен Мальдорора»

Перевод с французского Н. МАВЛЕВИЧ

Песнь III

(1) Как звали тех ангелоподобных, блестящих несказанным блеском существ, что рождены моей фантазией и оживлены моим пером во второй песне? Едва появившись на свет, они гаснут, как искры, что пробегают по краю обгоревшей бумаги и исчезают прежде, нежели глаз успеет проследить их. Леман!.. Лоэнгрин!.. Ломбано!.. Гольцер!.. Украшенные всеми дарами цветущей юности, лишь на миг промелькнули вы в моем царстве грез и вновь, послушные моей воле, погрузились во мрак, как водолазы в колоколах погружаются в морские глубины. Вам больше не воскреснуть. Довольно и того, что вы оставили след в моей памяти, теперь же вам на смену явятся другие, хоть, может быть, не столь прекрасные предметы моей неистовой любви, которую не могут утолить живые люди. В голодном раже она пожрала бы сама себя, когда б не находила пищи в волшебных миражах; настанет время — она наплодит целый сонм эфирных духов, которых будет больше, чем микроскопических тварей в капле воды и которые плотным кольцом завихрятся вокруг нее. Случись на ту пору рядом одинокий странник, он замер бы в смущенье перед подобьем пенноструйного водопада, вглядевшись же, различил бы вдали нечто необычайное: человека, влекомого в бездну преисподней живою цепью летучих камелий! Но... тише! Вот робко и неясно, как проблески зари на небе севера, забрезжил в смутных глубинах моего сознания образ следующего, пятого по счету кумира, вот он сгущается, становится отчетливей... Мы с Марио мчались берегом реки. Наши кони вспарывали плотный воздух, неслись, вытянув шеи и высекая искры из камней, что попадали под копыта. Ветер бил нам в лицо, запутывался в наших плащах и развевал наши власы, мы походили друг на друга, точно пара близнецов. И чайка с тревожным криком металась, пророча грозу. «Куда спешат они, куда стремят свой бешеный галоп?» — вопрошала она. Но мы, как зачарованные, не чуя ничего вокруг, предавшись воле неистовых скакунов, безмолвно летели вперед; и встречный рыбак при виде всадников, подобных быстрокрылым альбатросам, спешил осенить себя крестным знамением и укрыться вместе с жалобно скулящим от страха псом в ближайшей пещере, уверенный, что это «заколдованные братья», прозванные так потому, что всегда неразлучны. На побережье ходят легенды об этих загадочных всадниках, рассказывают, будто их появление всякий раз предвещает великие бедствия: кровавую войну, что заносит грозную секиру над головами соседствующих народов; или холеру, что простирает смертоносную десницу над многолюдными городами. Почтенные старцы, не первый десяток лет грабящие суда, что терпят крушение у здешних берегов, говорят, значительно хмуря брови, что эти два призрака, испокон веков реющие в бурю над дюнами и рифами на своих широчайших черных крыльях, суть дух

земной тверди и дух морской хляби, являющие миру свое величие в часы, когда бушуют стихии, и повергающие в изумленье каждое новое колено человеческого рода. Прибавляют еще, будто обычно они парят крыло к крылу, как кондоры в скалистых Андах, описывая круги возле самого солнца, где чистейшие флюиды света служат им пищей, и лишь с великой неохотой спускаются с небесных высей к ненавистной орбите, по которой мечется, как в лихорадке, злосчастная планета, населенная кровожадными созданьями, что беспрерывно истребляют друг друга на поле брани под вой и рев жестокой сечи (а то и по-иному: в мирных городах, коварно и тайком вонзая в сердце ближнему клинок жестокой ненависти или зависти) да безжалостно пожирают других тварей, которые, хоть и являются существами низшего порядка, но так же, как человек, наделены даром жизни. Если же порой, воспылав желанием склонить людей к раскаянью своим пророческим глаголом, они решительными гребками направляются по волнам звездного океана туда, где мельтешит пресловутая планета, едва заметный издали шарик, окутанный густым смрадом, исходящим от него, как от помойной ямы,— смрадом, в котором смешались жадность, гордыня, злорадство, порок,— то им довольно скоро приходится раскаяться в своем благом порыве; отринутые и освистанные, спешат они укрыться в недрах вулканов, где им ласкает слух рев пламени, бурлящего в подземных чанах, или на морском дне, где их истерзанный взор отдыхает на хищных чудищах глубин, что кажутся кротчайшими созданьями в сравненье с племенем двуногих выродков. Когда же опускается благодетельная ночь, они устремляются наружу из увенчанных порфировым гребнем кратеров или из черных морских бездн, уносятся ввысь, оставляя позади землю, сей горшок в шипах и зазубринах, где ерзает в мучительных потугах голый зад человечества, подобного стае крикливых какаду, и не оглядываются, пока этот подвешенный в пространстве сгусток мерзости совсем не скроется из глаз. Тогда, удрученные неудачей, средь братски соболезнующих звезд и пред всевидящим Господним оком, рыдают, тесно обнявшись, два ангела: дух тверди с духом хляби!..

Два всадника: Марио и его мрачный спутник, конечно же, знали о суеверных слухах, которые шепотом передавали друг другу местные рыбаки, теснясь у камелька, при затворенных ставнях и дверях, меж тем как с воем вьется вокруг убогой хижины студеный ветер ночи, и просится в тепло, и сотрясает стены, что понизу обложены ракушками, предсмертными дарами волн. Но мы молчали. К чему слова двум любящим сердцам? В них нет нужды. Их заменяет взгляд. Вот глазами я сказал ему, чтобы он поплотнее укутался в плащ, а он мне — что мой скакун чуть вырвался вперед, мы оба переполнены заботой друг о друге, и обоих нас терзает скорбь. Вот мой Марио силится улыбнуться, но я-то вижу, как омрачено его лицо тяжелыми и неотступными раздумьями о сфинксовых загадках бытия, коварно заводящих в тупик умы пытливых смертных. Поняв, что ему меня не обмануть, он потупился и, с пеною у рта, с замкнутыми устами устремил тоскливый взор на бесконечную дорогу и ускользающий горизонт. Я тоже силюсь подбодрить его, говорю, что он еще совсем юн, а юность — золотая пора, юность подобна королеве, чьи дни протекают в чудесных дворцах, средь беззаботных наслаждений, но Марио видит, с каким трудом мои поблекшие уста выдавливают эту ложь, он знает: моя собственная юность, унылая, холодная, прошла, как безотрадный сон, и всюду: на пирах и на атласном ложе усталой жрицы сладострастья, что куплена за горсть монет, мне было уготовано все то же: горький хмель разочарования, постыдные морщины ранней старости, отчаяние одиночества и обжигающие угли боли. Поняв, что мне его не обмануть, я явственно представил Вседержителя в кровавом блеске ужасающих орудий пытки, потупился и устремил свой взор на бесконечную дорогу и ускользающий горизонт... А два коня летели вскачь, спасаясь от людского взгляда. Мой Марио так юн, ночная сырость и долетающие с берега

соленые брызги леденят его губы. «Будь осторожен! — заклинаю я.— Будь осторожен!; Сожми скорее губы: гляди, они растрескались, как будто их исцарапали до крови злые когти». Но бестрепетно взирает он на меня и отвечает, не сдвигая и не раздвигая уст: «О да, я вижу эти когти, но противиться им не стану и даже не пошевельну губами. Вот так: смотри и убедись. Раз это воля Провиденья, я покорюсь. Пусть устыдится, глядя на меня, убожества своей фантазии».— «Возвышенная месть!» — воскликнул я. Что оставалось, как не рвать на себе волосы, и я уж было принялся, но строгий взор его остановил меня, и я почтительно повиновался. Уже совсем стемнело, уже орел пронесся над нашими головами, возвращаясь в свое гнездо в расщелине скалы. И тогда Марио сказал: «Возьми мой плащ, укройся от стужи, а я обойдусь и так». Но я вскричал: «Не смей и думать! Я не позволю, чтобы вместо меня страдал кто-нибудь другой, и уж тем более ты!» Он промолчал, ибо я был прав, но я сам в душе укорял себя за излишнюю резкость... А два коня летели вскачь, спасаясь от людского взгляда... Но вот я встрепенулся, как челнок, подброшенный высокою волною, и воскликнул: «Ты плачешь? Ответь мне, о мой принц холодных снегов и жемчужных туманов. Хоть на твоем лице, прекрасном, как цветущий кактус, нет слез и сухи, как дно пересохшего озера, твои веки, но в глубине твоих глаз я вижу чан, наполненный кипящей кровью, а в нем — твоя невинность, и в горло ей вцепился ядовитый скорпион. Порывы ветра раздувают пламя под котлом, и языки этого мрачного огня вырываются наружу. Так что, наклонившись было к тебе, я тут же и отпрянул, почуяв запах гари — то вспыхнули волоски у меня на голове. Скорей закрой глаза, иначе лицо твое жидкою лавой стечет в мои раскрытые ладони». И Марио повернулся ко мне всем телом — натянутые поводья ему не помешали,— устремил на меня нежный взор и долго глядел, кротко помаргивая с мерностью набегающих и отступающих волн прибоя. И вот что он ответил: «Успокойся. Твоя тревога подобна туману, что клубится над рекой: он поднимается по склонам холмов, а достигнув вершины, сгущается и уплывает в небо причудливыми облаками; так и твои опасенья мало-помалу и без всякой причины разрослись и обратились в чудовищный мираж, реющий в твоем воображенье. Нет никакого огня в моих глазах, хотя мне в самом деле кажется, будто голова моя втиснута в раскаленную железную каску. Неправда, что моя невинность погружена в кипящий котел, хотя мне в самом деле слышатся глухие стоны, но, верно, это завывает ветер. Не может быть, чтобы в моих глазницах угнездился скорпион и больно жалил нерв, хотя мне в самом деле больно, словно кто-то мощными щипцами рвет глаза. И только в одном ты не ошибся: тот чан действительно наполнен моею кровью — прошлой ночью, пока я спал, невидимый палач выпустил ее из моих жил. Я ждал тебя, возлюбленный сын океана, долго ждал и почти заснул, так что, когда тот, другой, проник в мой дом, мои ослабевшие руки не выдержали схватки с ним... О да, душа моя заперта на засов в тесной каморке тела и не может вырваться, чтобы навек покинуть берега угрюмого моря человеческих страстей, чтобы не видеть больше, как мерзостная свора забот и бед неумолимо преследует людские табуны, точно стада быстроногих серн, и загоняет их в непролазные топи да на крутые обрывы, которыми изобилует томительный путь земной. Но все равно я не стану роптать. Дар жизни — что удар кинжала, и я мог бы легко залечить эту рану, наложив на себя руки, но поклялся не делать этого. Пусть каждый час нескончаемой вечности моя отверстая грудь будет перед глазами Творца. Так я желаю наказать его. Однако наши железные кони, кажется, замедлили бег, они дрожат, как охотник перед клыками злобных кабанов. Им вовсе незачем прислушиваться к нашим речам. Внимание разовьет в них интеллект, не ровен час, они научатся нас понимать. И им придется худо! Разве не убеждает в этом пример людей, которым пришлось заплатить за разум, что выделяет их из

прочих божьих тварей, бесчисленными страданиями? Вонзи же, как и я, серебряные шпоры в лошадиные бока...» А два коня летели вскачь, спасаясь от людского взгляда...

(2) Глядите, идет полоумная нищенка — идет, приплясывает на ходу, бормочет что-то несуразное. Дети швыряют в нее камнями, как в гадкую черную птицу. Она же грозит им клюкою, распугивает да бредет себе дальше. Башмак свалился с ее ноги и остался где-то на дороге — она и не заметила. Спутанные патлы на затылке, похожие на клубок пауков,— это ее волосы. Ни проблеска сознания в лице, а смех ее — хохот гиены. Обрывки слов срываются с ее уст, но мало кто мог бы составить из них нечто осмысленное. Драный подол хлещет ее по костлявым, забрызганным грязью лодыжкам. Она похожа на лист, сухой тополевый лист; слепой инстинкт, как равнодушный ветер, влечет ее по жизни, и лишь в глубинах помраченного рассудка мерцают тусклые воспоминанья. Былая красота исчезла, милой женственности нет и следа, она ковыляет, шаркает, винным перегаром смердит ее дыхание. И раз такое возможно на этой земле, то надо ль удивляться, что в нашем мире нету счастья! Но жалоб и упреков от нее никто не слышал, она горда, она не станет отвечать на расспросы любопытных, она унесет свою тайну в могилу. Дети швыряют в нее камнями, как в гадкую черную птицу... Какой-то свиток выпал на дорогу из складок рубища. Его подобрал случайный прохожий, отнес домой и читал всю ночь напролет. И вот что он узнал:

«У меня долго не было детей, пока наконец Провидение не послало мне дочь. Три дня на коленях благодарила я Господа, услышавшего мои молитвы. Я выкормила девочку грудью, и она стала мне дороже жизни. Малютка росла не по дням, а по часам, и я нарадоваться не могла, глядя, как она хорошеет и умнеет. «Жаль, что у меня нет сестренки,— часто говорила она мне,— мы бы играли с ней вдвоем. Попроси Боженьку, пусть пошлет мне сестренку, а я за это сплету ему веночек из фиалок, мяты и герани». В ответ я крепко обнимала и нежно ее целовала. Ей нравились звери и птицы, и она спрашивала, отчего ласточки только снуют близ стен человеческих жилищ, но никогда не залетают внутрь. Но я лишь прижимала палец к губам, как будто то была великая тайна,— я не хотела прежде времени ранить ее детскую душу и спешила отвлечь ее от предмета, тягостного для каждого, кто принадлежит к племени людей, неправедно утвердившему свое владычество над прочими живыми существами. Она любила гулять на кладбище, где так чудесно пахнут кипарисы и бессмертники, и я не перечила ей, я говорила, что кладбище — это птичий город, днем жители его поют, порхают по деревьям, а на ночь забираются под каменные плиты, где у них устроены гнездышки и живут их детки. Я сама шила для нее платьица, сама плела затейливые кружева для праздничных нарядов. Зимними вечерами она чинно, как большая, сидела у камина, а летом ее легкие ножки ласкали гладь лугов, она гонялась с шелковым сачком за вольными колибри и капризными бабочками. «Где ты, бродяжка? Суп дожидается тебя целый час, и ложка скучает без дела у тарелки!» — журила я ее. Она бросалась мне на шею и обещала, что больше никогда не опоздает. Но на другой же день вновь убегала на залитые солнцем поляны, где стлались под ноги ромашки с резедою и плясали над землей беспечные поденки. Ей были ведомы лишь радужные покровы жизни, глубин же, напоенных желчью, она пока не знала и потому резвилась, как котенок, кичилась пред синицей — ведь та была совсем мала, насмехалась над кукушкой — зачем та не умеет петь по-соловьиному, показывала исподтишка язык противному ворону, а тот отечески поглядывал на несмышленыша. Но недолгой была моя радость, близился час, когда померк для моей девочки божий мир, исчезло все, что тешило ее, и больше она не услышала воркованья веселых горлиц, лепета тюльпанов и анемонов, неспешного шепота болотных трав, задорной перепалки лягушек и прохладного плеска ручьев. Увы, меня не было с нею рядом, и мне обо всем рассказали люди. Я не дала бы умереть моей дочке, моему невинному ангелу, я скорее умерла

бы сама... Это был Мальдорор; это он, гуляя со своим бульдогом, увидел спящую в тени платана девочку, которую вначале принял за цветок. Злой замысел созрел в его уме едва ли не быстрее, чем глаз успел узреть дитя. Он деловито, не теряя времени, разделся. Оставшись наг, как червь, накинулся на девочку, задрал ей платье и приготовился лишить невинности... и это среди бела дня! Ему неведом стыд!.. И гнусное деяние — описывать его нет сил — свершилось. Но этого злодею показалось мало: одевшись и настороженно оглядев пустынную дорогу, он подозвал бульдога и приказал ему схватить железной хваткой и задушить несчастное дитя. Но, показав то место, где лежит стенающая жертва, он сам поспешно отошел, чтобы не видеть, как острые бульдожьи зубы вопьются в розовые вены. Но пес... пес ужаснулся приказу. И решил, что недопонял и что хозяин, верно, хочет, чтоб он проделал то же, чему был только что свидетелем, и это чудище, это мордастое пугало еще раз надругалось над хрупким детским тельцем. Вновь обагрили траву кровавые струи. Вновь громко стонет малютка, и насильник-пес рыдает с нею вместе. Дрожащею рукой она вытягивает пред собою золотой нательный крестик и умоляет пощадить — прибегнуть к этому заступничеству раньше она и не пыталась, как будто знала, что распятие не остановит святотатца, который посягнул на беззащитного ребенка. Но псу был ведом нрав хозяина, он знал, что̀ ждет его за неповиновение: взмах хозяйской руки — и пущенный ловким броском нож вонзится ему в брюхо. Конечно, Мальдорор — о, это проклятое имя! — слышал крики смертельных мук и не мог не подивиться, до чего живучей оказалась жертва. Он вернулся к месту заклания — и что же видит: его бульдог во власти похоти, и задранная морда над распростертым телом болтается, как голова утопающего, которую захлестывают волны. Что есть силы пнул Мальдорор песью голову и вышиб бульдогу глаз. Обезумев от боли, пес рванулся прочь, увлекая за собою безжизненное тело, которое тащилось за ним по земле — пусть только несколько секунд, но и это слишком много,— пока, мощными скачками набрав скорость, пес не стряхнул его. Он не осмелился напасть на хозяина, но покинул его навсегда. Меж тем Мальдорор достал из кармана американский ножик с дюжиною лезвий на все случаи жизни. Раскрыв их все, он превратил свое оружие в стальную гидру с негнущимися лапами; и, видя, что еще не вся поляна затоплена кровью, взмахнул своим диковинным ланцетом и вонзил его в истерзанное лоно девочки. Вспорол ей живот и вырвал все внутренности поочередно; легкие, печень, кишки, а под конец и сердце через чудовищный разрез извлечены на свет. Однако же, заметив, что несчастная, которую он потрошил, как хозяйка цыпленка, давно мертва, умерил пыл и скрылся, оставив тело девочки под тенистым платаном, на том же месте, где нашел ее уснувшей. Там ее и нашли, а неподалеку валялся раскрытый ножик. Убийца оставался неизвестен, пока не объявился некий пастух, видевший все своими глазами, но молчавший до тех пор, пока не убедился, что злодей уже пересек границу и не станет мстить ему за разоблачение. Мне жаль безумца, совершившего сие неслыханное преступление, не предусмотренное никаким законодателем. Мне жаль его, ибо он, скорее всего, был не в своем уме, когда ножом о двенадцати лезвиях кромсал кишки и жилы. Мне жаль его, ибо если он все-таки в здравом рассудке, то лишь неистовая ненависть к себе подобным могла ожесточить его настолько, чтобы он бросился терзать такое безответное созданье, как мое невинное дитя. Покорно и молчаливо смотрела я, как предают земле останки дочери, и с той поры каждый день прихожу молиться на ее могилу». На этом рукопись кончалась, и, дочитав ее, прохожий, подобравший свиток на дороге, упал без чувств. Придя в себя, поспешно сжег бумагу. Он забыл, он совсем забыл об этом случае из своей молодости (их было столько, все и не упомнишь!) и вдруг, спустя двадцать лет, вновь очутился на месте кровавого подвига. Но теперь уж он не станет заводить бульдога!.. Не станет заговáривать с местными пастухами!.. И ни за что не станет спать в тени платанов!..

Дети швыряют в нее камнями, как в гадкую черную птицу.

(3) В последний раз коснулся Тремдаль руки добровольного изгнанника, вечно бегущего от вечно преследующего его призрака Человека... Точно Вечный жид, скитается он по белу свету и знает, что давно бы обрел покой, когда бы скипетром царя природы был наделен, к примеру, крокодил. Тремдаль стоит в лощине, прикрыв глаза ладонью от яркого солнца, и жадно смотрит на друга, а тот идет, подобно слепому, ощупывая вытянутой рукою пустоту. Подавшись вперед и застыв — изваяние скорбного брата,— Тремдаль не отрывает взгляда своих бездонных, точно океан, очей от пары кожаных гетр, мелькающих вдали,— то карабкается по крутому склону, опираясь на окованную железом трость, одинокий странник. И Тремдаль готов полететь за ним вслед, не в силах сдержать ни льющихся из глаз слез, ни рвущихся из груди чувств.

«Он уже далеко,— думает Тремдаль,— вон крохотная фигурка на узкой тропе. Куда направил он свои стопы? Бредет наугад... Но... уж не сплю ли я? Нет-нет, я ясно вижу: что-то черной тучей надвигается на Мальдорора! Дракон! Огромный, как парящий в воздухе столетний дуб! Взмахи белесых суставчатых крыльев на удивление легки — не иначе, как в них стальные жилы. Тигриный торс, змеиный хвост. Сроду не видывал этакого страшилища. И надпись на лбу. Какие-то таинственные знаки, которых мне не разобрать. Еще один могучий взмах крыла — и вот он рядом с Мальдорором, рядом с тем, чей голос запечатлен в моей душе навеки. «Я ждал тебя,— сказал дракон,— мы оба ждали встречи. Час пробил, я явился. Прочти иероглифы на моем челе, и ты узнаешь мое имя». Но Мальдорор, едва завидев врага, преобразился в огромного орла и, изготовясь к бою, нацелившись на хвост дракона и предвкушая лакомую добычу, защелкал хищным клювом. Приглядываясь да примериваясь друг к другу, противники описывают в воздухе круги, все у̀же, у̀же, как и до̀лжно перед схваткой. Насколько я могу судить, дракон сильнее, и я хотел бы, чтобы победа досталась ему. Дрожь бьет меня — ведь в этот поединок вовлечена частица моего существа. Я стану ободрять тебя криками, о могучий дракон, я сделаю это ради орла, ибо поражение будет для него благом. Чего же оба ждут, зачем не начинают битву? Меня снедает нетерпенье. А ну, дракон, вперед! Ага, ты зацепил орла когтями за крыло, отлично! Ему пришлось несладко, гляди, как разлетаются во все стороны его перья, его гордость! Эх! Он вырвал тебе око, а ты лишь расцарапал ему грудь — так не годится! Браво! Отыграйся теперь ты, сломай ему крыло, покажи крепость твоих тигриных зубов! Теперь бы наподдать ему еще, покуда он летит на землю вверх тормашками! Но орел, даже поверженный, внушает тебе трепет. Вот он упал и больше не взлетит. Он весь в кровавых ранах — да возликует мое сердце! Дракон, спустись пониже, хлещи его чешуйчатым хвостом, прикончи, если сможешь. Смелей, мой славный дракон, вонзай поглубже свирепые когти, пусть струи крови сливаются в бурлящие ручьи, ручьи, в которых нет ни капли воды. Увы, легко сказать, да трудно сделать. Орел хитер и даже в столь неблагоприятном положении сумел изобрести оборонительный маневр. Уселся, растопырив хвост, что служил ему прежде рулем, и прочно опершись на лапы и невредимое крыло. Теперь ему нипочем любые удары, хоть бы они превосходили все прежние атаки. Тигриным лапам не застать его врасплох: стремительно и без устали уворачивается он от них, а не то опрокидывается навзничь и, выставив устрашающие когти, насмешливо глядит на врага. Вот орел с грозным видом подскакивает, так что сотрясается земля, он хочет напугать дракона, хоть знает, что ему уже не оторваться от земли. А дракон все опасается, как бы враг не налетел на него со стороны слепого глаза... Ах, я глупец! Ведь так и получилось! Как мог дракон подставить грудь?! Теперь уж не спастись ни хитростью, ни силой, орел прильнул к нему, вцепился, как пиявка, нечувствительный к новым ударам, которыми осыпал его противник, и, расклевав его чрево, засунул голову до самой шеи внутрь. Он не торопится выныривать. Он словно что-то ищет, а дракон-тигроглав страшным ревом оглашает окрестные леса. Но вот из

прорытой в драконьем теле норы показалась голова. Орел кровавый, кровью обагренный, о, как ты страшен! И хоть сжимаешь в клюве трепещущее сердце врага, но сам изнемогаешь от ран и шатаешься на ослабевших лапах, дракон же хрипит и бьется рядом, хрипит и испускает дух. Ну что ж, от правды не уйдешь: ты победил, хотя победа далась нелегко... Дракон убит, орлиный облик больше ни к чему, и ты вполне законно принимаешь прежний вид. Итак, свершилось, ты победитель, Мальдорор! Свершилось: ты убил Надежду! Отныне холодное отчаянье станет точить тебя и питаться твоею плотью! Отныне тебя ничто не остановит, и ты без оглядки пустишься стезею зла! На что уж я пресыщен зрелищем мучений, но боль, которую ты причинил дракону, передалась и мне. Ты видишь сам, как я страдаю! И ныне я боюсь тебя. Глядите, глядите, люди, на этого, уходящего вдаль! Семя порока нашло в нем благодатную почву и породило пышное древо, он проклят и несет проклятье каждому, кого коснется. Куда ты держишь путь? Куда идешь неверным шагом, точно сомнамбула по гребню крыши? Да свершится участь твоя, нечестивец! Прощай же, Мальдорор! Прощай навек, нам более не свидеться с тобою ни в этой жизни, ни за гробом!»

(4) Стоял погожий весенний день. Птицы небесные распевали на все голоса ликующие песни, а люди предавались бесчисленным работам, обливаясь святым потом тружеников. Все в природе: деревья, планеты, морские хищники — прилежно выполняло свой долг. Все, кроме самого Творца! В рваных одеждах валялся он на дороге. Нижняя губа его отвисла, приоткрыв давно не чищенные зубы, золотистые пряди волос разметались в пыли. Тело, скованное тяжким оцепененьем, распростерто на камнях, и тщетны все попытки встать. Он лежал, лишенный сил, беспомощный, как червяк, и бесчувственный, как пробка. Порою дрожь пробегала по его плечам, и тогда ручейки из винной лужи затекали под спину. Свинорылое скотство заботливо сомкнуло над ним свои крылышки и умиленно на него взирало. Ноги, огромные, как корабельные мачты, бессмысленно скребут дорогу, не находя опоры. Падая, он угодил лицом в столб, и кровь течет из его ноздрей... Он пьян! Постыдно пьян! Как клоп, что высосал три бочки крови за ночь! И эхо разносило по округе разнузданную брань, которой я не смею повторить, ибо еще не дошел до такого бесстыдства, как этот божественный забулдыга. Всевышний пьян — кто б мог поверить?! Святые губы лакали из чаши хмельного застолья — возможно ль! Пробегал мимо еж и вонзил ему в спину свои иглы и сказал: «Вот тебе. Солнце стоит высоко в небе, встань же, бездельник, встань и трудись, кормись своим трудом. Вставай, не то позову жесткоклювого какаду — узнаешь тогда, почем фунт лиха!» Пролетали мимо филин да дятел и долбанули его что есть силы клювами в живот и сказали: «Вот тебе. Что тебе понадобилось у нас на земле? Хочешь, чтобы звери полюбовались на твое непотребство? Так знай же, твой пример не соблазнит никого: ни казуара, ни фламинго, ни крота». Проходил мимо осел и лягнул его копытом в висок и сказал: «Вот тебе. За что наградил меня такими непомерно длинными ушами? Все, до самой последней козявки, смеются надо мною». Скакала мимо жаба и плюнула ему в глаза ядовитой слизью и сказала: «Вот тебе. Если бы ты не сделал меня такой пучеглазой, я сейчас лишь целомудренно прикрыла бы тебя цветами: нарциссами, камелиями, незабудками,— чтобы никто не видел твоего позора». Проходил мимо лев и склонил свою царскую гриву и сказал: «Пусть величие его на время затмилось, я все же чту его. Вы же, мнящие себя гордыми смельчаками, просто жалкие трусы, ибо хулите и пинаете спящего. Каково было бы вам самим терпеть от каждого такие оскорбленья?» Проходил мимо человек и остановился перед Господом и, не признав его, на радость вшам да гадам три дня прилежно орошал зловонной жижей пресветлый лик. Будь же проклят, человек, за эту низость, за то, что надругался над врагом, застав его поверженным, в грязи, залитым кровью и вином, беспомощным, почти что бездыхан-

ным!.. Но наконец, разбуженный всей этой пакостной возней, Господь с трудом поднялся, шатаясь, сделал несколько шагов и зашагал к придорожному валуну. Бессильно, как яички чахоточного импотента, болтаются его руки, бессмысленным мутным взором озирает он подлунный мир, свое владенье. О люди, неблагодарные чада, заклинаю вас, пожалейте своего владыку, взгляните на него: еще не выветрились винные пары, и он, едва добравшись до желанного камня, рухнул на него, как путник, утомленный долгой дорогой. Но вот подходит нищий и видит поникшего странника с протянутой рукой, и, не задумываясь, кто он, кладет кусок хлеба в эту молящую о милостыне ладонь. И признательный Господь слабо кивает ему. Не спешите судить о Боге, смертные, разве ведомо вам, каких усилий стоит подчас не выпустить из рук поводья вселенской колесницы! Как от потуги приливает к голове кровь, когда приходится творить из ничего новую комету или новую расу мыслящих существ! Порою изнуренный дух сдается, отступает, и Божество, пусть только раз за вечность, не может не поддаться слабости — и в этот миг его застали.

(5) Красный фонарь, зазывала порока, висит над массивной прогнившей дверью и служит игрушкой порывам строптивого ветра. Грязный, зловонный, точно отхожее место, проход ведет во внутренний двор, где дерутся за корм петухи и куры, сами такие же убогие, как их никчемные крылья. Высокие стены окружают двор, а в западной проделаны скупые окошки с железными решетками. Замшели камни обители, прежде служившей приютом для благочестивых черниц. Что ж ныне здесь? Жилище блудниц, готовых ублажить своим срамом любого, кто выложит пару блестящих монет. Я стоял на мосту, перекинутом через ров и утопающем арками в илистом, вязком дне,— стоял, разглядывал старинное строение и жаждал обозреть его во всех деталях изнутри. Пока я так смотрел, то одна, то другая решетка на крохотных окошках вдруг начинала выпирать и вылетала вон, словно чья-то упорная длань напирала и гнула железные прутья, затем в окошке появлялась голова, засыпанные штукатуркой плечи, и вылезал человек, весь в клочьях паутины. Он свешивался вниз, пока пальцы его не достигали земли и не упирались в утрамбованный слой нечистот, образуя на нем подобье двух корон, между тем как ноги еще не вырвались из цепких тисков решетки. Когда же наконец он утверждался в естественном положении, то спешил окунуть руки в щербатое корыто с мыльною водой, повидавшее на своем веку не одно поколение смертных, и шел скорее в город подальше от этой затхлой трущобы. А вслед за ним из этой же дыры и таким же диковинным способом выбиралась нагая женщина и направлялась к тому же корыту. Но к ней со всех сторон сбегались петухи и куры, влекомые запахом человеческого семени; валили ее наземь, как она ни отбивалась, топтались по ее распростертому телу, словно по навозной куче, и расклевывали до крови дряблые губы ее натруженного лона. Насытившись, все птицы снова разбредались по двору, а женщина, обклеванная ими дочиста, кровоточащая, дрожащая, вставала, словно очнувшись от дурного сна. Идти к корыту больше не было нужды, и, бросив тряпку, прихваченную, чтобы обтереть ноги, она вновь заползала в свою зарешеченную нору и поджидала, пока опять перепадет работа. При виде этого мне тоже захотелось проникнуть в этот дом! И я уже сорвался с места, как вдруг мой взгляд упал на письмена, начертанные на мостовом столпе, то были еврейские буквы, и надпись гласила: «Прохожий, стой, ни шагу дальше! Там, за мостом, царит разврат с разбоем вкупе. Как-то юноша переступил сей роковой порог, и тщетны были ожиданья друзей — он не вернулся». Но любопытство оказалось сильнее страха, и минуту спустя я уже стоял перед одним из забранных крепкой и частой решеткой окошек. Заглянув сквозь эту сетку внутрь, я поначалу увидел только тьму, но постепенно лучи угасавшего на горизонте солнца позволили мне разглядеть внутренность каморки. И то, что я увидел, поразило мой взор: нечто, похожее на огромный шест, казалось, состоящий из надетых

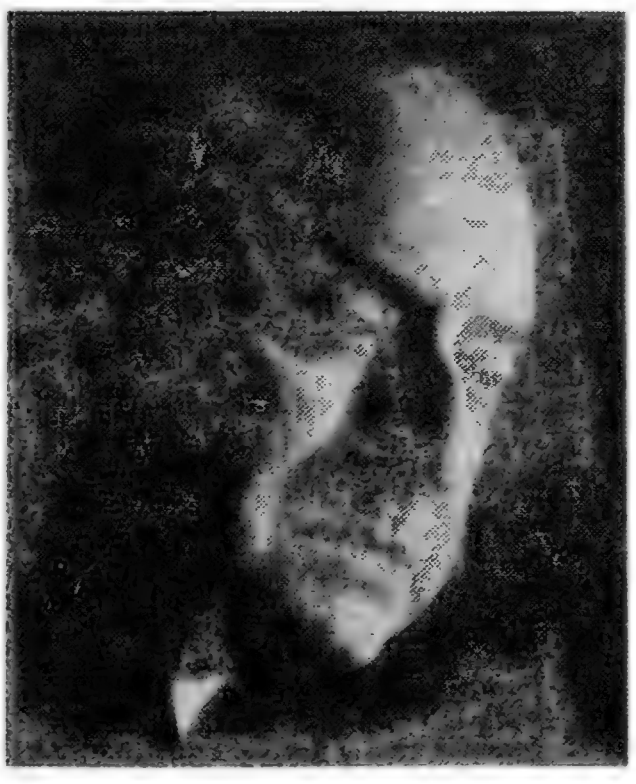
друг на друга воронок. И это нечто двигалось! Металось по комнате и билось в стены! Удары были столь сильны, что сотрясался пол, а в стенах уже зияли выбоины, как от тарана, которым сокрушают ворота осажденного города. И все же странное орудие не могло пробить монастырских стен, сложенных из каменных глыб, и каждый раз, врезаясь в камень, оно сгибалось, как стальной клинок, и отскакивало, как упругий мячик. Значит, оно не из дерева! Вдобавок ко всему оно легко свивалось и разматывалось, точно угорь. Этот шест был высотою с человека, но стоять вертикально не мог. И, хотя все снова и снова выпрямлялся, желая все же прошибить брешь, но каждый раз в изнеможенье падал на пол. Приглядевшись повнимательнее, я наконец понял, что̀ это было: волос! Изнуренный жестокой схваткой со стенами своей тюрьмы, он поник, прислонясь одним концом к спинке кровати, а другим упершись в ковер на полу. И тогда до меня донеслись сначала рыдания, а после скорбный голос:

«Хозяин бросил меня в этой каморке, бросил и забыл. Он встал с этой самой кровати, расчесал свои благоуханные власы, не помышляя обо мне, упавшем на пол. Простая справедливость требовала, чтобы он поднял меня. Но он меня оставил, оставил томиться взаперти, ушел, натешившись объятиями женщины. И какой женщины! Простыни, которых касались их разгоряченные тела, еще не остыли, они измяты и разбросаны, свидетели всего, что было ночью...» А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее приникал к решетке... «Пока весь мир и вся природа вкушали непорочный сон, он предавался грязному разврату, совокуплялся с нечистой тварью. Он пал так низко, что не гнушался приближать свои ланиты к ее презренным, не знающим стыда щекам. Мне, мне было стыдно, а он не краснел. Он был в восторге от своей подруги на одну ночь. Ну, а она, пораженная величественным обликом своего гостя, упивалась небывалым блаженством и страстно обвивала руками его шею». А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее приникал к решетке... «Вокруг моего корня вздувались волдыри, сочащиеся ядовитым гноем, и набухали по мере того, как распалялась дотоле неведомая моему хозяину похоть, набухали и вытягивали из меня жизненные соки. Чем исступленнее делались их ласки, тем быстрее убывали мои силы. И когда спаянные вожделением тела забились в бешеных конвульсиях, мой корень зашатался, как сраженный пулей солдат, и оборвался. Разом погасло согревавшее меня живое пламя, я отломился, как засохшая ветвь, и слетел с божественной главы на пол, ослабший, помертвевший, изможденный, но полный жалости к хозяину и скорби о его сознательном грехопаденье!» А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее приникал к решетке... «Еще куда ни шло, когда бы он сжимал в объятьях чистую, невинную деву. Она, по крайней мере, была бы более его достойна, и это было бы не так позорно. Но горе! он лобзает лоб блудницы, покрытый коростою грязи, не единожды попранный грубою, пыльной пятой! Он с упоением вдыхает влажный смрад ее подмышек! Я видел, как от ужаса вставали дыбом волосы, что растут в этих потных ложбинках, видел, как сжимались от стыда и отвращенья ноздри, не желая вбирать в себя зловоние. Но любовники не принимали во внимание протест подмышек и ноздрей. Она все выше вскидывала руку, а он все яростнее прижимал лицо. И я был принужден терпеть это кощунство! Принужден глядеть на эти бесстыдные телодвижения, наблюдать насильственное слияние двух несоединимых, разделенных бездною существ!..» А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее приникал к решетке... «Пресытившись в конце концов потным духом своей подруги, он возжаждал растерзать ее живую плоть по жилкам, но пощадил, ибо она была женщиной, и предпочел подвергнуть этой пытке кого-нибудь из мужеского пола. Призвав некоего юношу из кельи по соседству, беспечно заглянувшего в сию обитель поразвлечься с девками, он велел ему подойти поближе к ложу. Я не мог видеть, что в точности произошло между ними, поскольку

обломанный кончик мучительно болел и не давал приподняться с полу. Но как только мой хозяин смог дотянуться до юноши рукой, клочья трепещущего мяса полетели на пол и упали подле меня. Они-то и поведали мне шепотом, что хозяин выдрал их, схватив несчастного за плечи и притянув к себе. Несколько часов боролся юноша с неизмеримо сильнейшим противником и наконец поднялся с ложа и горделиво распрямился. Вся кожа с его тела была содрана, вывернута наизнанку, спущена, как чулок, и волочилась за ним по каменному полу. Приветливый и добрый по природе, он до тех пор был расположен верить, что другие люди так же добры друг к другу, и потому с охотою откликнулся на зов внушительного незнакомца и, разумеется, не мог предположить, что попадет в объятья палача. «Палач и изверг»,— думал он теперь с обидой. Когда он подошел к окошку, оно, из жалости к освежеванному человеку, с треском раздалось до самого пола. Не расставаясь с содранною кожей, которая, как справедливо рассудил он, еще могла ему на что-нибудь сгодиться, юноша покинул келью и ступил на двор, стремясь скорей оставить зловещий вертеп. Я не мог видеть, хватило ли у него сил добраться до выхода, зато воображаю, с каким священным ужасом отпрянули от него петухи и куры, и даже голод не мог заставить их приблизиться к кровавой дорожке на влажной земле!» А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее приникал к решетке... «Однако и тот, кому надлежало бы побольше печься о своем достоинстве и доброй славе, оторвался наконец от ложа. О, как он мрачен, одинок, чудовищен, ужасен!.. Изнемогая от усталости, он медленно оделся. А вкруг него унылым хороводом кружили души усопших монашек, покоившихся в подземелье и пробужденных от вечного сна дикой пляскою звуков над головами. Пока он подбирал осколки своего разбитого величья, пока отмывал руки собственными плевками (все лучше, чем оставить их немытыми после такой любовной и кровавой оргии), монашки затянули скорбные молитвы, как будто отпевали мертвого. Наверное, и в самом деле замученный юноша не перенес пытки, учиненной над ним божественною десницей, и испустил дух под их заунывное пение...» Тут я вспомнил надпись на мосту и понял, что сталось с исчезнувшим отроком, которого еще и ныне ждут его друзья. И все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее приникал к решетке... «Вот перед господином расступились стены, и он, расправив крылья, дотоле спрятанные в складках изумрудного хитона, устремился ввысь. Монахини тогда бесшумно воротились в свои гробы. О, где же справедливость: он вознесся в небесную обитель, а обо мне не вспомнил! Все волосы остались невредимы, и только я один валяюсь на полу, средь луж загустевающей крови, кусков подсыхающей плоти, в проклятой келье — с той ночи никто не переступает ее порога,— я заперт, позабыт и замурован! Неужто же все кончено? И мне не видеть больше сомкнутых рядов небесного воинства, не любоваться мерным ходом светил в садах вечной гармонии. Ну что же, пусть так... я приму свою судьбу с должным смирением. Но поведаю людям обо всем, что видел здесь. Пусть и они отбросят всякую благопристойность, как вышедший из моды плащ, пусть упиваются пороком, раз сам хозяин подал им пример!» Это было последнее, что сказал волос. А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее приникал к решетке!.. Вдруг грянул гром, и келью озарило ослепительное сияние; повинуясь невольному порыву, я отпрянул от окошка, но все же до меня донесся голос, другой, не тот, что прежде, униженно-елейный, боязливо-тихий: «Уймись! Уймись и молчи... не ровен час, услышат... Ты будешь снова красоваться на моей главе, я заберу тебя, но только позже, под покровом ночи, я не забыл... но если кто-нибудь тебя увидит, я пропал! О, ты не знаешь, чего я успел натерпеться! Только ступил я на небеса, как меня окружили любопытные архангелы. И хоть открыто никто не спросил, куда и зачем я отлучался, но все они, еще недавно не смевшие поднять на меня глаз, то и дело бросали изумленные взгляды на мое помертвевшее от усталости лицо

и хоть не в силах были проникнуть в мою тайну, но мысленно сошлись на том, что я необычайно изменился. И втуне проливали слезы, и смутно понимали, что я утратил совершенство. И гадали, что за злосчастная прихоть меня обуяла; чего ради, покинув райские пределы, сошел я на землю и прельстился бренными утехами, которые дотоле презирал. Архангелы узрели две капли на моем челе: каплю спермы из лона блудницы и каплю крови из жил невинного мученика! Они жгли меня, как позорные язвы! Уродовали, как мерзкие струпья! Архангелы нашли клочки моей огнеблещущей мантии, что зацепились за звездные тернии и застряли на небе, поражая взоры земных народов. Залатать ее они так и не смогли, и потому я предстал пред их невинностью нагим — это ли не возмездие за поруганную добродетель! Гляди, глубокие борозды прорезают мои поблекшие веки: то медленно стекают по сухому руслу морщин капля спермы и капля крови. Достигнув губ, они неумолимо, точно влекомые магнитом, просачиваются в святилище моего рта и проникают в горло. Две раскаленные капли — душат, душат! Я, властелин вселенной, склоняю выю перед приговором совести. «Недостойный отщепенец» — гласит сей приговор. Уймись же! Уймись и молчи! Не ровен час, услышат... Ты будешь снова красоваться на моей главе, я заберу тебя, но только позже, под покровом ночи... Сатана, заклятый враг мой, взметнул свой остов и, изойдя из бездны, ликующий, победоносный, срамил и поносил меня перед толпой своих приспешников — увы, я заслужил его хулу! Вечно и неотступно следил он за каждым моим шагом, и вот я уличен! «Кто бы мог подумать,— вещал он,— что мой надменный соперник рискнет пуститься в долгий путь по бурному эфиру, и зачем же — лишь затем, чтобы облобызать подол распутной девки да до смерти замучить беззащитного юнца. Меж тем, в этом юноше, жертве его изуверства,— вещал он,— возможно, погиб дивный гений, поэт, чьи песни могли бы утолить томленье смертных, укрепить их дух. А бедные монашки из монастыря-вертепа! Они лишились покоя, они бродят как сомнамбулы по окрестным лугам и топчут лилии и лютики; негодованье помутило их рассудок, однако не настолько, чтоб пережитый кошмар изгладился из памяти... Да, вот они идут унылой, молчаливой чередою, в белых саванах, с распущенными волосами, с поникшими и почерневшими цветами на груди. Вернитесь, сестры, в свое подземелье, еще не ночь, еще только сгущаются сумерки...» Ты видишь, волос, все, все вокруг вопиет о моем преступленье! Сатана объявил, что я, владыка всего сущего, был крайне легкомыслен (мягко говоря), выставляя напоказ свое бесстыдство, ибо теперь он, супостат, оповестит все мне подвластные миры о том, как я своим примером поддерживаю милосердие и справедливость. Почтение, которое ему внушал непогрешимый враг, развеялось, и ныне он с меньшим ужасом занес бы руку на чистую деву, как ни кощунственно такое покушенье, чем плюнул бы в мое лицо, покрытое тремя слоями тошнотворной смеси семени и крови, и замарал бы о него свою тягучую слюну. Ныне он превзошел меня, причем превзошел не в пороке, а в целомудрии и добродетели. Меня же,— вещал он,— следовало бы привязать к позорному столбу за мои черные дела, следовало бы изжарить на медленном огне и вышвырнуть в море, если только оно не побрезгует мною. И коль скоро я счел справедливым навечно осудить и проклясть его за малую провинность, то теперь с такой же непреклонностью обязан осудить самого себя и назначить кару, сообразную моей чудовищной вине... Уймись же! Уймись и молчи! Не ровен час, услышат... Ты будешь снова красоваться на моей главе, я заберу тебя, но только позже, под покровом ночи». Тут речь Творца оборвалась: должно быть, ураган стесненных чувств, подобный смерчу, что взметает вместе с волнами косяк китов из океана, вздымал его измученную грудь. О царственная грудь, навеки осквернённая единственным прикосновением сосцов блудницы! О божественная душа, на миг поддавшаяся гидре порока, спруту сладострастья, акуле кровожадности, удаву малодушия, мокрице слабоумья! Должно быть, они бросились

друг другу в объятия: выпавший волос и его падший хозяин. Но вот Всевышний продолжал, представ как подсудимый пред собственным своим судом: «А люди, что подумают люди о том, кому они поклонялись, когда им станут известны мои нечестивые деяния, мои блужданья в затхлых лабиринтах низменной материи, среди гнилых болот и скользких камышей — блужданья, что привели меня туда, где стонет и ревет в вонючем логове косматое, свирепое чудовище — преступное злодейство!.. Предвижу, мне придется потрудиться, и изрядно, чтоб оправдаться в их глазах и вновь снискать их уважение. Я, верховный Творец и Владыка, пал ниже человека, которого собственноручно вылепил из глины! Нет, остается только ложь, так говори же всем, будто я никогда не спускался с небес, будто пребывал и пребываю в своих чертогах, украшенных скульптурами, колоннами, искусною мозаикой; будто погружен в заботы о благоденствии своей державы. Представь: вот я явился к своим земным чадам и проповедую: «Изгоните из ваших жилищ зло и широко откройте двери добру. Да не уповает на мое благое милосердие тот, кто поднимет руку на ближнего и поразит грудь его смертоносным клинком, да убоится он, гонимый отовсюду, святого правосудия. Скроется ли в лесную чащу — но в шепоте дерев, в шуршанье трав и шелесте ветра услышит стоны попранной совести; бросится прочь — гибкие лианы станут цепляться за его ноги, чертополох с иглицею — царапать кожу, а скорпионы — жалить пятки. Направит ли свой бег на дикий берег — но море грозно надвинется на убийцу, море метнет ему в лицо ледяные брызги, море прогонит нечестивца. В смятенье заберется он на скалы, на голый утес, но вслед ему лютые ветры в полых пещерах и сквозных расселинах поднимут рев, как стадо диких буйволов в пампасах. Береговые маяки, насмешливо мигая, проводят его до полунощных пределов своими беспощадными лучами, а блуждающие огни, эфемерные болотные духи, закружат его в бесовской пляске, так что дыбом поднимутся его власы и обморочной мутью подернутся его глаза. Так пусть же благочестие обоснуется в ваших хижинах и осенит ваши поля. Тогда сыновья, достигнув цветущей юности, почтительно преклонят колена пред родителями, иначе же вырастут чахлыми, пожелтеют, как ветхие манускрипты в книгохранилищах, обрушат дерзкие упреки на ваши головы и проклянут тот час, когда зачало их похотливое материнское лоно. Но если диктующий строгие законы сам же нарушит их, то можно ль требовать, чтобы их соблюдали слабые люди?.. О неизбывный, о вечный, как вселенная, позор!» Наверно, волос, убедившись, что не забывчивость, а осторожность заточила его в каменном мешке, смягчился и простил хозяина. Угас последний бледный луч закатного солнца, утонули во мраке отроги ближних гор, и словно серая пелена заволокла мои глаза. Я повернулся к окошку и в надвигающейся тьме успел увидеть, как волос нежно, будто саван, обвивает господина. Уймись же, волос, уймись и молчи... не ровен час, услышат... Ты будешь снова красоваться на его главе. Уже совсем темно, пора, скорее, бесстыдный старец и невинный волос, скорее прочь из этого гнезда разврата, неслышно, крадучись, за монастырские ворота, на равнину, а там ночная тьма укроет все следы... Откуда ни возьмись, вдруг выскочила вошь и злобно зашипела: «Ну, что ты скажешь?» Я промолчал. Я вышел из ворот и вскоре достиг моста. Стер прежнюю надпись и заменил ее другой: «Хранить такую тайну — все равно что носить в сердце кинжал, и все же клянусь молчать о том, что́ мне открылось и чему я был свидетелем за этими проклятыми стенами». И зашвырнул подальше нож, которым выцарапал эти буквы. Создатель еще юн, а вечность так длинна, и, значит, еще долго человечеству терпеть его жестокие причуды и пожинать кровавые плоды его безмерной злобы. Иметь его своим врагом — о нет! И, закатив от ужаса глаза, пошатываясь, словно пьяный, я вновь побрел по темным закоулкам.



ГОТФРИД БЕНН

Лирика

Перевод с немецкого А. КАРЕЛЬСКОГО

От переводчика

Наверное, Готфрид Бенн (1886—1956) — самая интригующая фигура в немецкой поэзии XX века. Ценителям, знатокам и историкам ее давно уже ясно: Бенн в ней — классик, одна из вершин, над уровнем поэтического моря его высота — рядом с высотою Рильке и Георге. Но! — поэт, написавший: «Венец творенья, тварь, человек! — Якшайтесь лучше с другими зверьми!»; поэт, последовательно и резко открещивавшийся от всего, что считалось в этом веке «левым», «прогрессивным», «демократическим», «гуманистическим»; интеллигент, приветствовавший в 1933 году фашизм! Что за «классик»? Гений — и злодейство?..

Насчет фашизма скажем сразу, для полной ясности: да, было. Это слышал по радио немецкий народ, это слышал пораженный мир. Можно искать этому объяснения, можно не находить этому оправданий. Но полной беспристрастности и справедливости ради следует учесть, что то был короткий момент в биографии Бенна; он очень быстро осознал это как роковую ошибку и ни поэтом, ни идеологом нацизма не стал. Уже в 1935 году он как поэт подвергается яростной травле со стороны фашистской прессы, в 1938 году получает официальный «запрет на писательство». Наказан он был, однако, и с другой стороны: после войны ему нельзя было публиковаться уже по запрету союзников, действовавшему вплоть до осени 1948 года.

Здесь не место вдаваться подробно в «грехопадение» Бенна, коль скоро он сам осознал его как таковое. Стоит только заметить, что нам, наверное, особенно непросто быть ему судьями: ведь сколько наших весьма именитых поэтов славили не менее бесчеловечную систему, и не только в хаотический момент ее рождения, но вплоть до конца, в ее, так сказать, уже откристаллизовавшихся формах!

Много сложней проблема с первыми стихотворными сборниками Бенна, находящимися, казалось бы, в столь разительном противоречии с большинством поздних его стихов. Как совместить в едином голосе — ну хотя бы вот эту кристальную чистоту эмоции и тона: «Косы, орудья лета, /в риги унесены;/ кубки, полные света, /книзу наклонены»,/— вот с этим, начальным: «Из стылого кишечника земля... исторгла этот ком кровавой слизи, /Вот он и ковыляет,/ Самодовольный, /По нисходящей/ В тень и мрак»? И ведь в обоих стихотворениях, как легко заметить,— одна тема; скажем так — неминуемость жизненного конца.

Безусловно, историк литературы может тут удивленно пожать плечами: что ж такого, творческая эволюция, ранний и зрелый этапы, от воспаленного бунта к умиротворенной классичности, не он один. Можно привести и свидетельство самого Бенна, написавшего в 1952 году при новом издании своих ранних стихов: «Признаюсь: чтобы прочесть корректуры этого тома, мне понадобилось не счесть сколько аперитивов и коктейлей для души и желудка; правда, потом все это в целом — как старт и как сумасшествие — показалось мне хорошим. Я стал вспоминать. Наверное, это было тяжелое заболевание, теперь оно излечено. Излечено? Процессы сродни энцефалиту, наполовину лирическая эпилепсия, наполовину моральная летаргия — а сегодня?» Вроде бы все ясно. То была болезнь, и Бенн, профессиональный медик, ставит беспощадно четкий диагноз. Но, пользуясь его же логической фигурой в этом рассуждении, продолжим: все ясно? Так ли? Ранние сборники («лирическая эпилепсия») не совсем уж были детской (или юношеской) болезнью — «Морг» появился в 1912 году, «Плоть» — в 1917-м. Но и у совсем позднего Бенна немало можно найти весьма резких «рваных», эпатирующих стихотворений.

Раннего Бенна принято причислять к экспрессионистам. Общего много, но скорее — формального. Сходство в том, что все это поколение выломилось из вековой классически-романтической традиции, решительно порвало с принципами пропорции и меры, с гармоническим равновесием формы, по давнему заблуждению воспринимавшимся как признак жизнеподобия. Но радикализм раннего Бенна таков, что по сравнению с ним бунтарские выходки большинства экспрессионистов выглядят поистине детскими игрушками.

Каким бы искаженным ни представал образ человека у экспрессионистов, эти искажения относились преимущественно на счет внеположных обстоятельств. Человек

изначально хорош и добр, но ложный вектор материального прогресса, бездушная капиталистическая цивилизация делают его злым и уродливым; если устранить эти обстоятельства, все еще можно вернуть и спасти. Нас приветствует из глубины веков прадед Жан-Жак.

Насчет того, чтобы все вернуть, Бенн как будто согласен. В скрежещущих диссонансах его ранней лирики вдруг слышатся отзвуки чуть ли не пасторальной идиллии, эхо пастушеских флейт — как в зачине «Икара». Но всегда есть предел, у которого пресекается колыбельная логика руссоизма. Бенн не согласен с тем, что можно что-то *спасти,* ибо он-то не видит оснований для веры в изначальную красоту и доброту человека. Вот тут и начинается его решительное размежевание с экспрессионизмом, и не только с ним; можно сказать, тут-то и бросает Бенн свою бомбу в храм европейской изящной словесности и просветительски-гуманистической философии.

Мало того, что он снова и снова декларирует ничтожество человека и аргументирует это его бренностью, его смертностью; в конце концов, тезис «Я раб, я червь» известен европейской мысли еще со средних веков. Бенн эту бренность с беспощадной прямотой *демонстрирует;* свою профессиональную практику врача-психиатра и венеролога он использует как главный *эстетический* аргумент и бьет им, что называется, ниже пояса. То, с чего всякий врач начинает свое изучение человека, Бенн представляет конечной истиной человековедения. Рассеченный труп в анатомическом театре — это и есть подлинный образ и подлинная суть человека. Все остальное — самообман, веками возводившаяся и поддерживавшаяся кулиса: представление о homo sapiens, о вечных ценностях, о душе, духе, Боге. Подлинный венец человеческого существования — морг, этот «итог грехопадений и Голгоф».

Как уже говорилось, Бенн бьет в самую больную точку. Ведь коронным свидетельством бессилия и ничтожества человека, бессмысленности его жизни у него предстает то, что и в самом деле непреодолимо. Бессмертия нам не даст никакая утопия; во всяком случае, ничто не отменит фазы физической смерти — а ее-то и живописует Бенн во всех подробностях, с ужасом и даже как будто злорадством.

Пожалуй, до Бенна только Бодлер дерзнул учинить такой же силы скандал в поэзии, когда во всеоружии отточенного лирического словесного арсенала, в чеканной форме классического стиха описал не только физическое и моральное уродство современного человека, но и разлагающийся труп лошади. Однако рядом и по контрасту с этой сферой «сплина» Бодлер возводил и сферу идеала. Там ясно было, за что стоит сражаться и во имя чего бичевать и разоблачать зло.

У раннего Бенна противовесов не дано. Оттого и столь ошеломителен и стоек шок от этих его стихов. (Признаюсь и я как автор данной публикации: не без внутреннего сопротивления, вопреки всем своим поэтическим пристрастиям, со странным чувством переводил я такие стихи, как «Малютка астра», «Реквием», «Врач»; но мною руководило убеждение, что надо все-таки однажды представить русскому читателю и *этого* Бенна тоже — для полноты и объективности картины [1].)

Тут возникает наивный вопрос: но зачем же он тогда писал стихи? Те же мысли он снова и снова варьировал в своей эссеистической прозе — не менее агрессивной по тону, виртуозной стилистически,— и там они смотрятся все-таки естественней. В конце концов, бывают закоренелые пессимисты и «нигилисты», и ничто не мешает им изливать душу публично. Но почему — в стихах? Зачем, анатомируя труп и выворачивая внутренности человека, искать для этого ритмы и рифмы?

Можно этот вопрос и перевернуть, поставить совсем риторически: по какой прихоти Муза обосновалась в жизни и сознании человека, рассекавшего трупы? Ведь он явно не мог отвязаться от мысли об этих трупах, он *считал* их, они поистине были для него мерой бытия (из очерка 1915 г. о «молодом враче Рённе» — очерка недвусмысленно автобиографического: «...он два года работал в Институте патологии, т. е. через его руки, не давая опомниться, прошло примерно две тысячи трупов...»). Но вот еще и Муза... Позже-то он признается, что поэзия для него — это род богослужения (и соответствующий ряд строф так просто и озаглавит «Стихотворенье»); он будет и в прозе и в стихах повторять мысль о том, что поэтическое слово, совершенство формы — это единственное возможное торжество и единственное утешение. Так что же он так долго не только пренебрегал утешением Музы, но и демонстративно оскорблял все ее установления и обычаи, стремился прилюдно унизить ее? Он, можно сказать, гнал ее от себя — а она почему-то не ушла, и в конечном счете победа осталась за нею!

Вне всякого сомнения: эффект, на который рассчитана ранняя поэзия и позиция Бенна,— демонстративное кощунство. Над всеми ценностями традиционного гуманизма, в том числе и над поэзией. Бенн создал тут наиболее чистый образец, эталон, далеко превзойдя не только Бодлера, но и такого радикального ниспровергателя ценностей, как Ницше,— своего более близкого по времени духовного отца. Но давно известно также и то, что навязчивая идея оскорбления святынь еще не есть их *подлинное,* бесповоротное отсечение и отрицание. «Так храм оставленный — все храм...»

Если преодолеть первый шок, если устоять перед этой намеренной провокацией, этой фронтальной атакой, то тогда взгляду, обретшему равновесие, откроется нечто

---

[1] Большие подборки лирики Бенна (в основном более поздней) см. в изданиях: «Из современной поэзии ФРГ. Выпуск I», М., «Радуга», 1983; «Вести дождя. Стихи поэтов ФРГ и Западного Берлина», М., «Худ. лит.», 1987. Укажем также на глубокую аналитическую статью Н. С. Павловой в книге: «История литературы ФРГ», М., «Наука», 1980 и на предисловие Г. Ратгауза к книге «Из современной поэзии ФРГ» *(Здесь и далее — прим. автора статьи.)*

большее, чем оплеванные руины храма. Ну, скажем, одна из как будто бы основополагающих мировоззренческих посылок Бенна: разум и дух — всего лишь фикция, в лучшем случае физиологическая функция «серого вещества», которая исчезнет вместе с ним, с его смертным разложением. Но тогда зачем она так тревожит умудренного циника? Что он к ней привязался? Ведь когда его Икар радуется своему падению с высот и уходу в землю, когда поэт сам, от себя, в «Гимнах» славит возврат к амёбному, даже растительному, даже неорганическому существованию — он жаждет таким образом избавиться не просто от пут цивилизации (логика руссоизма), но именно от разума, сознания, памяти — стать «безмозглым», «безлобым». Значит, разум этот — все-таки *не* фикция? Не самодовольная выдумка культурфилистеров, столь яростно осмеиваемых и бичуемых Бенном? Сфера сознания, оказывается, не просто есть — она еще и источник постоянных мучений человека, ибо только она являет ему все его несовершенство. И этот поэт страдает от нее так сильно, как будто ему первому открылась бренность человеческого удела и потрясла его до самых глубин. Его, всезнающего, вывернувшего человека наизнанку, теперь будто бы ничем не соблазнимого и не уязвимого! Но когда он кричит: «Венец творенья, тварь, человек!» — он, по видимости разрубающий все связи с эстетической и гуманистической традицией, на самом-то деле выражает давнее, древнее: «Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог». Разница только в высоте тона, в накале эмоции. А нить все-таки не порвана; оттого и возможны даже уже у самого раннего, радикального Бенна в грохоте дробильного молота, в скрежете кромсающего ножа столь в этой атмосфере вроде бы неожиданные, но тем не менее вовсе не фальшивые, *не чужеродные* ей звуки: и свирель пасторали, как в «Икаре», и скрипка элегии, как в «Гимнах», и трубы траурного марша, как в «Реквиеме». Да, собственно, и сама «пляска смерти» — если разглядеть и этот образ за эскападами Бенна — тоже почтенного возраста традиция.

Но все это здесь только пробивается эпизодически и как бы вопреки воле автора. А с 20-х годов Бенн уже перестает прикидываться тотальным нигилистом — во всяком случае, в отношении поэзии, поэтического слова. Сохраняя убеждение в обреченности человеческой цивилизации, представление о распавшемся, разъятом, бесперспективном мире, Бенн, однако, знаменательным образом варьирует *поэтические* ипостаси этого образа. Наиболее адекватной ипостасью у него предстает рубленый, рваный, экспрессионистический верлибр, где перечисляются, часто в форме назывных предложений, приметы распада и знаки утрат. (В числе этих констатаций есть и такие, которые вполне можно квалифицировать и как социальную, даже, если угодно, «антикапиталистическую» сатиру; это следует отметить, но не стоит этого преувеличивать — для Бенна это частный аргумент, дополнительный нюанс.)

Но наряду с этим у поэта появляются — и все более выдвигаются на передний план, становясь постепенно как бы «знаком фирмы» Бенна,— стихи, в которых разорванная материя предметного высказывания заключается в каркас стройной стихотворной формы с ее классическими приметами: силлабо-тонической строфой, строгой рифмой. Возникает весьма необычный эффект: будто из руин, из щебня и праха вновь составляется Аполлонов храм. Не то чтобы эти руины чудом сливались в реальные прочные колонны — нет, они остаются каждая сама по себе, в своей угловатой, острой отдельности; их скрепляет эфемера, абстракция, чистая форма: размер и рифма.

Не сам храм, а воспоминание о храме. Томительно-зыбкий контур, Платонов анамнез. Это и есть, по Бенну, для человека единственная возможность торжества — торжество его формотворческой, поэтической воли.

Муза добилась своего — этот блудный сын вернулся, этот отпавший было вассал признал ее суверенные права. И теперь она наслаждается своим полновластием — властью уже фактически неограниченной. Все больше появляется у Бенна стихов, где царит самая классическая гармония. Это гармония формы прежде всего; но и тон и смысл зрелой лирики Бенна тоже несравненно более уравновешенны и умиротворены. Убеждение в бренности человеческого удела, в бессмысленности человеческой истории — все это осталось, но яростный бунт и скрежет зубовный сменились мужественной, отрешенно-стоической печалью,— как механические сцепления и столкновения инвектив сменились музыкой скорбной литании. И вместо прежнего центрального образа хаоса — теперь образ космоса, величественной и прекрасной природы, с синевой небес и южных морей, с цветением анемонов и астр. Сама смерть теперь — все-таки не анатомический театр, а мистерия; не бесследное исчезновение в чане морга и в коробке гроба, а, может быть, таинство возвращения в эту природу, в этот космос.

Это не означает, что раннее творчество просто перечеркнуто (мы помним его вопрос: «Излечено?»). Сама память о ярости раннего бенновского иконоборчества придает красоте его зрелой лирики особо полновесное обеспечение. Как и Бодлер, он утверждает бессмертие идеала не априорно, не в ослеплении орфического экстаза, а с полным знанием полюса зла, побывав на самом дне ада.

Всю жизнь Бенн утверждал в своем творчестве крайний эстетизм [1] — даже и тогда, когда по видимости разрушал всю красоту жизни (ведь, по сути-то, он тогда просто мстил жизни за то, что она так *некрасива*!). Нам, воспитанным своей литературой (от классической до соцреалистической) в сугубо морализующей традиции, нелегко принять столь последовательную форму эстетизма и «индивидуализма». Даже если осознать, что эстетизм Бенна был все-таки не легковесно-отрешенным и не музейно-реставраторским, а, как свидетельствует история его жизни и поэзии, *выстраданным*,— все равно из подкорки «проклятого мозга» (как сказал бы ранний Бенн) лезет вопрос: личное страдание —

---

[1] Одно из программных эстетических выступлений Г. Бенна — его доклад «Проблемы лирики» (1951) — опубликован у нас недавно А. А. Гугниным («Вопросы литературы», 1991, № 7).

ладно, а где же *сострадание*? Можно попытаться вывернуться и квалифицировать бенновскую уязвленность тщетой человеческого бытия как тоже форму сострадания. Но и тогда это — сострадание человечеству вообще. А вот ближнему-то своему? Тут у Бенна не найдешь убедительных цитат.

Что ж, останемся при фактах: этот человек написал за свою жизнь много прекрасных стихов; а что касается его отношения к ближним — он их всю жизнь лечил. Может быть, он просто строго разделял свой бытийный долг на долг перед поэзией и долг перед людьми — принципиально не желая их смешивать. Но в сумме он этот долг, как умел, выполнил.

Малютка астра

Утопленника — он развозил пиво — взгромоздили на стол.
Кто-то сунул ему в зубы
темносветлолиловую астру.
Когда я, начав с груди,
стал под кожей
длинным ножом
вырезать язык и нёбо,
я её, верно, задел, и она
соскользнула в мозг — по соседству.
Я воткнул ее ему в брюшную полость,
промеж стружек,
когда зашивали.
Досыта пей из своей вазы!
Спи спокойно,
малютка астра!

1912

Реквием

По два на каждый стол. Мужчин и женщин —
крест-накрест. Вместе, наги, но без мук.
Вскрываем череп, грудь. Вот так увенчан —
венцом последних родов — жизни круг.

От мозга до мошны — три полных чана.
И хлев диавола, и храм богов —
всё здесь в обнимку, всё с ухмылкой странной:
итог грехопадений и Голгоф.

Теперь в гробы. Гора новорождённых:
куски костей и тел. Дитя-урод.
От всех блудниц и бабников прожженных
осталось это — как из чрева плод.

1912

Гимны

I

Вернуться вспять, за первый день творенья,
Комочком слизи в теплый мрак болот,
Где жизнь и смерть, зачатье и рожденье —
Всё в дрёме соков медленно течет.

Осоки лист иль дюны холм отлогой —
Навеян ветром и к земле тяжёл...
Уже крыла стрижа нам было б много,
Уже крик чайки болью б изошел.

II

И циник и зилот равно презренны,
Презрен, кто молит, и клянёт, и ждёт.
Коль боги мы, как боги эти тленны!
И всё же в мыслях наших Бог живет.

Залив так илист, в дебрях спят химеры.
Безмерны звезды, лик их так тяжел.
В тени дерев бесшумен скок пантеры.
Повсюду — брег. И море бьет о мол.

1913

Икар

I

О полдень, жарким сеном размягчи
Мой мозг и в луг и стадо переплавь,—
Чтоб весь истек я, чтоб в волнах ручья
Висок себе ласкал я стеблем мака...
О купол необъятный, приглуши
Крылом бесшумным муку и проклятье
Всего, что будет, и всего, что есть,
Пусть волею твоей безмозглым станет
Мой взгляд.
Еще в моренных глыбах, в царстве гадов
И праха, в сирых нищенских скелетах
Скалистых гребней — всюду
Потоком ровным —
Беззлобная,
Безлобая
Несомость.
Зверь день за днем живет себе
И, к вымени припав, ни дня не помнит.
Скала цветок возденет молча к небу.
И так же молча рухнет.
Лишь мне меж кровью и когтистой лапой
Поставлен страж, и я всего лишь падаль,
Источенная мозгом и истошно
Орущая проклятья в пустоту,—
Оплеван словом, одурачен светом...
О купол необъятный,
Пролей в глаза мне хоть на час единый
Предвечный добрый свет — не свет очей!
Расплавь бесстыдство красок! Раствори
Всю гниль притонов наших в грозном гуле
Вздыбленных солнц! О гром солнцепаденья!
О нескончаемый солнцеворот!

II

И мозг и ноги пожирают прах.
Коль был бы глаз мой кругл и завершен,
Тогда сквозь веки ворвалась бы ночь,
Кусты, любовь...
Из недр твоих, о сладкая животность,
Из темноты твоей, мохнатый сон,
Я должен снова подниматься в мозг,
По всем извивам —
Последний tête-à-tête.

1915

Из цикла «Врач»

Венец творенья, тварь, человек! —
Якшайтесь лучше с другими зверьми!
В семнадцать лет — лобковые вши,
Компания уголовных рыл,
Болезни кишок, алименты,
Бабы и инфузории,
А в сорок — недержанье мочи...
Ужели ж ради этого ошмётка
Росла земля от солнца до луны? —
Что взлаялись? Одно на языке —
Душа, душа... А что за зверь — душа?
Старушка ночью под себя кладет,
Сухие ляжки перемазал старец,
А вы им — корму, чтоб набить кишки,—
Ужель тут звезды спустят от восторга?..
Из стылого кишечника земля,
Как из других отверстий — пламя,
Исторгла этот ком кровавой слизи,
Вот он и ковыляет,
Самодовольный,
По нисходящей
В тень и мрак.

1917

Как спешат...

Как спешат волной стигийской годы,
как смертельны эти небеса,
и из царства, где сольются воды,
к сердцу протянулась полоса.

Падают леса с померкших склонов
расколовшихся холмов,
пористого мрамора колонны
рушатся, как львы, без слез и слов,

и утёс любовно принимает
их на древнюю седую грудь,
мох забвенья укрывает
их к распаду путь,—

всё преклонно, всюду отреченье,
потайной метаморфозы лик,
и к истоку смутного свеченья
взор приник...

В каждом знаке — бренности печать.
Поцелуй иль взгляд один желанный
нас погонит в ночь, в чужие страны,
под чужие звезды — чтоб догнать! —

но за ними — черные сполохи,
и грозней маячит полоса,
бездны мрака, солнца диадохи,
как смертельны эти небеса...

1926

Дай себе волей своею...

В час этот — счастья, смерти,—
память с предчувствием слив,
дай себе радости эти —
шумы осин и олив;
косы, орудья лета,
в риги унесены;
кубки, полные света,
книзу наклонены.

Дай себе волей своею,
раз уж небесной нет,
зыбкий излёт аллеи,
роз уплывающих свет,
всех окоёмов летних
вспомни лазурный полон,
таинством звуков последних
заворожен.

Метой как ни гордись ты,
миру ты отдал дань.
Ах, вот уж торный, чистый
путь пред тобою — глянь,
ах, вот уж час, сплетенный
будто на все времена
пением Парки сонной,
рокотом веретена.

Что б ни бросал позади ты,
слезы остались с тобой,
сколько камней омыто
этой жесткой водой,
все пришло к завершенью,
слезы и горечь — нет,
после валов и крушенья
скарб твой — розы и свет.

Старость! Легко за плечами...
Герб на все времена:
бык и факелов пламя,
только — вниз пламена,
где-то огни, там Лидо,
там лимоны цветут,
но роем летят сфингиды —
тени грядут.

Дай себе — в довершенье
счастья — последний миф:
канут в лоно забвенья
рощи колонн и олив,
ах, уж слабеют члены,
но, затменью вослед,
в душу сходят, нетленны,
вестники — розы и свет.

1929

Стихотворенье

Той высшей волей, что часы дарует,
твой дух дерзнул покинуть предков ряд —
он созерцанья миг преобразует
в бесстрастный час, что разрушает взгляд,—
нагие вещи вторгнулись в виденья,
нет уз меж ними — есть одна лишь страсть:
забыть их суть и в круг стихотворенья
холодной властью слова их заклясть.

Что прах и щебень мировой руины,
горы масличной вещий скорбный знак,
Анжуйских битв кровавые крестины,
железный Гогенштауфенов шаг?
Вот новый крест — но он не убиенье,
вот Страшный суд — но он не мести глас:
строфа здесь клятва, суд — стихотворенье,
и рокот прялок тих: то Парок час.

Той вышней волей, что часы дарует
и чье значенье смутно и темно,—
что минул год, она нам указует,
но часа песнь постичь нам не дано,—
прочь минул год — империй сотрясенье,
прах в небесах, прах власти — мимо, прочь,—
и грянул час, твой час: в стихотворенье
ведут беседу боль твоя и ночь.

1943

Послушай...

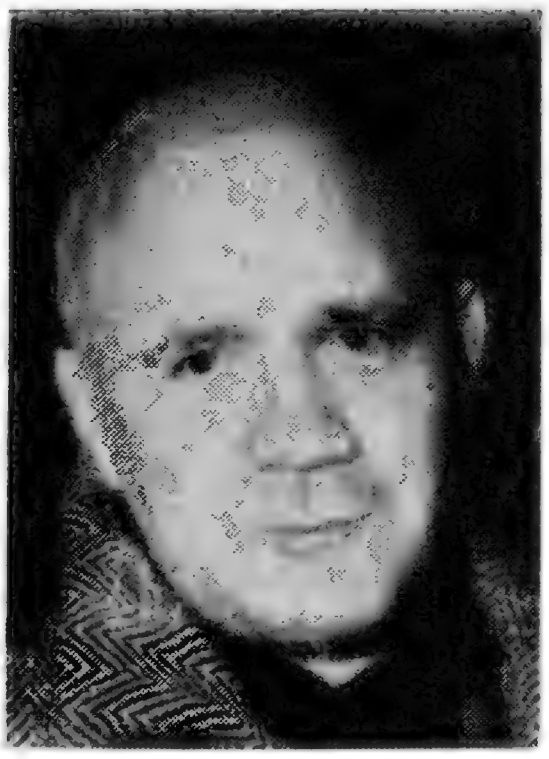
Послушай, вот таким и будет он —
последний выход твой, последний вечер:
«Юноны» пачка, пиво (три) и речи,
нахватанные «Шпигелем» в ООН.

Один за столиком; спиной прирос,
мерзляк злосчастный, к трубам отопленья.
Вокруг тебя — людские испаренья,
чета супругов и треклятый пёс.

И это всё. Ни дома, ни холма,
чтоб взор тонул на солнечных просторах.
Ты жил всегда в довольно тесных шорах —
был отчий дом таков, и жизнь сама.

И это всё. Но Зевс, его огни,
рой духов, сонмы солнц, вселенной дали —
все сквозь тебя прошли, тебе сияли,—
и это всё, в конце, как и в начале,—
последний вечер... А теперь усни.

1954—1955



ЖАН ЖЕНЕ

Дневник вора

Перевод с французского **НОННЫ ПАНИНОЙ**

Сартру
Кастору

Каторжники носят одежду в розово-белую полоску. Поскольку я сам, по велению сердца, выбрал мир, в котором чувствую себя как дома, разве не могу я по крайней мере отыскивать в нем всевозможные значения на собственный вкус; итак, существует тесная связь между цветами и каторжанами.

Нежность и беззащитность первых — по сути, то же самое, что грубая бесчувственность последних [1]. Если мне придется изображать каторжника — или преступника,— я осыплю его таким океаном цветов, что, будучи погребенным под ними, он тоже превратится в гигантский невиданный цветок.

Я добровольно устремился к тому, что именуется злом, и это рискованное путешествие привело меня в тюрьму. Люди, призванные служить злу, не всегда красивы, но зато обладают мужскими достоинствами. По своей воле или в силу случайного выбора сознательно и безропотно они увязают в предосудительной позорной трясине, подобно той, в которую бросает людей безоглядная страсть [2].

Любовные игры открывают невыразимый мир, звучащий в ночном языке любовников. На этом языке не пишут. На нем перешептываются по ночам хриплым голосом. На рассвете его забывают. Отрицая добродетели вашего мира, преступники отчаянно пытаются создать свой, обособленный мир. Они готовы в нем жить. Здесь стоит жуткое зловоние, но они привыкли дышать этим воздухом. Также (преступники ни в чем не похожи на вас) и в любви они отдаляются и уводят меня от мира с его законами. Их любовь пахнет потом, спермой и кровью. В конечном итоге моей изголодавшейся душе и моему телу она предлагает преданность. Я пристрастился ко злу оттого, что оно обладает подобными эротическими возможностями. Мои похождения, не ознаменованные ни возмущением, ни протестом, по сей день являются всего лишь длительным спариванием, обремененным и осложненным нелегким эротическим церемониалом (символическими церемониями, ведущими на каторгу и сопутствующими ей). Будучи карой за самые гнусные из злодеяний, а также их оправданием в моих глазах, каторга является признаком полного краха. Эта конечная точка людского суда представала передо мной как идеальное место для чистейшей, то бишь наимутнейшей любовной гармонии, где справляются замечательные пепельные свадьбы. Стремясь их воспеть, я пользуюсь облачением самой изысканной естественной чувствительности, теми ассоциациями, которые вызывает у меня одежда каторжников. Помимо своей окраски, она напоминает шероховатостью ткани некоторые цветы с мохнатыми лепестками — этой детали достаточно, чтобы к образу силы и стыда примешалось ощущение драгоценной хрупкости. Данное сравнение, открывающее мне глаза на самого себя, не пришло бы в голову никому другому, я же не могу без него обойтись. Таким образом, я отдал

Журнальный вариант.

[1] Мое волнение является свидетельством перехода от одних к другим. *(Здесь и далее, где не указано особо, примечания автора.)*

[2] Я говорю об идеальном каторжнике, человеке, сочетающем в себе все качества осужденного.

каторжанам свою нежность, попытался найти для них самые ласковые имена, прикрыть их преступления самыми изощренными метафорами (под покровом которых я не мог бы забыть о роскошной мускулатуре убийцы и неистовой силе его полового органа). Не из-за этого ли образа я предпочитаю представлять их в Гвиане: самые сильные, которые держатся особняком, самые «крутые», прикрывшиеся кисеей от москитов? Каждый цветок навевает на меня столь сильную грусть, что все они, вместе взятые, видимо, означают горе и смерть. Мои поиски любви были связаны с каторгой. Каждое из моих увлечений заставляло меня предвидеть, предвкушать ее, бросая преступников в мои объятья, бросая меня к ним или приглашая меня к преступлению. В то время как я пишу эту книгу, последние каторжники возвращаются во Францию. Об этом трубят все газеты. Наследник престола ощущает такую же пустоту, когда республика лишает его грядущей короны. Крах каторги не позволяет нам вступить в подземные мифические чертоги с животрепещущей совестью. Нас лишили душераздирающего спектакля: нашего исхода, погрузки на судно, шествия к морю с понурой головой. Возвращение, то же шествие в обратную сторону, потеряло всякий смысл. Крах каторги означает для меня худшее из наказаний: меня кастрируют, мне удаляют позор. Бесцеремонно обезглавив наши мечты, лишив их ореола, нас досрочно выводят из спячки. На центральных тюрьмах лежит особый отпечаток, но теперь он потерял прежнюю силу. Из их атмосферы ушло былое легкое очарование с примесью смирения. Воздух стал таким тяжелым, что заключенные, должно быть, едва волочат ноги. Они передвигаются ползком. Тяжелая и медленная агония каторги была при всей своей мерзости более роскошной ступенью развития [1]. Ныне, переполненные злобными самцами, «централы» почернели от них, как от крови, насыщенной углекислым газом. Я пишу «почернели». Это слово навеяно одеждой заключенных-пленников, невольников или даже узников (слишком большая честь величать нас подобным образом), сшитой из бурой шерстяной ткани. Отныне мое желание будет устремляться к «централам». Я знаю, что на каторге или в тюрьме внешность людей зачастую приобретает шутовской вид. Фигуры заключенных, возвышающиеся на тяжелом гулком пьедестале деревянных башмаков, всегда кажутся несколько тщедушными. Они по-дурацки сгибаются над ручной тележкой. Они склоняют головы перед надзирателями и мнут в руках свои большие соломенные шляпы (мне бы хотелось, чтобы те, что помоложе, украшали их краденными розами, подаренными надзирателями) или бурые шерстяные береты. Они стоят в жалких угодливых позах. (Однако, когда их бьют, что-то в них, видимо, распрямляется: подлец и мошенник, оказываясь в условиях еще более отъявленной подлости и коварства, ожесточаются, подобно тому как закаляется мягкая сталь.) Что из того, что они продолжают раболепствовать? Не пренебрегая теми, кто изуродован и расхлябан, моя любовь коронует прекраснейших из преступников.

Я не собираюсь скрывать в этом дневнике причины, побудившие меня стать вором,— самой простой из них была потребность в еде, однако ни протест, ни горечь, ни гнев нисколько не повлияли на мой выбор. Я делал ставку на риск с маниакальной «ревностной тщательностью», подобно тому как готовят постель или комнату для любви: я воспылал страстью к преступлению.

Я называю жестокостью влюбленное в риск покушение на спокойствие. Ее распознают во взгляде, в походке, в улыбке, и она вызывает в вас половодье чувств. Она выбивает вас из колеи. Эта жестокость является спокойствием, которое приводит вас в движение. Порой говорят «крутой парень». В тонких чертах лица Пилоржа сквозила крайняя жестокость. Само их изящество было жестоким. Жестокость проступала в очертаниях единственный руки Стилитано, даже когда она была неподвижной и просто лежала на столе; эта рука тревожила и смущала ваш покой. Я работал с ворами и сутенерами, властность которых воодушевляла меня, но немногие из них были по-настоящему отважны; в то

---

[1] После ее отмены я чувствую себя таким обездоленным, что втайне сочиняю про себя новую каторгу, еще более ужасную, чем в Гвиане. Я добавляю, что центральные тюрьмы находятся как бы «в тени». Каторга жарится на солнце. Все происходит под палящими лучами, и я не могу удержаться от того, чтобы не избрать этот убийственный свет в качестве символа ясности.

время как самый храбрый из них, Ги, был лишен жестокости. Стилитано, Пилорж и Михаэлис были трусами. Жава также. Даже когда они отдыхали, лежали неподвижно и улыбались, от них, через глаза, ноздри, рот, ладони, набухшую ширинку, грубые бугры икр под одеялом или простыней, исходил сияющий сумрачный гнев, клубившийся в виде пара.

Движения этих парней неистовы помимо их воли, так же как их судьбы. Их души свыклись с жестокостью, к которой они не стремились, они приручают ее. Те, для которых жестокость — привычное дело, не лукавят наедине с собой. Каждое движение, из которых состоит их стремительная опустошительная жизнь, просто, прямо и отточенно, как штрих карандаша великого рисовальщика, но в точке пересечения этих движущихся штрихов разражается гроза, сверкает молния, которая убивает их или убивает меня. Однако что значит их жестокость по сравнению с моей, заключавшейся в том, чтобы принять их жестокость, присвоить ее, пленить, использовать в своих целях, навязать ее себе, задумать и познать ее, различить и взять на себя сопряженные с ней опасности? Что значила моя сознательная жестокость, необходимая для моей защиты, для моей твердости и суровости, по сравнению с жестокостью, которая тяготеет над ними как проклятье, вытекает из заключенного в них огня, что вспыхивает при соприкосновении с внешним, озаряющим нас светом? Мы знаем, что их приключения — это ребячество, а сами они — глупцы. Они соглашаются убивать или быть убитыми из-за карточной игры, в которой их партнер — или они оба — шельмовал. Однако благодаря подобным парням еще возможны трагедии.

Не доказывает ли подобное определение жестокости с помощью столь противоречивых примеров, что я собираюсь употреблять слова не для того, чтобы лучше описать событие или его действующее лицо, а для того, чтобы дать вам больше сведений о самом себе. Чтобы понять меня, необходимо соучастие читателя. Однако я уведомлю его, как только мой лиризм заведет меня слишком далеко.

Стилитано был высоким и сильным. Его походка была и мягкой, и тяжелой, и стремительной, и медленной. Он был легким. Его влияние на меня — как и на девиц из Баррио Чино [1] — заключалось в основном в слюне, которую Стилитано гонял от щеки к щеке, время от времени выпуская ее изо рта, словно флер. «Откуда у него берутся такие тяжелые белые плевки,— спрашивал я себя,— из каких глубин он их извлекает? Моя слюна никогда не сравнится с его слюной ни клейкостью, ни цветом. Мои плевки всегда будут лишь струйками прозрачного хрупкого стекла». Естественно, я представлял себе его член, когда он смажет его для меня этим веществом, этой драгоценной паутиной, тканью, которую я называл про себя королевской вуалью. Он носил старую серую фуражку со сломанным козырьком. Когда он бросал ее на пол нашей комнаты, она внезапно превращалась в мертвую куропатку с подрезанными крыльями, но когда он надевал ее, слегка надвинув на ухо, противоположный край козырька приподнимался, являя взору ослепительнейшую белокурую прядь. Стоит ли говорить о его прекрасных, светлых, стыдливо опущенных глазах (хотя о самом Стилитано можно было сказать: его поведение бесстыже), над которыми нависали белые, яркие, густые ресницы и брови, бросавшие на его лицо не вечернюю тень, а тень зла. В конце концов, что именно потрясает меня до глубины души, когда я вижу в порту парус, который развертывается медленными рывками и с трудом, сперва сомневаясь, а затем решительно поднимается вверх по мачте судна, разве движения паруса не что иное, как порывы моего чувства к Стилитано? Я познакомился с ним в Барселоне. Он жил среди нищих, воров, педерастов и девок. Он был красив, но следует выяснить, не смотрелся ли он столь выигрышно на моем жалком фоне? Я был одет в грязные лохмотья. Я страдал от голода и холода. Это был один из самых плачевных периодов моей жизни, 1932 год. В ту пору Испания кишела паразитами — местными нищими. Они ходили по деревням Андалусии, потому что там вечно тепло, по Каталонии, потому что это богатый край, да и вся эта страна к нам благоволила. Итак, я был вошью и осознавал это. В Барселоне мы облюбовали calle [2] Медьода и calle Кармен. Иногда мы спали

[1] Китайский район *(исп.)*.

[2] Улица *(исп.)*.

вшестером на кровати без простынь и спозаранку отправлялись просить милостыню на рынках. Покинув Баррио Чино, мы выстраивались всей оравой на Параллельо с плетеными корзинками в руках, ибо хозяйки чаще совали нам грушу или репу, чем монету. Мы возвращались в полдень и готовили суп из наших трофеев.

Я опишу нравы этого сброда. В Барселоне я видел мужские пары, в которых тот, что был сильнее влюблен, говорил другому:

— Сегодня я выхожу с корзиной.

Он брал корзину и уходил. Как-то раз Сальвадор мягко выхватил у меня из рук корзину со словами:

— Я буду просить подаяние за тебя.

Шел снег. Он вышел на замерзшую улицу в своем рваном пиджаке — карманы оторвались и болтались — и грязной мятой рубашке. У него было жалкое, несчастное, замкнутое, бледное и грязное лицо, так как мы не решались умываться, до того было холодно. Около полудня он вернулся с овощами и небольшим куском сала. Бесконечная — и братская — любовь охватила мое тело и бросила меня к Сальвадору. Выйдя вслед за ним из гостиницы, я смотрел издалека, как он взывал к женщинам. Поскольку я уже просил милостыню для себя и других, мне было известно, как сформулировать просьбу: она вовлекает в акт милосердия христианскую религию и соединяет бедняка с Богом; это столь смиренные, исходящие из сердца слова, что, кажется, они наполняют ароматом фиалки легкий пар, вырывающийся изо рта произносящего их нищего. Во всей Испании тогда говорили: «Por Dios » [1].

Я не слышал этих слов, но представлял, как Сальвадор бормочет их у каждого лотка, обращаясь к хозяйкам. Я следил за ним, словно «кот» за своей шлюхой, но с какой нежностью в сердце! Так благодаря Испании и моей нищенской жизни я познавал великолепие падения, ибо требовалось немало гордости (то есть любви), чтобы приукрасить этих грязных презренных людей. Это требовало от меня немало таланта. Он пришел ко мне со временем. Я не в состоянии описать здесь весь этот процесс, но, по крайней мере, я могу сказать, что постепенно я приучил себя смотреть на эту убогую жизнь как на желанную необходимость. Я никогда не старался превратить ее в нечто другое, чем она была, не старался принарядить ее и замаскировать ее убожество; напротив, я хотел утвердить ее во всей ее мерзости, и самые мерзкие из ее примет стали для меня признаками величия.

Не успел Сальвадор переступить порог гостиницы с корзиной в руке, как я поцеловал его прямо на улице, настолько я был растроган. Он оттолкнул меня:

— Ты сошел с ума! Нас могут принять за mariconas! [2]

Он довольно хорошо говорил по-французски, выучив язык в окрестностях Перпиньяна, куда ездил собирать виноград. Обидевшись, я отодвинулся. Его лицо было фиолетовым. У него был цвет капусты, которую вытаскивают из грядки зимой. Сальвадор не улыбался. Он был шокирован. «Стоит ли,— видимо, думал он,— вставать в такую рань, чтобы просить милостыню на морозе? Жан не умеет держать себя в руках». Его мокрые волосы стояли дыбом. Из-за стекла на нас смотрело множество лиц — на нижнем этаже гостиницы разместился большой, выходивший на улицу зал кафе, через который надо было пройти, чтобы подняться в номера. Сальвадор обтер лицо рукавом и вошел. Мне было двадцать лет. Если капля, застывшая на кончике носа, прозрачна как слеза, почему бы мне не слизнуть ее с тем же упоением? Я был уже достаточно искушен в оправдании гнусностей. Если бы я не боялся возмутить Сальвадора, я сделал бы это в кафе. Между тем он фыркнул, и я догадался, что он проглотил свою соплю. Пройдя с корзинкой мимо нищих и шпаны, он направился на кухню. Я шел за ним следом.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ты обращаешь на себя внимание.

— Что тут плохого?

— Нельзя целоваться вот так, посреди улицы. Сегодня вечером, если хочешь...

[1] Ради Бога *(исп.)*

[2] Гомосексуалисты *(исп.)*

Он сказал это с недовольным видом и тем же презрительным выражением лица. Я лишь хотел таким образом выразить свою благодарность, согреть его своей скудной нежностью.

— Что же ты вообразил?

Кто-то бесцеремонно толкнул его, отстраняя нас друг от друга. Я не пошел за ним на кухню. Я подошел к скамье и сел на свободное место возле печки. Мне было наплевать на то, каким образом, будучи без ума от мощных красавцев, я смогу влюбиться в этого вшивого, уродливого оборванца, на которого покрикивали даже трусы, воспылать страстью к его приплюснутым ягодицам... а что, если у него окажется великолепный член?

Баррио Чино был в ту пору своего рода притоном, населенным не столько испанцами, сколько иностранцами, которые все как один были вшивой шпаной. Порой мы одевались в шелковые рубашки зеленого или светло-желтого цвета, обувались в стоптанные туфли, и наши прилизанные шевелюры казались густо намазанными лаком. У нас не было вожаков, но были свои заправилы. Я не смогу объяснить, каким образом ими становились. Вероятно, это происходило после ряда удачных операций по продаже наших жалких трофеев. Они вели наши дела и руководили налетами, забирая себе умеренную долю добычи. Мы не были более или менее организованной бандой, но, живя посреди этого грязного хаоса, в недрах квартала, пропахшего маслом, мочой и дерьмом, некоторые падшие люди доверялись кому-то более ловкому, чем они. Столько оборванцев блистали молодостью, но некоторые из нас излучали более таинственный свет, подлинное сияние; тела, взгляды и движения этих ребят насыщены магнетизмом, который превращает любого в их игрушку. Так, я был сражен наповал одним из них. Я расскажу подробнее о Стилитано, одноруком, через несколько страниц. Но прежде всего да будет вам известно, что он не был наделен ни единой христианской добродетелью. Весь его блеск, вся его сила заключались у него между ногами. Его член со всеми своими придатками, весь этот агрегат был настолько прекрасен, что у меня не поворачивается язык назвать его органом воспроизводства. Казалось, что он был мертв, ибо он редко и медленно приходил в движение, но он не спал. Даже ночью он излучал из тщательно, хотя и одной рукой застегнутой ширинки сияние, распространявшееся на его обладателя.

Моя связь с Сальвадором длилась полгода. Она была не из тех, что кружат голову, но весьма плодотворной. Мне удалось полюбить его тощее тело, серое лицо, редкую бороду нелепой формы. Сальвадор заботился обо мне, а ночью, при свече, я выискивал в швах его брюк вшей — наших неизменных спутников. Вши населяли нас. Они одушевляли нашу одежду, которая без них мертвела. Нам нравилось осознавать — и ощущать — присутствие этих полупрозрачных насекомых, которые не были приручены, но были родными до такой степени, что любая чужая вошь, не принадлежавшая нам двоим, внушала отвращение. Мы гоняли их с надеждой, что днем они появятся вновь. Мы давили их ногтями без отвращения и неприязни. Мы не бросали их трупы — или останки — в мусорный ящик, а позволяли им, обагренным нашей кровью, падать в грязное белье. Вши были единственным признаком нашего процветания или обратной стороны процветания. Будучи столь же необходимыми для познания нашей слабости, как украшения для познания того, что именуется триумфом, вши были сущей драгоценностью. Мы и стыдились их, и гордились ими одновременно. Я долго жил в каморке без окон, с форточкой, выходящей в коридор, где по вечерам пятеро жестоких и нежных типов, улыбаясь или скривившись от неудобной позы, обливаясь потом, искали этих благородных насекомых, с которыми мы состояли в родстве. Было неплохо, что посреди всей этой нищеты я стал любовником самого бедного и уродливого из них. Вследствие этого я оказался в привилегированном положении. Мне было трудно, но каждая новая победа — мои грязные, гордо выставленные напоказ руки помогали мне гордо выставлять напоказ мою бороду и длинные волосы — вселяла в меня силу (или слабость, что в данном случае было одним и тем же) для следующей победы, которая на вашем языке, естественно, именовалась бы поражением.

Культивирование нищими ран — это способ заработать себе немного денег на пропитание, но если их вынуждает на это слабость духа, то гордость, необходимая для того, чтобы не впасть в презрение, является мужским достоин-

ством: словно скала, вросшая в реку, гордость пронизывает презрение и рассекает, подавляет его. Увязая в мерзости, гордость станет сильнее (если этот нищий — я сам), когда я обрету умение — силу или слабость — извлекать пользу из подобной судьбы. Надо, по мере того как эта проказа овладевает мной, чтобы я овладел ею и победил. Стану ли я еще более гнусным, еще более презираемым, докачусь ли до конечной точки, о которой мне пока ничего не известно, но которая, видимо, предначертана эстетическим, а также нравственным поиском? Проказа, с которой я сравниваю наше состояние, якобы вызывает раздражение тканей, и больной чешется; он возбуждается. Проказа тешит себя и прославляет свою боль в одинокой любви. Нищета созидала нас. Странствуя по Испании, мы носили в себе тайное, скрытое, лишенное спеси величие. Наши жесты становились все более смиренными, все более потухшими, по мере того как костер смирения, дававший нам жизнь, разгорался сильнее. Так, мой талант проявлялся в том, чтобы придать высокий смысл столь убогой действительности (я пока не говорю о литературном таланте). Этот опыт принес мне немалую пользу, что позволяет мне до сих пор ласково улыбаться самым жалким из отбросов, будь то люди или вещи — пусть даже рвота, даже слюна, брызжущая в лицо моей матери, даже ваши испражнения. Я сохраню в душе память о себе, когда я был нищим.

Но, поскольку иногда приходилось воровать, нам были знакомы также светлые земные красóты и дерзость. Перед тем как лечь спать, старший давал нам советы. Например, мы ходили с фальшивыми документами в различные консульства, заявляя о своем желании вернуться на родину. Консул, тронутый или раздосадованный нашими жалобами и замызганным видом, давал нам железнодорожный билет до пограничной станции. Старший продавал его на Барселонском вокзале. Он наводил нас также на церкви, которые можно было ограбить — то, на что не решались испанцы,— или роскошные виллы; кроме того, он приводил к нам английских или голландских матросов, которым мы должны были отдаваться за несколько песет.

Да, время от времени мы воровали. и каждое ограбление было для нас мимолетным глотком воздуха...

Нервозность, вызванная страхом, порой тревогой, приводит в состояние, граничащее с религиозным экстазом. У меня появляется склонность толковать любое событие. Вещи становятся хорошими приметами. Я хочу задобрить неведомые силы, от которых, как мне кажется, зависит удачный исход авантюры. Итак, я пытаюсь задобрить их добродетельными поступками, прежде всего милосердием: я подаю нищим чаще и больше, я уступаю место старикам, я перевожу слепых через дорогу и т. д. Таким образом, я как бы признаю, что воровство находится под покровительством Бога, которому нравятся нравственные деяния. Эти попытки забросить сомнительную сеть, куда поймается Бог, о котором я ничего не знаю, нервируют, изматывают меня и еще больше способствуют моему религиозному настрою. Они придают воровству значимость религиозного обряда. Этот обряд и в самом деле свершается под покровом тьмы, скорее всего ночью, когда люди спят, в уединенном месте. Осторожные, на цыпочках, шаги, молчание, неприметность, в которой мы нуждаемся даже днем, руки, производящие в темноте, на ощупь, сложные движения ради предосторожности — поворот обычной дверной ручки требует множества усилий, каждое из которых переливается, как грань драгоценного камня,— осмотрительность, шепот, обостренный слух, невидимое нервное присутствие сообщника и чуткость к его малейшему шороху — все это заставляет нас внутренне собираться, сосредоточиваться, превращает в комок нервов — состояние, о котором так точно сказал Ги: «Это и есть настоящая жизнь».

Но эта предельная собранность, превращающаяся во мне в мощную бомбу, придает воровскому акту значительность и уникальность — ограбление, которое совершается в данный момент, всегда является последним, не оттого, что мы думаем, что больше не будем воровать,— мы этого не думаем, а оттого, что подобная сосредоточенность в жизни просто немыслима (она вывела бы нас за грань этой жизни), и эта уникальность действия, которое разворачивается в сознательных, уверенных в своей эффективности, слабости и в то же время неистовой силе движениях, также превращает его в религиозный обряд. Зачастую я даже посвящаю его кому-нибудь. Стилитано первым удостоился подобной

чести. Я думаю, что я обязан ему своим посвящением в воры, то есть мысль о его теле, неотступно преследовавшая меня, не позволяла мне струсить. Его красоте, его спокойному бесстыдству я посвятил свои первые грабежи. А также своеобразию этого великолепного однорукого, кисть которого, отрубленная по запястье, гнила где-то под каштаном, как он говорил мне, в некоем лесу Центральной Европы. Во время грабежей мое тело не защищено. Я знаю, что оно искрится от моих движений. Мир чуток к моей удаче, даже если он жаждет моего провала. Я дорого заплачу за ошибку, но я отыграюсь, и мне кажется, что во владениях Творца будет весело. Либо я упаду, и худшее из всех зол — это каторга.

Сальвадор не давал мне повода для гордости. Он крал только жалкие побрякушки с прилавков. По вечерам в кафе, где мы собирались, он грустно вклинивался между самыми красивыми. Эта жизнь изматывала его. Возвращаясь, я с чувством стыда видел его съежившимся на лавке, обмотавшим плечи одеялом зелено-желтого хлопка, с которым он ходил просить милостыню в зимние дни. У него была также старая черная шерстяная шаль, которую я отказывался носить. Если мой разум покорялся смирению и даже жаждал его, то мое сильное молодое тело не терпело самоунижения. Сальвадор говорил резким печальным голосом:

— Ты хочешь, чтобы мы вернулись во Францию? Будем работать по деревням.

Я отказывался. Он не понимал моего отвращения (не моей ненависти) к Франции, ни того, что если мое географическое путешествие оканчивалось в Барселоне, то оно должно было продолжаться все глубже и глубже в самых глухих закоулках моей души.

— Но ведь я буду работать один. Ты просто развеешься.

— Нет.

Я оставлял его в покое на скамье, наедине с его мрачной нищетой. Сидя у печки или стойки, я курил собранные днем окурки возле презрительного молодого андалусца, грязный белый шерстяной свитер которого преувеличивал объем его тела и бицепсов. Потерев руки на стариковский лад, Сальвадор вставал со скамьи. Он шел на общую кухню варить суп и жарить рыбу. Как-то раз он предложил мне спуститься в Уэльву, чтобы набрать апельсинов. Однажды вечером, прося милостыню за меня, он испытал столько унижений, получил столько грубых отказов, что осмелился упрекать меня за то, что я столь мало преуспел в «Криолле».

Мы спорили, стоя перед хозяином, который хотел выселить нас из гостиницы. Тогда мы с Сальвадором решили стащить на следующий день два одеяла и спрятаться в товарном поезде, следующем на юг. Но я проявил такую ловкость, что в тот же вечер принес накидку карабинера. Когда я проходил мимо доков, где солдаты стоят на посту, один из них окликнул меня. Я проделал то, что он требовал, в будке часового. Возможно, он хотел сразу же обмыться у колонки, но не решился мне об этом сказать; он оставил меня на миг одного, и я сбежал с его черной суконной накидкой. Я укутался в нее и вернулся в гостиницу, чувствуя двусмысленную радость; это не было еще счастье предательства, но уже тогда во мне возникала скрытая двойственность, которая заставит меня преодолеть коренные препятствия. Открыв дверь кафе, я увидел Сальвадора. Это был самый жалкий из нищих. Его лицо по цвету и рыхлости почти не отличалось от опилок, которыми был усеян пол кафе. Тотчас же я узнал Стилитано, стоявшего среди игроков в карты. Наши взгляды встретились. Его взгляд задержался на мне, и я покраснел. Я снял черную накидку, и тут же со мной стали торговаться из-за нее. Стилитано смотрел на этот жалкий торг, не принимая в нем участия.

— Поспешите, если она вам нужна. Решайтесь. Карабинер наверняка будет меня разыскивать,— сказал я.

Игроки стали отталкивать друг друга. Когда Стилитано протиснулся ко мне, он спросил по-французски:

— Ты парижанин?

— Да. А что?

— Ничего.

Хотя он обратился ко мне первым, я испытал, отвечая ему, то же отчаянное

волнение, которое владеет гомосексуалистом, решившимся заговорить с молодым человеком. Правда, мое смущение было оправдано спешкой и царившей вокруг суетой. Он сказал:

— А ты парень не промах.

Я знал, что этот комплимент был ловким расчетом с его стороны, но до чего же Стилитано (я еще не знал его имени) выделялся своей красотой! Одна из его рук, с огромной повязкой на конце, лежала у него на груди, как будто он носил ее на перевязи, но я знал, что у него не было кисти. Стилитано не был завсегдатаем ни кафе гостиницы, ни даже calle.

— А сколько ты возьмешь с меня за накидку?

— Ты мне за нее заплатишь?

— Почему бы и нет.

— А как?

— Ты что, боишься?

— Откуда ты?

— Серб. Я возвращаюсь из легиона. Я — дезертир.

Я не чуял под собой ног. Я был уничтожен. От избытка чувств во мне образовалась пустота, которую тут же заполнило воспоминание об одной брачной сцене. На балу, где солдаты танцевали друг с другом, я смотрел, как они кружатся в вальсе. Мне показалось тогда, что двое легионеров стали совершенно невидимыми. От волнения они улетучились. Если поначалу их танец был целомудренным, то таким он и остался, когда они сочетались браком, обменявшись на глазах у всех улыбками, словно обручальными кольцами...

Они робко обменивались нежностью мужа и стыдливостью супруги. Чтобы поддержать накал чувств в крайнем напряжении, они танцевали все легче и медленнее, в то время как их мужские доблести, отяжелевшие от усталости после долгого похода, неосмотрительно грозили друг другу, бросали вызов из-за укрытия шероховатой ткани. Лакированные кожаные козырьки их кепи сталкивались, слегка ударяясь друг о друга.

Я чувствовал себя во власти Стилитано. Я решил схитрить:

— Это еще не доказывает, что ты в состоянии заплатить.

— Поверь мне на слово.

Столь мужественное лицо и ладно скроенное тело просили меня оказать им доверие! Сальвадор наблюдал за нами. Он уже знал, что мы придем к согласию, знал, что мы решили его участь, подписали ему приговор. В моей хищной невинной душе вновь ожила та же феерия. Вальс окончился, и двое солдат разомкнули свои объятия. И обе половинки величественной, ослепленной страстью глыбы, поколебавшись, разошлись в разные стороны, радуясь и печалясь оттого, что снова стали видимыми, чтобы пригласить на следующий вальс какую-нибудь девицу.

— Я даю тебе два дня,— сказал я.— Мне нужны бабки. Я тоже был в легионе. И дезертировал. Как и ты.

— Будет сделано.

Я протянул ему накидку. Он взял ее своей единственной рукой и тут же вернул мне. С улыбкой, но властно он сказал:

— Сложи ее.

Не моргнув глазом, я сделал то, что он велел. Накидка тотчас же исчезла в одном из тайников хозяина. То ли оттого, что эта нехитрая кража придала мне блеск, то ли оттого, что Стилитано решил проявить любезность, он также сказал:

— Поставишь мне стаканчик?

Стакан вина стоил два су. У меня в кармане было четыре су, но я должен был отдать их Сальвадору, который наблюдал за нами.

— Я — на мели,— гордо сказал Стилитано.

Игроки в карты перегруппировались и на миг заслонили от нас Сальвадора. Я процедил сквозь зубы:

— У меня есть четыре су, я передам их тебе потихоньку, но платить будешь ты.

Стилитано улыбнулся. Я погиб. Мы уселись за стол. Он начал было говорить о легионе, но вдруг замолчал, глядя на меня в упор.

— Мне кажется, что я где-то тебя видел.

Как хорошо помню я эту сцену!

Мне пришлось сдерживать себя изо всех сил, чтобы не заворковать. Я бы не просто запел, не только выразил бы словами и тоном свой пыл, но мое горло исторгло бы зов охваченной страстью дикой птицы. Возможно, даже моя шея ощетинилась бы белыми перьями. Катастрофа всегда возможна. Нас подстерегают метаморфозы. Меня спас панический ужас.

Я жил в страхе перед метаморфозами. Для того чтобы дать почувствовать читателю (осознавая, что любовь обрушилась на меня — здесь напрашивается сравнение не только ради красного словца — как кречет) острейший из страхов, я прибегаю к образу горлицы. То, что я тогда ощущал, мне неведомо, но стоит мне воскресить в памяти появление Стилитано, как моя растерянность по сей день тотчас же заявляет о себе, выражаясь в отношениях хищной птицы и ее жертвы. (Если бы нежное воркование не распирало мне горло, я бы скорее упомянул малиновку.)

Странные звери увидели бы свет, превратись каждая из моих эмоций в животное, образ которого она вызывает: гнев шипит в моем горле коброй, та же кобра распирает то, что я не осмеливаюсь назвать, моя кавалерия, мои конные скачки проистекают из моей наглости... От горлицы у меня осталась лишь хрипота, которую заметил Стилитано. Я закашлялся.

Позади Параллело раскинулся пустырь, где шпана играла в карты (Параллело — это большая улица в Барселоне, параллельная знаменитой Рамблас. Множество узких, темных и грязных улочек между этими двумя очень широкими дорогами образуют Баррио Чино). Воры садились на корточки и устраивали игру, разложив карты на куске ткани или прямо на земле, в пыли. Молодой цыган вел одну из партий, и я решил рискнуть несколькими грошами, завалявшимися у меня в кармане. Я не игрок. Меня не привлекают роскошные казино. Свет, исходящий из люстр, наводит на меня тоску. Меня воротит от показной непринужденности элегантных игроков, а невозможность воздействия на все эти механизмы: шары, рулетку, лошадок — повергает в уныние, но я любил пыль, грязь, поспешность шпаны. Весь этот люд стремился к выигрышу или проигрышу. Каждое бедро дрожало от усталости или тревоги. В тот день небо было хмурым. Я заразился юным азартом этих юных испанцев. Я играл и выигрывал. Я все время выигрывал. В течение всех партий я не проронил ни слова. Впрочем, цыган был мне незнаком. Обычай позволял мне забрать свои деньги и уйти. Но парень был такой симпатичный, что я побоялся, уйдя таким образом, проявить неуважение к внезапно погрустневшей красоте его лица, изнуренного жарой и скукой. Я любезно вернул ему его деньги. Слегка удивившись, он принял их и просто поблагодарил меня.

— Привет, Пепе,— бросил на ходу какой-то смуглый кудрявый хромой.

«Пепе,— сказал я себе,— его зовут Пепе».

Я собрался уходить, успев заметить его маленькую, почти женскую руку. Но лишь только я стал пробираться сквозь толпу воров, девок, нищих, педиков, как ощутил на своем плече чье-то прикосновение. Это был Пепе. Он бросил игру. Он заговорил со мной по-испански:

— Меня зовут Пепе.

И он протянул мне руку.

— Меня — Хуан.

— Пойдем. Давай выпьем.

Он был такого же роста, как я. Его лицо, которое я видел сверху, когда он сидел на корточках, показалось мне менее плоским. Черты его были более тонкими.

«Это девушка»,— подумал я, вспомнив его тонкую руку, и вообразил, что буду скучать в его обществе. Он решил, что мы пропьем деньги, которые я выиграл. Мы ходили из таверны в таверну, и все время, пока мы были вместе, он излучал обаяние. Он не носил рубашки, на нем была голубая майка с большим вырезом, из которого выглядывала мощная шея, не уступавшая по объему его голове. Когда он поворачивал шею, оставаясь неподвижным, на ней напрягалось огромное сухожилие. Я пытался представить его тело, и, если не считать хрупких рук, оно выглядело крепким: ноги были туго обтянуты легкой тканью брюк.

Было жарко. Гроза никак не начиналась. Возбуждение окружавших нас

игроков возрастало. Девицы казались все более неповоротливыми. Пыль и жара действовали на нас угнетающе. Мы не пили ничего спиртного, только прохладительные напитки. Сидя около уличных торговцев, мы перебрасывались скупыми словами. Он все время улыбался, немного устало. Он казался мне снисходительным. Я не знаю, догадался ли он, что мне понравилась его мордашка, во всяком случае, он не подавал вида. К тому же у меня были такие же, немного подозрительные повадки; казалось, что я представлял угрозу для хорошо одетых гуляк, я был так же молод и чумаз, как и он, и я был французом.

К вечеру он захотел играть, но было уже слишком поздно устраивать партию, все места были заняты. Мы немного потолкались возле игроков. Проходя мимо девиц, Пепе пощипывал некоторых из них. Жара становилась все более давящей. Небо сровнялось с землей. Возбуждение толпы перерастало в раздражение. Нетерпение овладело цыганом, который никак не мог выбрать себе партнеров. Он мусолил в кармане мелочь. Внезапно он схватил меня за руку:

— Venga! [1]

Он отвел меня на два шага, к единственному на Параллело туалету, который обслуживала одна старуха. Удивляясь неожиданности его решения, я спросил:

— Что ты собираешься делать?

— Ты будешь ждать меня.

— В чем дело?

Он произнес по-испански какое-то слово, которое я не понял. Я сказал ему об этом, и на глазах у старухи, ждавшей свои гроши, он со смехом потянулся к своему члену, делая вид, что мастурбирует. Когда он вышел из туалета, его лицо немного порозовело. Он по-прежнему улыбался.

— Теперь все в порядке, я готов.

Так я узнал о мерах предосторожности, которые принимают здесь в экстренных случаях некоторые игроки, чтобы снять возбуждение. Мы вернулись на пустырь. Пепе выбрал себе группу. Он проиграл. Проиграл все, что у него оставалось. Я пытался его удержать, но было уже поздно. Согласно обычаю он попросил у человека, который держал банк, выдать ему деньги для следующей партии. Тот отказался. И тут мне показалось, что все то, из чего складывалось обаяние цыгана, скисло, как молоко, и обернулось самой лютой яростью, какую я когда-либо видел. В мгновение ока он схватил банк. Мужчина вскочил, собираясь дать ему пинка ногой. Пепе увернулся. Он протянул мне деньги, но не успел я положить их в карман, как мелькнуло лезвие его ножа. Он всадил его в сердце испанца, высокого загорелого парня, который упал на землю, в грязь, побелев, несмотря на весь свой загар, скорчился, забился в судорогах и отошел. Я впервые увидел, как кто-то испускает дух. Пепе исчез, но когда я отвел взгляд от мертвеца и поднял голову, то увидел Стилитано, который разглядывал труп с легкой улыбкой. Солнце клонилось к закату. Мертвец и самый прекрасный из смертных слились передо мной в одной и той же золотой пыли, посреди толпы моряков, солдат, шпаны и воров со всех уголков земли. Она перестала вращаться: ей было боязно нести Стилитано вокруг солнца. Я встретился одновременно с любовью и смертью. Однако это виде́ние было мимолетным, ибо я не мог оставаться там из опасения, что кто-нибудь из дружков покойного, видевших меня вместе с Пепе, отберет у меня деньги, которые я прятал в кармане. Когда я уходил оттуда, моя память прокручивала и комментировала эту сцену, которая казалась мне грандиозной: «Убийство очаровательным ребенком зрелого мужа, чей загар побледнел и принял цвет смерти, и на все это насмешливо взирал высокий белокурый юноша, с которым, втайне от всех, я был помолвлен». Он стоял босиком в пыли. Его ноги были скрыты под полинявшей, вытертой, рваной тканью голубых брюк. Рукава зеленой рубашки были засучены, и один из них нависал над рассеченным, чуть более тонким запястьем, на зашитой коже которого еще виднелся нежный бледно-розовый шрам.

Стилитано улыбнулся, глядя мимо меня.

— Тебе на меня наплевать?

— Есть немного,— сказал он.

---

[1] Подойди *(исп.)*.

— Пользуйся этим.

Он снова улыбнулся и уставился на меня.

— Зачем?

— Ты знаешь, что ты — красивый малый. И ты думаешь, что можешь на всех плевать.

— Я имею право, я — симпатяга.

— Ты уверен?

Он расхохотался.

— Уверен. Двух мнений быть не может. Я до того симпатичный, что некоторые начинают ко мне клеиться. Чтобы они отстали, приходится делать им гадости.

— Какие?

— Тебе интересно? Подожди, скоро увидишь меня в деле. Ты успеешь в этом убедиться. Где ты ночуешь?

— Здесь.

— Зря. Полиция будет тебя искать. Первым делом она придет сюда. Пошли со мной.

Я сказал Сальвадору, что не могу оставаться этой ночью в гостинице и что бывший легионер предложил мне свою комнату. Он побледнел. Мне стало стыдно оттого, что он так легко смирился со своим горем. Чтобы расстаться с ним без угрызений совести, я оскорбил его. Я мог это сделать, поскольку он любил меня безгранично. В ответ на его удрученный и полный ненависти взгляд несчастного недоумка я произнес одно слово: «Ублюдок». Затем я пошел к Стилитано, который ждал меня на улице. Его гостиница находилась в самом глухом из тупиков квартала. Он жил в ней всего несколько дней. Из коридора, выходившего на мостовую, лестница вела в номера. Во время подъема он сказал:

— Ты хочешь, чтобы мы были вместе?

— Можно.

— Ты прав. Так легче выбираться из дерьма.

У двери коридора он также сказал:

— Дай мне спички.

У нас был один спичечный коробок на двоих.

— Он пуст,— сказал я.

Он выругался. Стилитано взял меня за руку, заведя свою руку за спину, так как я был справа от него.

— Ступай за мной,— велел он.— И не шуми, эта лестница — болтушка.

Он осторожно вел меня вверх по ступенькам. Я не знал, куда мы идем. Невероятно гибкий атлет совершал со мной прогулку в ночи. Самая античная и греческая из Антигон заставляла меня карабкаться на крутую угрюмую голгофу. Моя рука доверчиво лежала в его руке, и мне было стыдно, когда я порой спотыкался о камень, цеплялся за корень или терял почву под ногами.

Самые прекрасные на свете пейзажи открывались моему взору под трагическим небом, когда Стилитано брал меня ночью за руку. Что за флюиды переходили из него в меня, сообщая мне заряд? Я шел по краю головокружительных обрывов, выходил на мрачные равнины, слышал рев моря. Как только я ступал на нее, лестница перевоплощалась: она становилась владычицей мира. Дай я волю воспоминаниям об этих коротких мгновеньях, я бы описал вам прогулки, стремительные побеги и погони в тех уголках мира, где мне никогда не бывать.

Мой похититель увлекал меня за собой.

«Я покажусь ему неуклюжим»,— думал я.

Однако он удерживал меня любезно и терпеливо; молчание, к которому он меня призывал, тайна, которой он окружал нашу первую ночь, заставили меня на миг поверить в его любовь. Дом пахнул ничуть не лучше, чем другие дома в Баррио Чино, но его жуткий запах навсегда останется для меня не просто ароматом любви, но также нежности и доверия. Запах Стилитано, запах его подмышек, запах у него изо рта — когда мое обоняние вспоминает об этом, если оно внезапно обретет эти запахи во всей их будоражащей достоверности, я думаю, что они ударят мне в голову с прежней одуряющей силой.

— Осторожно.

Он прошептал это слишком нежное для меня слово. Из-за положения наших

рук я оказался прижатым к его телу. На миг я ощутил прикосновение его подвижных ягодиц. Я немного отстранился из вежливости. Мы поднимались по узкому ходу вдоль тонкой стены, охранявшей сон гостиничных проституток, воров, сутенеров и нищих. Я был ребенком, которого бережно ведет отец. (Сегодня я являюсь отцом, которого его чадо ведет к любви.)

На четвертой лестничной клетке я вошел в его убогую каморку. Мой дыхательный ритм сбился. Я был влюблен.

В барах Параллело Стилитано представил меня своим приятелям. Ни один из них как будто не заметил, что я люблю мужчин, ведь среди обитателей Баррио Чино столько «голубых». Мы совершили с ним вместе, вдвоем, несколько безобидных налетов, которые обеспечили нас всем необходимым для пропитания. Я жил с ним, я спал в его постели, но этот верзила проявлял столь утонченную стыдливость, что ни разу мне не удалось увидеть его тело целиком. Хотя я и получал от него то, чего я страстно желал, Стилитано оставался для меня милым и надежным хозяином, ни сила, ни обаяние которого так и не утолили мою жажду мужественности, сосредоточенной в солдате, моряке, авантюристе, воре, преступнике. Будучи недоступным, он стал в моих глазах воплощением вышеперечисленных типов, которые подавляют меня. Следовательно, я был целомудренным. Иногда он издевался надо мной, требуя, чтобы я застегнул его пояс. Мои руки дрожали. Он делал вид, что ничего не замечает, и дурачился. Стилитано радовался, что я был в его власти, и представлял меня друзьям как свою правую руку. У него не было правой руки, и я с восторгом говорил себе; что, конечно, я — его правая рука, я — тот, кто заменил ему самую сильную часть тела. Была ли у него любовница среди девиц? Мне об этом было неизвестно. Он относился к педикам с показным презрением. Так мы прожили несколько дней.

Однажды вечером, когда я сидел в «Криолле», одна из шлюх сказала, что мне надо бежать. По ее словам, приходил карабинер. Он разыскивал меня. Это наверняка был тот самый солдат, которого я сперва удовлетворил, а потом ограбил. Я вернулся в гостиницу. Я предупредил Стилитано; он сказал, что берется уладить дело, и вышел.

Я родился в Париже 19 декабря 1910 года. Будучи воспитанником детского приюта, я был не в состоянии что-либо узнать о своем происхождении. Когда мне исполнился двадцать один год, я получил свидетельство о рождении. Мою мать звали Габриэль Жене. Отец до сих пор неизвестен. Я появился на свет в доме 22 по улице Ассаса [1].

«Я раздобуду сведения о своем происхождении»,— сказал я себе и отправился на улицу Ассаса. В доме 22 размещался родильный дом. Мне отказали в информации. Я рос в Морване [2], в крестьянской семье.

Когда я встречаю в ландах — странным образом, на закате, на обратном пути после посещения развалин Тиффожа, где жил Жиль де Рец [3],— цветы дрока, я испытываю к ним горячую симпатию. Я взираю на них значительно, с нежностью. Мое волнение возникает словно по велению окружающей природы. Один в целом мире, я отнюдь не уверен, что не являюсь королем — или, может быть, феей — этих цветов. При встрече они выказывают мне почтение, склоняются без поклонов, но узнают меня. Они видят во мне своего представителя, живого, подвижного, ловкого покорителя ветра. Они же являются моим естественным гербом, благодаря им я ощущаю свои корни в этой французской почве, удобренной прахом детей и подростков, зарезанных, изрубленных, сожженных Жилем де Рецем.

Из-за этого колючего растения Севенн [4] я участвую в преступных авантюрах Ваше́. Наконец, благодаря тому, что я ношу его имя [5], мне близок растительный

---

[1] Луи д'Ассас (1733—1760) — французский офицер, капитан Овернского полка, погибший смертью героя *(прим. перев.)*.

[2] Горный массив в северной части Центрального массива (Франция). Лесной район, жители которого занимаются скотоводством *(прим. перев.)*.

[3] Жиль де Монморанси-Лаваль, сир де Рец (1404—1440) — маршал Франции, преступления которого подсказали Шарлю Перро сюжет сказки «Синяя Борода» *(прим. перев.)*.

[4] В день нашего знакомства Жан Кокто окрестил меня «своим испанским дроком». Он не знал, что сотворил со мной этот край.

[5] «Дрок» (genêt) по-французски звучит так же, как фамилия Ж. Жене *(прим. перев.)*.

мир. Я могу смотреть на цветы без умиления, это моя родня. Если я качусь из-за них в низшие сферы — я бы хотел опуститься до древовидных папоротников с их болотами и водорослей,— то в то же время я все больше удаляюсь от людей [1].

На планете Уран, по слухам, настолько тяжелая атмосфера, что папоротники становятся ползучими; животные передвигаются с трудом под давлением газа. С этими униженными, вечно ползающими на брюхе тварями я и хочу слиться. Если в силу метемпсихоза я получу новое местожительство, я выберу эту проклятую планету и буду обживать ее вместе с каторжниками моей породы. Среди ужасающих рептилий я буду гоняться за вечной, презренной смертью во мраке, где листва черна, вода болот тяжела и холодна. Я лишусь сна. Но, становясь все мудрее, я постигну гнусное братство смеющихся крокодилов.

Решение стать вором пришло ко мне не в какой-то определенный период жизни. Вследствие моей лени и фантазий я попал в исправительную колонию Меттре, где должен был оставаться до совершеннолетия, но сбежал оттуда и завербовался на пять лет в армию, чтобы получить премию добровольного рекрута. Через несколько дней я дезертировал, прихватив с собой чемоданы, принадлежавшие офицерам.

Некоторое время промышлял воровством, но проституция была милее моей беспечной душе. Мне было двадцать лет. Таким образом, я познал армию еще до прихода в Испанию. Достоинство, которое придает мундир, отчужденность от мира, которую он предписывает, да и само ремесло солдата вселили в меня некоторое спокойствие — хотя армия находится *бок о бок* с обществом — и уверенность в себе. Мое существование от рождения униженного ребенка было скрашено в течение нескольких месяцев. Я наконец узнал, как сладостно быть принятым в людское сообщество. Моя нищенская жизнь в Испании была деградацией, смесью падения и стыда. Я был подонком. Это не значит, что во время моего пребывания в армии я был примерным солдатом, руководствующимся строгими правилами нравственности, которые создают касты (одной педерастии было бы достаточно, чтобы осудить меня), но в моей душе все еще продолжалась тайная работа, которая в конце концов пробилась к свету.

Возможно, я восхищаюсь предателями и люблю их в силу их морального одиночества, к которому я стремлюсь. Склонность к одиночеству была признаком моей гордости, а гордость — проявлением моей силы, применением и свидетельством этой силы. Мне предстояло разрушить самые прочные в мире узы: узы любви. И какая же любовь мне нужна, чтобы я почерпнул в ней достаточно энергии, дабы ее уничтожить!

Именно в армии мне довелось впервые (по крайней мере, так мне кажется) стать свидетелем отчаяния одной из моих жертв. Ограбление солдата было предательством, ибо я разрывал узы любви, связывавшие меня с обворованным солдатом.

Гобелен под названием «Дама с единорогом» потряс меня в силу причин, о которых я не стану здесь распространяться. Когда я переходил границу, из Чехословакии в Польшу, был полдень, стояло лето. Идеально прямая линия пересекала поле спелой ржи; его белизна могла поспорить с белизной волос молодых поляков, а мягкость — с немного масляной мягкостью Польши, страны, о которой я слышал, что на протяжении всей истории ее то оскорбляли, то жалели. Со мной был еще один парень, высланный, как и я, чешской полицией, но очень скоро я потерял его из вида: может быть, он заблудился в роще или решил меня бросить; так или иначе, он исчез. С польской стороны ржаное поле было окаймлено лесом, на опушке которого застыли березы. С чешской стороны — другим лесом, еловым. Я долго сидел на корточках у его кромки, осторожно задаваясь вопросом, что таит в себе поле, которое я собираюсь пересечь, и сколько пограничников прячется в его ржи. Невидимые зайцы, видимо, перебегали через него. Я был охвачен тревогой. В полдень, под безоблачным небом природа предлагала мне загадку, предлагала ее с пленительной нежностью.

«Если что-то и произойдет,— говорил я себе,— так это появление единорога. Подобное время и место могут разрешиться только единорогом».

[1] Ботаникам известна разновидность дрока, которую они называют летучим драконом.

Страх и волнение, которые я неизменно испытываю при переходе границы, создали в полдень, под свинцовым солнцем, первую феерию. Я решился броситься в это позолоченное море, как в воду. Я шел через рожь, выпрямившись во весь рост. Я продвигался вперед медленно и уверенно, чувствуя себя титулованной особой, для которой природа сочинила герб из лазури, золотого поля, солнца и лесов.

Добравшись до берез, я оказался в Польше. Мне предстояло изведать восхищение иного рода. «Дама с единорогом» является для меня высокомерным обозначением данного полуденного перехода границы. Благодаря страху я узнал смятение перед тайной дневной природы, в то время как французская сельская местность, по которой я обычно бродил ночью, была овеяна призраком Ваше́ — убийцы пастухов. Странствуя по ней, я слышал в своей душе мелодии, которые он наигрывал там на аккордеоне, и мысленно призывал детей прийти и упасть в объятия душегуба. Между тем я упомянул об этом, чтобы попытаться рассказать вам, когда примерно природа взволновала меня, породив во мне стихийные образы мифического зверя либо ситуаций и несчастных случаев, робким очарованным пленником которых я стал [1].

Переход границы и чувство, которое он мне внушает, видимо, посеяли во мне подозрение относительно сущности нации, в которую я внедрялся. Я проникал скорее не в страну, а в глубь картины. Естественно, я желал овладеть ею, но также оказать на нее воздействие. Поскольку военная машина характеризует ее лучше всего, я жаждал испортить эту машину. Для иностранца существует только один способ — шпионаж. Возможно, к этому желанию примешивалось стремление осквернить предательством учреждение, основой которого должна быть верность — или лояльность. Возможно, я также хотел уйти как можно дальше от моей собственной страны. Так или иначе, из-за врожденного пристрастия к феерии я был готов действовать не по правилам морали, а согласно некоторым законам романтической эстетики, которые превращают шпиона в беспокойного, невидимого, но влиятельного героя. В конце концов в ряде случаев подобное стремление оправдывало мое проникновение в страну, куда ничто не заставляло меня идти, кроме разве что изгнания из соседней страны.

Я не знаю, насколько Стилитано был посвящен в военные тайны, что именно мог он разведать в легионе, в канцелярии какого-нибудь полковника. Но так или иначе, он вздумал стать шпионом. Ни выгода, которую нам удалось бы из этого извлечь, ни даже рискованный характер авантюры меня не привлекали. Лишь мысль об измене завораживала меня, все больше укореняясь в моем сознании.

— Кому бы продаться?

— Германии.

Однако, немного поразмыслив, он передумал:

— Лучше Италии.

— Но ты же серб. Это ваши враги.

— Ну и что?

Если бы мы довели ее до конца, эта авантюра отчасти помогла бы мне выбраться из мерзости, в которой я оказался. Шпионаж как средство вызывает у государств такой стыд, что они облагораживают это ремесло в силу его предосудительности. Мы извлекли бы пользу из этого благородства. Хотя в нашем случае шла речь об измене. Впоследствии, когда меня арестовали в Италии и офицеры допрашивали меня по поводу охраны наших границ, я сумел открыть диалектику, способную оправдать мои признания. Стилитано поддержал бы меня в данном случае. Вследствие этих показаний я сознательно становился пособником страшной катастрофы. Стилитано мог предать свою родину, а я — свою из любви к Стилитано.

Стилитано пришел поздно ночью и сказал, что все улажено. Он встречался с карабинером.

— Он оставит тебя в покое. Все кончено. Ты сможешь выходить, как и раньше.

— А как же накидка?

---

[1] Первый стих, который я сочинил, к собственному удивлению, гласит: «Жнец прерывистых дуновений». Вышеописанная сцена напоминает мне эту строку.

— Я оставлю ее себе.

Догадываясь, что эта ночь стала свидетельницей подлости, причудливо смешанной с обольщением, я не решался больше расспрашивать.

— Давай!

Взмахнув здоровой рукой, он показал мне, что хочет раздеться. Как и в предыдущие вечера, я встал на колени, чтобы отцепить виноградную гроздь.

Он приколол к изнанке своих брюк кисть искусственного винограда, целлулоидные ягоды которого были набиты ватой. (Тамошние модницы носили эти ягоды величиной с ренклод на своих соломенных капорах, которые прогибались под их тяжестью.)

Всякий раз в «Криолле», когда какой-нибудь гомик клал руку на ширинку Стилитано, взволнованный ее величиной, его пальцы с ужасом натыкались на этот предмет, принимая его за гроздь подлинного сокровища, с которой комичным образом свисало слишком много плодов.

«Криолла» была кабаком, где собирались «голубые». Там танцевали парни в платьях, но бывали и женщины. Проститутки приводили сюда своих «котов» и клиентов. Стилитано мог бы заработать кучу денег, если бы он не плевал на гомиков. Он презирал их. Нацепив виноградную кисть, он забавлялся их досадой. Эта игра продолжалась несколько дней.

Итак, я отцепил гроздь, пришпиленную к его голубым брюкам английской булавкой, но вместо того, чтобы положить ее, как обычно, со смехом на камин (мы хохотали и острили во время этой процедуры), я не удержался и, не выпуская ее из рук, приложил к своей щеке. Лицо склонившегося надо мной Стилитано перекосилось:

— Брось это! Шлюха!

Я присел на корточки, чтобы расстегнуть ширинку, но ярость Стилитано, вдобавок к моему традиционному рвению, заставила меня упасть на колени. Это была поза, в которой я невольно стоял перед ним в глубине души. Я не двигался. Стилитано ударил меня обеими ногами и единственным кулаком. Я мог бы убежать, но я не шелохнулся.

«Ключ в двери»,— думал я.

Сквозь угольник неистово пинавших меня ног я видел ключ в замочной скважине, и мне хотелось повернуть его на два оборота, чтобы оказаться запертым вместе со своим палачом. Я не пытался найти объяснение его гневу, который настолько не соответствовал вызвавшей его причине, ибо психологические мотивы мало занимали мой разум. Стилитано же с этого дня перестал носить виноградную гроздь.

Будучи крайне осмотрительным, я не буду комментировать загадочную церемонию ношения кисти, однако мне нравится видеть в лице Стилитано гомика, который ненавидит себя.

«Он желает сбить с толку и оскорбить, вызвать отвращение у тех, кто хочет его»,— говорю я себе, думая о нем.

Эта мысль, которую я обдумываю все с большей трезвостью, все сильнее волнует меня, и я могу извлечь из нее полезный вывод: Стилитано выдумал бутафорскую гнусность для этого самого благородного места — я знаю, что оно у него великолепно,— чтобы спасти от презрения свою отрубленную руку. Так, посредством очень грубой уловки я вновь возвращаюсь к нищим с их язвами. За реальной либо мнимой физической болью прячется более тайная боль души.

Я назову эти тайные раны:

гнилые зубы,

дурной запах изо рта,

отрезанная рука,

запах ног и т. д.

Для их маскировки у нас были следующие предметы гордости:

отрезанная рука,

выбитый глаз,

деревянная нога и т. д.

Человек остается падшим, пока несет в себе знаки падения, и умение прибегать к уловкам мало что дает. Лишь с помощью гордости, необходимой нищете, мы вызывали жалость, насаждая самые омерзительные язвы. Мы становились укором вашему благополучию.

Между тем мы со Стилитано жили очень бедно. Когда благодаря гомикам я зарабатывал немного денег, он выказывал столько гордости, что порой я спрашиваю себя, не возвеличивает ли его моя память в силу фанфаронства, предлогом и главным свидетелем которого я был. Характер моей любви требовал от него, чтобы он постоянно доказывал свою мужественность. Если он — восхитительный хищник, кровожадность которого бросает на него тень и придает ему блеск, пусть он предается соответствующим играм. Я подстрекал его к воровству.

Мы с ним решили ограбить лавку. Чтобы перерезать телефонный провод, весьма неосторожно проведенный возле двери, требовались клещи. Мы зашли на один из многочисленных барселонских базаров, где торгуют скобяными изделиями.

— Постарайся не двигаться, если увидишь, как я что-нибудь сопру.

— Что же мне делать?

— Ничего. Просто глазей по сторонам.

Стилитано был обут в белые тапочки. Он был одет в свои неизменные голубые брюки и рубашку цвета хаки. Я ничего не заметил, но когда мы вышли, я с изумлением увидел на язычке ткани, предназначенном для застегивания кармана рубашки, нечто вроде маленькой юркой и спокойной ящерицы, подвешенной за зубы. Это были необходимые нам стальные клещи, которые украл Стилитано.

«В то, что он очаровывает обезьян, мужчин и женщин,— думал я,— еще можно поверить, но какова природа этого магнетизма, исходящего от его золотистых мускулов и кудрей, от этого белокурого янтаря, способного покорять вещи?»

Тем не менее я нисколько не сомневался, что вещи подчинялись ему. Это значит, что он их понимал. Он настолько хорошо разбирался в природе стали, в частности, в природе своеобразного куска вороненой стали под названием клещи, что они послушно и влюбленно, до изнеможения висели на его рубашке (куда он сумел прикрепить их с предельной точностью), изо всех сил, чтобы не упасть, цепляясь за ткань своими жалкими челюстями. Порой случалось, что те же предметы, раздраженные неловким движением, ранили его. Стилитано стриг ногти, кончики его пальцев были тщательно обработаны, один из ногтей был черным и сплющенным, но это лишь подчеркивало его красоту. Предметы повседневного пользования всегда будут украшать Стилитано. Даже моя пунктуальность покоится на его слабостях. Мне нравилась его склонность к лени. Он подтекал, как сосуд. Стоило нам раздобыть клещи, как он попробовал уйти в кусты:

— А вдруг там собака?

Я предложил убрать ее с помощью отравленного бифштекса.

— Собаки богачей не лопают невесть что.

Неожиданно Стилитано припомнил старинный цыганский трюк: вор якобы носит штаны, смазанные жиром льва. Стилитано знал, что подобную мазь нельзя раздобыть, но эта идея привела его в возбуждение. Он замолчал. Без сомнения, он уже видел себя ночью, в роще, подстерегающим добычу в штанах, затвердевших от жира. Он был силен силой льва, он стал диким зверем, готовым к борьбе, костру, вертелу и могиле. Он был бесподобен в своих доспехах из жира и воображения. Я не знаю, бессознательно ли он рядился в цыганскую силу и удаль, или ему доставляло удовольствие подобным образом приобщаться к тайнам кочевого народа.

— Ты бы хотел быть цыганом? — спросил я у него однажды.

— Я?

— Да, ты.

— Я был бы не против, но только тогда мне пришлось бы завязать.

Итак, время от времени он мечтал. Мне казалось, что я обнаружил брешь, через которую немного моей нежности могло бы просочиться под его каменный панцирь. Но он не был большим любителем ночных прогулок, и я не изведал с ним подлинного опьянения, вглядываясь в стены, переулки, сады, перелезая через заборы или занимаясь грабежами. У меня даже не осталось ни одного серьезного воспоминания об этом. Только во Франции, благодаря Ги, я познáю суть воровства.

Вместе со Стилитано, сопровождая его повсюду, я совершил и другие налеты. Мы познакомились с ночным сторожем, который стал нашим наводчиком. С его помощью мы долгое время промышляли кражами. Дерзкая прелесть воровской жизни и ее блеск ничего бы не значили, не будь рядом со мной Стилитано — неоспоримого их подтверждения. В глазах мужчин моя жизнь приобретала великолепие, поскольку я обладал другом, красота которого относится к разряду роскоши. Я был слугой, призванным обиходить, смахивая с него пыль, начищая и полируя его дорогостоящий предмет, который достался мне чудом, по случаю дружбы.

«Когда я прохожу по улице, не завидует ли мне самая богатая и самая прекрасная из сеньорит? — размышлял я.— «Как этот лукавый принц,— гадает она,— этот инфант в лохмотьях может идти пешком, когда у него такой прекрасный любовник?»»

Я толкал Стилитано на все более опасные приключения.

— Нам нужен револьвер,— сказал я ему.

— Ты сумеешь с ним обращаться?

— С тобой я не побоюсь кого-нибудь прикончить.

Поскольку я был его правой рукой, мне следовало действовать. Чем больше я подчинялся суровым приказам, тем теснее становилась моя связь с их источником. Он же тем временем лишь улыбался. В банде (ассоциации злоумышленников) отвагу проявляют молодые парни и гомосексуалисты. Именно они — инициаторы рискованных налетов. Они играют роль оплодотворяющего начала. Сила мужчин, возраст, авторитет, дружба и присутствие «стариков» поддерживают и ободряют их. Мужчины рассчитывают только на себя. Они сами себе судьи, и, зная собственную слабость, они не спешат. Мне же казалось, что мужчины, «крутые», были своего рода женским туманом, в котором мне хотелось затеряться, чтобы почувствовать себя несокрушимой глыбой.

Стилитано поведал мне, что Пепе арестован. Он сидел в тюрьме.

— Как ты об этом узнал?

— Из газеты.

— Что ему грозит?

— Пожизненное.

Мы не обменялись ни единым замечанием по этому поводу.

Стилитано добывал немного денег через девиц. Чаще всего он их обворовывал: забирал себе сдачу, когда они платили по счету, либо по ночам, когда они отходили к биде, крал деньги из их сумок. Разгуливая по Баррио Чино и Параллело, он приставал ко всем встречным женщинам, то поддразнивая их, то обращаясь с ними ласково, с неизменной иронией. Возвращаясь утром в нашу комнату, он приносил с собой охапку детских журналов с пестрыми картинками. Иногда он делал большой крюк, чтобы купить их в киоске, открытом до поздней ночи. Он читал истории, которые напоминали нынешние приключения Тарзана. Их герой был изображен с любовью. Художник с чрезвычайной тщательностью выписывал внушительную мускулатуру этого рыцаря, который почти всегда разгуливал нагишом или был одет непристойным образом. Затем Стилитано засыпал. Он старался лечь так, чтобы его тело не соприкасалось с моим. Кровать была очень узкой. Отходя ко сну, он говорил:

— Привет, малыш.

При пробуждении тоже:

— Привет, малыш [1].

Наша комната была крошечной. Она была грязной. Единственный таз был засален. В Баррио Чино никому бы не пришло в голову убирать свою комнату, стирать свои вещи или белье — за исключением рубашки, да и то чаще всего один воротник. Вместо платы за комнату Стилитано раз в неделю целовал хозяйку, которая иногда величала его «сеньором».

Как-то раз ему чуть не пришлось драться. Мы шли по calle Кармен, было уже

---

[1] В то время как я раскидывал свои вещи как попало, Стилитано вечером вешал свою одежду на стул, аккуратно складывал брюки, куртку и рубашку, чтобы они не помялись. Казалось, что он считал свои вещи живыми и хотел, чтобы они отдохнули ночью после трудного дня.

почти темно. Тела испанцев приобретают порой струящуюся гибкость. Некоторые их позы кажутся двусмысленными. При свете дня Стилитано не обознался бы. В сумерках он повстречался с тремя мужчинами, которые говорили тихо, но жестикулировали и живо, и томно одновременно. Поравнявшись с ними, Стилитано окликнул их вызывающим тоном, прибавив несколько грубых слов. Это были три крепких подвижных сутенера, и они ответили на его оскорбление. Стилитано остановился в замешательстве. Трое мужчин подошли к нему.

— Ты что, принимаешь нас за пидеров, раз позволяешь себе так разговаривать?

Стилитано уже понял свою оплошность, но решил похорохориться передо мной.

— Ну и что?

— Сам ты пидер.

Нас окружили женщины и мужчины. Драка казалась неизбежной. Один из парней подначивал Стилитано:

— Если ты не пидер, ударь меня.

Шпана долго разглагольствует, прежде чем пустить в ход кулаки или оружие, не для того, чтобы уладить конфликт, а возбуждая себя перед боем. Другие испанцы, их приятели, подзадоривали трех «котов». Стилитано почуял угрозу. Мое присутствие больше не смущало его. Он сказал:

— Бросьте, ребята, не будете же вы драться с калекой.

Он протянул им свою культю. Его жест был таким простым и сдержанным, что, вместо того чтобы внушить мне омерзение к Стилитано, это гнусное кривляние возвысило его в моих глазах. Его провожали не шиканьем, а шепотом, которым порядочные люди выражают свое смущение при столкновении с чужой бедой. Стилитано медленно отступал под защитой своего обрубка, который он выставил перед собой. Эта отсутствовавшая рука была настолько же реальной и действенной, как символ королевской власти, как рука правосудия.

Мы со Стилитано отправились в Кадис. Пересаживаясь с одного товарного поезда на другой, мы добрались до окрестностей Сан-Фернандо и решили продолжать путь пешком. И тут Стилитано пропал. Мы договорились встретиться на вокзале. Он не пришел. Я долго ждал, я ходил на вокзал два дня подряд, хотя и был уверен, что он меня бросил. Я остался один, без гроша в кармане. Осознав это, я снова почувствовал досадное и одновременно приятное присутствие паразитов в изнаночных швах рубашки и брюк: Стилитано и я, мы были все теми же египетскими монахинями, которые никогда не моют ног и чьи сорочки воняют гнилью.

Сан-Фернандо стоит на берегу моря. Я решил перебраться в окруженный водой Кадис, связанный с материком длиннющей дамбой. Я ступил на нее под вечер. Впереди высились пирамиды солончаков Сан-Фернандо, и дальше, в море, на фоне заката вырисовывался город куполов и минаретов: на краю западной земли я внезапно узрел квинтэссенцию Востока. Впервые в жизни вещи заслонили от меня человека. Я позабыл Стилитано.

Чтобы не умереть с голоду, я шел спозаранку в порт, где рыбаки обычно выбрасывают из лодок немного рыбы, выловленной ночью. Всем нищим известен этот обычай. Вместо того чтобы варить ее на костре, как в Малаге, вместе с другими босяками, я удалялся к скалам, обращенным к Порто-Реале. Когда моя рыба была готова, всходило солнце. Почти всегда я ел ее без хлеба и соли. Стоя, лежа или сидя на скалах, на восточной окраине острова, лицом к берегу, я был первым, кого освещал и согревал первый луч. Он был первым проблеском жизни. Я собирал рыбу на пристанях еще в темноте. Также в темноте я приходил к своим скалам. Восход солнца ошеломлял меня. Я поклонялся солнцу. Между нами возникала близость заговорщиков. Разумеется, я почитал его, не прибегая к сложным обрядам, мне и в голову не пришло бы подражать первобытным людям, но я знаю, что это светило стало моим богом. Оно поднималось, описывало дугу и завершало ее в моем теле. Если даже я лицезрел его на небе, отданном астрономам, оно было лишь дерзкой проекцией заключенного во мне светила. Возможно, я даже смутно путал его с исчезнувшим Стилитано.

Таким образом, я даю вам представление о характере моего восприятия. Природа потрясала меня. Моя любовь к Стилитано, его оглушительное

вторжение в мою убогую жизнь и бог весть что еще бросили меня на произвол стихий. Стихии жестоки. Чтобы приручить их, я решил вобрать их в себя. Я не закрывал больше глаз на их жестокость, напротив, я приветствовал ее и потакал им в этом. Если я попытаюсь при помощи слов воссоздать мое тогдашнее поведение, читатель, как и я сам, не клюнет на эту удочку. Мы знаем, что наш язык не способен воспроизвести даже отражение ушедших в небытие диковинных состояний. То же самое произошло бы с этим дневником, если бы я попытался сделать его свидетелем того, каким я был. Я уточняю, что он информирует лишь о том, каков я сегодня.

Это не поиски прошедшего времени, а произведение искусства, темой и поводом которого является моя прежняя жизнь. Этот дневник станет настоящим, зафиксированным с помощью прошлого, а не наоборот. Итак, да будет вам известно, что факты являются такими, какими я их описываю, а вот их толкование — это итог того, чем я стал.

Я гулял по городу по ночам. Я спал, приткнувшись к стене, укрываясь от ветра. Я мечтал о Танжере, чья близость и слава приюта предателей пьянили меня. Дабы забыть о своей нищете, я измышлял коварнейшие измены и совершил бы их без содрогания сердца. Сегодня я знаю, что с Францией меня связывает лишь любовь к ее языку, но тогда!..

Моя тяга к измене проявит себя на допросе в связи с арестом Стилитано.

«Ради наживы,— спрашивал я себя,— и под угрозой насилия должен ли я выдавать Стилитано? Он все еще мне дорог, и я отвечу «нет». Но должен ли я выдавать Пепе, убившего игрока в вист на Параллело?»

Быть может (хотя бы и ценой стыда), я смирился бы с прогнившей изнанкой моей души, поскольку она издавала бы запах, от которого люди зажимают носы. Так читатель, возможно, вспомнит, что мой образ жизни нищего и проститутки стал для меня школой, где я научился использовать мерзости и даже находить удовольствие в своем пристрастии к ним. Я поступил бы так же (будучи силен в умении извлекать выгоду из стыда) со своей душой, изуродованной изменой. Судьбе было угодно, чтобы этот вопрос встал передо мной в ту пору, когда молодой лейтенант с военного корабля был приговорен к смертной казни морским трибуналом в Тулоне. Он выдал врагу то ли чертежи оружия, то ли карту военного порта, то ли план какого-то корабля. Я говорю не об измене, вследствие которой была бы проиграна легкая ирреальная морская баталия, раздувающая крылья парусных шхун, а о разгроме в бою стальных чудовищ, в которые была вложена гордость уже не наивного, а ожесточившегося народа, подкрепленная искусными расчетами инженеров. Одним словом, речь шла о современной измене. Газета, в которой сообщались эти факты (я наткнулся на нее в Кадисе), комментировала (разумеется, глупо, ибо что она могла об этом знать!): «...из любви к измене!»

Статья сопровождалась фотографией молодого, очень красивого офицера. Я влюбился в этот снимок и с тех пор всегда ношу его при себе. Опасности подогревают любовь, и в глубине души я был готов предложить осужденному разделить его участь. Морской трибунал, стоявший на этом пути, облегчал мое продвижение к человеку, к которому я приближался тяжелой поступью, но во весь дух. Его звали Марк Обер. Я отправлюсь в Танжер, говорил я себе, и, возможно, меня призовут в ряды предателей, и я стану одним из них.

Из Кадиса я перебрался в Уэльву. Изгнанный оттуда городской охраной, я вернулся в Херес и в Аликанте по берегу моря. Я странствовал в одиночку. Порой я встречал или обгонял другого бродягу. Даже не присев на груду камней, мы говорили друг другу, в какой деревне лучше всего относятся к нищим, какой алькальд человечнее других, и продолжали свой скорбный путь. Высмеивая наши котомки, тогда говорили: «Он вышел на охоту с холщовым ружьем». Я был совсем один. Я смиренно брел по обочинам дорог вдоль кюветов, белая пыль которых ложилась мне на ноги пудрой. К вечеру мои ноги потели; стало быть, летними вечерами я утопал в грязи. От солнца моя голова становилась пустой и наливалась свинцом, заменявшим мне мозг.

Прекрасная Андалусия была жаркой и бесплодной. Я исходил ее из конца в конец. В ту пору я не ведал усталости. Я тащил на себе такое бремя невзгод, что вся моя жизнь, как я считал, пройдет в скитаниях. Из мелочи, разнообразящей

жизнь, бродяжничество превратилось в реальность. Я не знаю, о чем я тогда размышлял, но помню, что вверил все свои тяготы Богу. В одиночестве, вдали от людей, я преисполнился любви и благочестия.

«Я так отдалился от них,— должно быть, говорил я ему,— что уже не надеюсь вернуться. Лучше уж мне оторваться от них совсем. Тогда между нами почти не останется связей, и если их презрению я противопоставлю свою любовь, порвется последняя нить».

Так, превозмогая боль, я даровал вам свою жалость. Мое отчаяние, без сомнения, выражалось иначе. В самом деле, мои мысли путались, но эта жалость выкристаллизовывалась в четких раздумьях, которые принимали в опаленной солнцем голове определенную и навязчивую форму. Моя тоска — я не думал, что это усталость,— не оставляла меня в покое. У родников я не утолял больше жажды. Горло мое пересохло. Глаза воспалились. Меня мучил голод. Солнце бросало медные блики на мое лицо с жесткой щетиной. Я высох, пожелтел, приуныл. Я учился улыбаться вещам и осмыслять их.

Я бродил по андалусским дорогам летом 1934 года. Ночью, выпросив в деревне немного денег, я забирался в поле и засыпал в какой-нибудь яме. Меня чуяли собаки — у меня все еще был особый запах,— они лаяли при моем приближении к ферме или удалении от нее.

«Идти или не идти?» — раздумывал я, проходя мимо домика с побеленными известью стенами.

Мои колебания продолжались недолго. Привязанная к двери собака продолжала тявкать. Я подходил ближе. Она тявкала громче. У хозяйки, появлявшейся на пороге, я клянчил монету, безбожно коверкая испанский язык — будучи иностранцем, я чувствовал себя немного увереннее,— и уходил, понурив голову, с застывшим лицом, когда мне отказывали в подаянии.

Странствуя по берегам Атлантики и Средиземного моря, я заходил в рыбацкие порты, щеголеватая бедность которых оскорбляла мою нищету. Я незаметно подкрадывался к мужчинам и женщинам, отдыхавшим в тени, к мальчишкам, игравшим на площади. Любовь, которую люди с виду проявляют друг к другу, раздирала мне душу. Стоило двум парням обменяться улыбками или приветствиями у меня на глазах, как меня отбрасывало на край земли: Мне чудилось, что старший говорит другому, которым я был когда-то, по поводу части тела, которую он ублажал:

— Сегодня ночью я снова приглажу твой венчик!

Я не мог смириться с тем, что кто-то кого-то любит вне меня.

Вдали от моря я проходил мимо острозубых скал, впивавшихся в небо, кромсавших его лазурь. Сухая, жесткая, злобная скудость природы бросала вызов моей нужде и человеческой нежности. Однако она же укрепляла мой дух. Открыв в природе одно из своих неотъемлемых свойств — гордость, я стал не так одинок. Я хотел превратиться в один из тех утесов. Я был счастлив и горд, ощущая наше родство. Благодаря ему я твердо стоял на земле. У меня были соратники. Я был своим среди минералов.

Мы будем противостоять ветрам, дождям и ударам судьбы.

Мой роман со Стилитано отступил на задворки моей души. Сам же Стилитано уменьшался в размерах до тех пор, пока не стал сияющей точкой изумительной чистоты.

«Это был настоящий мужчина»,— говорил я себе.

Как-то раз он признался мне, что убил в армии одного парня, и сказал в свое оправдание:

— Он угрожал меня прикончить. Но я убил его раньше. Его «пушка» была калибром помощнее моей. Я не виноват.

Я различал присущие ему мужские черты и жесты. Навечно застывшие в прошлом, они составляли оплот, секрет незыблемости которого коренился в этих незабвенных деталях.

Пальмы! Раннее солнце осыпало их позолотой. Свет трепетал, но пальмы были спокойны. Я видел лучшие из них. Они окаймляли берег Средиземного моря. В инее на стекле, в зиме было больше разнообразия, но, как и они, а может, и скорее, чем они, пальмы вовлекали меня в рождественскую картинку,

парадоксальным образом навеянную строфой о празднике накануне кончины Бога, о вхождении в Иерусалим и пальмовых ветвях, брошенных под ноги Иисуса. Мое детство грезило о пальмах. И вот я стою перед ними. Мне говорили, что в Вифлееме никогда не идет снег. В глубине названия «Аликанте» таился Восток. Я оказался в сердце своего детства, в мгновении, сохранившемся в первозданной свежести. Вот сейчас, на повороте, под тремя пальмами я увижу детские ясли, в которых я, ребенок, буду присутствовать при *своем рождестве* в окружении быка и осла. Я был смиреннейшим из бедняков, я устало влачился в пыли, заслужив наконец пальму первенства, созрев для каторги, соломенной шляпы и пальмовых розг.

Для бедняка монеты — не признак богатства, а нечто обратное. По дороге я, безусловно, обворовывал богатых идальго — нечасто, поскольку они всегда начеку,— но эти кражи оставляли меня безучастным. Я расскажу о тех, что я совершил у таких же нищих. Преступление в Аликанте будет для вас показательным.

Читатель помнит, что в Барселоне Пепе успел передать мне на бегу деньги, которые он подобрал на земле. Проявив героическую верность герою, а также из опасения, что Пепе или кто-нибудь из его дружков меня разыщут, я спрятал эти деньги в маленьком сквере неподалеку от Монхуча [1], у корней катальпы. Проявив выдержку, я утаил это от Стилитано, но когда мы с ним решили двигаться к югу, я откопал деньги (двести — триста песет) и послал их самому себе до востребования в Аликанте. Здесь было много сказано о воздействии природы на мои чувства, но ни слова, как мне кажется, о влиянии этого поступка на мою нравственную позицию. Приближаясь к Мурсии, я проходил через пальмовую рощу Эльче, уже испытывая столь осознанное потрясение от природы, что мои отношения с людьми начали походить на привычное отношение человека к вещам. Я пришел в Аликанте ночью. Я переночевал на верфи, и утром передо мной открылась тайна города и его имени: берег спокойного моря обступали белые горы, несколько пальм и домов, порт и сочная сияющая синева на фоне восходящего солнца. (Подобное же мгновение ждало меня в Венеции.) Отношения между всем и вся были пронизаны радостью. Чтобы достойно вписаться в этот мир, я решил по-доброму расстаться с людьми и очиститься. Поскольку меня связывали с ними нити чувств, я должен был оборвать их без шума. Всю дорогу я тешился горькой радостью, обещая себе забрать на почте деньги и отослать их Пепе в Монхучскую тюрьму. Выпив чашку горячего молока в открывшемся ларьке, я направился к почтовому окошку. Без всяких осложнений мне вручили ценное письмо. Деньги были в целости и сохранности. Выйдя на улицу, я разорвал купюры, собираясь сбросить их в водосток, но, чтобы сделать разрыв более ощутимым, я склеил обрывки денег на лавке и устроил себе роскошный обед. Пепе, должно быть, подыхал от голода в тюрьме, но ценой этого преступления я счел себя свободным от моральных забот.

Однако я не шатался вслепую. Я шел дорогой всех нищих и, как они, забрел в Гибралтар. Ночной вид этой твердыни, наводненной солдатами и спящими пушками, вся эта эротическая масса сводила меня с ума. Я остановился в деревне Ла-Линеа, которая была необъятным борделем, и открыл там этап «консервной банки». У всех нищих мира — как в Центральной Европе, так и во Франции,— имеются в запасе одна или несколько жестяных банок (из-под горошка или мясного рагу), к которым они приделывают ручку с помощью проволоки. С этими банками на плече и бродят они по рельсам и дорогам. Я раздобыл свою первую банку в Ла-Линеа. Она была совсем новой. Накануне ее бросили в мусорный ящик, а я ее вытащил. Она была сделана из блестящего металла. Я придавил ее зубчатые края камнем, чтобы они не кусались, и отправился к проволочным заграждениям Гибралтара подбирать объедки за английскими солдатами. Вот как низко я пал. Я клянчил уже не деньги, а остатки супа. В довершение всего мне было стыдно просить у солдат. Когда чья-то красота или великолепный мундир волновали меня, я чувствовал себя ничтожеством. По ночам я пытался торговать своим телом и преуспевал в этом благодаря темноте переулков. Днем нищие могли располагаться у любого места ограды, но вечером мы вставали в очередь в узком проходе у казармы. Как-то раз в веренице нищих я узнал Сальвадора.

[1] Холм в пригороде Барселоны, на котором находится старинная крепость *(прим. перев.)*.

Два года спустя, в Антверпене, я повстречаю отъевшегося Стилитано, шествующего под руку с роскошной кралей с длинными накладными ресницами, затянутой в черное атласное платье. Будучи все так же красив, несмотря на грубость лица, облаченный в дорогую шерсть и унизанный золотыми кольцами, он следовал за нелепой белой моськой злобного нрава. И тут я раскусил этого «кота»: он держал на поводке собственную глупость, свою завитую, разряженную, ухоженную пошлость. Это она семенила впереди него, она вела его по унылому, вечно мокрому от дождя городу. Я жил на улице Сак, возле порта. Ночью я слонялся по барам, по набережным л'Еско. Эта река, этот город в оправе из краденых бриллиантов ассоциировался у меня с искрометными похождениями Манон Леско. Я чувствовал, что еще немного, и я тоже сделаюсь героем романа, войду в образ, идеализирую себя, стану воплощенной идеей каторги, перемешанной с любовью. Вместе с молодым фламандцем, выступавшим в ярмарочном балагане, мы крали велосипеды в городе, сиявшем золотом, драгоценностями и морскими победами. Здесь, где Стилитано был богат и обласкан, я буду также прозябать в нищете. Я никогда не осмелюсь упрекнуть его за то, что он выдал Пепе полиции. Я даже не знаю, что меня больше возбуждало — то ли донос Стилитано, то ли преступление цыгана.

Будучи не в силах припомнить подробности — мои колебания, придавая рассказу историческое звучание, еще больше приукрашивали его,— Сальвадор с восторгом поведал мне об этом доносе. То и дело срываясь, дабы не походить на слишком светлую песню жертвы, его радостный хмельной голос выдавал ненависть к Стилитано, а также горечь. Подобное чувство только усиливало и возвеличивало Стилитано. Мы с Сальвадором даже не удивились нашей встрече.

Благодаря тому, что он прожил в Ла-Линеа какое-то время и с ним считались, я избежал уплаты налога, который собирали со всех двое-трое здоровых и грубых нищих.

Я подошел к Сальвадору.

— Я узнал, как все было,— сказал он.

— Что?

— Что-что. Арест Стилитано.

— Он арестован? За что?

— Не строй из себя младенца. Ты знаешь это не хуже меня.

Мягкость Сальвадора уступила место желчной сварливости. Он разговаривал со мной резко и рассказал мне об аресте моего друга. Это случилось не из-за накидки или какой-то другой кражи, а из-за убийства испанца.

— Это не он,— сказал я.

— Конечно. Всем это известно. Это сделал цыган. Но Стилитано заложил его. Он знал его имя. Цыгана разыскали в Альбасете. Стилитано арестовали, чтобы уберечь его от братьев и дружков цыгана.

Наполнив свой котелок остатками солдатского супа, я примостился в каком-то закутке для одинокой трапезы. Я бережно хранил в душе воспоминание о благородном и срамном Стилитано. Я гордился его силой и не сомневался в его сговоре с полицией. Весь день я был печален, но значителен. Какая-то неудовлетворенность проступала в каждом, даже самом незатейливом из моих движений. Мне хотелось, чтобы зримая сияющая слава осенила кончики моих пальцев, чтобы моя могучая сила оторвала меня от земли, взорвалась во мне и расчленила меня, развеяв по ветру. Тогда я бы пролился на землю дождем. Мой прах, моя пыльца прикоснулись бы к звездам. Я любил Стилитано. Но любить его в каменистой пустыне этой страны, под неумолимым солнцем было изнурительно, эта любовь опаляла мои веки огнем. Мне не мешало немного поплакать, чтобы облегчить душу. Или говорить без умолку, с блеском перед внимательной и почтительной аудиторией. Но я был один, без друзей.

Я провел несколько дней в Гибралтаре, в основном в Ла-Линеа. В час трапезы, у проволочных заграждений англичан, мы безучастно сталкивались с Сальвадором. Не раз я видел, как он указывал на меня какому-нибудь бродяге пальцем или кивком головы. Моя жизнь со Стилитано возбуждала его любопытство. Он пытался проникнуть в ее тайну.

Мне хотелось сесть на судно и поплыть в Танжер. Кино и романы

создали этому городу жуткую славу игорного дома, где игроки ставят на карту военные тайны всех армий мира. С испанского берега Танжер казался мне фантастическим городом. Он был подлинным символом измены.

Порой я отправлялся пешком в Альхесирас, слонялся в порту, вглядываясь в даль, где на горизонте виднелся прославленный город.

«Какому разгулу предательства и торговли там можно предаться?» — спрашивал я себя.

Разумеется, мой разум отказывался верить, что меня используют в качестве шпиона, но столь велико было это желание, что мой путь был озарен им и обозначен. На моем челе явственно, зримо для всех проступало слово «предатель».

И вот, накопив немного денег, я сел на рыбацкую шхуну, однако шторм заставил нас вернуться в Альхесирас. В другой раз, сговорившись с матросом, я проник на борт теплохода. Но мои лохмотья, чумазое лицо и длинная грязная грива напугали таможенников, и они не разрешили мне сойти на берег. По пути в Испанию я решил высадиться в Сеуте, но там меня продержали четыре дня в тюрьме и отправили туда, откуда я прибыл.

Безусловно, в Танжере, как и в любом другом месте, мне бы не удалось ввязаться в какую-нибудь авантюру, разработанную некоей организацией с собственной штаб-квартирой в соответствии со стратегическими законами международной политики, но этот город столь явно, столь неотразимо олицетворял для меня Измену, что лишь в нем, как мне казалось, я смогу достичь своей цели.

Эта *погоня* за предателями и предательством была не чем иным, как одной из разновидностей эротизма. Очень редко — я даже не помню такого случая — я получал от мужчины столь же головокружительную радость, как от перипетий нашей совместной жизни. Тело, лежащее со мной в постели, тело, которое я ласкаю на улице или ночью в лесу и на пляже, доставляет мне удовольствие лишь наполовину: в любви я не решаюсь посмотреть на себя со стороны, ибо я не раз оказывался в ситуациях, когда моя личность, придающая такое значение привлекательности, излучала мимолетное обаяние. Эти мгновения уже не повторятся. Таким образом, я вижу, что всегда стремился только к ситуациям с эротической подоплекой. Именно это, помимо прочих вещей, управляло моей жизнью. Я знаю, что существуют романы, герои и эпизоды которых пронизаны эросом. О них-то я и мечтал.

Несколько дней спустя я узнал, что Пепе был приговорен к каторге. Я отправил все свои наличные деньги сидевшему в тюрьме Стилитано.

Мне на глаза попались две фотографии из уголовного дела. На одной из них мне шестнадцать-семнадцать лет. Я одет в казенную куртку, из-под которой выглядывает драный свитер. У меня безупречный овал лица, приплюснутый нос, разбитый во время какой-то давнишней драки; скептическое, грустное и приветливое, очень серьезное выражение глаз. У меня была густая нечесаная грива. Увидев себя в таком виде, я чуть было не умилился вслух: «Бедный малыш, ты страдал».

Я жалел не себя, а какого-то другого Жана. В этом возрасте я страдал от ощущения уродства, которого я не нахожу на своем детском снимке. Однако неслыханная дерзость — я был наглецом — помогала мне легко продвигаться по жизни. Когда я был чем-то смущен, на первый взгляд это было незаметно. Но на склоне дня, когда я уставал и моя голова падала, когда я ощущал, как мой взгляд тяжело опускается на окружающий мир и сливается с ним либо возвращается в меня и затухает, он, видимо, постигал мое беспредельное одиночество. Был ли я слугой на ферме, солдатом или воспитанником приюта, несмотря на дружбу и даже порой любовь моих наставников, я был абсолютно один. Тюрьма даровала мне первое утешение, первый покой, первое душевное смятение — среди мерзости, на самом дне. Бездна одиночества вынудила меня найти попутчика в самом себе. Созерцая окружающий меня мир, его бесконечность и неясность, еще более полные ночью, я видел в нем божество. Я же был не просто любимым детищем, предметом особого чувства и забот этого божества, избранным и направленным свыше, хотя и через мучительные, изнуряющие, на грани отчаяния испытания, но единственной целью его трудов. И мало-помалу, путем

действий, которые я не могу как следует описать, я, не меняя размеров своего тела, возможно, из-за того, что так было легче поместить в нем столь блистательный повод для гордости, заключил это божество — мою первопричину и мое устройство — в самом себе. Я поглотил его. Я посвящал ему песни, которые сочинял. По ночам я насвистывал. Мотив был религиозным и медленным. Ритм его был немного тяжел. С помощью этой мелодии я надеялся установить с Богом контакт: так оно и вышло, ибо Бог был всего лишь надеждой и чувством, жившими в моей песне. Разгуливая по улицам, руки в карманах, с понурой или высоко поднятой головой, разглядывая дома и деревья, я насвистывал свои нескладные, не радостные, но и не грустные, величественные гимны. Я понял, что надежда заключается лишь в том выражении, которое ей придают. Как и содействие. Я никогда не свистел в легкомысленном ритме. Я распознавал религиозные темы: они создают Венеру, Меркурия или Деву Марию.

На другом снимке мне тридцать лет. Мое лицо стало жестким. Челюсть выпячена. Резко очерчен горестный рот. У меня бандитский вид, несмотря на все те же кроткие глаза. Впрочем, из-за неподвижности, которой требовал от меня фотограф, эта кротость едва уловима. В обоих изображениях я узнаю присущую мне в ту пору жестокость: от шестнадцати до тридцати лет, сидя в детских колониях и тюрьмах, слоняясь по барам, я стремился не к героическим приключениям, а жаждал сродниться с самыми прекрасными и обездоленными из преступников. Я хотел быть молодой проституткой, следующей за своим любовником в Сибирь, либо той, которая переживает его не ради отмщения, а для того, чтобы оплакать и прославить его после смерти.

Хотя я не верил в свое блестящее происхождение, туманность моего прошлого допускала вольности в его толковании. Я примешивал к этому странное своеобразие моих невзгод. Будучи покинутым родными, я счел естественным усугубить этот грех любовью к мужчинам, отягчить эту любовь воровством и воровство — другими преступлениями или соучастием в них. Итак, я решительно отвергал мир, который отверг меня. Подобная почти ликующая устремленность к наиболее унизительным ситуациям, возможно, вытекает из моей детской фантазии, которая создавала для меня (дабы я, маленький брошенный мальчик, прогуливал там свою тщедушную надменную особу) замки и парки, наводненные не статуями, а сторожами, платьями новобрачных, траурными процессиями, свадебными пирами и — чуть позже, когда эти мечты будут донельзя, до неузнаваемости искажены нищенской жизнью,— тюрьмами, грабежами, бранью, проституцией — естественным орнаментом (включая своеобразный язык), обрамляющим мои душевные пристрастия предметами моего вожделения, которыми я украшал свое человеческое существование, в первую очередь свое положение униженного ребенка, которого осчастливит знакомство с тюрьмой. Тюрьма внушает заключенному то же чувство безопасности, что королевский дворец — гостю монарха. Оба эти сооружения, которые зиждутся на предельной вере, выглядят тем, чем они являются на самом деле, чем они хотели стать и чем они всегда будут. Кладка, материал, пропорции, форма этих зданий согласуются с их нравственной целостностью, делающей их непередаваемыми до тех пор, пока будет существовать общественный строй, символом которого они служат. Тюрьма представляет в моих глазах абсолютную гарантию. Я уверен, что она строилась для меня вместе с дворцом правосудия, пристройками, величественным вестибюлем. Без всяких шуток, все в ней предназначено мне. Ничто не сокрушит ее. Она неподвластна порывам ветра, бурям и невзгодам. Тюрьма всегда уверена в себе, и вы, попадая в нее, тоже становитесь самоуверенны. Однако при всей серьезности данных построек, серьезности, вследствие которой они относятся к себе с почтением, присматриваются друг к другу издалека и находят общий язык, это земное величие их и погубит. Явись они на землю, в этот мир, с большей небрежностью, возможно, они простояли бы дольше, но их значительность заставляет меня взирать на них без сочувствия. Я признаю, что их фундамент таится во мне самом, являясь признаком моих крайних, самых жестоких наклонностей, и мой едкий ум уже ведет под него подкоп. Очертя голову я ринулся в босяцкую жизнь, видя в ней подлинный образ сокрушенных дворцов, разоренных садов, убитых красот. Она была их крахом, и чем более искорежены были эти руины, тем более отдаленным, погруженным в священное

прошлое казалось мне то, видимым знаком чего они как бы являлись, и я уже не понимал, живу ли я в нищенской роскоши или восхитительной мерзости.

Я вернулся во Францию. Я перешел границу без происшествий, но через несколько километров, во французской деревне, меня задержали жандармы. Мои лохмотья были явно испанского происхождения.

— Документы!

Я протянул свои замусоленные, порвавшиеся от частого сворачивания и разворачивания бумаги.

— А свидетельство?

И тут я узнал о существовании унизительного антропометрического свидетельства, которое выдается бродягам. На нем ставят визу в любой жандармерии. Меня упекли за решетку.

Побывав в различных тюрьмах, вор покинул Францию. Сначала он посетил Италию. Причины, которые привели его в эту страну, остаются туманными. Возможно, это объяснялось близостью ее границы. Рим. Неаполь. Бриндизи. Албания. С борта «Роди», доставившего меня в Санти-Каранту, я похищаю чемодан. На Корфу портовые власти не выпускают меня в город. Они заставляют меня переночевать в лодке, которую я нанял, чтобы добраться до берега, и отсылают обратно. Затем — Сербия. За ней — Австрия, Чехословакия, Польша, где я пытаюсь сбывать фальшивые злотые. Повсюду одно и то же: кражи, тюрьмы и высылка из страны. Я перехожу границы ночью, в осеннюю, наводящую уныние пору, когда все оборванцы неповоротливы и утомлены, а также весной, когда внезапно, лишь только стемнеет, они высыпают неизвестно откуда и растекаются по улочкам, набережным, кинотеатрам и казармам. Наконец — гитлеровская Германия. Потом — Бельгия. В Антверпене я снова увижу Стилитано.

Брно — или Брюнн — город в Чехословакии. Я пришел туда пешком, под дождем, перейдя австрийскую границу в местечке Рец. Несколько дней я промышлял мелкими кражами из магазинов, но я был один, без друзей, среди раздраженных людей. Мне хотелось немного отдохнуть после бурного путешествия по Сербии и Австрии с бегством от полиции обеих стран и ее пособников, жаждавших моей гибели. Город Брно сумрачен, залит дождем, угнетен дымом труб и тусклым цветом домов. Моя душа была бы там расслаблена и сонлива, как в комнате с закрытыми ставнями, если бы хоть несколько дней я мог не думать о деньгах. В Брно говорили по-немецки и по-чешски. В городе соперничали банды уличных певцов; меня взяли в одну из них, где пели по-немецки. Нас было шестеро. Я собирал деньги со зрителей и распоряжался кассой. Трое моих приятелей играли на гитаре, четвертый на аккордеоне, пятый был певцом.

Я встретил их пасмурным днем, когда они выступали, стоя у какой-то стены. Одному из гитаристов было лет двадцать. Это был блондин, одетый в шотландскую рубашку и вельветовые брюки. В Брно мало красивых людей, и это лицо пленило меня. Я долго не отводил от него глаз и заметил, как он обменялся лукавой улыбкой с толстым розовощеким мужчиной в строгом костюме, с кожаным портфелем в руке. Уходя, я размышлял, догадались ли молодые люди, что их приятель отдается за деньги богатым гомикам города. Я ушел, но затем не раз встречал музыкантов на разных перекрестках. Никто из них не был уроженцем Брно, за исключением того парня, который стал моим другом. Его звали Михаэлис Андрич. Он двигался грациозно, но не был женоподобным. Все то время, что он был со мной, он не думал о женщинах. Впервые, к своему удивлению, я увидел педераста с мужскими, даже грубоватыми повадками. В ансамбле он был аристократом.

Все мужчины жили в подвале, там же они и стряпали. От нескольких недель, проведенных в их обществе, у меня не осталось сколько-нибудь значительных воспоминаний, за исключением моей любви к Михаэлису. Мы говорили по-итальянски. Он познакомил меня со своим промышленником — розовощеким толстяком, который, как ни странно, не ходил, а порхал по земле. Я был уверен, что Михаэлис не питает к нему никаких чувств, но все же растолковал парню, что воровство лучше, чем проституция.

— Ma, sono il nomo [1],— высокомерно ответил он.

Я сомневался в этом, но делал вид, что верю ему. Я поведал ему о некоторых кражах, а также о том, что сидел в тюрьме; он стал относиться ко мне с восхищением. Очень скоро я приобрел вес в его глазах, чему способствовал также мой живописный наряд. Мы совершили с ним несколько успешных краж, и я стал его господином.

Чтобы потешить себя кокетством, я скажу, что был искусным вором. Ни разу меня не схватили с поличным, «на месте преступления». Но то, что я отлично умел воровать, извлекая из этого материальную выгоду, не имеет значения; главное — это то, что я стремился стать совестью воровства, поэму о котором я слагаю,— другими словами, не желая перечислять свои подвиги, я показываю, чем я обязан им в нравственном смысле: опираясь на них, я созидаю то, к чему, быть может, бессознательно стремятся другие, более простые воры, и чего они могли бы достичь своими силами.

Очень скоро, ограбив некоего буржуа, мы решили уехать. Нам предстояло отправиться в Польшу, где у Михаэлиса были знакомые фальшивомонетчики. Мы должны были сбывать фальшивые злотые.

Хотя я не забыл Стилитано, другой уже занял место в моем сердце и моей постели. От моего прежнего друга во мне остался след, придававший моей улыбке, наталкивавшейся на воспоминание о нем, некоторую жестокость, а моим движениям — резкость. Я был возлюбленным столь прекрасного хищника, сокола такого высокого полета, что мог позволить себе по отношению к грациозному гитаристу некоторые вольности, хотя и немного, поскольку он был настороже. Я не решаюсь браться за его портрет, вы бы узрели в нем качества, которые я нахожу во всех своих друзьях. В этом парне, быть может, было чуть больше милого лукавства; чтобы лучше обрисовать его, меня так и подмывает употребить старомодное выражение, тем более что он приятно вибрировал: «Это была благородная скрипка».

Мы пересекли границу почти без денег, ибо старый поклонник не дал себя провести, и прибыли в Катовице. Мы разыскали там приятелей Михаэлиса, но на другой день полиция задержала нас за торговлю фальшивыми деньгами. Мы угодили в тюрьму: он — на три месяца, я — на два. Здесь в моей внутренней жизни происходит знаменательное событие. Я любил Михаэлиса. Собирать деньги, пока ребята пели, не было унизительно. В Центральной Европе привыкли к бродячим музыкантам, да и наша молодость, наша веселость служили нам оправданием. Я мог безбоязненно нежно любить Михаэлиса и говорить ему о своей любви. К тому же по ночам, в доме его любовника, мы тайно предавались наслаждению. В Катовице, прежде чем нас отправили в тюрьму, мы с ним провели месяц в полицейском участке. У каждого из нас была отдельная камера, но по утрам, перед началом службы, двое полицейских посылали нас мыть каменный пол и выливать параши. Полицейские отыгрывались на красавчиках французе и чехе, и единственное мгновение наших ежедневных встреч было омрачено позором. Они будили нас рано утром и гнали опорожнять ассенизационную бочку. Мы спускали ее с пятого этажа. Лестница была крутой. На каждой ступеньке моя рука и рука Михаэлиса (полицейские заставляли меня называть его Андрич) омывались волной мочи. Нам хотелось улыбнуться, чтобы скрасить эти минуты легким юмором, но из-за вони приходилось зажимать носы, и гримаса усталости искажала наши лица. Кроме того, нам было трудно изъясняться по-итальянски, и это не способствовало общению. Важно, с торжественной неторопливостью мы бережно несли необъятный металлический ночной горшок, в который здоровяки полицейские всю ночь справляли нужду, заполняя его теплыми веществом и жидкостью, остывавшими к утру. Мы выливали содержимое бочки в дворовый нужник и возвращались налегке, стараясь не смотреть друг на друга. Если бы мы с Андричем встретились в период позора, если бы я не ослепил его своим блеском, смог ли бы я тогда сохранять спокойствие в то время, когда мы тащили дерьмо наших тюремщиков? Чтобы избавить его от унижения, я подавил в себе все чувства до такой степени, что превратился в некое подобие иероглифа, в священную для него песню, способную поднять угнетенных с колен,— одним словом, в героя.

---

[1] Но я мужчина *(итал.)*.

После того как мы опорожняли бочку, полицейские швыряли нам тряпки, и мы принимались мыть пол. Мы скребли и вытирали каменные плиты, ползая перед ними на коленях. Они били нас каблуками сапог. Михаэлис, видимо, чувствовал мои страдания. Я не умел читать по глазам или жестам и не был уверен, что он простил мне мое падение. Однажды утром я хотел взбунтоваться и опрокинуть бочку на ноги легавым, но, представив месть этих скотов — они изваляют меня в моче и кале, сказал я себе, они заставят меня, дрожа от ярости всеми своими фибрами, лизать дерьмо,— я решил, что эта исключительная ситуация была предоставлена мне не случайно, а в силу того, что как никакая другая она позволяла мне реализовать себя в полной мере.

«В самом деле, это редкий, исключительный случай,— сказал я себе.— Перед лицом обожаемого мной существа, в глазах которого я был ангелом, меня смешали с грязью: я глотаю пыль, верчусь как белка в колесе, показываю себя с прямо противоположной стороны. Почему бы мне и вправду не стать собственной противоположностью? Если прежняя любовь или, скорее, восхищение, с которым относился ко мне Михаэлис, теперь невозможна, я обойдусь без этой любви».

При этой мысли черты моего лица окаменели. Я возвращался в мир, где нет места нежности, ибо это мир чувств, несовместимых с благородством и красотой. В физическом мире он соответствует сточной канаве. Михаэлис легко сносил все лишения, хотя вроде бы и осознавал свое положение. Он шутил с надзирателями, часто улыбался, и его лицо светилось наивностью. Его любезность меня бесила. Он хотел избавить меня от работы, но я его грубо отшил.

Мне нужен был предлог, чтобы с ним разделаться. Ждать пришлось недолго. Как-то раз утром он нагнулся за карандашом, который выронил один из полицейских. Я обругал его на лестнице. Он сказал, что не понимает. Желая меня успокоить, он сделался еще более любезным, но я пришел в ярость.

— Ты — трус,— сказал я ему,— ты — сволочь. Легавые с тобой слишком цацкаются. Когда-нибудь ты будешь лизать им пятки! Скорее всего они повадятся бегать к тебе в камеру!

Я ненавидел его за то, что он стал свидетелем моего падения после того, как он видел, что я способен быть Освободителем. Мой костюм износился, я был немыт, небрит и нечесан, я уродовал себя, приобретая облик бродяги, который претил Михаэлису, ибо это был его собственный вид. Я все глубже погружался в срам. Я уже не любил своего друга. На смену этой любви, которая впервые в моей жизни носила покровительственный характер, пришла нездоровая ненависть с примесью прежней нежности. Но я знаю, что, будь я один, я обожал бы полицейских. С тех пор как я оказался за решеткой, я мечтал об их мощи, дружбе и возможном понимании между нами,— обмениваясь нашими доблестями, они бы показали себя подонками, а я — предателем.

«Слишком поздно,— говорил я себе.— Когда я был хорошо одет, когда на мне были часы и блестящие штиблеты, я мог быть с ними на равных, но теперь уже поздно, я — босяк».

Мне казалось, что я навеки покрыл себя позором, хотя счастливый случай и вернул меня на несколько месяцев в свет. Я решил жить с опущенной головой и продолжать свой путь в сторону мрака, наперекор вам, выжимая соки из изнанки ваших красот.

Я встретился с Михаэлисом, когда он вернулся из Катовицкой тюрьмы. Я освободился месяцем раньше. Поселившись в парке за чертой города, я совершал незначительные набеги на окрестные деревушки. Стояло лето. Другие бродяги укладывались спать на лужайках парка, под сенью раскидистых кедров. На заре с цветочного ложа поднимался юный нищий, вор встречал первый солнечный луч зевком, прочая шпана искала вшей, восседая на ступеньках псевдоантичного храма. Я ни с кем не общался. В одиночку я удалялся на несколько километров, заходил в церковь и крал деньги из коробки для пожертвований с помощью намазанной клеем палки. Вечером, как всегда пешком, я возвращался в парк. Этот Двор Чудес был блестящим. Все его обитатели были молоды. Если в Испании они объединялись, сообщая друг другу о местах, где можно поживиться, здесь никто из воров или нищих не знал друг друга. Казалось, что они пробирались в парк через потайную дверь. Они бесшумно скользили вдоль

холмов и деревьев. Лишь дымок сигареты да шелест шагов выдавали их присутствие. Утром они исчезали, не оставляя следа. От всех этих странностей мои крылья стали длиннее. Прикорнув в укромном месте, я с изумлением говорил себе, что я, ленивый вор и нищий, лежу под тем же звездным небом, в которое смотрели Александр и Цезарь. Я прошел всю Европу, обладая ресурсами, которые нельзя было назвать неисчерпаемыми, и тем не менее я вел собственную тайную летопись, подробности которой были не менее драгоценными, чем история великих завоевателей. Из этих подробностей должен был сложиться мой портрет, портрет самого странного и редкостного из человеческих типов.

Стилитано заимствовал у Жава мощную, рассекающую воздух походку чуть-чуть вразвалку; когда Жава поднимается с места, когда он двигается, у меня возникает такое же ощущение, как от проезжающего или бесшумно трогающегося роскошного лимузина. Возможно, у Стилитано были более чувствительные ягодицы. Его зад был более подвижным. Но, подобно ему, Жава был готов к предательству. Подобно ему он любил унижать девиц.

— Честное слово, это шлюха,— говорил он мне.— Знаешь, о чем она мне только что рассказала? Ты ни за что не догадаешься. Она не может прийти вечером, потому что у нее свидание со стариком, а старики лучше платят. Это шлюха. Но она у меня еще попляшет!

Нервничая, он мнет сигарету, которую достает из пачки. Он хрипит. На его запястьях — следы водолазного костюма. Его руки наделены силой и характером беспечного и бесстыжего матроса.

Я увидел у него под мышкой вытатуированную букву «А».

— Что это?

— Группа крови. Я служил в СС. Там у всех была татуировка.

Не глядя на меня, он добавляет:

— Я никогда не буду стыдиться этой буквы. Никто не заставит меня ее стереть. Я пошел бы на убийство, чтобы ее сохранить.

— Ты гордишься тем, что был в СС?

— Да.

Его лицо странным образом похоже на лицо Марка Обера. От него веет той же холодной красотой. Он опускает руки, встает и поправляет одежду. Он стряхивает с волос мох и щепки. Перепрыгнув через ограду, мы молча бредем среди камней. В толпе он окидывает меня печально-лукавым взглядом.

— Про нас можно сказать, что нас употребил Гитлер, но мне плевать.

Он хохочет. Опушка ресниц защищает от солнца его голубые глаза. Он рассекает толпу, воздух и ветер с такой властной силой, что я беру его стыд на себя.

Встретив Эрика, полюбив, а затем потеряв его, я знакомлюсь с ... [1]. И тому, и другому выпало жуткое счастье принадлежать к проклятой армии. У этого бывшего телохранителя немецкого генерала кроткий нрав. Он проходил учебу в лагере, где несколько недель подряд его учили владеть кинжалом, всегда быть начеку, принимать на себя смертельный удар, чтобы спасти офицера. Он бывал в русских снегах, грабил на своем пути разные страны: Чехословакию, Польшу и даже Германию. Никаких ценностей у него не уцелело. Суд приговорил его к двум годам тюрьмы, и он отсидел свой срок. Иногда он рассказывает мне о той поре; самое яркое из этих воспоминаний — его бесконечная радость при виде расширившихся от страха зрачков будущей жертвы. На улице он бравирует своей храбростью: он ходит только по мостовой. По вечерам он отдается то решкой, то орлом.

Убийство — не самое действенное средство для того, чтобы оказаться в подземном мире скверны. Напротив, пролитая кровь, постоянная угроза, тяготеющая над телом, которое могут обезглавить со дня на день (убийца отступает, но это отступление идет по восходящей линии), и свойственная преступнику притягательность — окружающие легко приписывают тому, кто так смело преступает законы жизни, воображаемый дар невиданной силы — не позволяют презирать

[1] Я вынужден не упоминать этого имени.

убийцу. Другие преступления более унизительны: воровство, нищенство, предательство, злоупотребление доверием и т. п.— на них я остановил свой выбор, несмотря на то, что меня всегда неотступно преследовала мысль об убийстве, которое безвозвратно отлучит меня от вашего мира.

В Польше мне недолго улыбалась удача, мой шикарный наряд слишком бросался в глаза. Хотя у поляков я не вызывал подозрения, французский консул оказался бдительным и попросил меня немедленно покинуть консульство, в течение двух суток Катовице и вообще как можно скорее убраться из Польши. Мы с Михаэлисом решили вернуться в Чехословакию, но нам обоим было отказано в визах. Тогда мы наняли машину с шофером, чтобы добраться до границы по горной дороге. У меня был револьвер.

— Если шофер откажется нас везти, мы убьем его и завладеем машиной.

Сидя на заднем сиденье, я держался одной рукой за оружие, другой — за руку Михаэлиса, более сильного, но столь же юного, как и я, и меня так и подмывало выстрелить в спину водителя. Машина медленно поднималась по склону. Михаэлис как раз собирался схватиться за руль, когда шофер затормозил у пограничного пункта, который мы проглядели. Мне не довелось совершить убийство. Мы вернулись в Катовице под конвоем двух жандармов. Дело было ночью.

«Если у меня в кармане найдут револьвер,— подумал я,— нас могут посадить».

На лестнице, ведущей в кабинет начальника полиции, было темно. Когда мы поднимались, у меня мелькнула мысль оставить револьвер на ступеньке. Я сделал вид, что оступился, нагнулся и положил оружие в угол, возле стены. Во время допроса (с какой целью я хотел попасть в Чехословакию? Что я делал в Польше?) я боялся, что моя уловка будет раскрыта. В тот миг я испытывал тревожную радость, столь же мимолетную, как пыльца на цветке орешника, утреннюю позолоченную радость убийцы, который уходит от наказания. Хотя мне не удалось совершить это преступление, я купался в лучах его сияния.

Михаэлис любил меня. Мучительное положение, в котором он меня видел, возможно, превратило эту любовь в жалость. Сказочные герои нередко переодеваются служанками. Может быть, он втайне опасался, что, пребывая в скукоженном состоянии личинки, я подспудно готовил свое перевоплощение, в результате которого я вознесся бы в небо на невесть откуда взявшихся крыльях, испепелив наших тюремщиков своим блеском, на манер оленя, которому Бог помогает чудесным образом ускользнуть от окруживших его собак. Одной готовности к убийству было достаточно, чтобы Михаэлис увидел меня в прежнем свете, но я уже не любил его. Я рассказываю о нашем романе для того, чтобы читатель увидел, что рок упрямо продолжал путать мои карты, то свергая моего героя с пьедестала, то смешивая с грязью меня самого. Жава не избежит этой участи. Я уже вижу, что его твердость — всего лишь видимость, сотворенная из самого жидкого желатина.

Говорить о моем писательском ремесле — то же самое, что впадать в тавтологию. Томясь от скуки в заточении, я был вынужден искать убежища в своей прежней бродячей суровой или убогой жизни. Впоследствии, уже на свободе, я писал ради денег. Мне было чуждо понятие литературного произведения. И все же, если присмотреться сегодня к моим тогдашним творениям, в них прослеживается неуклонное стремление реабилитировать людей, предметы и чувства, которые пользуются дурной славой. Выражать их словами, которые, как правило, обозначают благородные вещи, было, возможно, наивно и легко: я проявлял терпение. Я выбрал самый короткий путь, но я бы не сделал этого, если бы в глубине моей души эти явления и чувства (измена, воровство, трусость, страх) не требовали эпитета, обычно предназначаемого вами их антиподам. Возможно, в то время когда я писал, я желал немедленно прославить чувства, поступки или предметы, которым отдавал дань один из блестящих парней, перед красотой которого я преклонялся, но сегодня, когда я перечитываю свои строки, я уже позабыл этих ребят, от них остался лишь воспетый мной орган, и он озарит мои книги светом, присущим гордости, героизму, отваге. Я не просил за них извинения. Не искал для них оправданий. Я хотел, чтобы они приобрели право на почетный титул Знатного рода. Эта процедура не была для меня бесполезной.

Она уже приносит свои плоды. Приукрашивая презираемое вами, мой разум, уставший от игры, которая заключается в том, чтобы наделять престижными именами то, что потрясло мою душу, отвергает любые эпитеты. Не смешивая людей с вещами, он приемлет их в одинаковой наготе. Он отказывается облечь их покровом. Итак, я не желаю больше писать, я умираю для Слова.

Вот уже несколько дней газеты извещают меня о том, что мир пришел в волнение. Вновь заговорили о войне. По мере того как растет беспокойство, как обрисовываются приготовления (не звонкие заявления политиков, а угрожающая точность специалистов), в моей душе воцаряется странный покой. Я возвращаюсь в себя. Я облюбую там восхитительно-дикий уголок, откуда я буду взирать без опаски на людскую ярость. Я уповаю на грохот пушек, на фанфары судьбы, чтобы пускать беспрестанно, один за другим, пузыри тишины. Также я заглушу эти звуки бесчисленными, все более плотными пеленками моих былых приключений, жеваными-пережеванными, загаженными, намотанными на меня, как шелковый кокон. Я буду упорно постигать свое одиночество и бессмертие, жить ими, если только дурацкая жажда самопожертвования не заставит меня их покинуть.

Мое одиночество в тюрьме было бесконечным. Сейчас оно уже не столь беспросветно. Тогда же я был совсем один. Ночью я уносился вниз по реке забвения. Мир превращался в поток, стремнину, все силы которой старались увлечь меня к морю, к смерти. Я вкушал горькую радость, осознавая свое одиночество. Я испытываю ностальгию по одному звуку: в тюрьме, когда я предавался неясным мечтам, над моей головой неожиданно слышался шум: заключенный вставал и мерил камеру ровными шагами. Я продолжал витать в облаках, но этот звук, как бы выходящий на первый план из-за своей четкости, напоминал мне, что тело, где обитают мечты, пребывает в тюрьме и является узником гулких внезапных мерных шагов. Я хотел бы стать моими старыми друзьями по несчастью, этими горемыками. Я завидую исходящему от них величию, которое я использую в более низменных целях. Талант — это учтивое отношение к материи, он заключается в том, чтобы вложить песню в уста немоты. Мой талант всегда будет любовью к тому, из чего состоит мир тюрем и каторги. Дело не в том, что я хотел бы его изменить, ввести его в вашу жизнь или что я дарую его обитателям жалость и снисхождение,— я распознаю в ворах, предателях, убийцах, злодеях и мошенниках глубокую красоту, которой вы лишены. Соклай, Пилорж, Вейдман, Серж де Ленц, господа тайные осведомители, порой вы предстаете передо мной в траурном черном как смоль облаченье своих прекрасных преступлений, которые вызывают во мне зависть, в других — мифический ужас, в третьих — муки и всех покрывают позором. Когда я оглядываюсь назад, я вижу лишь череду плачевных деяний. О них повествуют мои книги. Они разукрасили их эпитетами, благодаря которым я вспоминаю о них с восторгом. Итак, я был жалким ублюдком, который знал только голод, телесные унижения, бедность, страх и подлость. Из стольких мрачных посылок я вынес повод для гордости.

«Конечно же, это я,— говорил я себе,— но по крайней мере я осознаю это, и подобное понимание избавляет меня от стыда и внушает мне малоизвестное чувство — гордость. Вы, те, что презираете меня, являете собой совокупность таких же мерзостей, но вы никогда этого не поймете, а значит, не узнаете, что такое гордость, то есть осознание силы, позволяющей вам противостоять убожеству — не вашему собственному убожеству, а тому, на котором держится человечество».

Способны ли несколько книг и поэм доказать вам, что я использовал свои несчастья во благо, что без них завяла бы моя красота? Я написал слишком много, я устал. Мне было так трудно кое-как преуспеть в том, что столь легко удается моим героям.

Почти всегда в одиночку, но с воображаемым спутником я переходил другие границы. При этом мое волнение не ослабевало. Я преодолевал Альпы то там, то сям. Пробираясь из Словении в Италию в сопровождении пограничников, а затем без них, я плыл вверх по мутной реке. Обессилев от ветра, холода, колючек и ноября, я взошел на вершину, за которой лежала Италия. На пути к ней я сражался с чудовищами, прятавшимися в ночи, с чудовищами, которых посылала мне ночь. Я запутался в проволочных заграждениях форта, из которого

доносились звуки шагов и голоса часовых. Скрючившись в темноте, я слушал бешеный стук своего сердца и надеялся, что, прежде чем расстрелять, они будут меня ласкать и любить. Я надеялся, что ночь наводнена сладострастными часовыми. Я рискнул пойти наугад по какой-то дороге. Она оказалась правильной. Я понял это по отпечаткам своих подошв на ее ухоженной почве. Позже я отправился из Италии в Австрию. Я пробирался ночью по заснеженным полям. Луна высвечивала мою тень на сугробах. В каждой из пройденных стран я воровал и сидел в тюрьме, однако я шел не через Европу, а сквозь мир предметов и обстоятельств, со все более юной наивностью. Бесчисленные чудеса смущали меня, но я становился все более стойким, чтобы проникнуть без риска для жизни в их повседневную тайну.

Я быстро понял, что воровать в Центральной Европе небезопасно, ибо полиция здесь не дремлет. Скудость средств сообщения, необходимость перехода безукоризненно охраняемых границ затрудняли мое бегство, к тому же моя национальность выдавала меня с головой. Я редко встречал за границей своих соотечественников — воров либо нищих. Я решил вернуться во Францию и заниматься там — быть может, ограничиваясь только Парижем,— своим воровским ремеслом. По-прежнему шататься по свету, совершая более или менее крупные кражи, также было заманчиво. Я выбрал Францию из глубокомысленных соображений. Я достаточно хорошо знал эту страну, чтобы без колебаний сосредоточить все свое внимание и силы на воровстве, стать его прилежным ремесленником. В ту пору мне было двадцать четыре — двадцать пять лет. Я жертвовал развлечениями и «узорами» ради духовных поисков. Мотивы моего выбора, смысл которого, видимо, раскрывается передо мной сегодня в силу необходимости изложить его на бумаге, были мне неясны. Мне кажется, что я должен был выдолбить, пробурить языковую глыбу, чтобы мой разум чувствовал себя там как дома. *Возможно, я хотел изобличить себя на родном языке.* Ни в Албании, ни в Венгрии, ни в Польше, ни в Индии или Бразилии я не нашел бы столь обширное поле деятельности, как во Франции. В самом деле, воровство и сопутствующие ему явления — тяготы тюремного заключения вкупе с постыдностью воровского ремесла — стали для меня бескорыстным делом, неким деятельным, осмысленным произведением искусства, которое могло воплотиться в жизнь лишь с помощью моего языка, в соответствии с законами этого языка. За границей я был бы лишь более или менее ловким вором, но, думая о себе по-французски, я признал себя французом — принадлежность, не оставлявшая места для других качеств,— среди иностранцев. Чтобы стать вором в своей стране и доказать себе, что я им являюсь, на языке моих жертв (они и я — одно целое из-за значимости языка) следовало придать званию вора исключительный характер. Я становился чужаком в своей стране.

Чувство беспокойства, вызванное, возможно, сомнительной политикой, превращает полицию стран Центральной Европы в безукоризненный, подавляющий своим совершенством механизм. Разумеется, я имею в виду ее быстроту. Создается впечатление, что путем доносов полицейские узнают о преступлении еще до того, как оно совершается, но они не столь проницательны, как наша полиция. Я пришел из Албании в Югославию вместе с австрийцем, по имени Антон, показав пограничникам вместо паспорта французскую солдатскую книжку, в которую вклеил четыре страницы из австрийского паспорта, выданного Антону, с визами сербского консульства. В поездах, на улицах, в отелях я не раз показывал югославским жандармам сей странный документ — они сочли его законным, им было достаточно печатей и виз. Когда меня задержали за то, что я стрелял в Антона, полицейские не отобрали у меня эту бумагу.

Медленно поворачиваясь, Стилитано отдавался любви, как отдаются солнцу, подставляя тело его лучам со всех сторон. Когда мы встретились в Антверпене, он выглядел более солидным. Он не стал толстым, но немного округлился. В его походке чувствовалась та же звериная, более мощная, более мускулистая, но менее стремительная, столь же нервная гибкость. Свет, просачивавшийся сквозь испанские жалюзи под хмурым небом на самой грязной улице Антверпена, возле набережной л'Еско, прочертил на спине Стилитано полосы. Женщина,

одетая в узкое прямое платье черного атласа, которая шагала с ним рядом, явно была его подружкой. Увидев меня, он удивился и, как мне показалось, обрадовался.

— Жанно! Ты в Антверпене?

— Как дела?

Я пожал его руку. Он представил меня Сильвии. Сначала, во время возгласа, он показался мне другим, но лишь только он открыл рот, из которого мягко зажурчали слова, я узрел между его зубами знакомую белую слюну из неведомого мне вещества и узнал прежнего Стилитано.

Я уклончиво сказал:

— Ты ее сберег.

Стилитано понял мой намек, слегка покраснел и улыбнулся.

— Заметил?

— Еще бы! Ты так этим гордишься.

Сильвия спросила:

— О чем вы говорите?

— Куколка, люди общаются. Не встревай.

Эта нехитрая тайна сразу же наладила между нами контакт. На меня нахлынули его былые чары: мощные плечи, подвижные ягодицы, рука, которую скорее всего откусил ему в джунглях другой хищник, и наконец, член, столь долго остававшийся недоступным, сокрытым в грозной, насыщенной губительными запахами ночи. Я снова был в его власти. Не ведая о роде его занятий, я был уверен, что он царит над миром трущоб, доков и баров, то бишь над всем городом. Обрести гармонию с вещами дурного вкуса — вот верх элегантности. Не дрогнув, Стилитано умудрился надеть на себя желто-зеленые ботинки крокодиловой кожи, костюм каштанового цвета, белую шелковую рубашку, розовый галстук, разноцветный платок и зеленую шляпу. Его наряд держался на булавках, пуговицах и золотых цепочках, и при этом Стилитано оставался элегантным. Рядом с ним я выглядел прежним бродягой, но его это как будто не смущало.

— Я здесь всего три дня,— сказал я.

— Выкручиваешься?

— Как всегда.

Он улыбнулся.

— Помнишь?

— Ты видишь этого парня,— сказал он женщине,— это мой кореш. Братишка. Он может приходить на хазу когда захочет.

Они повели меня ужинать в ресторан. Стилитано сообщил мне, что занимается торговлей опиумом. Его женщина была шлюхой.

При словах «опиум», «марафет» у меня разыгралось воображение: я представил Стилитано в образе богатого опасного авантюриста. В виде хищной птицы, летавшей большими кругами. Однако, хотя в его взгляде временами сквозила жестокость, он был лишен жадности хищника. Напротив, несмотря на все его показное богатство, он все еще жил играючи. Очень скоро я убедился, что вся роскошь Стилитано сводилась к его внешнему виду. Он жил в невзрачном отеле. Первым делом я разглядел на камине толстую кипу детских журналов с цветными картинками. Подписи под рисунками, уже не на испанском, а на французском языке, были столь же наивными, как и прежде, и герой, по-прежнему щеголявший почти нагишом, был так же красив, могуч и бесстрашен. Каждое утро Сильвия приносила свежие номера, и Стилитано читал их в постели. Я подумал, что он провел два года на страницах пестрых детских сказок, в то время как его тело — и, может быть, разум — мужало в стороне. Он перепродавал опиум, купленный у моряков, и присматривал за своей бабенкой. Все его добро было при нем: одежда, украшения и бумажник. Он предложил мне работать под его началом. В течение нескольких дней я носил крошечные пакеты его замкнутым, нервным клиентам.

Как и в Испании, с тем же проворством, Стилитано сошелся с антверпенской шпаной. Его угощали в барах, он приставал к девицам и гомикам. Зачарованный его новой красой, достатком и, возможно, терзаемый воспоминаниями о нашей дружбе, я дал волю своей любви. Я ходил за ним по пятам. Я ревновал его к друзьям, к Сильвии и страдал, когда около полудня он появлялся, благоухая

духами и свежестью, но с тенями под глазами. Мы гуляли по набережной вдвоем. Мы говорили о прошлом. Он расписывал мне свои подвиги, ведь он любил прихвастнуть. Мне же и в голову не приходило упрекнуть его за обман, предательство и трусость. Напротив, я восхищался тем, как просто и надменно он нес в моей памяти эту печать.

— Ты все еще любишь мужчин?

— Конечно. А что, тебе это неприятно?

Он отвечал с милой, лукавой улыбкой:

— Мне? Ты что, рехнулся? Наоборот!

— Почему наоборот?

Он замялся и переспросил:

— А?

— Ты говоришь: наоборот. Ты же их тоже любишь.

— Я?

— Ну да.

— Да нет, хотя иногда я спрашиваю себя, что это значит.

— Это тебя возбуждает.

— Ты что! Я же тебе говорю...

Он смущенно рассмеялся.

— А Сильвия?

— Сильвия зарабатывает мне на жизнь.

— И все?

— Да. С меня довольно.

Если вдобавок к своему влиянию он даст мне еще повод для безумных надежд, Стилитано снова обратит меня в рабство. Я уже ощущал под собой зыбкую скорбную почву. Что мне сулили приступы его гнева? Я сказал ему об этом:

— Ты знаешь, что я по-прежнему от тебя без ума и хочу заниматься с тобой любовью.

Глядя мимо меня, он отвечал с улыбкой:

— Посмотрим.

После недолгой паузы он спросил:

— Что тебе нравится делать?

— С тобой — все!

— Поглядим.

Он даже глазом не моргнул. Он не сделал и шага ко мне, в то время как я всей душой жаждал погрузиться в него, желал придать своему телу гибкость ивы, чтобы опутать его, раскинуться, нависнуть над ним.

Этот город был удручающим. Запах порта с его суетой действовал на меня тошнотворно. Проходя, фламандские докеры толкали нас, но изувеченный Стилитано был сильнее их. Возможно, у него в кармане, ибо он был восхитительно неосмотрителен, завалялось несколько зернышек опиума, благодаря которым их обладатель делался ослепительно-возмутительным.

Чтобы попасть в Антверпен, я пересек территорию гитлеровской Германии, где я провел несколько месяцев. Я прошел пешком от Вроцлава до Берлина. Мне хотелось воровать. Но непонятная сила удерживала меня. Германия наводила ужас на всю Европу, для меня же она стала символом жестокости. Она уже была вне закона. Даже на Унтер-ден-Линден мне казалось, что я гуляю по стану разбойников. Я подозревал, что в голове самого щепетильного из берлинских бюргеров зарыт клад ненависти, двуличия, злобы, зависти и жестокости. Я упивался своей свободой среди народа, живущего по указке. Разумеется, я и здесь занимался своим ремеслом, но испытывал при этом некоторую неловкость, ибо то, что лежало в его основе и что из него вытекало — причудливая нравственная позиция, возведенная в гражданскую доблесть,— было известно всей нации и направляло ее против других народов.

«Это страна воров,— чувствовал я в глубине души.— Воруя здесь, я не совершаю ничего особенного: я подчиняюсь заведенному порядку и не нарушаю его. Я не творю зла, не возмущаю спокойствия. Скандал здесь немыслим. Я ворую впустую».

Мне казалось, что ведающие законами боги не гневались, а пребывали

в растерянности. Мне было стыдно. Но больше всего мне хотелось вернуться в страну, где свято чтут законы привычной морали, на которых зиждется жизнь. В Берлине я решил зарабатывать на жизнь проституцией. Несколько дней я был доволен, а затем мне это наскучило. Антверпен манил меня сказочными сокровищами, фламандскими музеями, еврейскими ювелирами, судовладельцами, бродившими по ночам пассажирами океанских лайнеров. Пылая страстью, я жаждал изведать со Стилитано опасные приключения. Казалось, что он тоже хочет предаться игре и ослепить меня своей храбростью. Однажды вечером он заехал за мной в отель на полицейском мотоцикле, управляя одной рукой.

— Я спер его у легавого,— сказал он с улыбкой, не соизволив слезть с мотоцикла.

Однако, осознав, что, продолжая сидеть в седле, может своей позой свести меня с ума, он спустился на землю, осмотрел для вида мотор и, усадив меня сзади, тронулся с места.

— Надо сразу избавиться от мотоцикла,— сказал он.

— Ты спятил. Можно провернуть кое-какие дела...

Разгоряченный ветром и быстрой ездой, я чувствовал себя вовлеченным в головокружительную погоню. Часом позже мы продали мотоцикл греческому моряку, который тотчас же погрузил его на судно. Это дало мне возможность увидеть Стилитано в подлинном, доведенном до конца деле, ибо продажа машины, торг и конечный расчет были верхом хитрости и не уступали по совершенству самой краже [1].

Как и я, Стилитано был не вполне взрослым. Он изображал из себя гангстера, не просто был им, но еще и разыгрывал соответствующую роль. Я не знаю ни одного вора, который в душе не был бы ребенком. Разве «серьезный» человек, проходя мимо ювелирного магазина или банка, станет, не шутя, тщательно обдумывать план налета или ограбления? Откуда к нему явится мысль о союзе, основанном не на корысти сообщников, а на взаимном согласии, родственном дружбе, если бы не фантазия, беспричинная игра, именуемая романтизмом? Стилитано играл. Ему нравилось быть вне закона, чувствовать себя под угрозой. Он стремился к этому из любви к эстетике. Он пытался копировать идеального героя, Стилитано, образ которого уже вознесся на небо, осиянное славой. То есть он подчинялся законам, предписанным ворам, создающим воров. Без них он был бы ничем. Придя поначалу в ослепление от его сиятельного одиночества, спокойствия и безмятежности, я решил, что он сотворил себя сам, стихийно, ведомый лишь неосторожностью и дерзостью своих начинаний. Однако он искал образец. Может быть, его идеал был воплощен в победоносном герое детских журналов? Во всяком случае, легкая мечтательность Стилитано превосходно сочеталась с его мускулами и жаждой действия. Рисованный герой, безусловно, в конце концов вписался в сердце Стилитано. Я уважаю его еще и за это, ибо, хотя внешне он держался безупречно, его душа и тело были скованны,— так, своей женщине он неизменно отказывал в нежности.

Мы стали видеться каждый день, не раскрываясь друг перед другом до конца. Я обедал у него в комнате, и по вечерам, когда Сильвия работала, мы ужинали вдвоем. Затем мы слонялись по барам, стараясь напиться. Кроме того, каждую ночь он танцевал с молодыми красотками. Как только он приходил, атмосфера в баре менялась, сперва у его стола, мало-помалу распространяясь дальше. Она становилась тяжелой и лихорадочной. Почти каждый вечер этот великолепный однорукий дикарь дрался, размахивая бритвой, которую он заранее раскрывал в кармане. Докеры, моряки, сутенеры обступали нас плотным кольцом или приходили к нам на подмогу. Эта жизнь изнуряла меня, я предпочел бы бродить по набережным, в тумане и под дождем. В моей памяти эти ночи усеяны звездами. Один журналист написал по поводу некоего фильма: «Любовь расцветает на поле брани». Эта дурацкая фраза как ни одна красивая речь напоминает мне о цветах под названием «львиный зев», растущих среди колючек, и через них о моей бархатистой нежности, которую ущемлял Стилитано.

---

[1] Когда на днях сын жандарма и начинающий полицейский Пьер Фьевр (ему 21 год) сказал мне, что хочет быть сыщиком, чтобы ездить на мотоцикле, я растрогался. Перед моим взором вновь возник зад Стилитано, давящий на кожаное седло украденного мотоцикла.

Иногда, когда он не поручал мне никаких дел, я похищал велосипеды и продавал их в Голландии, в Маастрихте. Узнав, как ловко я перехожу границу, Стилитано отправился со мной в Амстердам. Город не вызвал у него интереса. Он велел мне ждать в кафе и ушел на несколько часов. Я знал, что его не следует ни о чем спрашивать. Его интересовало порученное мне дело, а не я сам. Вечером, когда мы пришли на вокзал, он вручил мне маленький перевязанный и запечатанный сверток толщиной с кирпич.

— Я сяду в поезд,— сказал он.

— А как же таможня?

— У меня все законно. Не волнуйся. Ты, как всегда, пойдешь пешком. Не раскрывай пакет, это для одного приятеля.

— А если меня сцапают?

— Не шути с этим, а то тебе не поздоровится, солнышко.

Умело опутывая меня своими гибельными чарами, в которых я вечно буду барахтаться, исполняя его прихоти, он ласково поцеловал меня и направился к поезду. Я провожал взглядом этот невозмутимый Рассудок, хранитель Свода законов, в уверенной поступи, беспечности, почти безоблачном танце ягодиц которого чувствовалась непреклонная воля. Я не знал, что лежало в пакете, который был признаком доверия и удачи. Благодаря ему мне предстояло пересечь границу не ради своих собственных жалких нужд, а по велению, по приказу высочайшего Владыки. Лишь только Стилитано скрылся из вида, как все мои помыслы устремились на его поиски, и сверток стал моей путеводной нитью. Во время моих походов (грабежей, разведок, побегов) вещи становились одушевленными. Ночь начиналась с заглавной буквы. В камнях, в придорожных булыжниках появлялся смысл, посредством которого мне следовало заявить о себе. Деревья шарахались при моем приближении. Мой страх назывался паникой. Дух каждой вещи, который только и ждал моей дрожи, чтобы прийти в волнение, он выпускал на свободу. Вокруг меня легко трепетал безжизненный мир. Даже с дождем я мог бы вести разговор. Вскоре я стал считать это чувство исключительным, предпочитая его тому, что его породило — страху, а также причине страха — грабежу или бегству от полиции. Эта тревога, разгуливавшаяся ночью, в конце концов смутила покой моих дней. Я очутился в загадочном мире, утратившем будничный смысл. Надо мной нависла угроза. Я уже не расценивал вещи соответственно их повседневному назначению, а в зависимости от дружелюбной тревоги, которую они мне внушали. Сверток Стилитано, покоившийся на моей груди под рубашкой, выдавал, еще более четко обрисовывал тайну каждой вещи, разгадывал ее с помощью блуждавшей на моих устах, обнажавшей зубы улыбки, на которую он разрешал мне отважиться, чтобы расчистить мой путь. А что, если я нес украденные драгоценности? Скольких хлопот полицейских, скольких усилий ищеек, полицейских собак, скольких секретных депеш стоил этот крошечный сверток? Стало быть, мне полагалось расстроить козни вражеских сил. Меня ждал Стилитано.

«Это изрядный подлец,— говорил я себе.— Он старается не запачкать рук. Впрочем, ведь у него только одна рука».

Придя в Антверпен, я направился прямиком в его гостиницу, даже не побрившись и не умывшись, ибо хотел явиться к нему в своем триумфальном ореоле из щетины, грязи, усталости, от которой гудели ноги. Не так ли увенчивают героя лавровыми венками, осыпают цветами, увешивают золотыми цепями? Я же ничем не прикрывал наготу победы.

Представ перед Стилитано в его доме, с наигранной непринужденностью я протянул ему сверток.

— Держи.

Он улыбнулся с торжествующим видом. Думается, он знал, что причиной успеха была его власть надо мной.

— Все прошло гладко?

— Без сучка без задоринки. Это было нетрудно.

— А!

Он снова улыбнулся и добавил: «Тем лучше». Я не решался ему сказать, что он тоже проделал бы этот путь без помех, уже понимая, что Стилитано являлся плодом моего воображения и в моих силах было его уничтожить. При этом

я знал, что Богу нужен ангел, которого именуют вестником, для некоторых поручений, которые не по плечу ему самому.

— А что там внутри?

— «Травка», само собой.

Неведомо для себя [1] я пронес опиум. Но я отнюдь не презирал Стилитано за то, что он подставил меня под удар.

«Это нормально,— говорил я себе,— он — сволочь, а я — болван».

За то, что он так повел себя в отношении меня, я испытывал к нему благодарность. Если бы он совершил на моих глазах множество дерзких поступков без моего участия, став одновременно их причиной и целью, Стилитано утратил бы всякую власть надо мной. Втайне я считал, что он не способен всецело отдаться действию. Поблажки, которые он давал своему телу, были тому порукой: ванны, духи, мягкость очертаний, которую приобрело его тело. Зная, что мне придется быть проводником его действий, я привязался к нему и был уверен, что черпаю свою силу в примитивной сумбурной мощи, составляющей его основу.

Тогдашнее время года (осень), дождь, пасмурный цвет построек, тяжеловесность фламандцев, своеобразный характер города, а также моя нищета, наводившая на меня уныние,— все эти явления, перед которыми я тушевался, выявили во мне черную меланхолию. В пору немецкой оккупации я видел в кинохронике похороны ста — ста пятидесяти жертв бомбежки Антверпена. Усыпанные тюльпанами или далиями гробы, выставленные на руинах Антверпена, были похожи на цветочные лотки, перед которыми проходили с благословением толпы священников и певчих в кружевных стихарях. Эта картина — последняя в моей памяти — наводит меня на мысль, что Антверпен открывал мне теневые стороны жизни. «Они отпевают этот город,— сказал я себе,— духом которого, как я догадался еще тогда, является Смерть». Между тем от одного лишь вида вещей все расплывалось в моих глазах, как поначалу от страха. Затем нечеткость исчезла. Мое восприятие приобрело необыкновенную ясность. Когда даже простейшие вещи утратили свое привычное значение, я стал задаваться вопросом, правильно ли пить из стакана и обувать башмаки. Когда в каждой вещи открылся причудливый смысл, мне было уже не до счета. Мало-помалу Стилитано начал терять неимоверную власть надо мной. Он считал меня рассеянным — я был внимательным. Я отсутствовал, даже когда говорил. Из-за сопоставлений, подсказанных мне вещами с несовместимым предназначением, моя речь принимала комичный характер.

— Ей-богу, ты становишься малахольным.

— Малахольным! — повторял я, вытаращив глаза.

«Малахольный». Также я как будто припоминаю, что мне открылась абсолютная истина, когда в своей ослепительной отрешенности я созерцал забытый на проволоке зажим для белья. Изящество и необычность этого маленького предмета *были восприняты мной как должное*. События обретали независимость в моем сознании. Читатель догадывается, насколько опасной была такая позиция при моем образе жизни, когда мне следовало все время быть начеку: теряя из вида привычный смысл вещей, я рисковал поплатиться свободой.

С помощью Стилитано, следуя его советам, мне удалось элегантно одеться, хотя эта элегантность была своеобразной. Презрев суровую моду шпаны, я стал одеваться с фантазией. И вот, как только я перестал быть нищим, отрезанным позором от практичного мира, этот мир начал от меня ускользать. Я различал лишь суть вещей, а не их свойства. К тому же мой юмор отталкивал от меня людей, к которым я был страстно привязан. Я чувствовал себя обреченным и нелепо пустым.

Молодой сутенер, сидя на корточках, в баре играл со своей собачонкой; хотя эта шалость казалась мне столь неуместной в подобном месте, я радостно улыбнулся «коту» и его собаке — я их понимал. Как и то, что автобус, набитый серьезными деловыми людьми, может галантно затормозить по едва уловимому знаку мизинца ребенка. Если жесткая волосинка угрожающе торчала из ноздри Стилитано, я, не раздумывая, хватался за ножницы и отрезал ее.

---

[1] 1947 год. Я узнаю из вечерней газеты, что его арестовали за ночной вооруженный разбой. Газета пишет: «Прекрасный калека был бледен...» Эта заметка не вызывает у меня никаких эмоций.

Но Стилитано был разочарован. Я больше ему не служил. Даже когда он меня колотил или бранил. Даже когда он давал мне урок побоев и оскорблений. Антверпен утратил в моих глазах свое скорбное очарование города морской беспутной поэзии. Я стал зорким, и со мной могло случиться все что угодно. Я был готов совершить преступление. Этот период длился, возможно, полгода. Я вел целомудренный образ жизни.

Арман был в отъезде. Хотя порой я слышу, что его величают иначе, мы сохраним это имя. Разве я сам не ношу сегодня пятнадцатое-шестнадцатое по счету имя Жан Тальен?

Он был во Франции, откуда, как мне позже станет известно, он привозил опиум. Необходимо, чтобы чье-то лицо предстало передо мной хотя бы на миг, чтобы я смог выразить его одним-единственным словом. Если оно остановится на каком-то одном выражении — верности, ясности, честности,— то складка у рта, взгляд либо улыбка затруднят его толкование. Лицо становится все более сложным. Черты переплетаются — их невозможно прочесть. В лице Стилитано я силился разглядеть жестокость, которую портила лишь ироническая морщинка в уголках глаз или рта. Лицо Армана было лживым, замкнутым, злым, коварным и грубым. Конечно, теперь, когда я узнал этого человека, нетрудно это заметить, но я уверен, что и первоначальное мое впечатление от его пороков, чудесным образом сосредоточенных на одном лице, было верным. Лицемерие, злость, глупость, жестокость, свирепость — все эти качества можно свести к одному. Это был зверь. Он не был наделен классической красотой, но присутствие вышеуказанных черт на его лице, не замутненных свойствами противоположного рода, придавало ему мрачный, хотя и ослепительный вид. Он обладал невиданной физической силой. В ту пору ему было лет сорок пять. Поскольку он так долго носил в себе свою мощь, она не причиняла ему неудобств. В конце концов он сумел извлечь из нее такую пользу, что эта мощь, эта крепость мускулов, проглядывавшая в форме черепа и шейных сухожилиях, окончательно закрепила и утвердила в нем гнусные качества. Они отражались в его силе как в зеркале.

У него был курносый нос, видимо от природы, поскольку на нем не было видно следов насилия. У него были мощные челюсти, круглая, почти всегда бритая голова. Три складки, образованные кожей на его затылке, лоснились от жира. Он был высок и превосходно сложен. Движения его были неторопливыми и тяжеловесными. Он смеялся редко, и смех его был фальшивым. У него был очень низкий, глухой голос, почти бас, который звучал приглушенно. Когда Арман говорил очень быстро или говорил на ходу, то путем ускорения темпа речи, не соответствовавшего низкому тембру его голоса, он добивался замечательного музыкального эффекта. При столь стремительных движениях можно было ожидать от человека высокого или же слишком низкого голоса, который ворочается с трудом, но его голос был проворным. Это противоречие рождало изысканные модуляции. Арман едва проговаривал слова. Их слоги не сталкивались друг с другом. Его язык был легок и прост, и слова следовали друг за другом с горизонтальной плавностью. По его голосу можно было понять, что в молодости им восхищались, прежде всего мужчины. Вызывающая уверенность позволяет распознать тех, кто своей красотой или силой вызывал у мужчин восхищение. Они и были уверены в себе, и в то же время более падки на лесть. Голос Армана задевал некую точку в моем горле, и у меня перехватывало дух. Он почти никогда не спешил, но если вдруг ему надо было успеть на свидание, когда он шел своей свободной походкой между Стилитано и мной с высоко поднятой, слегка устремленной вперед головой, его набиравший темп голос со все более низким тембром достигал вершин мастерства. Лишь только сгущался туман, из горла этого силача исходил безоблачный голос. Казалось, что он принадлежит торопливому, легкому, веселому, праздничному подростку, уверенному в своем обаянии, своей силе, красоте и необычности, в красоте и необычности своего голоса.

Мне кажется, что его органы, состоявшие из примитивной, но прочной ткани, его горячие плодородные внутренности вырабатывали желание навязывать, пускать в ход, проявлять лицемерие, глупость, злобу, жестокость, раболепие и таким путем извлекать для себя непотребную пользу. Я встретил его у Сильвии.

Когда я вошел в ее комнату, Стилитано сказал ему скороговоркой, что я — француз и мы с ним познакомились в Испании. Арман слушал стоя. Он не подал мне руки, но посмотрел на меня. Я остался стоять у окна, не вмешиваясь в их разговор. Когда они решили отправиться в бар, Стилитано сказал:

— Ты пойдешь, Жанно?

Не успел я ответить, как Арман спросил:

— Ты что, всегда берешь его с собой?

Стилитано засмеялся и сказал:

— Если тебе это не в кайф, можно его оставить.

— Да нет, пускай идет.

Я пошел за ними. Выпив, они попрощались, и Арман снова не подал мне руки. Он ушел из бара, даже не взглянув на меня. Стилитано не сказал мне о нем ни слова. Несколько дней спустя я столкнулся с Арманом в порту, и он велел мне следовать за ним. Без лишних слов он привел меня к себе и овладел мной с тем же показным презрением.

Подчинившись его силе и старшинству, я трудился с превеликим усердием. Подмятый грудой мяса, лишенной и проблеска мысли, я наконец изведал головокружительное чувство от встречи с законченным скотом, безучастным к моим желаниям. Я узнал, что шерсть, густо растущая на теле, животе и бедрах, может таить в себе нежность и заражать своей силой. В конце концов я смирился с тем, что эта бурная ночь окутала меня своим саваном. То ли из признательности, то ли от страха я запечатлел поцелуй на мохнатой руке Армана.

— Что с тобой стряслось? Ты не заболел?

— Я же не сделал ничего плохого.

Я остался с ним, чтобы услаждать его по ночам. Перед сном, вынимая свой кожаный ремень из брюк, он хлопал им как бичом. Он стегал им невидимую жертву, чью-то призрачную плоть. Воздух был залит кровью. В такие минуты он наводил на меня страх своим бессилием стать тем огромным свирепым Арманом, которым он был в моих глазах. От ярости и отчаяния, оттого, что он не был им, он вздрагивал, словно лошадь, устрашенная тенью, вздрагивал *снова и снова*.

Между тем он не мог допустить, чтобы я оставался без дела. Он послал меня рыскать возле вокзала и зоопарка в поисках клиентов. Зная о том, какой ужас он мне внушает, Арман даже не удосужился за мной проследить. Я отдавал ему всю свою выручку без остатка. Он же работал в барах. Он пускался во всякие аферы с докерами и моряками. Его уважали. Подобно всем «котам» и городской шпане, он носил холщовые туфли на веревочной подошве. Его бесшумные шаги становились более весомыми и упругими. Часто он надевал матросские брюки толстого голубого сукна, так называемая «палуба» которых никогда не была застегнута до конца, либо слегка оттопыривался их карман на животе. Он двигался такой вихляющейся походкой, что никто не мог с ним в этом сравниться. Мне кажется, что она оживляла в нем память о собственном двадцатилетнем теле — теле матроса, повесы, «кота». Он не изменял ей, подобно тому как другие остаются верны моде своей юности. Несмотря на вызывающе сексуальный вид, он стремился вдобавок выразить свою чувственность с помощью жестов и слов. Мне, привыкшему к сдержанности Стилитано и к грубости докеров в барах, нередко доводилось быть то свидетелем, то предметом его слишком вольных, с уточнением всех деталей, речей. Перед любой аудиторией Арман с упоением вещал о своем половом органе. Никто не прерывал его монолога, разве что какой-нибудь грубиян, покоробленный его тоном и словами.

Подчас, попивая у стойки бара, он ласкал себя, держа руку в кармане. Иной раз он хвастался величиной и красотой — а также силой и даже умом — своего и вправду массивного члена. Не понимая, чем объяснить подобную одержимость своим половым органом и его мощью, я восхищался Арманом. На улице он привлекал меня к себе одной рукой, как бы желая обнять, и тотчас же та же протянутая рука грубо отпихивала меня. Поскольку я ничего не знал о его прошлом, кроме того, что этот фламандец избороздил весь мир, я силился разглядеть в нем отметины каторги, откуда он сбежал, из которой, видимо, проистекали его бритый череп, литые мускулы, коварство, жестокость и необузданность.

Встреча с Арманом произвела такой переворот в моей жизни, что Стилитано

как бы отдалился от меня во времени и пространстве, хотя мы продолжали часто встречаться. Я вступил в брак с этим парнем очень давно, где-то на краю света. И внезапно его твердость, слегка прикрытая иронией, обернулась восхитительной мягкостью. Пока я жил с Арманом, Стилитано никогда не шутил по этому поводу. Его тактичность причиняла мне легкую боль. Вскоре он стал воплощать для меня Почившие Дни.

В отличие от него Арман не был трусом. Он не только не отказывался от поединков, но и совершал опасные вылазки. Он задумывал их и приводил в исполнение. Через неделю после нашей встречи он сказал мне, что отлучится, и я был должен его дожидаться. Оставив мне свои вещи — чемодан с кое-каким бельем,— он ушел. В течение нескольких дней я блаженствовал, избавившись от гнетущего страха. Я часто прогуливался со Стилитано.

Если бы он не поплевал на руки, чтобы повернуть ворот, я бы не обратил внимания на этого парня моих лет. От этого характерного для рабочих жеста у меня так сильно закружилась голова, что я почувствовал, как лечу в пустоту. Я очнулся в давно позабытом времени или затерянном уголке своей души. Сердце мое проснулось, и мое тело одним махом стряхнуло с себя оцепенение. С точностью и лихорадочной быстротой я фиксировал этого парня: его жест, волосы, крестец, изгиб его тела, карусель, на которой он работал, движение деревянных лошадок и музыку, ярмарочное гулянье и город Антверпен, где все это происходило, землю, которая вращалась с опаской, вселенную, хранившую сей драгоценный груз, и себя самого, осознанно владевшего этим миром и устрашенного таким обладанием.

Я не разглядел его плевка, заметив лишь подергивание его щеки и кончик языка между зубами. Я видел также, как парень потер свои жесткие черные ладони. Нагнувшись, я узрел кожаный ремень, потрескавшийся, но прочный. Подобный ремень не мог быть украшением вроде ремешков всяких модников. Все в этом поясе — и материал, и его толщина — было преисполнено чувства ответственности: на нем держались брюки, скрывавшие самый очевидный признак мужского пола, без ремня они были бы ничем, не смогли бы сберечь, утаить свое сокровище и упали бы к ногам сбросившего путы жеребца. Между штанами и курткой парня виднелось голое тело. Ремень не был пропущен сквозь петли и приподнимался при каждом движении, брюки же опускались все ниже. Оторопев, я не сводил с него глаз. Я видел, что ремень действует наверняка. При шестом наклоне он уже опоясывал голое тело, если не считать переда, где оба конца сходились.

— Ну что, загляделся? — спросил меня Стилитано, заметив мой взгляд. Он говорил не о карусели, а о ее добром гении.— Ступай скажи, что ты его любишь.

— Не издевайся.

— Я не шучу.

Он улыбался. Будучи слишком молодым и не имея вида, который давал бы мне право заговорить с парнем или взирать на него с легким наигранным высокомерием, которое напускают на себя изысканные господа, я хотел отойти. Но Стилитано схватил меня за рукав:

— Иди сюда.

Я вырвался.

— Отстань от меня,— сказал я.

— Я же вижу, что он в твоем вкусе.

— Ну и что?

— Как что? Предложи ему выпить.

Он снова улыбнулся и спросил:

— Боишься Армана?

— Ты — псих.

— Значит, ты хочешь, чтобы к нему подошел я?

В этот миг парень выпрямился; его лицо блестело от пота и было налито кровью, как у пьяного. Поправив ремень, он приблизился к нам. Мы стояли на дороге, он — на деревянной платформе карусели. Встретив наши взгляды, он сказал с улыбкой:

— От этого бросает в пот.

— А жажда от этого не мучит? — сказал Стилитано. И, повернувшись ко мне, добавил: --- Поставишь нам по стаканчику?

Робер отправился с нами в кафе. Это радостное событие потрясло меня своей простотой. Я уже не шел рядом с Робером и Стилитано, я распался на части, которые разлетелись по всему свету и отмечали сотни подробностей, вспыхивавших неяркими звездами, но я их теперь позабыл. То же чувство небытия охватило меня, когда я в первый раз провожал Люсьена. Я слышал, как какая-то домохозяйка торговалась из-за герани.

— Мне бы хотелось иметь дома такой цветочек,— говорила она.— Красивый цветок...

Это стремление к обладанию, заставлявшее ее мечтать о растении с его корнями и землей, не удивило меня. Размышляя об этой женщине, я проникся чувством собственности.

«Она будет поливать свой цветок,— говорил я себе.— Она купит для него кашпо из майолики. Она выставит его на солнце. Она будет его лелеять...»

Робер шел рядом со мной.

Он ночевал под кожухом карусели, завернувшись в одеяло. Я предложил ему место в своей комнате. Он согласился. Во второй вечер его долго не было, и я отправился на его поиски. Я нашел его в одном из баров неподалеку от порта. Он разговаривал с мужчиной, который смахивал на гомика. Робер меня не заметил, и я не подошел к нему, но предупредил Стилитано. На следующее утро, перед тем как Робер ушел на работу, к нам заглянул Стилитано.

Так и не избавившись от своей невероятной застенчивости, он никак не мог сказать, зачем пришел. Наконец он решился:

— Будем работать вместе. Ты завлекаешь какого-нибудь фрайера в сортир или на хазу, и тут появляемся мы с Жанно. Мы говорим, что ты — наш брательник, и заставляем его раскошелиться.

У меня чуть было не вырвалось: «А что будет делать Арман?» Но я промолчал.

Робер лежал в постели, выставив торс из-под одеяла. Чтобы не смущать его, я старался до него не дотрагиваться. Он расписал Стилитано опасности подобной затеи, но я чувствовал, что все эти опасности казались ему далекими и смутными, окутанными густым туманом. В конце концов он согласился. На него тоже подействовали чары Стилитано. Мне было стыдно. Я любил Робера, но мне бы не удалось его убедить, и главное — мне было горько, что Стилитано собирался использовать те же приемы из нашей совместной испанской жизни, в секрет которых никто, кроме нас двоих, не был посвящен.

Когда Стилитано ушел, Робер залез под одеяло и прижался ко мне.

— Это твой мужчина, да?

— Почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Видно, что это твой мужчина.

Я обнял его, собираясь поцеловать, но он отодвинулся.

— Ты спятил. Не будем же мы с тобой этим заниматься!

— Почему?

— Что? Не знаю. Мы с тобой одного возраста, это будет не в кайф.

В тот день он поднялся поздно. Мы пообедали со Стилитано и Сильвией, а затем Робер пошел сказать своему хозяину, что не будет больше работать на карусели, и взять расчет. Мы пили весь вечер. Уже больше недели Арман не давал о себе знать. Сначала я решил сбежать из Антверпена и даже из Бельгии с его вещами. Но он продолжал влиять на меня и на расстоянии, и я отказался от этой мысли, не от страха, а из-за притягательной силы жестокости, которая исходила от этого зрелого человека, выросшего во зле, подлинного бандита, способного в одиночку увлечь, чуть ли не на руках внести меня в тот пугающий мир, откуда он явился. Я не покидал его комнаты, но моя тревога возрастала день ото дня. Стилитано обещал не рассказывать ему о моем увлечении Робером, но я не был уверен, что сам Робер не выдаст меня из озорства. С однoруким Робер держался весьма непринужденно. Он никогда не смущался, был игрив, насмешлив, слегка нахален.

Когда они обсуждали возможные дела, его взгляд становился сосредоточенным, и по окончании разговора Робер делал характерный жест: его рука со

сведенными большим и средним пальцами как бы забиралась во внутренний карман воображаемого пиджака и осторожно доставала оттуда воображаемый кошелек. Это был изящный жест. Робер медленно выводил в воздухе две ломаные линии, соответствовавшие двум движениям: первая означала, что он вынимает руку из кармана жертвы, вторая — что он кладет ее в свой карман.

Мы с Робером обслуживали Стилитано, словно священника или артиллерийское орудие. Преклонив перед ним колено, мы шнуровали его ботинки. С его единственной перчаткой дело обстояло сложнее. Робер почти всегда удостаивался чести застегнуть ее кнопку.

Что касается наших нравов, то рассказ об удачно проведенных делах не откроет вам ничего нового в этом смысле. Обычно мы с Робером поднимались в свою комнату вместе с гомиком. Лишь только он засыпал, мы бросали его бумажник Стилитано, который ждал под окном. Утром простофиля обвинял нас в краже. Мы разрешали ему нас обыскать, и он не решался заявить в полицию. Поначалу Робер пытался найти оправдание этим грабежам. Начинающий вор всегда хочет таким образом наказать негодяя.

— Эти типы — извращенцы,— говорил он.

Отыскивая у обворованных им гомиков скрытые пороки, он стал походить на зануду, и Стилитано с грубой прямотой заявил ему:

— Слушай, если ты не прекратишь свои проповеди, тебе придется податься в попы. Мы делаем это только по одной причине — нам нужны бабки.

От этих слов Робер окончательно распоясался. Будучи уверенным в поддержке Стилитано, он стал позволять себе невероятные вольности. Он говорил очень неприличные вещи. Это забавляло Стилитано, который всюду теперь ходил только с ним. Я все больше падал духом. Я ревновал их обоих. Робер, любивший девушек, улыбался всем подряд. Они его тоже любили. Поэтому, когда он был со Стилитано, я чувствовал, что он ускользает от меня. Поскольку он был смазливее, чем я, и ему было легче завлекать мужчин, Стилитано отдал ему мои вещи. Робер носил их непринужденно, с улыбкой. У меня были только брюки, один пиджак да рваные рубашки. Я изобретал всяческие жалкие способы мести Стилитано. По сравнению с Арманом он выглядел все более плоским, лишенным величия. Его красота казалась мне пошлой. Язык — бесцветным. От Армана же я ждал новых откровений.

Я не могу утверждать, что его бесстыдство натолкнуло меня на мысль писать порнографические книги, но, разумеется, я был шокирован его похабным ответом Стилитано, когда тот очень спокойно, с легкой небрежностью поинтересовался у Армана причиной его столь пылкой нежности к собственному члену.

— Мои яйца,— отвечал Арман с гордостью,— мои яички; бабы вышагивают, выставив вперед свои буфера, они носятся с ними как с писаной торбой, эти бабы, и я тоже имею право показывать мои яйца, выставлять их напоказ и подносить их на блюдечке. Я даже имею право — ведь они так красивы — послать их в подарок Поле Негри или принцу Уэльскому!

Стилитано мог быть циничным, но он был не в силах воспеть свой член. Будучи с давних пор глубоко запрятанными — скапливаясь в тиши, они усугубляли мою горечь,— его трусость, безволие, лень выходили на свет, чтобы отравить мое дыхание своим зловонием. То, что некогда украшало его — так язва делает плоть более живописной и рельефной,— теперь служило поводом для моего презрения. Но его пороки словно не замечали моей ревности и злобы и продолжали подтачивать наши отношения.

Как-то раз когда мы шли по улице вдвоем, Сильвия взяла меня под руку и прижалась ко мне. Двое мужчин, которых я любил, отходили от меня из-за своей недвусмысленной дружбы, не допускали меня в свой открытый, чистосердечный и веселый союз, и вдобавок женщина одного из них, движимая желанием смягчить мою боль, унижала меня своей жалостью. Меня едва не вырвало от прикосновения ее бедра и груди. Она посмела сказать Стилитано, желая, конечно, его задеть, что я ей нравлюсь. Стилитано с Робером расхохотались.

— Ну что ж, продолжайте гулять вдвоем. А мы отправимся по своим делам.

Их улыбки выдворяли меня, и я почувствовал, как лечу вниз по залитой светом лестнице, на вершине которой царил Стилитано. Я снова скатился на дно, к Испании и лохмотьям, меня опять ждали ночи среди голодранцев. Я стал

богаче на несколько счастливых мгновений, но пребывал в отчаянье: теперь-то я окончательно убедился, что вечно буду ползать в грязи и лизать свои ноги, запорошенные пылью бесконечных дорог. Мысль о вшах уже откладывала яйца на моем теле. Нашествие вшей было не за горами, и я перестал стричься. Я решил убить Стилитано и Робера. Мне не удалось стать убийцей в светлую пору, значит, я стану им в горе: я выбирал каторгу или позорную смерть. Я держался лишь благодаря воспоминаниям об Армане и надежде его увидеть, но он все не возвращался.

Дело было в Бельгии. Французская полиция приобрела колоссальный вес в моих глазах. Как и ее карательная машина. То, что я совершал за пределами Франции, было не грехом, а ошибкой. Что ожидало меня в бельгийских тюрьмах, на каторге? Должно быть, лишь досада оттого, что меня лишили свободы. Я предложил Стилитано с Робером совершить вылазку в Мобёж.

«Если я убью их в Арденнах, меня арестуют французы, и я буду сослан в Гвиану».

Они оба отклонили мое предложение. Однажды, когда я оказался в комнате Стилитано, я украл револьвер из кармана его висевшего в шкафу пиджака.

Вышеописанные события происходили между 1932 и 1940 годами. В то время как я знакомлю вас с ними, я поглощен иными страстями. Я воспользуюсь своими записями о них. Пусть они послужат этой книге.

Я укусил Люсьена до крови. Я хотел, чтобы он завыл от боли, его бесчувственность меня доконала. Я знаю, что я способен искромсать его плоть, утонуть в бессмысленном море крови, сохраняя при этом рассудок, упиваясь своим падением. «Пусть множатся следы ногтей и острых зубов,— говорил я себе,— пусть брызжет слюна, летят клочья волос, и пусть, несмотря на мои укусы, Люсьен сохраняет свой безучастный вид, ибо гримасы невыносимой боли тотчас же заставят меня разомкнуть челюсти и попросить у него прощения». Когда мои зубы кусали его тело, мои челюсти сжимались до судорог, от которых сотрясалось все мое тело. Я изрыгаю хрипы и все-таки я люблю, как нежно я люблю моего милого рыбака из Сюке. Вытянувшись рядом со мной, он ласково сплетает свои ноги с моими, и мягкая ткань наших пижам делает это слияние еще более полным, затем он тщательно выбирает место, куда прижаться щекой. Пока он не заснет, я чувствую трепет его век и загнутых кверху ресниц своей крайне чувствительной шеей. Если у него пощипывает в ноздрях, лень и апатия не позволяют ему пошевелить рукой, и он трется носом о мою бороду, нежно бодаясь, словно теленок, который сосет свою мать. В такие минуты его уязвимость не знает предела. Один неласковый взгляд, одно резкое мое слово могут ранить его, рассечь слишком нежную, почти воздушную упругую плоть, не оставив на ней следов. Порой волна моей нежности, нахлынувшая из сердца, неожиданно для меня омывает мои руки, и они сжимают его сильнее; он же, не поднимая головы, приникает губами к ближайшему участку моего лица или тела. Таков его непроизвольный ответ на внезапные тиски моих рук. Волне моей нежности всегда сопутствует этот бесхитростный поцелуй, и я чувствую, как моя кожа расцветает от ласки простого, сердечного парня. Этот знак говорит мне о его покорности велению моего сердца, о повиновении его тела моему разуму. Я перехожу на шепот, мой голос звучит сдавленно из-за того, что его голова лежит на моей груди:

— Когда ты лежишь вот так, приникнув ко мне, я словно оберегаю тебя.

— Я тоже,— говорит он.

И снова быстро чмокает меня.

— Что тоже?

— Мне тоже кажется, что я тебя защищаю.

— Да? Почему же? Я что, кажусь тебе слабым?

— Да... Я оберегаю тебя.

Поцеловав мои закрытые глаза, он покидает мою постель. Я слышу, как он закрывает дверь. Под моими веками мелькают картинки: в светлой воде носятся серые, очень юркие насекомые, которые водятся на илистом дне некоторых водоемов. Они бегают в светлой воде и в тени моих глаз, дно которых покрыто илом.

Странно, что столь мускулистое тело так легко расплавляется от моего тепла. Он ходит по улице, вихляя плечами: его твердость тает как снег. То, что было раньше острыми углами, осколками, смягчилось — все, кроме глаз, сверкающих среди рыхлых сугробов. Эта машина, предназначенная для кулачных боев, ударов башкой и пинков, вытягивается, развертывается, распрямляется и доказывает, к моему изумлению, что всегда была воплощенной кротостью, сжатой, скованной, стянутой, разбухшей, свернувшейся клубком, но я понимаю, что эта кротость, эта гибкая покорность, благодарная моей нежности, вмиг обернется яростной злобой, коль скоро она утратит повод оставаться собой, коль скоро уйдет моя нежность, если, например, я брошу парнишку, если я отниму у слабости право обитать в этом дивном теле. Я вижу, что может вызвать подобный взрыв. Какую боль причиняют подобные озарения! Его кротость снова сожмется, съежится, свернется клубком, снова станет грозным оружием.

— Если ты меня бросишь, я сделаюсь бешеным,— сказал он мне.— Я буду последней мразью.

Подчас я боюсь, что его кротость выйдет из повиновения моей любви. Следует вести себя осмотрительно и быстро воспользоваться этим подарком судьбы.

По вечерам, когда Люсьен сжимает меня в объятьях и осыпает мое лицо поцелуями, на мое тело нисходит печаль. Мое тело кажется подернутым дымкой. Оно окутывается траурной тенью. Мои глаза смотрят мне в душу. Брошу ли я это дитя на произвол судьбы? Позволю ли я ему оторваться от моего ствола? Упасть и разбиться в лепешку?

— Моя любовь всегда грустит.

— Правда, когда я тебя целую, ты становишься грустным. Я это заметил.

— Это тебе неприятно?

— Нет, ерунда. Зато я веселюсь за двоих.

Я бормочу про себя:

«Я люблю тебя... Я тебя люблю... Я люблю тебя...»

Возможно, говорю я себе, любовь в конце концов выйдет из меня вместе с этими очищающими душу словами, подобно тому как молоко или слабительное выводят из тела яд. Я держу его руку в своей руке. Кончики моих пальцев не хотят расставаться с кончиками его пальцев. Наконец я отнимаю руку: я все так же его люблю. Мое тело окутано прежней грустью. Таким я увидел его впервые: Люсьен шел из Сюке босиком. Босиком он шагал по городу, босиком заходил в кино. Он был одет в безупречно элегантный костюм: голубые полотняные брюки и тельняшку, в бело-голубую полоску с засученными по плечи короткими рукавами. Меня так и подмывает сказать, что он был обут в босые ноги, поскольку они казались мне тщательно подобранными деталями, дополнявшими его красоту. Меня всегда восхищали его хладнокровие и властный вид, который придавала ему в суетливой толпе простая приветливая уверенность в своей красоте, элегантности, молодости, силе и грации. Он был средоточием переполнявшего его счастья, и он показался мне значительным, когда посмотрел на меня с улыбкой.

У араукарии красные, плотные и мохнатые, довольно мясистые бурые листья. Эти деревья сажают на кладбищах, они обрамляют могилы давно почивших рыбаков, которые испокон веков гуляли по этому дикому ласковому берегу. Они подставляли солнцу и без того загорелые руки, волоча свои лодки и сети. В ту пору они носили одежду, забытые детали которой почти не изменились: рубашка с большим вырезом и разноцветный платок, которым они повязывали свои темные курчавые головы. Их ноги были босыми. Все они давно умерли. Дерево, все так же растущее в городских садах, воскрешает их в моей памяти. Стаи теней, в которые они превратились, продолжают шалить и вести свои пылкие речи: я отрицаю их смерть. Не придумав лучшего способа воскресить рыбака, блиставшего молодостью в 1730 году, и вдохнуть в него новую силу, я забирался в жару на скалы либо по вечерам восседал под сосной и принуждал его призрачный образ услаждать мою плоть. Общество какого-нибудь сорванца не всегда отвлекало меня от этих дум. Однажды вечером, смахнув с волос и куртки сухие листья, я застегнул штаны и спросил Боба:

— Ты знаешь типа по имени Люсьен?

— Да, а что?

— Ничего. Просто я им интересуюсь.

Парень и глазом не моргнул. Он стряхивал с себя ощупью сосновые иголки. Слегка проведя рукой по волосам, он проверил, не осталось ли там кусочков мха, и отошел от дерева, чтобы посмотреть, не забрызгал ли он свои солдатские брюки.

— Что это за тип? — спросил я.

— Он? Так, шпана. Он встречался с мужиками из гестапо.

Я снова оказался в центре пьянящего вихря. Французское гестапо сочетало в себе два прелестных явления: предательство и воровство. Если к этому добавился бы гомосексуализм, оно стало бы сиятельно безупречным. Гестапо было наделено тремя добродетелями, которые я возвожу в ранг божественных доблестей, способных придать любому телу твердость тела Люсьена. В чем можно было его упрекнуть? Гестапо находилось за гранью мира: оно предавало (в смысле нарушения законов любви); оно грабило, устраивало погромы; оно отлучило себя от мира, увенчанное педерастией. Стало быть, оно пребывало в нетленном одиночестве.

— Ты уверен в своих словах?

Боб смерил меня взглядом. Тряхнув головой, он откинул свои черные кудри со лба. Мы шагали рядом во тьме.

— Я же тебе говорю.

Боб надеялся, что, расписав Люсьена как гнусного типа, он отвратит меня от него. Но тем самым он лишь усиливал мой интерес к нему. Я любовно воображал, как Люсьен убивает и пытает.

Я ошибся. Он ни разу не предал. Я спросил его, не согласится ли он разделить со мной мою жизнь со всем присущим ей риском. Он посмотрел мне в глаза, ни у кого еще я не встречал такого ясного взгляда. Он напоминал родник, струящийся по заболоченной равнине, где растут незабудки и растения, именуемые в Морване плакучей травой. Потом он сказал:

— Да.

— Я могу рассчитывать на тебя, на твою дружбу?

Тот же взгляд и тот же ответ.

— Я буду вести такую же жизнь, как и ты, но только я не хочу воровать.

— Почему?

— Нет. Я лучше буду работать.

Я замолчал.

— Ты говоришь, что, если я тебя брошу, ты станешь бандитом. Почему?

— Потому что мне было бы стыдно.

Несколько дней спустя я сказал:

— Знаешь, придется довольствоваться тем, что осталось. У нас кончаются бабки.

Люсьен шел, уставившись в землю.

— Может, мы найдем что спереть,— сказал он.

Я поостерегся, чтобы не повредить устройство, заставившее его произнести эти слова, слишком явно выказывать свою радость. Я перевел разговор на другую тему. На другой день, после того как мы навестили Г. Ш., он выразился точнее.

Г. Ш. живет в квартире, которую он обставил мебелью за четыре дня, когда немцы вошли в Париж. Переодевшись с тремя дружками в мундир вермахта (эти мундиры были украдены шлюхами у солдат, разомлевших от усталости, вина и любви), он ограбил несколько особняков уехавших парижан. Его переполненный грузовик курсировал между гаражом и Пасси. Теперь он обзавелся и мебелью, и коврами. От подобных паласов, говорю я себе, исходит сдержанность, переходящая в меня через ноги; они предписывают молчание, одиночество и спокойствие с поистине материнским участием. Они дозволяют также произносить хулу и замышлять чудовищные преступления. В его квартире скопилось множество люстр. Двое его дружков, разделивших с ним поровну добычу, были убиты в Италии. Третьего только что приговорили к пожизненной каторге. Две эти смерти и приговор освятили право Г. Ш. на собственность,

узаконили подлинность этого права. Уверовав (или нет?) в свою безнаказанность, он ходит по этим коврам, нежится в этих креслах с невиданной прежде вальяжностью.

— Пусть они попробуют меня выселить,— говорит он мне.

Его сила основана на уверенности в своем праве владеть захваченной мебелью, роскошной добычей, от которой Люсьен приходит в восторг. Квартира, где продолжает раскручиваться действие, также участвует в драме. Это бесценная ризница, страж которой не дремлет. С тех пор как я узнал о смерти его дружков, я захожу к Г. Ш. с большей твердостью и меньшим восторгом. Все эти вещи уже утратили связь с прежним хозяином, они не подчиняются больше чьей-то воле. Все здесь преданно служит нынешнему владельцу. Когда мы ушли, Люсьен сказал мне на лестнице:

— С этим типом, наверное, клево работать!

— Как работать?

— Как он.

— То есть?

— Ну ладно, ты сам знаешь как. Воровать.

Возможно, Арман живет в такой же роскоши, если только его не пустили в расход. Когда немцы захватили Францию, он, естественно, пошел на службу в гестапо. Я узнал об этом от надзирателя, который во время обыска нашел у меня его снимок. Это было его призвание, и я должен был бы последовать за Арманом. Моя зависимость от него вела меня к этой цели.

Во время кражи необычное спокойствие уживается во мне со страхом. Мое тело трусит. Стоя перед витриной ювелирной лавки, я не верю, что решусь украсть, до тех пор пока не окажусь внутри. Едва лишь переступив порог, я знаю, что выйду не с пустыми руками: с кольцом или в наручниках. Эта уверенность выражается в ознобе, пронизывающем мое неподвижное тело от затылка до пят, минуя глаза, веки которых делаются сухими. Кажется, что мои клетки излучают волну, сообщают друг другу волнообразное колебание, которое является сутью покоя. Я осмысляю себя с головы до ног. Я следую за волной. Ее порождает страх. Если бы не она, не было бы спокойствия, в которое погружается — или к которому восходит — мое тело. Мне следует сосредоточиться на том, чтобы не убежать. Выйдя из магазина, я не могу бежать или просто быстро идти. Меня удерживает некая упругая сила. Мои мышцы скованны, налиты свинцом. Но неусыпная бдительность продолжает направлять их движение. Я плохо представляю Люсьена в таком положении. Не дрогнет ли он? Как он проявит себя в момент грабежа? Взломав замок, я толкаю дверь, и она отбрасывает *в меня* притаившийся за ней мрак, точнее, очень густой туман, в который призвано войти мое сердце. Я переступаю порог. В течение получаса, если я один, я буду действовать в мире — изнанке привычного мира. Мое сердце гулко стучит. Но не дрогнет моя рука. Страх не покидает меня ни на миг. Я не думаю о хозяине дома, но каждое из моих движений воскрешает его образ. Я воссоздаю отсутствующего владельца. Он оживает не передо мной, а населяет пространство вокруг меня. Я дышу этим призрачным телом, оно проникает в меня, наполняя собой мои легкие. Поначалу не очень страшно. Страх приходит, как только я наконец решаюсь уйти. Это решение зреет во мне, когда в квартире не остается потайных уголков, и я становлюсь ее законным владельцем. Не обязательно после того, как я обнаружу тайник. Ги почти всегда садится за стол и ест в разграбленной кухне или гостиной. Некоторые взломщики, покончив с делом, идут в сортир. Я не желаю, чтобы Люсьен совершал подобные ритуалы. Он отнюдь не набожен по натуре. Обнаружив клад, надо бежать. И тут меня наводняет страх. Мне хочется все ускорить. Не самому торопиться, наращивать ход, а сделать так, чтобы все вокруг завертелось по волшебству. Так, чтобы я оказался не здесь, а как можно дальше отсюда. Но какие жесты могут ускорить мой ход? Самые медленные, самые тяжеловесные движения. Медлительность влечет за собой страх. Все мое тело — не только сердце — трепещет. Я превращаюсь в висок, пульсирующий висок осквернённого дома. Случалось, что я предпочитал соснуть часок прямо в квартире, чтобы унять свой страх, нежели выходить на улицу и спасаться бегством, ибо даже когда я знаю, что нет никакой погони, я принимаюсь петлять,

нырять в переулки, возвращаться обратно, как бы заметая следы. Если кража совершается быстро, действие становится еще более захватывающим: я прибавляю шаг, я ускоряю ход, и участки ломаных линий мелькают перед глазами. Можно подумать, что скорость, с которой я совершил ограбление, подхватывает и уносит меня. Я не могу допустить, чтобы Люсьен подвергался такому риску. Он не умеет ходить на цыпочках. В его движениях, в его поведении ощущается легкая нерешительность, сдержанность, напоминающая задержку последних слогов во влажных устах молодых американцев. Люсьен застенчив.

Однажды я пригрозил его бросить.

— Пока еще ничего, но скоро мое терпение лопнет. Мне надоели твои капризы.

Я ушел, не поцеловав его на прощание. Три дня я не подходил к нему. Он не выражал недовольства.

«Как же я его брошу,— спросил я себя,— что с ним тогда будет?»

Нагрянувшие угрызения совести вкупе с черными думами омрачили и отравили мою и без того беспокойную жизнь. Я надеялся, что он бросится мне на шею. Я ожидал чуда, но лишь гроза могла разогнать эти тучи. Вечером третьего дня я пошел к нему в комнату.

— Ты ничего не жрал?

— У меня кончились бабки.

— Ты не мог у меня попросить?

— Я думал, что ты не захочешь их больше давать.

Он говорил простодушно, а затем умолк. Он даже не пытался зацепиться за жизнь. Его бесчувственная покорность своей злой доле меня бесила.

«Может быть, он горит желанием что-то сделать,— подумал я,— но из-за скудной фантазии не может придумать верного шага».

Внезапно мне показалось, что он сидит в подземелье, откуда не долетает звук его голоса — конечно, очень тихого и робкого. Он был паралитиком, душа которого горевала на дне застывшего тела. Но я окончательно смягчился, вспомнив, как он сказал о своем вывихнутом плече: «Это не по моей вине». Люсьен произнес эту фразу таким извиняющимся тоном, что я почувствовал, как он покраснел в темноте.

Я не могу, решил я тогда, оставить бедного малыша без поддержки. Он может припомнить свои слова и будет думать, что у меня сердце из камня.

Через две минуты, когда Люсьен оказался в моих объятиях, уткнувшись мне в шею, я схватил его за волосы, чтобы посмотреть ему в лицо, и увидел, что он плачет. За три минувших дня он дошел до предела отчаяния. И тогда в моей душе воцарился покой, оттого что я утешил Люсьена. Я гордился тем, что являюсь причиной слез, источником радости и страданий этого малыша. По моей милости он становился неким драгоценным камнем, отполированным своими слезами и горем до блеска. Его отчаяние, а затем возвращение к жизни сделали его еще красивее. Его слезы, его рыдания у меня на груди свидетельствовали о моей мужественности. Я был его мужчиной. Не успели высохнуть его слезы, как Люсьен, лежа рядом со мной в постели, принялся играть с моим ухом. Он скручивал и раскручивал его, теребил так и эдак.

— Уху нужна еще одна складка,— сказал он.

Оставив ухо в покое, он переключился на мою щеку, а затем на лоб, образуя на нем складки своими жестокими пальцами. Его пальцы мяли мою кожу с жесткой определенностью. (Это не машинальный жест. Что бы ни делал Люсьен, он придает этому большое значение.) Казалось, что он заставлял меня примеривать различные лица, ни одно из которых его не удовлетворяло. Я позволял малышу терзать меня, поскольку эта игра помогала ему избавиться от скорби. Он забавлялся, выдумывая все новые морщины, впадины и бугры, но оставался при этом серьезным. Он не смеялся. В прикосновениях его изобретательных пальцев я ощущал доброту. Я питал к нему ту же любовь, с какой материя относится к человеку, столь радостно придающему ей форму.

— Что ты делаешь с моей щекой?

Мой вопрос доносится издалека. Где я? Что происходит в этом гостиничном номере, на медной кровати? Где я? Мне безразлично, что он со мной творит. Мой

разум отключается. Еще немного, и этот гудящий самолет рухнет на землю. Я останусь лежать, наконец-то уткнувшись лицом в его шею. Он не шелохнется. Я увязну в любви, как в снегу, грязи или страхе.

Люсьен тер мою кожу, дергал ресницы, теребил подбородок и щеку. Я открыл глаза шире, посмотрел на него без улыбки, ибо у меня не хватало сил улыбаться, и сказал ему с грустью (у меня даже не было сил сменить тон):

— Что ты делаешь с моей щекой?

— Я завязываю на ней узелки.

Он отвечал бесхитростно, так, как будто говорил о чем-то естественном с человеком, который и сам это знает или никак не может понять столь простую и столь загадочную вещь. Его голос звучал несколько глухо. Когда он вновь приподнял мои ресницы и начал мять их между пальцами, я слегка отстранил голову. Он протянул руки, чтобы схватить ее и снова приблизить к себе. Я еще отодвинулся. Он простер ко мне руки и жалобно, почти как младенец, захныкал:

— Жан, я прошу тебя, разреши.

— Ты делаешь мне больно.

— Совсем немного, милый Жан. Дай немного потрогать твои милые реснички.

Я понимаю, что связывает скульптора с его глиной, художника — с его красками, рабочего — с сырьем, которое он обрабатывает, а также покорность материи рукам того, кто ее оживляет, и я знаю, какая любовь передается этим складкам, впадинам и буграм от прикосновения пальцев.

Брошу ли я его? Люсьен будет мне в жизни помехой. Если только его спокойная нежность и пугливое целомудрие не превратятся во льва или тигра под знойным солнцем моей любви. Если он меня любит, последует ли он за мной?

Как он будет жить без меня?

Гордость не позволит ему вернуться домой, к родным. Будучи со мной, он разленился, пристрастился к роскошной жизни. Примется ли он шататься по барам? Он станет вызывающе злым и жестоким в отместку, из ненависти к мужчинам. Мне наплевать на несчастья людского рода, но я страдаю при мысли, что этот парнишка пойдет по кривой дорожке. На грани его паденья моя любовь разгорается. Собравшись было угаснуть, она устраивает по вечерам апофеоз заката.

Что же с ним будет?

Боль обрушивается на меня, накрыв с головой. Я представляю Люсьена: его окоченевшие, синие, распухшие, чуткие, отмороженные пальцы, с трудом разогнувшись, залезают в карманы его грязных застывших брюк; я вижу, как он пританцовывает на морозе возле кафе, не решаясь туда войти; быть может, из движений его натруженных ног получится новый танец, танец-пародия. Он поднимает ворот своего пиджака. Невзирая на обжигающий ветер, он будет строить старым гомикам глазки. Боль переполняет меня, но что за радость благоухает в моем теле и сердце, когда силой той же мысли, что заставляет меня его бросить, я спасаю его от зла, на которое его обрекаю? Он не будет меня ненавидеть. Тошнотворный запах моей Испании ударяет мне в нос.

Возможно, в ходе скитаний по Европе у меня бы выработалась некоторая сноровка, если бы я не отвергал повседневные хлопоты ради своего рода созерцания. Перед тем, о чем я собираюсь рассказать, я совершил несколько поступков, но ни один из них я не подвергал столь пристальному изучению, как свою нравственную жизнь. Я изведал подлинное опьянение действием в Антверпене, где мне удалось однажды вечером связать человека, который привел меня к морю. Стилитано с Робером ушли на танцы. Я остался один, охваченный печалью и ревностью. Я зашел в какой-то бар и немного выпил. Внезапно я решил разыскать обоих приятелей, но сама мысль о поиске говорила о том, что они для меня потеряны. Прокуренные шумные бары, в которых они пили и танцевали, являлись земным воплощением душевного пространства, в котором они замкнулись, будучи даже утром отгороженными от меня и остального мира. Я зашел в комнату Стилитано и увидел, как, собираясь уходить, он протягивает свою руку в перчатке, слегка приподняв ее, и Робер с улыбкой, почти не дотрагиваясь до нее, застегивает на перчатке кнопку. Я перестал быть правой рукой Стилитано.

Какой-то толстяк попросил у меня прикурить и предложил выпить. Когда мы вышли из бара, он хотел отвести меня к себе домой, но я отказался. Поколебавшись, он решился пойти со мной в порт. Я приметил его золотые часы, обручальное кольцо и бумажник. Я был уверен, что он не станет звать на помощь, но с виду он казался сильным. Значит, мне удастся достичь своей цели лишь с помощью хитрости. У меня не было никакого плана. Внезапно я решил воспользоваться веревкой, которую мне дал Стилитано. Когда мы забрели в укромное место, толстяк предложил мне заняться любовью.

— Ладно.

Я попросил его спустить штаны как можно ниже, рассчитывая, что он запутается в них при попытке к бегству.

— Раздвинь...

Он исполнил мой приказ обеими руками, я же в мгновение ока связал их у него за спиной.

— Что ты делаешь?!

— Сам, что ли, не видишь, болван!

Я употребил те же слова, с той же самой интонацией, которые я слышал от Стилитано в тот день, когда нас застигли при краже велосипеда.

— Ты что, меня связываешь? Послушай, я тебе дам...

— Заткнись, я и сам возьму.

От страха, что нас заметят, а также, что толстяк порвет веревку, я становился остроумным и вязал крепчайшие узлы. Я обшарил его карманы. С той же пронзительной радостью мои пальцы нащупали банкноты и документы. Толстяк дрожал от страха и боялся пошевелиться.

— Оставь мне немного...

— Заглохни!

Подобные мгновенья должны были бы продолжаться бесконечно. Толстяк стал моей жертвой, и я хотел, чтобы он запомнил это надолго. Место было темным, но не очень надежным. Часовой, совершавший обход, мог нас обнаружить.

— Ах ты старый хрен, ты думал, что я стану...

Я оторвал от петлицы его жилета висевшие на цепочке часы.

— Это память,— пробормотал он.

— Вот именно. Я обожаю воспоминания.

Я ударил его по лицу. Он тихо застонал. Я выхватил нож столь же стремительно, как и Стилитано, и помахал обнаженным лезвием у него перед носом. Мне хотелось бы уточнить, что значило для меня это мгновенье. Жестокость, к которой я себя принуждал, вселяла невиданную силу не только в мое тело, но и в душу. Я чувствовал, что могу проявить великодушие к своей жертве и развязать ее. Также я был способен ее убить. Толстяк, видимо, тоже признал мою силу. Даже во тьме я ощущал его покорность, незлобивость, стремление потакать моему азарту.

— И не ори, а то я тебя прикончу.

Я отступил в темноту.

— Послушай...

— Что тебе?

Он прошептал кротким голосом, видимо страшась услышать отказ:

— Оставь мне хоть что-нибудь...

Когда мы снова встретились со Стилитано, я был обладателем нескольких тысяч бельгийских франков и золотых часов. Сначала я хотел рассказать ему о своем подвиге, чтобы подразнить его и Робера, но мало-помалу мой поступок стал отходить в небытие и моя гордость поникла. Я решил сохранить это приключение в тайне. Я знал, только я один знал, на что я способен. Я спрятал свою добычу. Я впервые увидел лицо жертвы: оно безобразно. Являясь причиной такого уродства, я испытывал от этого лишь жестокое удовольствие, которое, как мне казалось, преображало мои черты, заставляло меня светиться. В ту пору мне было двадцать три года. После этого случая я почувствовал, что моя жестокость может зайти далеко. Обладание деньгами и часами уничтожило во мне последние крохи любви к нищете (не уничтожив любви к страданию, хотя и помпезному). Между тем, чтобы поднатореть

в жестокости или равнодушии к чужому горю, я задействовал свой суровый закал, полученный в школе нищенства. Я совершил новые грабежи. Все они прошли успешно. Таким образом я избавился от двусмысленного положения трусливого вора. Впервые я нападал на людей. Я сражался с ними с открытым забралом. Я чувствовал, что становлюсь звенящим, злым, холодным, стремительным, сверкающим, острым, как лезвие шпаги.

Ни Стилитано, ни Робер не замечали моего превращения. Они жили в тесном союзе, вместе бегая за женщинами либо вместе же пренебрегая ими. Мое отношение к Стилитано не изменилось. Я вел себя с ним столь же почтительно, а Робер — так же бесцеремонно. Прикрывала ли меня, дабы одеть в доспехи героя, личность Стилитано, в глубине которой вела наблюдение и отдавала приказы самая лучшая часть моей души, или же я заимствовал голос, слова, жесты моего друга с тем же трепетом, с каким прикасаются к святыням, торопясь ощутить их чарующее воздействие? Не я, а Стилитано участвовал в битвах. Он соглашался пить с гомиками, вилял перед ними бедрами, а затем обирал их. Его образ преследовал меня, я страдал, осознавая это, но также я осознавал, что, высокомерно отвергнув эту поддержку, я потерпел бы крах. Он не догадывался, каким тайным целям я заставляю его служить, не подозревал, что является для меня тем, что именуется родиной: сущностью, которая ведет солдата на бой и приносит его в жертву. Я дрожал от страха на лестнице, выйдя из комнаты, где только что заставил клиента выложить все свои деньги: Стилитано стремительно улетучивался из меня. Я пересчитывал свои трофеи уже не для того, чтобы сделать ему подарок. Я совершал это в одиночку.

Между тем Арман вернулся, когда я его уже не ждал. Он встретил меня, лежа в постели и покуривая сигарету.

— Привет, парень,— сказал он и впервые протянул мне руку.— Ну что, все было нормально? Никаких осложнений?

Я уже рассказывал о его голосе. Мне кажется, что он был столь же холодным, как и его голубые глаза. Поскольку он никогда не смотрел на вещи или людей в упор, его ирреальный голос почти не принимал участия в разговоре. Некоторые взгляды можно сравнить с лучами (взгляды Люсьена, Стилитано, Жава), но только не взгляд Армана. Его голос тоже ничего не излучал. В глубине его сердца обитали лишь крошечные человечки, которых он держал в тайне. В его голосе слышался легкий эльзасский акцент: его сердце было отдано фрицам.

— Да, все было нормально,— сказал я.— Ты видишь, я сберег твои вещи.

Даже сейчас я иногда мечтаю о том, чтобы меня задержала полиция и сказала: «В самом деле, сударь, мы видим, что это не вы совершили кражи, виновные в которых арестованы». Мне хотелось быть ни в чем не повинным. Отвечая Арману таким образом, я был бы рад внушить ему мысль, что другой на моем месте — который был не кем иным, как мной,— его бы обчистил. Чуть ли не с трепетом я торжествовал свою верность.

— Я так и думал.

— А у тебя все в порядке?

— Ну да, дело сделано.

Я решился присесть на край кровати и положить руку на одеяло. В тот вечер, в тусклом свете, падавшем с потолка, он был таким же сильным и мускулистым, как и при ярком дневном свете. Внезапно передо мной открылась возможность избавиться от тягостного чувства тревоги, в которое ввергали меня необъяснимые отношения между Стилитано и Робером. Если бы Арман согласился, чтобы не он, а я его любил, то, благодаря своему возрасту и большой силе, он мог бы меня спасти. Уже приходя в восторг, я был готов нежно прижаться к его торсу, заросшему бурым мехом. Я протянул руку. Он улыбнулся. Он улыбнулся мне в первый раз, и этого было достаточно, чтобы я его полюбил.

— Я провернул неплохие дела,— сказал он.

Он повернулся на бок. Мое легкое напряжение свидетельствовало о том, что я ждал, когда его грозная рука пригнет мою голову повелительным жестом, заставляя меня наклониться ради его услады. Если бы это было сегодня, я бы слегка поломался, чтобы он понервничал и захотел меня сильнее.

— Мне хочется выпить. Я сейчас встану.

Он поднялся с кровати и оделся. Когда мы вышли на улицу, он похвалил меня за то, что мне так здорово удаются трюки с гомиками. Я остолбенел.

— Кто тебе это сказал?

— Не все ли тебе равно.

Он даже слышал о том, что я связал одного из них.

— Отличная работа. Я бы ни за что не поверил.

Он рассказал мне, что портовые рабочие проведали о моих подвигах. Каждая из моих жертв предупреждала обо мне других «голубых» или докеров (они все связаны с педиками). Я приобрел известность как гроза гомиков. Арман прибыл вовремя, чтобы сообщить мне о моей славе, которая подвергала меня опасности. Сам он узнал об этом по возвращении. Если Робер и Стилитано еще не в курсе, их вскоре оповестят.

— Здорово, что ты это сделал, малыш. Мне это нравится.

— Ох, это было нетрудно. Все они сдрейфили.

— Здорово, я тебе говорю. Я бы ни за что не поверил. Пошли выпьем.

Когда мы вернулись, он ничего от меня не хотел, и мы уснули. В последующие дни мы встретились со Стилитано. Арман познакомился с Робером и, лишь только его увидев, воспылал к нему страстью, но хитрый мальчишка от него увильнул. Как-то раз он бросил Арману со смехом:

— У тебя же есть Жанно, тебе этого мало?

— Он — это совсем другое дело.

В самом деле, с тех пор как он узнал о моих ночных шалостях, Арман обращался со мной как с товарищем. Он разговаривал со мной, давал мне советы. Его презрение ушло, уступив место немного умильной материнской опеке. Он советовал, как мне лучше одеться. Вечером, как только мы выкуривали по сигарете, он желал мне спокойной ночи и засыпал. Полюбив его, я приходил в отчаяние от того, что был не в силах доказать ему свою любовь, придумывая самые изощренные ласки. Дружба, которой он меня пожаловал, налагала на меня строжайшие запреты. Хотя я и признавал, что в моих преступлениях не обходится без надувательства, в глазах Армана я во что бы то ни стало старался казаться мужчиной. Героическим поступкам, говорил я себе, не должны сопутствовать жесты, условно сводящие их на нет. Чистосердечный Арман не допустил бы, чтобы я служил для его удовольствия. Уважение, которое он ко мне питал, не позволяло ему использовать мое тело в прежних целях, хотя подобное применение наполнило бы меня новой силой и дерзостью.

Стилитано и Робер жили за счет Сильвии. Выбросив из головы наши тайные проделки с гомиками, Робер делал вид, что презирает мою работу.

— И ты называешь это делом? Тоже мне героизм,— сказал он однажды.— Ты нападаешь на стариков, которые держатся на ногах лишь благодаря своим палкам да пристежным воротничкам.

— Он прав, надо быть разборчивее.

Я не подозревал, что за этой репликой Армана кроется дерзновеннейший переворот в морали.

Не успел Робер ответить, как он продолжал чуть более значительным тоном:

— А я, по-твоему, чем занимаюсь? — Повернувшись к Стилитано: — Как ты думаешь? Когда мне надо, слышишь, я нападаю не на стариков, а на старух. Не на мужиков, а на баб. Я выбираю самых слабых. Ведь мне нужны бабки. Классная работа — прежде всего успех. Когда ты поймешь, что благородство нам ни к чему, ты поумнеешь. Он,— Арман, никогда не звавший меня по имени, указал на меня рукой,— он вас в этом опередил, и он прав.

Его голос не дрожал, но мое волнение было так велико, что, обуреваемый чувствами, я боялся, как бы Арман не перешел на сногсшибательные признания. Однако последние его веские слова меня успокоили. Он замолчал. Я почувствовал, как во мне ожило (или расцвели среди моря сожалений) множество голосов, упрекавших меня в том, что я был верен некоему подобию чести. Арман больше никогда не затрагивал этой темы (Стилитано с Робером не решались ее обсуждать), но его слова пустили ростки в моей душе. Своеобразный кодекс чести, присущий шпане, показался мне смехотворным. Мало-помалу Арман сделался непререкаемым авторитетом в вопросах морали. Он не казался мне прежней глыбой, я подозревал, что у него позади — масса горестных испытаний. Однако его тело оставалось таким же мощным, и мне нравилось

быть под его защитой. Найдя в человеке, в котором не было места страху — как мне хочется думать,— подобное могущество, я почувствовал, как мои мысли охватило странное и неведомое ликование. Безусловно, впоследствии я захочу развить в себе многообразие двойственных чувств и извлечь из них выгоду, когда со стыдом, примешивавшимся к моему удовольствию, я обнаружу в себе скопище и путаницу противоречий, но я уже предчувствовал, что нам надлежит заявлять о том, что станет нашими принципами. Позже я применю свою волю, избавленную благодаря раздумьям и поступкам Армана от покровов морали, при оценке полиции.

Теперь Арман отдавал мне половину нашей добычи. Он требовал, чтобы я обрел некоторую независимость, и хотел, чтобы у меня была отдельная комната. Видимо, из осторожности, ибо, хотя он и оберегал меня, тучи надо мной все сгущались, он выбрал комнату в другой гостинице, на другой улице. Около полудня я приходил к нему, и мы разрабатывали план вечернего ограбления. Затем мы вместе обедали. Он продолжал заниматься торговлей опиумом (и Стилитано тоже вносил в это лепту).

Я был бы рад, если бы моя любовь к Арману не приняла такой размах; я задаюсь вопросом, мог ли он ее не заметить. Его присутствие сводило меня с ума. Во время его отсутствия я умирал от тревоги. Ограбив очередную жертву, мы просиживали с ним часок в каком-нибудь баре, но что было потом? Я не знал, как он проводит ночи. Я ревновал его ко всем молодым портовым бродягам.

Наконец как-то раз, в довершение моей тревоги, Робер грубо заявил Арману со смехом:

— Ты что, думаешь, мне нечего о тебе рассказать?

— Что же ты можешь такого сказать?

— Как что, у меня есть на тебя кое-какие права.

— У тебя, шлюшка?

Робер расхохотался.

— Вот именно. Потому что я — шлюшка. Я — твоя жена, вот так.

Он произнес эти слова без смущения и бахвальства, лукаво подмигнув мне. Я ждал, что Арман ударит его или так осадит, что Робер заткнется, но он только улыбнулся. Казалось, что ему не претили ни фамильярность, ни пассивность парнишки. Я уверен, что, если бы я вел себя таким образом, он бы рассвирепел. Так я узнал об их связи. Возможно, Арман ценил меня как друга, но я бы предпочел, чтобы он сделал меня своей единственной любовницей.

Однажды вечером Арман поджидал меня, прислонившись к дверной раме в позе охраняющего сады янычара. Я задержался на час и был уверен, что он накричит на меня, возможно, даже ударит, и мне было страшно. Я увидал его снизу, с последней или предпоследней ступеньки лестницы — он стоял надо мной, раздетый по пояс; его широкие голубые полотняные брюки, закрывающие ступни, казалось, служили подставкой не для торса, а для скрещенных рук. Возможно, над ними возвышалась голова, но для меня существовали только руки Армана — крепкие, мускулистые, образующие литой узор бурой плоти; на одной из них красовалась тонкая татуировка, изображавшая мечеть с минаретом, башню и покосившуюся от самума пальму. На них ниспадал волнами с шеи длинный кисейный бежевый шарф, повязанный на затылке, каким закрывают головы от песка легионеры или солдаты колониальных войск. Его бицепсы, прижатые к грудным мышцам, которых не было за ними видно, были резко очерчены. Эти руки жили собственной жизнью, то есть являлись как бы гербовым щитом, защищавшим Армана, его рельефным оружием.

Головокружительная или неторопливая медитация о планетарных системах, светилах, туманностях и галактиках никогда не позволит мне вместить в себя целый мир и никогда не заставит меня с этим смириться: я теряюсь перед лицом Вселенной, но меня утешает обыкновенный признак доблестной мужественности. Уходят прочь тревожные мысли и переживания. Страх в связи с опозданием, заставлявший меня содрогаться, безусловно, усугублял мое волнение и позволял мне проникнуть в его суть. Странное переплетение скрещенных рук не только не защищало обнаженного воина, но и несло в себе воспоминание об африканских

походах. Наконец, меня приводила в трепет татуировка — башня и минарет, напоминая о разлуке со Стилитано, когда я созерцал отражавшийся в море Кадис. Я прошел мимо. Арман не шелохнулся.

— Я опоздал.

Я не решался смотреть на его руки. Они были настолько сильны, что я засомневался, не ошибался ли я, до сих пор обращаясь к его глазам и устам. Эти руки или то, что они выражали, были реальны до тех пор, пока они образовывали витой узор перед торсом борца. Вместе с их переплетением исчезнет и самая глубинная, самая подлинная реальность Армана.

Лишь сегодня я понимаю, что мне было стыдно разглядывать этот узел из мышц, ибо в нем раскрывалась сущность Армана. Если королевское знамя появляется в руках скачущего всадника, мы приходим в волнение и спешим обнажить голову, если же король несет его сам, мы испытываем гнетущее чувство. Кратчайший путь, который предлагает символ, появляясь в руках того, кого он должен обозначать, создает и разрушает преграду между значением и смысловым содержанием слова.

— Я старался успеть изо всех сил, но я опоздал не по своей вине.

Арман молчал. По-прежнему стоя у двери, он повернулся всем корпусом вокруг своей оси. Подобно воротам храма.

Цель данного повествования — приукрасить мои былые приключения, то есть извлечь из них красоту, выявить в них то, что послужит сегодня источником вдохновения — единственным свидетельством этой красоты.

Его руки по-прежнему оставались скрещенными. Арман застыл как изваяние, как символ Равнодушия. Будучи предвестниками грозного оружия, которое не спешило заявлять о себе, таясь за голубой тканью брюк, его руки воскрешали в памяти ночь — их янтарный цвет, масть, эротическая масса (однажды вечером, когда он лежал в постели, я исследовал его сложенные на груди руки своим членом, подобно тому как слепой распознает на ощупь лицо, и он не посмел рассердиться), но главным образом голубая татуировка зажигала на небе первые звезды. У подножия этой мечети, прислонившись к покосившейся пальме, некий легионер нередко поджидал меня на закате в той же безучастной и властной позе. Казалось, что он стережет невидимый клад, и сегодня мне приходит на ум, что он оберегал от нашей любви свою безупречную девственность. Он был старше меня. Он всегда являлся первым на свидание в сады Мекнеса. С блуждающим взглядом — или взирая на ясную мечту? — он покуривал сигарету. Не позволяя ему сделать и шага (он здоровался со мной сквозь зубы и никогда не подавал мне руки), я доставлял ему удовольствие, которого он ждал, поправлял штаны и уходил. Мне хотелось, чтобы он сжал меня в своих объятьях.

Созерцание рук Армана, как мне кажется, было в тот вечер единственным откликом на все мои метафизические волнения. Они заслоняли, уничтожали Армана, который тем не менее становился более реальным и деятельным, ибо он являлся главной фигурой герба.

О самом же факте у меня остались довольно смутные воспоминания, разве что о том, как Арман влепил мне две-три пощечины, что было бы нечестно от вас скрывать. Он не допускал, чтобы я заставлял его ждать хотя бы миг. Быть может, он боялся, что я навсегда исчезну. В течение нескольких дней я притворялся, что смотрю на его ссоры с Робером сквозь пальцы, втайне страдая от любви, досады и ярости. Сегодня я бы, возможно, избавился от подобной тоски, способствуя совокуплению двух любимых мною мужчин: одного я любил за силу, второго — за грацию. Подобное милосердие, ныне привычное моему сердцу, позволило бы мне составить счастье не двух людей, а более совершенных существ, воплощавших силу и красоту. Если два этих качества не могут соединиться во мне, пусть моя доброта, выйдя за рамки моего тела, завяжет безукоризненный узел любви.

У меня были кое-какие сбережения. Не сказав никому ни слова — ни Стилитано, ни Арману, ни Сильвии и Роберу, я сел в поезд и вернулся во Францию.

В лесах Мобёжа я осознал, что страна, которую я с таким трудом покидал, обольстительный край, по которому я неожиданно, пересекая эту последнюю границу, испытал ностальгию, тождественна сияющей доброте Армана, слагавшейся из тех же частей, которые, будучи вывернутыми наизнанку, составляли его жестокость.

Если не произойдет события такого значения, что по сравнению с ним мое литературное творчество покажется нелепым, и мне потребуется новый язык, чтобы обуздать эту новую напасть, данная книга станет последней. Я жду, что небо свалится мне на голову. Святость заключается в том, чтобы извлечь выгоду из страдания. В том, чтобы заставить дьявола быть Богом. В том, чтобы снискать признательность зла. Пять лет я писал книги; я могу сказать, что это доставляло мне удовольствие, но я покончил с этим занятием. Благодаря творчеству я получил то, к чему стремился. То, что, будучи для меня уроком, послужит мне ориентиром, состоит не в пережитом, а в манере изложения данных событий. Не в анекдотах, а в произведении искусства. Не в моей жизни, а в ее толковании. Язык предоставляет мне возможность оживить, выразить ее, рассказать о ней. Воплотить в жизнь мой миф. Я знаю, чего хочу. Я знаю, куда иду. Дальнейшие главы (значительное количество которых утеряно) последуют бессистемно. (Я подразумеваю под мифом не более или менее обманчивое представление, которое получит обо мне читатель, усвоивший мое имя, а соответствие моей предстоящей жизни наиболее определенному мнению, которое я сам и другие могут о ней составить по окончании повествования. Остается выяснить, заключается ли осуществление моего мифа в как можно более бесшабашном существовании в преступной среде.)

На улице я до того боюсь, что меня узнает какой-нибудь полицейский, что сознательно прячусь в самом себе. Стóит наиболее существенной части моего «я» затаиться в самом сокровенном глубинном укрытии (в каком-нибудь укромном уголке в недрах моего тела, где я всегда начеку, где я веду наблюдение, мерцая свечой), как мне уже ничего не страшно. Я опрометчиво полагаю, что мое тело начисто лишено примет, кажется полым и его нельзя опознать; из моего образа ушло все: глаза, пальцы, из которых улетучились нервные тики, так что полицейские видят, как по тротуару бок о бок с ними бредет пустая ракушка, лишенная своего содержимого — человека. Однако, когда я иду по тихой улице, пламя внутри меня разгорается, проникает в мои конечности, поднимается до лица и опаляет его сходством со мной.

Я умножаю неосторожные шаги: разъезжаю в угнанных автомобилях, прохожу мимо лавок, которые грабил, предъявляю поддельные документы. Я чувствую, что очень скоро все будет кончено. Мои глупости слишком серьезны, и я знаю, что из малейшей ошибки [1] вылетит моя гибель на сияющих крыльях. Но, хотя я жду несчастья как милости, я недаром изощряюсь в играх, привычных этому миру.

Я хочу воплотить себя в редчайшей из судеб. Я смутно вижу, какой она будет, но она предстает передо мной не в виде изящной кривой, изогнутой в сторону вечера; в моих мечтах она наделена невиданной красотой из-за опасности, которая терзает, сотрясает и разрушает ее. О, сделайте так, чтобы я состоял из сплошной красоты!

Я пойду вперед стремительно или неторопливо, но я решусь на то, на что нужно решиться. Я сорву все покровы, чехлы падут и сгорят в огне, и однажды вечером я появлюсь на ладони вашей руки, невозмутимый, прозрачный, как стеклянная статуэтка. Тогда вы узрите меня. И окружающий мир померкнет.

По весомости средств, по великолепию материалов, пущенных в ход для того, чтобы поэт приблизился к людям, я сужу, до чего же он отдалился от них. Предельная степень падения подвигла его на этот каторжный труд. Мое отчаяние было вызвано моим падением. И в том же отчаянии таилась сила, а также средство, чтобы его уничтожить. Но если прекраснейшее творение нуждается в величайшем отчаянии, поэт обязан любить людей, чтобы совершить подобный рывок. И для того, чтобы он оказался удачным. Люди резонно чураются глубокого произведения, если оно — крик души человека, чудовищно погрязшего в собственном «я».

[1] Кто же помешает моему уничтожению? Упомянув о гибели, я не могу не вспомнить об одном сне: меня преследовал паровоз. Я бежал по железнодорожному полотну. Я слышал позади прерывистое дыхание машины. Сойдя с рельсов, я побежал по полю. Грозный паровоз продолжал гнаться за мной, но внезапно он послушно-учтиво остановился перед деревянным шлагбаумом, в котором я узнал опоясывающее луг заграждение, что принадлежало моим приемным родителям, когда, будучи ребенком, я пас коров. Пересказывая этот сон приятелю, я сказал: «...поезд остановился перед шлагбаумом моего детства...».

По весомости средств, которые мне нужны, чтобы отбросить вас от себя, посудите, какую нежность я к вам питаю. Оцените, до чего же я вас люблю, по баррикадам, которые я сооружаю в своей жизни и в творчестве. Поскольку произведению искусства надлежит быть лишь свидетельством моей святости, святость должна быть реальной, не только дабы оплодотворить мой труд, но также для того, чтобы я смог опереться на творение, уже укрепленное святостью, для более значительного прыжка в неизвестность, чтобы ваше дыхание (я крайне подвержен порче) не смогло меня осквернить. Моя нежность сделана из хрупкого вещества. А людское дыхание замутняет методы поиска нового рая. Я заставлю признать зло в невинном обличье, даже если эта попытка будет стоить мне гордости, чести и жизни.

Творчество — отнюдь не легкомысленная игра. Творец ввязался в ужасную авантюру, решив пройти до конца дорогой опасностей, выпавших на долю его созданий. Нельзя представить себе творения, в основе которого не была бы заложена любовь. Можно ли ставить лицом к лицу с собой равную тебе силу, то, что следует презирать либо ненавидеть? Но в таком случае творец возьмет на себя тяжесть грехов своих героев. Иисус стал человеком. Его ждет искупление. Затем, как и Бог, сотворив людей, он избавляет их от грехов: его бичуют, плюют ему в лицо, над ним насмехаются, его распинают. Вот в чем смысл изречения: «Он страдает в плоти своей». Оставим в покое теологов. «Взять на себя тяжесть людского греха» означает в точности: изведать силу и следствие всех грехов, согласиться со злом. Всякий творец должен взвалить на свои плечи созданное им зло, которое его герои выбирают по собственному желанию. Это слишком слабо сказано — он должен сродниться с ним до такой степени, чтобы оно стало кровью, пульсирующей в его сосудах. Мы стремимся усмотреть в этом одно из многочисленных проявлений благородного мифа о Сотворении и Искуплении. Даруя своим персонажам свободу воли, свободу распоряжаться собой, всякий творец надеется в глубине души, что они предпочтут Добро. Так же, как всякий любовник тешит себя надеждой, что он любим без корысти.

Я хочу на миг сосредоточить внимание на высшем счастье, заключенном в отчаянии, когда человек неожиданно остается один на один с собственной непредвиденной гибелью, когда он присутствует при неумолимом уничтожении своего творения и самого себя. Я отдал бы все сокровища мира — они и вправду стоят того,— чтобы очутиться в безнадежном, неведомом положении и чтобы никто не знал, что я его испытал. Одинокий Гитлер в бункере своего дворца, без сомнения, пережил в последние минуты разгрома Германии подобный миг чистейшего озарения — хрупкую и надежную ясность, сознание собственного краха.

Моя гордость зарделась румянцем моего стыда.

Уже осужденный за воровство, я могу получить новый срок без всяких улик, по одному лишь обвинению или подозрению. Закон считает меня способным на преступление. Опасность подстерегает меня не только во время кражи, но и в каждый миг бытия, потому что я воровал. Смутная тревога окутывает мою жизнь туманом, отягчает и в то же время облегчает ее. Дабы сохранить ясность и остроту моих глаз, мое сознание должно контролировать каждый мой шаг, чтобы я смог моментально изменить его смысл, скорректировать его направление. Эта тревога не дает мне уснуть. Она держит меня в позе белки, изумленно застывшей на лужайке. Но тревога также подхватывает меня как вихрь, кружит мне голову, заставляя ее гудеть, и толкает меня во мрак, где я прижимаюсь к земле, заслышав под листьями, как земля отзывается на чьи-то шаги.

В древности Меркурий якобы был богом воров, которые, таким образом, знали, какую силу им призывать. У нас же нет никого. Возможно, было бы логично молиться дьяволу, но ни один из воров не отважится на это по-настоящему. Вступить с ним в сделку — значит зайти чересчур далеко, ведь он восстал против Бога, который, как всем известно, в итоге стал победителем. Даже убийца не решится молиться дьяволу.

Чтобы порвать с Люсьеном, я направлю на этот разрыв лавину несчастий и буду думать, что она унесла малыша. Он будет кружиться соломинкой

в воронке торнадо. Узнав, что я наслал на него беду, он возненавидит меня, но эта ненависть оставит меня равнодушным. Угрызениям совести и упрекам его прекрасных глаз будет не под силу меня взволновать, ибо я окажусь во власти отчаянной скорби. Я лишусь вещей куда более дорогих моему сердцу, чем Люсьен, но не настолько дорогих, как мои угрызения совести. Поэтому я охотно убил бы Люсьена, чтобы похоронить мой стыд под роскошным саваном преступления. Увы, религиозный страх удерживает меня от убийства, одновременно приближая меня к нему. Он рискует сделать меня священником, превратить в жертву Бога. Чтобы разрушить притягательную силу убийства, мне, быть может, достаточно довести ее до предела посредством практического обоснования злодеяния. Я сумел бы убить человека за несколько миллионов. Вес золота может оказаться тяжелее веса убийства.

Догадывался ли об этом бывший боксер Леду? Убив сообщника из мести, он устраивает в его комнате беспорядок, чтобы создать видимость ограбления. Увидев на столе пятифранковую купюру, Леду берет ее в руки и объясняет своей удивленной подруге:

— Я сохраню эти деньги как талисман. Никто не скажет, что я убил не ради наживы.

Довольно быстро я обрету присутствие духа. Размышляя об этом, не следует позволять своим векам и ноздрям принимать трагический вид, надо обдумывать план преступления непринужденно, широко распахнув глаза и наморщив лоб как бы от наивысшего изумления и восторга. Тогда ни угрызения совести, ни преждевременное страдание будут не в состоянии поселиться в уголках ваших глаз или выбить почву у вас из-под ног. Насмешливая улыбка, нежный мотив, насвистываемый сквозь зубы, чуть-чуть иронии в пальцах, вынимающих сигарету, сумеют восстановить связь с унынием в моем дьявольском одиночестве (если только я не буду любить какого-нибудь убийцу, которому присущи и этот жест, и эта улыбка, и этот нежный мотив). Похитив кольцо Б. Р., я задавался вопросом: а вдруг он об этом узнает? Я продал кольцо одному из его знакомых!

Я представляю (ибо Люсьен любит меня) его горе и мой стыд. Итак, я предусматриваю худший из вариантов: смерть. Его смерть.

Я видел на бульваре Осман место, где задержали грабителей. Удирая из магазина, один из них попытался выскочить через витрину. Завалив свой арест грудой осколков, рассчитывал ли он таким образом придать ему значимость, в которой будет отказано предшествовавшему деянию — ограблению? Он торопился окружить себя кровавым, поражающим, наводящим трепет триумфом, в центре которого он остался бы жалким. Преступник прославляет свой подвиг. Он хочет исчезнуть под этим великолепием, раствориться в грандиозном спектакле, поставленном судьбой. В то время как он разлагает свое преступление на тугие мгновенья, оно расчленяет его.

— Что мне людские обиды, когда моя кровь...

Тон этой книги рискует шокировать лучшие, а не худшие умы. Я не ищу скандала. Я составляю эти заметки для немногочисленных молодых людей.

Мне бы хотелось, чтобы они рассматривали их как руководство по наиболее тернистой аскезе. Это болезненный опыт, и я еще не исчерпал его до конца. Не беда, что его исходной точкой была романтическая мечта, ибо я подхожу к нему с той же неукоснительной точностью, как и к математической задаче; ибо я извлекаю из него материалы, необходимые для построения произведения искусства либо для достижения нравственного совершенства (может быть, для истребления этих материалов, для их искоренения), родственного той святости, которая все еще является для меня прекраснейшим словом человеческого языка.

Святость для меня — не состояние, а нравственное деяние, которое ведет к ней. Это идеальная точка нравственности, о которой мне нечего сказать, ибо она ускользает от меня. Она удаляется, лишь только я приближаюсь к ней. Я жажду и опасаюсь ее. Нравственное деяние может показаться нелепым. Однако, хотя оно и мучительно, веселья ему не занимать. Оно похоже на дурочку.

Я возвожу в высочайшую добродетель не столько одиночество, сколько самопожертвование. Эта добродетель носит преимущественно созидательный

характер. Должно быть, над ней тяготеет проклятие. Стоит ли удивляться, коль скоро я заявляю, что преступление служит для утверждения моей нравственной силы?

Когда наконец я сумею проникнуть в глубь образа, стать светом, который доносит его до ваших глаз? Когда же я окажусь в сердце поэзии?

Я могу заблудиться, перепутав святость с одиночеством. Но благодаря этой фразе не рискую ли я вновь придать святости христианский смысл, который я стремлюсь у нее отнять?

Поиск ясности, возможно, напрасен. Ее обретение сулит покой. Улыбка, из которой исчезнут и «я», и «вы», станет невозмутимой улыбкой, взирающей на окружающий мир.

В день моего прибытия в Санте — для очередного заключения в этой тюрьме — я предстал перед ее начальником за то, что, проходя по коридору, увидел в окошке камеры приятеля и перекинулся с ним несколькими словами. В наказание меня тут же упекли в карцер на две недели. Три дня спустя служитель передал мне окурки, присланные обитателями камеры, до которой я еще не успел добраться, но где меня уже любили. Выйдя из карцера, я поблагодарил их. Ги сказал:

— Мы поняли, что прислали новенького: на двери значилось — Жене. Мы знали, кто такой Жене. Ты все не появлялся. Мы решили, что ты — в карцере, и передали тебе чинарики.

Поскольку мое имя фигурировало в списках сидевших в этой камере заключенных, ее обитатели проявили солидарность с человеком, наказанным за проступок, к которому они не имели ни малейшего отношения, Ги был душой камеры. Этот белокурый кудрявый подросток был ее неподкупной совестью и суровым судьей.

Он был задержан полицией. Я оказался свидетелем следующего диалога:

— Ты совершил ограбление на Фламандской улице?

— Нет, не я.

— Это ты. Консьержка тебя узнала.

— Значит, у этого типа такая же рожа, как у меня.

— Она говорит, что его зовут Ги.

— Значит, у этого типа такая же рожа и такое же имя, как у меня.

— Она узнала твои шмотки.

— Значит, у него такая же рожа, такое же имя и такие же шмотки, как у меня.

— И твои волосы.

— Значит, у него такая же рожа, такое же имя, такие же шмотки и волосы, как у меня.

— Мы обнаружили твои отпечатки пальцев.

— Значит, у него такая же рожа, такое же имя, такие же шмотки, волосы и отпечатки пальцев, как у меня.

— Долго это еще будет продолжаться?

— До упора.

— Ты совершил ограбление.

— Нет, не я.

Я получил от него письмо, в котором содержатся следующие строки (я все еще сидел в тюрьме Санте...): «Милый Жанно, я сейчас на мели и не могу прислать тебе передачу. У меня не осталось ни гроша, но я хочу сказать тебе одну вещь, которая, я надеюсь, доставит тебе удовольствие. Дело в том, что я впервые попробовал держаться за свайку [1], думая о тебе, и я кончил. По крайней мере, ты можешь быть уверен, что на воле есть кореш, который думает о тебе...»

Порой я упрекаю его за то, что он фамильярничает с инспектором Ришардо. Я пытаюсь ему втолковать, что полицейский подлее стукача, но Ги пропускает мои слова мимо ушей. Он семенит по улице мелкими шажками. Раскрытый ворот шелковой рубашки мягко облегает его шею, ладно сидит на нем отлично сшитый пиджак; он высоко держит голову и, глядя прямо перед собой, сурово озирает

[1] Мастурбировать.

унылую хмурую улицу Барбеса, где какой-нибудь «кот», притаившийся за занавеской в меблированных комнатах, может его заприметить.

— Да, в сущности, ты прав,— откликается он.— Все они — сволочи.

Минуту спустя, когда я думаю, что он уже позабыл о своих словах (в самом деле, некоторое время он ни о чем не думал, поигрывая серебряной цепочкой, либо ждал, когда в его голове образуется пустота, чтобы эта мысль нашла себе место), он бормочет:

— И все-таки легавый и стукач — не одно и то же.

— Вот как! Ты уверен?

Несмотря на мои аргументы, посредством которых я пытаюсь сравнять полицейского со стукачом и заклеймить первого более сурово, я чувствую то же самое, что и Ги, но не признаюсь ему в том, что это разные вещи. Я люблю, да, в глубине души я люблю полицию. Я не стану рассказывать ему о волнении, которое я испытывал, проходя в Марселе мимо полицейской столовой на бульваре Бельзюнс. Столовая была наводнена марсельскими сыщиками в форме и в штатском. Она притягивала меня как магнит. Змеи, которые вьются и трутся там друг о друга в тесном кругу, не разобщены, а скорее спаяны своей подлостью.

Ги невозмутимо шагает рядом со мной. Знает ли он, что линии его рта слишком расплывчаты? Они придают его лицу детскую миловидность. Будучи блондином, он перекрасился в темный цвет. Он хочет сойти за корсиканца и сам в это поверил, незаметно поддавшись азарту игры. Я подозреваю, что он любит румяна.

— Я — в розыске,— говорит он.

Жизнь вора — непрерывная цепь куцых, но страстных движений. Каждый жест, исходящий из обожженного нутра, исполнен страдания и внушает жалость. Лишь после кражи с помощью литературы вор прославляет свое деяние. Удача играет гимн в его теле, и этому гимну вторят его уста. Каждый провал приводит его тоску в восторг. Видя, как я улыбаюсь и пожимаю плечами, Ги говорит:

— Я выгляжу слишком молодо, с другими ворами надо казаться мужчиной.

Я восхищаюсь его несгибаемой волей. Малейший смешок, говорит он мне, может его погубить. Я испытываю к нему такую же жалость, как и ко льву, которого укротитель гоняет по натянутому канату.

Я мало говорю об Армане, поскольку стыдливость не позволяет мне о нем говорить, а может быть, не хватает слов, чтобы рассказать, кем он был, чем он был для меня, в точности передать значимость его авторитета. Мне кажется, что его доброта была той стихией, в которой мои тайные (постыдные) качества находили себе оправдание.

Только покинув его и воздвигнув между нами барьер, я оценил его по-настоящему. Он показался мне умным. Другими словами, он решился нарушить запреты морали не бессознательно, с удручающей легкостью неведения, а, напротив, ценой величайших усилий, осознавая, что теряет бесценный клад, но также осознавая, что вместо своей утраты создаст нечто еще более неоценимое.

Гангстеры международной банды сдались полиции «без всякого сопротивления, как трусы», писали бельгийские газеты. Мы узнали об этом однажды вечером в баре, и каждый высказал свое мнение.

— Они — лопухи,— сказал Робер.— Ты так не считаешь?

Стилитано промолчал. В моем присутствии он не решался рассуждать о трусости либо отваге.

— Ты молчишь, ты думаешь по-другому? Они утверждают, что провернули колоссальные дела — налеты на банки, налеты на поезда, и вот они дают легавым себя сцапать. Они могли бы защищаться до последнего патрона. Во всяком случае, их шансы не так уж плохи, так как их собираются выдать Франции. Там им скостят срок. Я бы на их месте...

— Ты действуешь мне на нервы!

Неожиданно разозлился Арман. Его взгляд выражал возмущение.

Притихнув, Робер спросил:

— Ты что, не согласен?

— В твои годы я сделал побольше твоего, но я не обсуждал людей,

особенно тех, которые погорели. Для них существует кое-что поважнее, чем суд. Тебе пока этого не понять.

Этот рассудительный тон придал Роберу храбрости. Он рискнул возразить:

— И все-таки они сдрейфили. Если они вели себя так, как рассказывают...

— Ах ты, паршивый гаденыш, они сдрейфили, как ты говоришь, именно потому, что вели себя так, как рассказывают. Знаешь ли ты, чего они хотели? Ну что, знаешь? Ладно, я тебе скажу. Как только они увидели, что пришел конец, они решили позволить себе роскошь сдрейфить, на которую у них раньше не было времени. Усек? Для них праздник — получить возможность сдаться полиции. Это дает им передышку.

Стилитано хранил спокойствие. По его хитрой улыбке я догадался, что ответ Армана был близок ему по сути. Не резкой безапелляционной дерзкой формой, а расплывчатым стилем. Робер больше не возражал. Он ничего не понял из этого объяснения, кроме, возможно, того, что он немного не вписывается в нашу троицу.

Я сам, но лишь некоторое время спустя, нашел для гангстеров оправдание. Доброта Армана состояла в том, чтобы я мог чувствовать себя в ней как дома. Он понимал все (я подразумеваю под этим, что он решил мои проблемы). Я не имею в виду, что обоснование капитуляции гангстеров, на которое он решился, относилось к самим этим гангстерам, а то, что оно было предпринято ради меня, как будто он оправдывал мою собственную капитуляцию при сходных обстоятельствах. Его доброта заключалась также в том, чтобы превратить постыдное отступление в праздник, торжественный и смехотворный парад. Арман заботился прежде всего о реабилитации. Не чужой или собственной, а реабилитации нравственного убожества. Он приписывал ему свойства, в которых выражались желания законопослушного мира.

Я уступаю ему и ростом, и силой мышц, и волосатостью, но иногда, глядя в зеркало, я различаю в своем лице суровую доброту Армана. В такие минуты я принимаюсь гордиться собой, своей грубой приплюснутой рожей. Я не знаю, в какой братской могиле он погребен, или же он все еще бродит по свету, небрежно неся свое гибкое сильное тело. Поднявшись со стула, он возвышался над миром. Он мог не реагировать на пощечины, телесные оскорбления не нанесли бы ему ущерба. Он занимал всю нашу кровать; его раскинутые ноги образовывали весьма тупой угол, где оставалось немного места, чтобы я мог прикорнуть. Я спал под сенью его члена, который время от времени падал мне на глаза, так что порой по утрам мой лоб был увенчан мощным диковинным бурым рогом. При пробуждении его нога не грубо, но властно выталкивала меня из постели.

Однажды вечером мы случайно узнали, что Арман скитается из города в город, между Марселем и Брюсселем, и зарабатывает на жизнь, вырезая бумажные кружева перед посетителями различных кафе. Докер, который поведал об этом мне и Стилитано, отнюдь не шутил. Он непринужденно рассказывал о салфетках, сумочках, носовых платках — тонких кружевных изделиях, изготовленных с помощью ножниц из обычной бумаги.

— Я видел Армана, я видел, как он показывает свой номер,— сказал он.

Представив, как мой могучий невозмутимый владыка делает женскую работу, я растрогался. Он был недосягаем для насмешек. Я не знаю, на какой каторге он был, сбежал ли он оттуда или отсидел срок, но то, что я услышал о нем, подтверждало, что Арман прошел школу изящных искусств на берегах Марони [1] или во французских централах.

— Каждый день какие-нибудь новости,— сказал Стилитано.

— Тут нет ничего плохого.

— А я что говорю? Каждый выкручивается как может.

Чтобы вдохнуть в себя веру и укрепить свою хилую плоть, я должен был воображать, что мои любовники высечены из самого прочного камня. И вот я узнал, что земные невзгоды обрушились на человека, от которого я натерпелся немало бед. Вспоминая об Армане, я чаще всего представляю, как он, которого я никогда не видел за этим занятием, ходит между ресторанными столиками,

---

[1] Река на границе Французской Гвианы и Суринама *(прим. перев.)*.

вырезая свои бумажные узоры на манер венецианских. Когда-то — то ли от лени, то ли желая меня подчинить, то ли ощущая потребность в церемониале, который придал бы ему больше веса,— он требовал, чтобы я раскуривал для него сигарету и вкладывал затем ему в рот. Я не имел даже права ждать, пока он изъявит это желание, я был обязан предупреждать его. Поначалу я так и делал, но, будучи также заядлым курильщиком, я, не теряя времени даром, стал закуривать сразу две сигареты и одну из них предлагал Арману. Он грубо запретил мне прибегать к этой уловке, считая ее неприглядной. Я был вынужден, как и прежде, вынимать сигарету из пачки и, раскурив ее, перекладывать ему в рот, а затем доставать для себя другую.

В ранней юности я решил совершать налеты на церкви. Позднее я с наслаждением умыкал оттуда вазы, ковры, иногда иконы. Будучи в М., Ги не обратил внимания на красивые кружева. Когда я сказал ему в ризнице, что стихари и алтарные покрывала стоят немалых денег, он нахмурился. Ему была нужна точная цифра. Я пробормотал:

— Я не знаю.

— Ну сколько, пятьдесят?

Я промолчал. Мне хотелось поскорее выбраться из этого помещения, где священники одеваются и раздеваются, застегивают свои сутаны, затягивают стихари.

— Ну что? Пятьдесят?

Он заразил меня своим нетерпением, и я ответил:

— Больше, сто тысяч.

Пальцы Ги дрожали, наливались свинцом. Они мяли ткани и кружева. Его искаженное алчностью лицо, на которое падала тень, казалось то ли отвратительным, то ли восхитительным. Мы пришли в себя лишь на берегах Луары. Усевшись на траве, мы поджидали товарный поезд.

— Тебе повезло, что ты в этом сечешь. Я бы не стал брать кружева.

Тогда-то Ги и предложил мне стать его напарником. «Тебе придется лишь быть наводчиком, а действовать я буду сам»,— говорил он. Я отказался. В нашем воровском деле невозможно осуществить то, что задумал другой человек. Тот, кто действует, должен быть достаточно ловким, чтобы отреагировать на неожиданные изменения, которые вносит в намеченный план судьба. Кроме того, Ги представлял себе воровскую жизнь великолепной, блестящей, яркой, осыпанной золотом. Мне же она кажется мрачной, рискованной, закулисной, сулящей гибель по образу и подобию его жизни, но эта гибель не в том, чтобы сломать себе шею, свалившись с крыши, врезаться в стену, уходя от автомобильной погони, или пасть от пули. Я не создан для снобистских спектаклей, участники которых переодеваются в костюм кардинала, чтобы похитить сокровища храма, или садятся в самолет, чтобы сбить со следа другую банду. Какое мне дело до этих шикарных игр!

Угоняя машину, Ги обычно трогался с места лишь при появлении ее владельца. Он тешился видом бедняги, у которого из-под носа уводят автомобиль. Это был для него подлинный праздник. Он разражался нескончаемым металлическим, немного деланным смехом и уносился как вихрь. Я же почти всегда страдал при виде изумления, ярости и бессилия жертвы.

Когда я вышел на волю, мы встретились в «Вилле» — баре, где собирались «коты». Стены бара были увешаны фотографиями и автографами — портретами танцовщиц, боксеров и танцоров. У Ги не было ни гроша. Он сбежал из тюрьмы.

— Нет ли у тебя на примете какого-нибудь дела?

— Есть.

Я поведал ему шепотом о намерении ограбить приятеля — владельца произведений искусства, которые можно было бы продать за границу. (Я только что написал роман «Богоматерь цветов», благодаря изданию которого приобрел несколько ценных знакомств.)

— Фрайера надо пришить?

— Не стоит. Послушай-ка.

Набрав в легкие воздуха, я наклонился к нему. Я изменил положение рук на перекладине стойки и передвинул ногу — короче, приготовился к прыжку.

— Слушай. Мы можем отправить этого типа на неделю в тюрьму.

Нельзя сказать, что черты Ги исказились, однако вся его физиономия преобразилась. Его лицо окаменело и ожесточилось. Я пришел в ужас от холодного взгляда его голубых глаз. Ги не переставал на меня смотреть, чуть-чуть склонив голову набок, точнее, он брал меня на мушку, чтобы пригвоздить. Он отвечал ровным глухим голосом, нацелившимся на мой живот. Его голос был несгибаемым, как колонна, и непреклонным, как таран:

— Как, неужели я от тебя это слышу, Жанно! Ты предлагаешь отправить парня в тюрягу?

Мое лицо было таким же неподвижным и жестким, как его лицо, но в его напряжении ощущалось больше усилия воли. Его грозовое лицо, над которым клубились черные тучи, натолкнулось на скалу моего лица, его гром и молнии — на мои углы и шипы. Предвидя, что его суровость иссякнет, сменившись презрением, я дал ему мгновенный отпор. Я быстро придумал, как мне выйти из положения, чтобы он не заподозрил меня в гнусном намерении. Требовалось выиграть время. Я молчал. Я позволил ему излить на меня свое недоумение и презрение.

— Я могу прикончить этого типа. Если хочешь, я его укокошу, я замочу твоего мужика. Только скажи. Ну как, Жанно, ты хочешь, чтобы я его пришил?

Я молчал, глядя на него в упор. Мне казалось, что мое лицо было непроницаемым. Но Ги, должно быть, видел, как я напряжен, и считал, что я переживаю чрезвычайно драматический миг вследствие проявленной воли, решения, которое удивляло его до того, что он растрогался. Однако я как никогда боялся, что он проявит жестокость, ибо в тот вечер он казался особенно мужественным. Он восседал на высоком табурете, его мускулистые ляжки были туго обтянуты гладкой тканью брюк, и рука, которая на них покоилась, была сильной, плотной, шершавой. Я не могу понять, что именно — злоба, глупость, мужественность, изящество, напыщенность, липкость — сближало Ги с окружавшими нас сутенерами, превращая его в их ровню и друга. Он подавлял меня. «Они» меня подавляли.

— Ты представляешь, что значит отправить туда кого-то? Мы с тобой оба через это прошли. Этого нельзя допустить.

Изменял ли он сам друзьям, продавал ли он их? Его близость с неким инспектором полиции внушала мне опасение — и надежду,— что он был стукачом. Опасение из-за того, что он мог меня выдать, а также потому, что таким образом он опередил бы меня в предательстве. Надежду, поскольку она сулила мне соратника по гнусности, подспорье в дерьме. Я понял одиночество и отчаяние странника, потерявшего свою тень. Я продолжал молчать, пристально глядя на Ги. Мое лицо оставалось застывшим. Еще не настало время взять себя в руки. Пусть он трещит без умолку от изумления, пока не выдохнется. Между тем я не мог больше терпеть его презрения, ибо он сказал:

— Жанно, я считаю тебя братишкой. Ты понимаешь? Если какой-нибудь здешний фрайер захочет с тобой разделаться, я сдеру с него шкуру. А ты, ты мне говоришь...

Он понизил тон, так как «коты» пересели поближе к нам. (Шлюхи тоже могли нас услышать. Бар был забит до отказа.) Мой взгляд стал более жестким. Брови мои сошлись. Я глотал слюну и хранил молчание.

— Знаешь, если бы не ты, а кто-то другой предложил мне такое...

Несмотря на броню решимости, за которой я укрывался, я был унижен братской нежностью его презрения. Его тон и слова вызывали во мне сомнения. Стукач он или нет? Если он стукач, то может запросто презирать меня за поступок, на который бы сам пошел. Также возможно, что он гнушается взять меня в соратники по дерьму, поскольку, по его мнению, мне не хватает престижа и блеска, и он предпочел бы видеть на этом месте другого вора. Я испытал его презрение на себе. Еще немного, и оно растопило бы меня, как сахарную скалу. Мне следовало, не слишком усердствуя, сохранять свою твердость.

— Да, Жанно, любому другому на твоем месте не поздоровилось бы. Я не знаю, почему я тебе это простил. Да я понятия не имею.

— Вот и хорошо.

Он поднял голову, приоткрыв рот. Его удивила моя интонация.

— Как?

— Я говорю, что все хорошо.

Я придвинулся к нему и положил руку ему на плечо.

— Дорогой Ги, я так рад. Я сдрейфил, когда увидел, что ты закорешился с Р. (полицейским). Я не буду от тебя это скрывать. Я струсил. Я испугался, что ты стал стукачом.

— Ты рехнулся. Я связался с ним, во-первых, потому, что он — пройдоха из пройдох, и, во-вторых, чтобы он раздобыл мне документы. Этот тип за деньги что хочешь сделает.

— Ладно. Теперь я вижу, что дал маху, но вчера, когда я увидел, как вы вместе бухаете, мне было погано, клянусь тебе. Я ведь на дух не переношу стукачей. Ты понимаешь, что меня как обухом по голове огрели, когда я подумал, что ты мог ссучиться.

Я позабыл об осторожности, которую он соблюдал, осыпая меня упреками, и немного повысил голос. Избавившись от гнета его презрения, я почувствовал облегчение и запрыгал слишком резво и высоко. Я пришел в восторг от того, что вырвался на свободу, предотвратил драку, в которой все сутенеры бара ополчились бы против меня, и от того, что благодаря своему красноречию я в свою очередь взял верх над Ги. Кроме того, жалость к себе, которую я испытывал, придала моему голосу трогательные модуляции, ибо я проиграл, хотя и удержался на ногах. Моя твердость и непреклонность дали трещину, и намеченное ограбление, о котором никто из нас не решался снова заговорить, отпало само собой. Нас окружали матерые сутенеры. Они говорили громко, но очень вежливо. Ги рассказывал мне о своей бабе. Я что-то ему отвечал. Меня окутала великая скорбь, которую то и дело прорезали вспышки ярости. Одиночество, клубившееся в виде тумана или исходящего из меня пара, на миг озарилось надеждой и захлопнулось надо мной, как крышка гроба. Я мог бы иметь на воле соратника (ибо я уверен в конечном итоге, что Ги — стукач), но мне было в этом отказано. Мне хотелось предавать вместе с ним. Ведь я должен обрести возможность любить своих напарников. Нельзя допустить, чтобы из-за своего положения чудовищно одинокого вора я оказался в обществе какого-нибудь недотепы. Во время работы я превращаюсь в комок страха (или скорее света), рискуя рухнуть в объятья сообщника. Я выбираю его не за рост или силу, чтобы он прикрыл меня в случае неудачи, а для того, чтобы, спасаясь от безумного страха, броситься под восхитительное укрытие его подмышек и ляжек. Этот выбор чреват тем, что зачастую страх отступает, оборачиваясь нежностью. Я слишком легко доверяюсь этой спине, этим прекрасным плечам и бедрам. Ги вызвал у меня желание вместе работать.

Он пришел ко мне утром в полном смятении. Я не в силах понять, действительно ли он так боялся. Вид у него сегодня был плачевный. Он держался куда увереннее на лестницах и в коридорах Санте, общаясь с «котами», чья сила сводилась к халатам, в которые они облачались для свидания с адвокатом. Не в чувстве ли безопасности, которое дарует тюрьма, таилась причина его тогдашнего легкомыслия?

— Мне надо выбраться из дерьма. Найди мне какое-нибудь дело, чтобы я мог смыться отсюда в глушь.

Он по-прежнему жил среди «котов», вечное нервное подергивание его головы напоминает мне трагический пафос актрис и педиков.

— Ты застал меня врасплох. Где же я возьму тебе с ходу наводку?

— Мне все сгодится, Жанно. Если надо, я замочу фрайера. Я готов прихлопнуть мужика за двадцать штук. Если бы меня вчера сцапали, я угодил бы на каторгу.

— Мне-то что с того,— сказал я с улыбкой.

— Тебе не понять. Ты живешь в шикарном отеле.

Он меня раздражал: почему я должен чураться роскошных гостиниц, люстр, салонов и мужской дружбы? Возможно, комфорт будет способствовать полету моего духа. А вслед за духом наверняка отправится мое тело.

И тут он заулыбался, глядя мне в глаза.

— Месье принимает меня в гостиной. Что, в твою комнату нельзя? Там твой парень?

— Да.

— Он симпатичный? Кто это?

— Увидишь.

Когда он ушел, я спросил у Люсьена, что он думает о Ги. В глубине души я был бы рад, если бы они друг другу понравились.

— У него чудной вид в этой шляпе. Он одет как чучело.

И тут же он перевел разговор на другую тему. Ни татуировка, ни приключения Ги, ни его храбрость не вызвали у Люсьена интереса. Он обратил внимание лишь на его нелепый наряд. Человек со вкусом может оспаривать элегантность воров, но тем не менее они наряжаются днем и особенно вечером с трогательным усердием, прилагая не меньше усилий, чем кокотка. Они стремятся пустить пыль в глаза. Вследствие эгоизма их индивидуальность проявляется лишь в уходе за внешностью (у жилища «кота», одетого лучше, чем принц, убогий, нищенский вид). Но каким образом это почти всегда неуместное стремление к щегольству проявляется у Ги? Что оно означает, если он носит дурацкую голубую шапчонку, тесный пиджак и платочек в верхнем кармашке? Хотя Ги лишен детской прелести и сдержанности Люсьена, он наделен бурным темпераментом, более горячим сердцем, более страстной и пламенной натурой, и посему я все еще им дорожу. Он способен, как он утверждает, пойти на убийство. Он может спустить все свои деньги за вечер ради себя или друга. Это лихой парень. Возможно, все добродетели Люсьена не стоят в моих глазах мужества этого нелепого вора.

Любовь к Люсьену, счастье в этой любви склоняют меня к тому, чтобы признать мораль, более подобающую вашему миру. Дело не в том, чтобы я стал более великодушным — я всегда обладал этим свойством, но мне кажется, что шершавая цель, к которой я стремлюсь, суровая, как железный флажок на макушке ледовой горы, столь желанная, столь любезная моей гордости и моему отчаянию, подвергает мою любовь чрезмерной опасности. Люсьен не подозревает, что я нахожусь на подступах к преисподней. Мне все еще нравится следовать туда, куда он меня ведет. Насколько сильнее, вплоть до головокружения, падения и рвоты, опьяняла бы меня любовь, если бы Люсьен был вором и предателем. Но любил бы он меня в таком случае? Разве его нежность и легкое смущение, которое он во мне вызывает, не объясняются его мягкостью и покорностью правопорядку? И все же я хотел бы связать свою жизнь с каким-нибудь невозмутимым, но улыбающимся извергом, сделанным из железа, который грабит и убивает, а также доносит на мать и отца. Я все еще мечтаю о нем, чтобы сделаться чудовищным исключением, под стать чудовищу — посланцу Бога, которое удовлетворит мою гордость и страсть к духовному одиночеству. Любовь Люсьена приносит мне радость, но когда я прохожу по Монмартру, где я долгое время жил, то, что я там вижу — вся эта грязь,— отдается в моем сердце болью, приводит мое тело и душу в возбуждение. Как никто другой, я знаю, что в этих трущобах нет никакой тайны, и все же они кажутся мне загадочными. Решение вновь поселиться в подобном месте, чтобы обрести гармонию с преступным миром, было бы немыслимым возвращением в прошлое, ведь эти кварталы бездушны, как здешние урки с бесцветными физиономиями, а «коты», наводящие страх на округу, удручающе глупы.

Ночью, когда Люсьен возвращается в свою комнату, я пугливо съеживаюсь под одеялом и мечтаю о том, чтобы рядом со мной возлежало тело более грубого, более грозного и более нежного вора. Я намереваюсь вскоре вернуться к рискованной жизни бродяги, обитающего в самых злачных кварталах самого злачного из портов. Я брошу Люсьена. Пусть он выкручивается как может. Я уеду, отправлюсь в Барселону, Рио или куда-то еще, но прежде всего сяду в тюрьму. Я повстречаю там Сека Горги. Черный великан осторожно вытянется на моей спине. Негр, более кромешный, чем ночь, окутает меня своим мраком. Его возлежащие на мне мышцы станут пульсирующими притоками могучего океана, стремящимися сойтись в неподатливой, столь неистово атакованной точке, и все его тело, сосредоточенное на своем желании, которое ведет к моему же благу, будет содрогаться от удовольствия. Потом мы замрем. Он продолжит свое погружение. Затем сраженный дремотой негр навалится на мои плечи и сокрушит меня своим мраком, в котором я мало-помалу растаю. Открыв рот,

я буду чувствовать, как он цепенеет, прикованный своим стальным стержнем к этой сумрачной оси. Я обрету легкость. Я позабуду о всякой ответственности. И мой ясный взор — дар орла Ганимеду — воспарит над миром.

Как-то раз я встретил Ги не на Монмартре или Елисейских полях, а в Сент-Уэне [1]. Он был одет в лохмотья и весь зарос грязью. Ги стоял в одиночестве среди покупателей, еще более бедных и грязных, чем торговцы, пытаясь продать пару простынь, вероятно украденных из гостиничного номера. (Я часто таскал с собой вещи, которые делали нелепыми мою фигуру и походку: книги под мышкой, сковывавшие движения рук, зонтик в рукаве, болтавшийся возле ноги, обматывался простынями и одеялами, превращавшими меня в толстяка...) Он был печален. Меня сопровождал Жава. Мы сразу же узнали друг друга. Я сказал:

— Это ты, Ги?

Я не знаю, что было написано на моем лице, но выражение его лица стало ужасным.

— Ладно, оставь меня в покое.

— Послушай...

Он держал простыни наперевес, застыв в благородной позе манекена, демонстрирующего ткани в витрине. Слегка склонив голову набок, как бы для того, чтобы придать своим словам больше веса, он сказал:

— Забудь меня.

— Но...

— Кореш, забудь меня.

От стыда и унижения у него, должно быть, пересохло во рту, и он даже не мог произнести длинную фразу. Мы с Жава побрели своей дорогой.

Бог: мой личный суд.

Святость: единство с Богом.

Она наступит, когда прекратится этот суд, то есть когда судья и подсудимый станут одним и тем же лицом.

Суд отделяет добро от зла. Он выносит приговор, назначает меру наказания.

Я перестану быть и судьей, и подсудимым.

Молодые люди, которые любят друг друга, изощряются в поисках эротических ситуаций. Эти ситуации тем *забавнее,* чем беднее создающая их фантазия и сильнее порождающая их любовь. Рене давил виноград во влагалище своей жены, а затем глотал эти ягоды, разделив их с ней поровну. Иногда он угощал ими своих друзей, дивившихся столь странному блюду. Кроме того, он обмазывает свой член шоколадным муссом.

— Моя жена — лакомка,— утверждает он.

Другой мой любовник украшает свое самое интимное место бантиками. Третий сплел для головки полового органа своего друга крохотный венок из маргариток. Фаллический обряд рьяно совершается в камерах, за кулисами наглухо застегнутых ширинок. Если бы его освоила чья-нибудь буйная фантазия, какие бы празднества с участием зверей и растений начались и какая духовность исходила бы от них, воцаряясь над ними! Я же сажаю во мху на теле Жава перья, которые сыплются ночью из распоровшейся подушки. Слово «яички» перекатывается у меня во рту, как мячик. Я знаю, что серьезность, с которой я воображаю эту часть тела, является главным моим достоинством. Подобно фокуснику, извлекающему из собственной шляпы сотни чудесных вещей, я способен извлечь из них всевозможные доблести.

Рене спрашивает, не знаю ли я гомиков, которых он может ограбить.

— Само собой, не твоих приятелей. Твои приятели — это святое.

Поразмыслив пару минут, я вспоминаю о Пьере В., у которого Жава прожил несколько дней.

Пьер В., лысый жеманный гомик лет пятидесяти, носил очки со стальными дужками. «Перед тем как заняться любовью, он кладет их на комод»,— рассказывал мне Жава, который познакомился с ним на Лазурном берегу. Как-то раз ради шутки я спросил у Жава, нравится ли ему Пьер В.

---

[1] Северное предместье Парижа *(прим. перев.)*.

— Признайся, он тебе нравится.
— Ты сдурел. Он мне не нравится, но это хороший парень.
— Ты его уважаешь?
— Ну да, он меня кормил. Он даже прислал мне бабок.
Он говорил мне это полгода назад. Сегодня я у него спросил:
— А у Пьера нечего стырить?
— Знаешь, у него одна туфта. Разве что золотые часы.
— И все?
— Может, у него и водятся деньги, но их придется искать.

Рене нужны точные сведения. Он получил их от Жава, который даже готов встретиться со своим бывшим любовником и заманить его в ловушку, где Рене обчистит его до нитки. Когда он ушел, Рене сказал:

— Ну и гад же этот Жава. Надо быть последней мразью, чтобы пойти на такое. Знаешь, я бы, наверное, не решился.

Странная скорбная и тревожная атмосфера портит нам жизнь: я люблю Жава, и он тоже любит меня, но неприязнь периодически натравливает нас один на другого. С этим ничего нельзя поделать, мы возненавидели друг друга. Когда возникает это яростное чувство, мне кажется, что я исчезаю, и я вижу, как он исчезает.

— Ты — сволочь!
— А ты — дерьмо!

Впервые он стервенеет и хочет меня убить, гнев ожесточает его: перестав быть видимостью, он становится явью. Но тот, каким Жава был для меня, исчезает. Тот, каким я был для него, прекращает свое существование, однако в нас продолжает жить, взирая на наше безумие, уверенность в столь исчерпывающем примирении, что мы разрыдаемся, вновь обретя друг друга.

Подлость, слабоволие, вульгарность манер и чувств, глупость и трусость Жава не мешают мне его любить. Прибавьте к этому его доброжелательность. Из столкновения, смешения или взаимопроникновения этих качеств возникает новое безымянное качество — своеобразный сплав. Прибавьте к этому физический облик Жава, его могучее сумрачное тело. Для выражения этого нового качества напрашивается образ кристалла, гранями которого станут вышеперечисленные свойства,— Жава переливается, как драгоценный камень. Его вода и блеск — признаки причудливой смеси по имени Жава, которую я люблю. Я подчеркиваю: мне не нравится подлость и глупость, я люблю Жава не *за* первое и не *за* второе качество, но их сочетание в нем ослепляет меня.

Читателю невдомек, каким образом из столь рыхлых свойств образуется твердый кристалл с острыми гранями; читателю невдомек, отчего я сравниваю не сами поступки, а нравственное проявление поступков с признаками измеримого мира. Я повторяю, что был ослеплен. В этом слове таится намек на свет — вернее, световые лучи, подобные искрам кристалла. С ними-то я сличаю новое качество — добродетель, полученную из слабоволия, подлости и т. д.

Я знаю, что мое описание не выражает сути Жава, а лишь дает представление о мгновенье, когда он предстал предо мной. Точнее, о моменте нашего разрыва. Теперь, когда он покидает меня, я поясню наглядно, отчего я страдаю. Наш разрыв стал для меня неожиданным и мучительным. Жава избегает меня. Его недомолвки, беглые поцелуи, мимолетные визиты (он приезжает на велосипеде) — всего лишь увертки. Я признался ему в своей страсти под каштанами на Елисейских полях. Сила на моей стороне. Сейчас, в миг расставания, его волнение и растерянность в связи с моим решением, жесткая внезапность разрыва удерживают меня возле него. Он потрясен. То, что я ему говорю — о нас и в особенности о нем,— превращает нас в столь трагических персонажей, что его глаза увлажняются. Он охвачен печалью. Он безмолвно скорбит, и эта скорбь окружает его поэтическим ореолом, который делает его еще более обворожительным, ибо он блестит сквозь туман. Теперь, когда нужно его покинуть, я привязываюсь к нему все сильнее.

Его рука, которой он берет протянутую мной сигарету, кажется слишком слабой и тонкой для этого тяжеловесного тела. Я поднимаюсь, целую его и заявляю, что этот поцелуй был последним.

— Нет, Жанно, я тебя еще поцелую,— отвечает он.

Через некоторое время, вспоминая об этой сцене, я внезапно проникаюсь уверенностью, что из-за хрупкости его рук мое решение, неожиданно для меня, стало окончательным и бесповоротным.

Мои пальцы слиплись от клейкого сока ягод омелы, которые они давили под Новый год. Мои руки все еще полны его спермы.

Мокрое белье, которое сушится на веревках, зигзагообразно протянутых от стены к стене, бросает на нашу комнату тень. Эти вещи: рубашки, трусы, носовые платки, полотенца, носки и кальсоны — смягчают душу и тело двух молодых мужчин, обитающих в одном помещении. Мы засыпали, обнявшись, как братья. Если его ладони становятся более дряблыми от пребывания в ледяной воде, он возмещает этот изъян неистовством своей страсти.

(Текст, повествующий о примирении с Жава, уничтожен автором, преисполненным нежности к своему герою.)

В каждом крупном городе Франции найдется хотя бы один вор, с которым я вместе работал или сидел в тюрьме, с которым мы замышляли, готовили и воплощали в жизнь всяческие дела. Я знаю, что любой из них всегда придет мне на помощь, доведись мне оказаться одному в их городе. Эти прекрасные парни, разбросанные по всей Франции, а порой и за ее пределами, являются моей опорой, хотя мы нечасто видимся. Зная, что они живы, бодры и ждут своего часа, затаившись в тени, я спокоен и счастлив. Маленький блокнот, лежащий в моем кармане, в который занесены их зашифрованные имена, служит мне утешением. Он наделен такой же властью, как фаллос. Это мое сокровище.

Я поясню. Жан Б. из Ниццы. Мы встретились как-то ночью в садах Альберта I. У него не хватило духа меня убить, чтобы завладеть моими деньгами, но он навел меня на дело в Мон-Броне. Рене Д., Жак Л. и Мартино из Орлеана — матросы, которые остались в Бресте. Я познакомился с ними в Бужанской тюрьме. Мы вместе сбывали наркотики. «Кот» Деде из Ниццы, с которым мы встретились в Каннах. Деловые ребята, негр и содержатель борделя из Лиона. В Марселе я знаю человек двадцать. Габриэль Б. из По. И т. д. Я сказал, что они красивы. Не классической красотой, а другой, состоящей в силе, отчаянии, множестве качеств, среди которых: стыдливость, хитрость, лень, смирение, презрение, смелость, подлость и малодушие... Этот список можно продолжить. Данные качества написаны на лицах либо телах моих друзей. Они чередуются, сталкиваются и воюют друг с другом. Поэтому я считаю, что они обладают душой. Помимо взаимопонимания, нас связывает тайное соглашение, своего рода договор, который кажется мне почти нерушимым, но тем не менее я берегу его как зеницу ока. Это воспоминание о наших ночах любви, коротком флирте или прикосновениях, воспринятых с улыбкой и затаенным вздохом от предчувствия наслаждения. Я думаю, что все они невольно ободряли и вдохновляли меня, вселяли в меня мужество и позволяли накапливать исходящую от них силу, чтобы их защитить. И все-таки теперь я один. Блокнот у меня в кармане — вещественное доказательство того, что у меня были друзья, но их жизнь, очевидно, столь же бессвязна, как и моя, и я ничего не знаю о них на самом деле. Возможно, большинство из них сейчас в тюрьме. А остальные, где же они? Если они бродят по свету, столкнет ли нас судьба и узнаем ли мы друг друга? И все же, если противоречиям между подлостью и благородством суждено сохраниться, сумею ли я распознать в своих друзьях осколки гордости и суровости, признав их разрозненными частями той твердости, которую я хочу обрести, чтобы сознательно довести ее до совершенства?

Внешность Армана: морская выправка, массивная поникшая от усталости фигура, бритая голова, приплюснутый нос, который приобрел свою форму не в кулачном бою, а оттого, что бился о стекла, отсекающие нас от вашего мира,— если не тогда, то теперь воскрешает в памяти каторгу, самым характерным и ярким представителем которой он мне казался. Я был для него создан, я устремлялся к нему, но лишь теперь, отчаявшись, я решаюсь в него погрузиться. От него веяло чем-то материнским, но это не было женской чертой. Порой мужчины таким образом окликают друг друга:

— Ну что, Старуха?
— Привет, Распутница!
— Это ты, Кобылица?

Этот обычай водится в нищенской и преступной среде. В мире наказанных за преступление, которые носят на теле — или в душе — признаки увядания (я имею в виду цветок, точнее, лилию, которой клеймили преступников). Подобные обращения свидетельствуют о деградации некогда сильных мужчин. Будучи униженными, они смиряются с двойственностью. Они даже жаждут ее. За присущей им нежностью кроется вовсе не женственность, а осознание своей двуполости. Мне кажется, что они готовы оплодотворять себя, откладывать яйца и высиживать их, но при этом жало самцов остается не менее смертоносным.

В Армане чувствовалась усталость. Он почил на собственных мускулах, как герой на лаврах, он успокоился в собственной силе, отдыхая на ней. Если он грубо хватал за нежный затылок какого-нибудь паренька, заставляя его нагнуться, то это был лишь машинальный жест, говоривший о том, что он не забыл приемов и бесцеремонных нравов мира, в котором ему, должно быть, пришлось немало пробыть и откуда, как я считал, он вернулся. Его доброта, о коей я уже упоминал, заключалась в том, что он оказал мне гостеприимство, коему суждено столь полно удовлетворить мои самые потайные желания, которые я и сам выявляю с великим трудом, хотя только они способны извлечь из меня безупречную, то есть наиболее тождественную мне сущность.

Я мечтал о Гвиане, но уже не о том ныне обезлюдевшем выхолощенном месте на карте, а о соседстве или даже сожительстве в сознании — не в пространстве — возвышенных форм, великих архетипов несчастья. Гвиана добра. Кажется, это одно из самых засушливых и бесплодных мест на земле, но его пронизывает лейтмотив доброты: Гвиана рождает, внушает образ материнской груди, наделенной столь же умиротворяющей силой, груди, от которой исходит немного зловонный запах, вселяя в меня постыдную безмятежность. Я называю Гвиану и Богоматерь Утешительницами страждущих душ.

Арман, по-видимому, сочетал в себе те же дурные свойства, однако, когда я о нем вспоминаю, у меня возникают отнюдь не ужасные, а весьма чувствительные ассоциации, посредством которых я выразил бы любовь не к нему, а к вам. Когда я покинул его в Бельгии, как было сказано выше, меня терзали угрызения совести или стыд, и в поезде я думал только о нем; поскольку у меня не осталось надежды когда-нибудь увидеть его или прикоснуться к нему, я отправился на странные поиски его призрака. Поезд увозил меня от него, а я старался сократить разделившие нас пространство и время, повернуть их вспять лихорадочным усилием воли, в то время как во мне оформлялась, становилась все более явственной — лишь она могла смягчить мою боль от потери Армана — мысль о его доброте, так что когда поезд (он как раз миновал еловый лес, и, вероятно, резкое несоответствие неожиданно светлого пейзажа спасительной тени елей вызвало предчувствие катастрофы) возле Мобёжа со страшным грохотом въехал на мост и мне вдруг показалось, что мост обрушился и развалившийся поезд летит в разверзшуюся бездну, лишь этой переполнявшей меня доброте, которая уже управляла всеми моими действиями, удалось в мгновение ока соединить обломки, починить мост, помочь составу избежать катастрофы. Когда мы пересекли виадук, я задался вопросом, не происходило ли то, что я описал, на самом деле. Поезд все так же бежал по рельсам. Французский пейзаж оттеснял Бельгию все дальше и дальше.

Сейчас, когда я пишу эти заметки, мне тридцать пять лет. Я хочу провести остаток жизни в безвестности — обратной стороне славы. У Стилитано было больше прямых линий, чем у Армана. Когда я вспоминаю о них, то согласно образу, подсказанному разумом, мне хочется сравнить Армана с бесконечной Вселенной. Вместо того чтобы определиться и ограничиться обозримыми пределами, Арман, за которым я гоняюсь, то и дело меняет форму. Контуры Стилитано, напротив, уже намечены. Когда Стилитано осмелился насмехаться над талантом Армана, тот не пришел немедленно в ярость. Мне кажется, что он сдерживал гнев. Я не думаю, что замечание Стилитано его слишком задело. Он не спеша докурил свою сигарету, а затем сказал:

— Может быть, ты считаешь меня кретином?

— Я этого не говорил.

— Ясно.

Он снова закурил с рассеянным видом. Я оказался свидетелем очередного унижения — разумеется, их было немало,— причинившего Арману страдание. Эта гордая глыба не состояла из одной лишь отваги, ни тем более из других постоянных качеств. Его красота, сила, голос и удаль так и не снискали ему успеха, ибо ему приходилось, подобно калеке, гнуть спину над кружевами, заниматься тем, что обычно поручают детям, которым можно доверить только бумагу.

— Трудно поверить,— сказал Робер, положив локти на стол.

— Во что трудно поверить?

— Ну как же, в то, что ты на это способен.

Несмотря на свою извечную бестактность, Робер не решался атаковать в лоб человека, попавшего в беду: он говорил нерешительно. Стилитано ухмылялся. Он, как никто другой, должен был чувствовать боль Армана. Как и я, он боялся и ждал вопроса, который Робер не решился задать:

— Где же ты этому научился?

Подошедший к нам докер оставил вопрос открытым. Поравнявшись с Арманом, он назвал только время: одиннадцать часов. Мелодии, доносившиеся из механического пианино, рассеивали густой дым, окутавший бар, в котором мы сидели. Арман отозвался:

— Ладно.

Его лицо было по-прежнему грустным. Девицы сюда редко заглядывали, и обстановка в баре была простой и сердечной.

Позже, припомнив его ладони и толстые пальцы, я подумал, что бумажные кружева, выходившие из подобных рук, скорее всего были уродливы. Арман был не приспособлен для этого ремесла. Если только он не освоил его на каторге или в тюрьме. Ловкость каторжников просто поразительна. Их преступные пальцы нередко творят воздушные чудеса из спичек, кусочков картона, веревки, из бог весть каких обрывков. Гордость, которую они испытывают по этому поводу, по качеству не отличается от их шедевров; она столь же податлива и непрочна. Порой посетители хвалят каторжников за какую-нибудь вещь — чернильницу, сделанную из ореха,— как хвалят собак или обезьян, дивясь их плутоватой находчивости.

Когда докер ушел, Арман произнес с тем же выражением лица:

— Если ты думаешь, что кто-то способен на все, ты — болван.

Я вольно передаю его слова, но я сохранил в памяти тон, которым он их произнес. Этот необычайный голос подспудно гремел. Гроза бушевала, слегка задевая редчайшие на земле голосовые связки. Арман поднялся, продолжая курить.

— Пошли,— сказал он.

— Пошли.

Таким образом он распорядился, чтобы мы разошлись по домам. Стилитано рассчитался за всех. Арман стремительно вышел из бара — его походка всегда производила эффект. С той же непринужденностью он шагал по улице. В тот вечер он не сказал ни слова, не употребил ни одного из своих излюбленных выражений, из-за которых прослыл грубияном. Я думаю, что он переваривал свое горе. Он шел быстрым шагом, с высоко поднятой головой. Рядом с ним Стилитано гордо нес свою гибкую иронию, Робер — свое молодое нахальство. Я же вбирал их в себя, содержа представление о них, я был их зеркальным сознанием. На улице стоял холод. Эти здоровяки дрожали как зяблики. Их руки, прятавшиеся в уютных карманах, натягивали тиковую ткань брюк, обрисовывая ягодицы. Все молчали. Когда мы дошли до улицы Сак, Стилитано, пожав руки Роберу и Арману, сказал:

— Сначала я взгляну на Сильвию, а потом вернусь домой. Пойдешь со мной, Жанно?

Я последовал за ним. Некоторое время мы шли молча, спотыкаясь о булыжники мостовой. Стилитано ухмылялся. Не глядя на меня, он сказал:

— А ты закорешился с Арманом.

— Ну да. А что?

— Так, ничего...

— Почему ты говоришь мне об этом?

— Просто так.

Мы шли и шли, удаляясь от места, где работала Сильвия.

— Послушай.

— Что?

— Если бы у меня были деньги, ты бы решился меня обчистить?

Хорохорясь, понимая, что моя удаль является признаком ума, я ответил утвердительно:

— Почему бы и нет, если бы у тебя их куры не клевали.

Он рассмеялся.

— А как насчет Армана?

— Почему ты спрашиваешь?

— Отвечай.

— А ты?

— Я? Почему бы нет! Если у него их куры не клюют. С другими у меня здорово получается, в чем же тут сомневаться. Ну, а ты как? Отвечай.

В связи с внезапной заменой сослагательного наклонения изъявительным до меня дошло, что мы только что сговорились ограбить Армана. Я знал также: заявив Стилитано, что смог бы его ограбить, я разыгрывал циника из корысти и от стыда. Подобная бесчеловечность друг к другу была призвана сгладить бесчеловечность нашего действия в отношении нашего кореша. В сущности, мы поняли, что у нас есть нечто общее, и наш сговор не объяснялся выгодой, а был порождением дружбы. Я ответил:

— Это опасно.

— Не особенно.

Я был потрясен тем, что Стилитано обратился ко мне с таким предложением в обход своей дружбы с Робером. Я расцеловал бы его в знак благодарности, если бы он не прятался за своей улыбкой. К тому же я подумал, что, возможно, он предлагал то же самое Роберу, и тот отказался. Возможно, Робер пытается в данный момент установить с Арманом столь же тесные отношения, как те, что связывают меня со Стилитано.

Стилитано пояснил, что ему от меня нужно: я должен был украсть партию опиума, которую доставят ему матросы и механики судна, ходившего под бразильским флагом, прежде чем Арман успеет переправить ее во Францию и Голландию.

— На что тебе сдался этот Арман? Мы же вместе были в Испании.

Стилитано говорил об Испании как о героическом действе. Мы шли, пронизанные промозглым холодом ночи.

— Не воображай, что Арман, когда он может кого-то обчистить...

Я понял, что мне не следует возражать. Раз мне недоставало полномочий, чтобы самолично издавать и вводить моральные указы, я должен был прибегать к привычным уловкам, стараться быть поборником справедливости, чтобы оправдать свои преступления.

— ...станет задумываться. О нем столько всего говорят. Ты можешь спросить у парней, которые с ним знакомы.

— Если он узнает...

— Он не узнает. Ты только скажи, где он их прячет. Когда он уйдет, я поднимусь в его хазу.

Пытаясь спасти Армана, я сказал:

— Я не думаю, что он хранит их в доме. У него наверняка есть тайник.

— Значит, надо его разыскать. С твоей хитростью это будет нетрудно.

Если бы он не отозвался обо мне столь лестно, я бы ни за что не предал Армана. Одна лишь мысль об этом привела бы меня в ужас. Пока он не оказывал мне доверия, не было смысла его предавать: это значило бы, что я действую согласно элементарному правилу, на котором зиждется моя жизнь. Теперь же я любил его. Я признавал его всемогущество. Если даже он не любил меня, он не выпускал меня из себя. Его авторитет был настолько велик и безграничен, что восстание разума в его лоне было немыслимо. Я мог утвердить свою независимость лишь в сфере чувств. Мысль об измене Арману

просветляла меня. Я слишком боялся и слишком любил его, чтобы не испытывать желания его обмануть, предать и ограбить, уже предвкушая томительное наслаждение от грядущего святотатства. Раз он был Богом (ему была знакома жалость) и мог проявить ко мне снисхождение, мне было приятно отречься от него. Лучше было сделать это с помощью Стилитано, который меня не любил и которого я не смог бы предать. Его энергичная сущность удивительно соответствовала образу пронзающего сердце кинжала. Его дьявольская сила и власть над нами коренились в его иронии. Возможно, обаяние Стилитано таилось в его безразличии. Сила, с которой Арман отвергал любые законы, свидетельствовала о его мощи, а также о силе влияния на него этих законов. Стилитано же смеялся над ними. Его ирония разъедала меня. Кроме того, она проступала с присущей ей дерзостью на необычайно красивом лице.

Мы зашли в бар, и Стилитано растолковал мне, что нужно делать.

— Ты говорил Роберу?

— Ты рехнулся? Это же между нами.

— Ты думаешь, что мы хорошо поживимся?

— А как же! Этот сквалыга провернул колоссальное дело во Франции.

Казалось, что Стилитано давно все обдумал. Он возвращался ко мне из своей ночной жизни, которая проходила у меня на глазах и была окутана мраком. Прячась за маской смеха, он не дремал, он был всегда начеку.

Когда мы вышли из бара, к нам привязался нищий, выпрашивая гроши. Стилитано смерил его довольно презрительным взглядом.

— Кореш, бери пример с нас. Если тебе нужны бабки, возьми их.

— Скажите, где мне их взять.

— Поищи-ка в моем кармане, если не лень.

— Вы так говорите, но если бы вы...

Стилитано оборвал грозивший затянуться разговор, в котором он мог спасовать. Он обладал умением ловко отсечь собеседника, чтобы подчеркнуть свою твердость и придать своему облику четкие контуры.

— Когда надо, мы берем их там, где они лежат,— сказал он мне.— Не будем связываться со всякими босяками.

Решил ли он, что настала пора преподать мне урок жестокости, или же у него возникла потребность утвердиться в своем эгоизме, так или иначе, слова Стилитано — он произнес их с искусной небрежностью — прозвучали в туманной ночи как немного надменная философская мудрость, импонировавшая моей расположенной к жалости натуре. В самом деле, я мог распознать в этой противоестественной истине мужество, способное оградить меня от самого себя.

— Ты прав,— откликнулся я,— если нас сцапают, не он загремит в тюрягу. Пусть сам выкручивается, коли хватит духу...

Произнося эти слова, я не только унижал самый ценный — хотя и скрытый — этап своей жизни, а также воплощал себя в блестящем образе бриллианта в этом городе ювелиров, во тьме себялюбивого одиночества, грани которого переливались.

Мы дошли до моста, где работала Сильвия, но было уже поздно, и она вернулась домой [1]. (На его жену ирония не распространялась. Он говорил о ней без улыбки, но и без нежности.) Проституция в Бельгии не была столь упорядоченной, как во Франции, и любой «кот» мог, ничем не рискуя, жить со своей бабой. Мы со Стилитано направились в гостиницу. Он тактично не заводил разговора о наших планах, но принялся вспоминать нашу испанскую жизнь.

— Ты тогда здорово втрескался.

— А сейчас?

— Сейчас? Ты что, все еще влюблен?

Мне кажется, что он хотел убедиться в моей любви и в том, что ради него я брошу Армана. Было три-четыре часа ночи.

— Сильнее, чем прежде.

— Ты не шутишь?

Он улыбнулся и посмотрел на меня искоса, не сбавляя шага.

---

[1] Мы быстро ретировались, так как известно: если проститутки не стоят на «рабочих местах», значит, полиция где-то близко. Местная поговорка гласит: «Там, где нет шлюх, шныряют легавые».

— Что-нибудь не так?

У Стилитано была жуткая улыбка. Его стремление — как обычно и особенно с той испанской поры — быть сильнее меня, взять верх над моей естественностью и опорочить ее заставило меня произнести слова, которые, даже будучи сказанными спокойным тоном, прозвучали как вызов. Я должен был разъяснить, ясно выразить свое первое утверждение, сформулированное как условие задачи. На это разъяснение, а не на что-то другое должна была опираться моя нынешняя позиция.

— Все в порядке.

— В чем же дело? Ведь я теперь тебе больше нравлюсь.

— Я тебя уже не люблю.

— А!

Мы как раз проходили под аркой моста, через который была проложена железная дорога. Окружавшая нас темнота сгустилась. Стилитано остановился и повернулся ко мне, сделав шаг вперед. Я не сдвинулся с места. Почти касаясь губами моих губ, он прошептал:

— Жан, мне нравится, что ты — нахал.

Пауза длилась несколько секунд. Я испугался, что он сейчас вытащит нож, чтобы меня зарезать, скорее всего я бы не стал защищаться. Но он улыбался.

— Дай-ка мне закурить,— сказал он.

Я достал из его кармана сигарету, чиркнул спичкой, глубоко затянулся и вложил сигарету в середину его рта. Ловким движением языка Стилитано передвинул ее в правый угол и, по-прежнему улыбаясь, сделал еще один шаг, рискуя опалить мне лицо, если я не отодвинусь. Моя безвольно висевшая рука сама собой потянулась к его телу: оно пришло в волнение. Стилитано улыбнулся, глядя мне в глаза. Видимо, он без труда удерживал дым в себе: когда он открыл рот, оттуда не показалось ни струйки. От всех его движений и от него самого исходила жестокость. В нем не было места нежности и туманной расплывчатости. При каждой затяжке его лицо озарялось. Мои пальцы, едва касавшиеся его тела, ощущали его возбуждение. Он вынул левую руку из кармана и, обхватив мои плечи, прижал меня к себе, а сигарета тем временем преграждала путь к его рту, оберегая от поцелуя. Послышались чьи-то шаги. Я выпалил скороговоркой:

— Я люблю тебя.

Мы оторвались друг от друга. Когда мы расстались у двери его отеля, было ясно, что я предоставлю ему все сведения об Армане.

Я вернулся домой и лег в постель. Я так и не научился ненавидеть своих любовников, даже когда они ненавидели или предавали меня. Перегородка отделяла меня от Армана, который спал с Робером, и я страдал от того, что другой занял мое место, или от того, что я оставался с ними, чувствуя себя одним из них; я завидовал им, но не испытывал ненависти. Мне кажется, что в тот вечер, сняв свой ремень, Арман не хлопал им, как бичом. Должно быть, Арман видел его глубокую мужественную печаль, и, безусловно, красноречивыми жестами он приказал Роберу подчиниться его желанию. Я еще больше убедился в силе Армана, проистекавшей также из несчастья и мерзости. Его бумажные кружева были сделаны из того же зыбкого теста, несовместимого с вашей моралью, как и фокусы нищих. В них таился подвох, они были фальшивы, подобно поддельным язвам, культям и слепоте.

Эта книга не стремится стать произведением искусства, продолжающим свой одинокий путь в небесах, предметом, оторванным от автора и людей. Я мог бы описать свою минувшую жизнь в другом стиле, иными словами. Я придал ей характер героического эпоса в силу присущего мне лиризма. Стремление быть последовательным вменяет мне в обязанность продолжать свою авантюру, исходя из *стиля* данного повествования. Оно послужит для уточнения ориентиров, которые *предъявляет* мне *прошлое;* неоднократно я неловко вскрывал гнойники нищеты и преступления, которое было наказано. К ним-то я и буду тянуться. Не с явным желанием их нащупать, подобно святым католической церкви, а неторопливо, не пытаясь уклониться от тягот и мерзостей, сопутствующих этому жесту.

Ясно ли я выражаюсь? Дело не в том, чтобы распространить философию страдания, а наоборот. Каторга — пусть так именуется часть света или души,

к которой я направляюсь,— доставит мне больше радостей, чем все ваши почести и празднества. И все-таки именно к ним я стремлюсь. Я жажду вашего признания и ваших лавров.

Мое героическое сказание, ставшее книгой моего Бытия, содержит — или должно содержать — заповеди, которые я не осмелюсь нарушить: если я того сто́ю, оно без труда наградит меня гнусной славой, ибо на что же еще мне уповать? И не логично ли с точки зрения более расхожей морали, чтобы эта книга привела мое тело, заманила меня в тюрьму — не согласно стремительной процедуре в соответствии с вашим законом, а в силу содержащейся в ней неизбежности, которую я в нее вложил и которая, как я хотел, превращает меня в свидетеля, подопытного кролика и веское доказательство ее добродетели и моей ответственности?

Я хочу говорить о радостях каторги. Жизнь в окружении раздраженных самцов сама по себе является для меня несравненным счастьем. Однако я лишь вскользь упоминаю о ней, поскольку другие явления (армия, спорт и т. д.) не уступают ей в этом. Второй том моего «Дневника» будет называться «Дело о нравах». Я намереваюсь передать, описать, истолковать в нем прелести личной каторги, те, что я открываю в себе, миновав участок своей души, который я окрестил Испанией.

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

АЛХИМИЧЕСКИЙ ЛИМОН,

или Зимние Воспоминания о Летних Впечатлениях

Описанного в этом очерке адриатического отеля «Бельвью» больше нет: он сожжен огнем федерального флота распавшейся Югославии. Не знаю, что стало с тем бартендером, который тогда рассказывал мне о мелких неурядицах между сербами и хорватами. Сидит ли где-нибудь с автоматом в горах, сбежал ли в Италию, может быть, даже погиб?

Получилось так, что я пересек на машине Югославию во время ее последнего мирного лета. Нынче из открытых кафе Дубровника люди бросаются прямо в бомбоубежища.

События восточнее Эльбы несутся со скоростью монгольской конницы. Я не успел тогда дописать свой «Алхимический Лимон», как он уже устарел по фактическому материалу. В прозаическом смысле, то есть в смысле художественной прозы, полагаю, он все-таки остался верным и пребывает в этом качестве и по сей день как одна из бесконечных «шопенгауэровских», так сказать, рефлексий жаркого европейского лета 1990 года.

Потные нервные поиски этого Алхимического Лимона идут теперь уже и по просторам родины чудесной, кое-где с помощью «калашниковых» и установок «алазань». Журналисты и писатели звереют от прогнозов и предсказаний, а несуществующее искомое издевательски втягивает нас все круче в свою орбиту.

И все-таки в жизни каждого из нас были те три незабываемых августовских дня 1991-го, а это значит, что порочный круг может быть прорван.

Наступающие силы западной цивилизации решительно движутся на Восток под знаменами золотой арки Макдональда. Коммунистическая идеология хиреет, кока-кола наводняет оставленные фортификации. Недавние сообщения из Москвы гласят, что Большой Мак близок к полной победе над Большой Мумией. Время трубить триумф, или, по крайней мере, я так думал, пока однажды жаркой июльской ночью не натолкнулся в центре Праги на кафетерию «Арбат». Милостивый Маркс-Энгельс, это была скоростная закусочная в русском стиле! Она предлагала борщ, «русский шашлык», пирожки, и девушки в симпатичной униформе упаковывали это хозяйство в пристойно выглядевшие бумажные мешочки. Что происходит? В тылу доблестно наступающих «гамбургерских» армий скромно, но вполне эффективно оперирует некое советское подразделение. Может быть, разбитый Коминтерн начал все по-новой? Может быть, Прага ликует преждевременно? Небольшое утешение я получил при обозрении напитков «Арбата». Среди подрывных русских квасов и нейтральных чаев там все-таки присутствовала все та же победоносная кока-кола, а это означало, что отважная точка нарпита все же предрасположена к капиталистическому разложению — даже она.

— А что у вас идет на десерт? — спросил я арбатскую директоршу.

— Все что вам угодно, сударь,— ответила она на превосходном русском «краковяке».— Сибирское мороженое, каспийское пирожное... Увы,— она улыбнулась немного меланхолически,— пока что мы не можем предложить того, что нынче ищут все народы, хотя надеемся заполучить его в недалеком будущем...

— А, этот проклятый Алхимический Лимон, это его вы имеете в виду, мадам?

— Ну конечно, сударь, мы же тоже люди.

Реальная Кока и мифический Алхимический Лимон! Вывеска «Арбата» мигала в неоновых сумерках. Я понял, что отчаянная попытка новой идеологической пенетрации обречена на провал: даже спецназ «Арбата» жаждет Алхимического Лимона, а это безошибочно означает, что коммунизму крышка.

БЕРЛИН

Видение Алхимического Лимона стало меня преследовать с первой ночи моего долгого путешествия по Восточной Европе прошлым летом, едва я сбросил свою сумку в комнате отельчика «Асканишер-хоф» (уж не «Аксенишер-хоф» ли?), столь похожего на пансионат в фильме «Кабаре», и вышел на Курфюрстендам.

Я не был здесь тринадцать лет. В 1977-м Западный Берлин был спокоен и тверд в решимости сохранить свою изолированную уникальность. Линия фронта была очерчена рядами сверкающих магазинных витрин. Кто мог предсказать, что они возьмут верх над пулеметными сторожевыми вышками коммунистической вохры?

Жаркой ночью 1990-го город был переполнен всеми возможными славянскими языками: чешский, сербский, хорватский, украинский, словацкий, словенский, македонский, черногорский... впрочем, над всеми, включая, кажется, и немецкий, доминировали шелестящие польские пшепрашем. Со славянами рядом кружили тут румыны, венгры, армяне, монголы, цыгане... На тротуарах сидели женщины с плачущими детьми, просили западных монет, восточными, впрочем, тоже не гнушались. Время от времени молодчики в шестисотдолларовых кожаных куртках собирали в мешки эти звенящие дотации.

Русские тоже были в наличии, и даже во множестве! Самый ошеломляющий признак новых времен — русские как естественные частички европейской толпы. Лет пять назад, сидя в кафе на венецианской площади Сан-Марко, я горько сетовал на отсутствие моего родного перчика в космополитическом вареве. Теперь у меня была полная возможность насладиться диалогами бывших соотечественников. Говорили они в основном числительными. «19 270!» — восклицал один. «21 350!» — тут же отвечал другой. Иногда числительные произносились с некоторой мрачностью, в другой раз были преисполнены ликования.

В огромном баре с дюжиной пульсирующих экранов и ошеломляюще сверлящей музыкой я заметил среднего возраста персонажа с тяжелой советской, или, как сейчас говорят, «совковой» внешностью. Вне себя от возбуждения он размахивал желтой пластиковой бутылкой. «Мама, глянь, это ж лимон, жидкий лимон, химический лимон!» А может быть, это Алхимический Лимон, подумалось мне. Открытые кафе были заполнены до последнего стульчика. В дверях и окнах видны были толпы молодых танцоров. Славяне, так внезапно приобщившиеся ко всему этому джазу, озирались со смесью восхищенья и замешательства. Неутоленная жажда светилась в их глазах, страстная тоска по чему-то ультразападному, по чему-то одновременно и дешевому и дорогому, натуральному и искусственному, иными словами, по Алхимическому Лимону.

На следующее утро, естественно, я первым делом совершил паломничество к Стене. В 1977-м, будучи еще советским писателем, я был затянут в не очень-то безопасную игру с этим сооружением. Теперь же я неожиданно поймал себя на каких-то странных ностальгических чувствах к чудовищу. Двадцать четыре года прошли с ее мерзкого возведения до ее славного низвержения, фактически она всегда была со мной, то есть с самых первых шагов в литературе, это была моя Стена, объект самых едких насмешек, грань дерзейшего вызова. Что-то в высшей степени социалистическое было в этом сооружении, она, казалось, имела самое прямое отношение к эстетическим концепциям тридцатых. Среди загрязненного города она стояла как символ гигиены, по крайней мере с восточной стороны, где за желание отлить на нее или сделать скромнейшее граффити можно было заплатить жизнью. Полоса ничейной земли текла через Берлин, как Канале Гранде через Венецию, товарищ Харон в гэдээровской униформе постоянно приглашал пассажиров в свою гондолу.

В западноберлинском такси — «мерседесе» (есть еще восточноберлинские такси — «волги») я приближался к Чек-пойнту Чарли. В конце скучной функциональной улицы была уже видна гигантская восточная телебашня с преувеличенной бульбой в ее верхней части. Бессмысленная штука, известная как «Минарет Святого У» (Ульбрихта), наполняла пейзаж какой-то дикой гармонией.

Таксист сказал, что он не очень-то в восторге от приближающегося объединения. А почему так? Он начал что-то бормотать о неизбежном росте налогов, скачках цен и тому подобном, а потом добавил:

— Да и вообще, сударь, я привык быть западноберлинцем, и у меня нет никакого желания становиться просто берлинцем.

— Боитесь потерять свой ломтик Алхимического Лимона, мой друг? — спросил я.

— Вроде того,— вздохнул он.

В Восточном Берлине я занимался тем, что разыскивал остатки «Великой эпохи». Нелегкое оказалось дело. Западногерманский черный орел со своими поднятыми и согнутыми в локтях верхними конечностями, подобно могучему культуристу, уже доминировал над восточногерманским гербом, циркулем и рейсшиной, похожими на выброшенные за ненадобностью орудия пытки. Некоторые мемуарные клочки все-таки еще обнаруживались, улица Клары Цеткин, бульвар Карла Либкнехта, некоторые жалкие продукты социалистической халтуры в магазинах, монумент Марксу-Энгельсу (недурная работа по металлу, должен сказать) и, наконец, тысячи и тысячи автомобильчиков «Трабант», этих маленьких ублюдков, которые выплевывали токсические газы с такой интенсивностью, что казалось, они были построены не для транспортных целей, а для исполнения главной и величественной цели социалистического общества — создания Нового Человека, человека с новыми легкими.

Вдруг я заметил голову Ленина, свежую штуку, размером не менее, чем автомат для продажи кока-колы, художественно вырубленную из куска белого мрамора. Она была расположена перед фасадом советского посольства, где в 1977-м посол Абрасимов так страстно и безуспешно ждал меня на чашку чаю. Я посмотрел вверх и увидел на коньке посольской крыши группу «людей из камня»: представителей трудящихся масс, бравого пилота, грудастую доярку, атлетического моряка, фундаментального металлурга; призраки моей юности, золотых сталинских пятидесятых!

Со старым другом, замечательным переводчиком русской литературы Томасом Решке мы сидим в «айне кнайпе». Напоминаю ему наш разговор тому лет двадцать назад. Что случилось бы, если бы Советский Союз оставил Восточную Германию в покое? — спросил я его тогда. Том вспоминает свой ответ. С нашими тремя миллионами членов партии, вездесущими органами штази, могучими вооруженными силами ничего не случилось бы в один день. В отдаленной перспективе могла бы произойти гражданская война, ужасное кровопролитие, при самом благоприятном повороте событий — постепенные изменения под влиянием Западной Германии.

И все это рухнуло в одну ночь! Когда-нибудь мы узнаем, что на самом деле произошло?

Коллапс коммунистического режима изменил отношение восточных немцев к русским. Прежде под гипнозом официально прокламированного «вечного братства» ноги можно было переломать в поисках каких бы то ни было человеческих чувств в адрес Большого Брата. Теперь, когда Советская армия упаковывает свои грозные железяки, а штатские русские рыщут по улицам в поисках Алхимического Лимона, можно увидеть по отношению к нам весь спектр человеческих эмоций: равнодушие, сострадание, злорадство и даже — подумать только! — благодарность за то, что, мягко говоря, не помогли геноссе Хонеккеру остаться у власти, словом все, кроме застойной, молчаливой, взаимно отупляющей ненависти.

ВАРШАВА

Служащий на парковке адресовал мне свое обычное «а вы откуда?» — вопрос, который я уже десять лет считаю почти провокативным. «Ну, вообще-то я русский, но... из Америки». Пожилой человек улыбнулся: «Значит, пан не советский? Просто россиянин, да? Мне нравятся россияне, я среди них шесть лет жил в ссылке, в Казахстане. Коммунизм загнулся, а? Да здравствует демократия, о'кей? Ну скажи, а что император Горбачев, хочет он демократии для России?»

За трехчасовую парковку я заплатил 1232 злотых, то есть, по официальному курсу, 15 центов. Потом я купил порцию мороженого за 300 злотых, то есть за 4 цента. Впору тут навсегда остаться!

Последний раз я был в Польше семнадцать лет назад. Почти ничего не изменилось с той поры в городском силуэте, по-прежнему над ним доминирует

дар Сталина — Дворец Культуры и Науки, известный еще со времен его возведения как «кошмар кондитера». Новенький «Мэрриот» по соседству ни на йоту не умалил его выразительности. Вместе с другими, некогда помпезными, а ныне потемневшими и обветшалыми хоромами социалистического реализма Дворец Культуры нынче не демонстрирует ничего более, чем убожество, ну да еще, пожалуй, хоть это и странно звучит, ностальгию по нашему вечному сопротивлению этой отталкивающей эстетике.

Больше всего меня поразило здание Центрального комитета Польской объединенной рабочей, то есть коммунистической, партии. Массивный десятиэтажный квадрат, бывший когда-то средоточением всемогущей власти, был полностью заброшен. Не встретив ни единой души — если кто-нибудь из прежних обитателей не реинкарнировался в одну из многочисленных ворон,— я вошел в огромный внутренний двор. Сик транзит глория мунди, и как быстро она транзит! Ветер свистел в разбитых окнах, подъезды, еще недавно гордо охраняемые гвардейскими кагэбэшниками, были заколочены грязными досками без всякого уважения к эстетике социалистического реализма. Сквозь пыльные окна первого этажа я увидел помещение телефонного узла с огромными кучами выброшенных телефонов. Сотни телефонов разных цветов, возможно говорящих о разных уровнях иерархии, оборванные провода. Конец «телефонной власти», свалка истории.

Несмотря на кучку западных отелей, тропические фрукты на улицах, отсутствие очередей и некоторое присутствие международной рекламы, меня не оставляло чувство, что навязчивые призраки рухнувшей системы все еще бродят по городу. Парадоксально мне казалось, что семнадцать лет назад в этой полуоккупированной и задавленной стране царило лучшее настроение. Тогда люди по-детски верили, что все может измениться за одну ночь, если только... Теперь, когда это «если только» произошло, оказалось, что страна вроде бы не знает, что делать дальше. Милиция, например, была переименована в полицию. Потрясенные этим переименованием центурионы практически исчезли из вида. Что происходит с государственными символами? — думал я, наблюдая за почетным караулом возле Вечного Огня. Вместо того чтобы стоять в мраморной застылости, два воина беспрерывно болтали, хихикали, отгоняли мух.

Социалистическая экономика вроде бы была низложена раз и навсегда, граждане приглашались начать частные предприятия. Увы, большинство граждан просто не знает, что делать с вновь обретенной свободой. На рыночной площади в старом городе Казимеж лавки, очевидно, все еще принадлежат государственной монополии, демонстрируя названия вроде «кафе № 3», «булочная № 7», а местный ресторан предлагает в своем меню истинно социалистический перл — «стакан чаю, сладкий, 200 миллилитров». Между тем сонмы бывших строителей польского социализма, покупая и продавая, перекупая и перепродавая все, что они могут купить и продать, перекупить и перепродать, бороздят Европу. Подобно коробейникам, они разгружают багажники своих «польских фиатов», «лад», «вартбургов» и выставляют товар прямо на земле: американские джинсы и сигареты, западногерманские мыла и игрушки, советские водки и бинокли, различных стран ножницы, зубную пасту, колготки, рулоны упаковочной бумаги, иными словами — бесконечные элементы Алхимического Лимона.

«Мы все еще в средневековье,— говорит писатель Лех Ечмик,— самая ранняя фаза капитализма, караванная торговля». С другой стороны, всего лишь полгода назад полякам нечего было есть. В лучшем советском стиле магазины предлагали только возможность пообщаться друг с другом в очередях. А теперь вот вокруг изобилие «предметов пищи». Крестьяне привозят туши в Варшаву и разделывают их прямо на перекрестках. Магазины демонстрируют гирлянды свежекопченых колбас, молодежь шамает пиццу и гамбургеры, приобщаясь к мифам. Цены высокие, но это лучше, чем низкие цены на несуществующие продукты. Одним словом, поляки наслаждаются состоянием первичного насыщения.

И тем не менее, несмотря на это или благодаря этому, все вокруг меня, казалось, было подернуто пленкой апатии, чувствовалось настроение какой-то досадной незавершенности, как будто нация внезапно потеряла свой мощный подъем, как будто полякам всегда необходимо, хотя бы для самоутверждения, бросать вызов кому-то, кто их сильнее. Жена одного из лидеров «Солидарности», теперь ставшего большой шишкой, вспоминает ночь, когда ее муж вместе с сотнями

его друзей был арестован солдатней Ярузельского, как звездный час жизни. Время беспрецедентного единства — вот что это было такое, говорит она, духовного взлета, нравственного сопротивления и готовности к самопожертвованию.

Я приехал в Варшаву в горький момент первого серьезного раскола в рядах «Солидарности». Иные из ближайших друзей Валенсы начали выступать против его популистской моды и недавних довольно двусмысленных заявлений, подстегивающих антиинтеллигентские тенденции. «Я не хочу, чтобы эти усы стали гербом нации!» — заявил Фросенюк. На следующее утро чеканная фраза стала предметом обсуждений в кафе при издательстве «Чительник».

Сидя там среди писателей и общаясь с ними на прекрасном русско-англо-польском воляпюке, я думал, среди прочего, о той странной близости, которая существует между российской и польской творческой интеллигенцией. Русский поэт однажды сказал: «Для тех, кто до сравнений лаком, Я почести не знаю большей, Чем русский стих сравнить с поляком, Поэзию родную с Польшей... Она, как Польша, «не сгинела», хоть выдержала три раздела...» В этих строчках мне видится превосходная формула духовной солидарности и отмежевания от подавляющих сил как русского империализма, так и международного коммунизма. Для польских писателей русская культура никогда не была частью колонизирующей силы, а, напротив, колонизированной страной, борющейся вместе с ними за независимость и свободу.

ПРАГА

Город танцевал, пел, играл на саксофонах, карнавал свободы был в полном разгаре. Сталин и Готвальд отечески улыбались народу с сатирических плакатов. Голубой транспарант над широким тротуаром Венцеславского наместья оповещал о доселе неслыханном развлечении под названием «Стриптыз», кинотеатр приглашал на «первый эротический фильм в ЧССР» — «Эммануэль». На каждом углу, будто в фильме тридцатых годов, свиристели мальчишки-газетчики: «Читайте про только что открытую шпионскую сеть!» Сиял горячий летний день, каждый второй прохожий, или прохожая, крутил, или крутила, языком вокруг сладеньких набалдашников мороженого. Глядя на это, нельзя было не подумать о всеобщем благотворном опьянении. В общем-то всего ведь семь месяцев отделяли этот триумфальный день от времен полной покорности. Нация толстовцев снова оказалась права в своей приверженности принципам «непротивления злу насилием». Застенчивая улыбка президента Гавела видна была повсюду: на стенах пивных, на стеклах автомобилей, на зеркалах парикмахерских, на грудях населения. Уличный шпагоглотатель закладывал в свой эзофагус два клинка в один прием, на пиджаке у него трепетала улыбка Гавела. Наслаждаясь этой сценой, я подумал: «Какая фантастическая судьба! Мог ли когда-нибудь этот мой коллега-писатель вообразить свое лицо на груди шпагоглотателя?»

Последний раз я был здесь в июне 1965 года. Как раз четверть века без Праги! В старой записной книжке я нашел несколько имен, но телефоны, естественно, либо были неправильными, либо молчали. Сразу же по прибытии я понял, что на Прагу в этом сезоне большая мода: все комнаты в отелях были забронированы заранее. В конце концов все-таки я нашел некий «Альбатрос», переделанный из старого парохода и наглухо зашвартованный у набережной Влтавы.

Открыв окно или, лучше сказать, «иллюминатор» в своей комнате, или, лучше сказать, «каюте», я сразу же увидел по крайней мере дюжину белых лебедей. Они слегка покачивались в мутных водах в четырех футах вниз от иллюминатора и смотрели на меня удивительно мыслящими глазами. Потом я заметил множество этих белых корабликов с их гибкими мачтами, разбросанных по акватории Влтавы вниз до шлюзов и вверх до Карлова моста.

Никогда мне еще не приходилось стоять в отеле так близко к белым лебедям. Как грациозно почесываются эти птицы! Им нравится германский шоколад из твердовалютного магазина, и они демонстрируют триумф биологического выживания в сильно загрязненной среде обитания.

В полусотне метров от отеля «Альбатрос» вниз по течению на набережной располагается массивное мрачное здание, увенчанное парой орлов, похожих на гигантских крылатых улиток, а также неизменными представителями трудящихся масс. Это Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии,

пернатые на нем остались, очевидно, от имперской эпохи, мускулистые прибавились в социалистическую. Может быть, это то самое здание, в котором той проклятой ночью падающих звезд, 21 августа 1968-го, отряд советских спецназников построил членов политбюро вдоль стены и пересчитывал их по головам?

Сегодня почти все здание передано какому-то экономическому департаменту нового правительства, и только под крышей, то есть прямо под упомянутыми выше скульптурами, несколько комнат остались в распоряжении авангарда трудового народа.

Ищу, где бы поужинать на бульваре Святого Венцеслава. В ресторанах с местами все еще туго. В толпе вдруг кто-то обращается ко мне: «Эй, мистер, розочку не хотите ли?» Молодой человек с пронзительной ближневосточной наружностью подталкивает ко мне девочку, явно не старше 14 лет. В ответ на мое недоумение начинает горячо объяснять свои обстоятельства:

— Кто я такой? Когда-то был комсомольцем, дрался с сионизмом, теперь вот торгую розочками. Хотите знать почему? Потому что хочу водки, вина, ходить в дискотеку, танцевать, о'кей? — Поняв, что мои намерения гораздо скромнее, новоявленный садовник быстро отчаливает.

На одной из боковых улиц я вижу вывеску «Отель и ресторан «Алькрон». Мимолетный приступ кинематографической ностальгии: фасад здания несет отпечаток поздних тридцатых. Внутри ветеранский оркестрик играл мотивчик старой поры, «Гольфстрим». Бронзовая богиня нудизма в апофеозе раскрывала объятия посетителям. Шикарная дорогая реставрация!

Питер Оснос и Ашбель Грин из нью-йоркского издательства «Рэндом хаус» ужинали в углу большого зала. «Во время вторжения 1968 года,— сказал Питер,— «Алькрон» был своего рода штаб-квартирой западных корреспондентов».

Я вспомнил высказывание Иосифа Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а народ остается». То же можно сказать и об отеле «Алькрон» — он пережил два вторжения и все еще играет «Гольфстрим».

Бессмысленные рекламы коммерции советского блока, гордые диаграммы индустриальных достижений все еще украшали улицы Праги. Женщины стояли в очередях за овощами, которых все еще не хватает. «Приватизация» спотыкается на каждом шагу. Народ в недоумении: что еще надо делать, кроме празднования свободы? Чехи всегда чувствовали свою принадлежность скорее к Европе, чем к славянскому миру, и все же даже они довольно туманно представляют себе современный Запад. Говоря «Запад», они, очевидно, все еще воображают свое собственное «западное прошлое», тридцатые, промелькнувшую между двумя войнами двадцатилетку процветания.

Гуляю ночью по Пшикопу и Народному проспекту. На углу большая толпа молодежи откупоривает дешевое советское шампанское, чехи, немцы, французы, американцы, скандинавы... Двадцать два года назад эти улицы наводнила мрачная, неразговорчивая русская молодежь. Сквозь мишуру карнавала, как наяву, я вижу несметное число медленно двигающихся динозавров, советских танков. Танкисты, читатели моей ранней прозы, начеку, готовы выполнить любую команду товарища Брежнева, «нашего Леонида Ильича» — стрелять по ревизионистам, жечь их дома.

Смутные призывы литературы послесталинской «оттепели» оказались полностью несостоятельными, роботы коммунизма остались роботами. Тот тысяча девятьсот шестьдесят-проклятый, похмелье и нервный кризис советской интеллигенции...

После долгих поисков наобум я наконец нашел нескольких старых друзей, издателей и писателей. Они сидели в тех же обшарпанных кабинетах, за теми же шаткими столами. Если бы я тогда, в 1965-м, был хоть на минутку трезв, четверть века спустя я нашел бы эти кабинеты без всякого труда.

Сидим с друзьями в пивной.

— Ну, помнишь это место?

— Смутно.

— Здесь четверть века назад ты хвастался своей кепкой, якобы всепогодной, якобы подаренной тебе каким-то оксфордским профессором. Потом ты подарил ее пианисту в баре «Ялта».

— О-о-о, хотел бы я знать, кто в ней сейчас ходит...

Парочка стареньких ребят занимает столик по соседству с нашим. Друзья представляют меня им:

— Это Василий... он... мм... американский писатель...

Боже ты мой, в толпе любителей дешевого шампанского я слышу голоса молодых русских! В отличие от тех танкистов они, пожалуй, даже слишком многоречивы. Может быть, и этот липкий сладкий напиток стал уже ингредиентом в мистической субстанции Алхимического Лимона?

БУДАПЕШТ

Во время рейса Прага — Будапешт по крайней мере треть пассажиров говорила по-русски. Это были советские евреи на пути в Тель-Авив. Группа была неоднородной, рядом с неуклюжими местечковыми мамашами проходили сдержанные джентльмены, хорошо экипированные скрипками и теннисными ракетками. Отдельные репатрианты несли отчетливые черты ассимиляции с блондинистой славянской расой, некоторые совсем не были похожи на евреев, неизбежно напоминая старый анекдот: «Еврейский родственник — это не роскошь, а средство передвижения».

Будапешт поразил меня своей элегантностью. Около полуночи на одной из центральных площадей я увидел маленькую сцену и на ней медленно покачивающихся сюрреалистически стройных девиц. Шла демонстрация мод под музыку барокко. Я был захвачен этим зрелищем и впервые за время восточноевропейского путешествия отвлекся от концепции Алхимического Лимона.

На следующее утро это место выглядело по-другому. Как только я вышел из своего обиталища (между прочим, здания XVIII столетия), я натолкнулся на сцену кулачного боя или, вернее, кулачно-ножного поединка, поскольку только один из бойцов был боксером, второй же — каратистом. Конфронтация шла в ключе полной и дикой непримиримости, пока боксер полностью не убедился, что он со своим оружием может очень легко сыграть в бокс, то есть в ящик, тогда он улепетнул. Я спросил у победителя, который оказался шофером такси: «Что случилось?» Пожав плечами, тот объяснил ситуацию с предельным лаконизмом: «Цыган».

Толпа на Ваци-утца, главной улице коммерческого района, была очень деловита, каждый выглядывал свою ежедневную порцию Алхимического Лимона. Макдональды, Кодаки и Бенеттоны мигали, как бакены, направляя течение к желанной цели — слиянию с западным рогом изобилия. Десятки художников всех возможных славянских, германских и монгольских племен сидели вокруг монументов, предлагая свежие портретики самых западных физиономий: Мадонну, Принца, Майкла Джексона, Вуди Аллена, то есть наши лучшие гамбургеры. Один художник, похожий на Карла Маркса, со своей бородой и гривой седых волос, внезапно сказал мне:

— Привет! Как дела? Помнишь, мы вместе работали, творчески так трудились 18 лет назад?

Чудо узнавания произошло, хотя, когда я его знал, он был лыс, как яйцо. Он был когда-то кинохудожником в Ленинграде, и мы вместе пытались пробить один проект.

— Слушай, как это случилось, что ты сидишь со своей задницей на тротуаре в Будапеште и предлагаешь прохожим все это бездарное хозяйство?

— Ну, тут был фестиваль, понимаешь, и я выиграл гран-при как продакшн дизайнер. А потом вот решил задержаться, чтобы подработать капусты.

— Это невероятно, советский кинохудожник-лауреат продает рисунки на улице в иностранном городе!

— Что же ты тут находишь невероятного, старик? Я вижу, ты порядком оторвался от нашей реальности.

Мой «друг», похоже, чувствовал себя в этой реальности как муравей в муравейнике. Он был одержим одновременно двумя гармонично сходящимися идеями: во первых, хотел снять в кино гигантский блок-бастер о древних русских богатырях, бесстрашных витязях времен Татарского Ига; во-вторых, жаждал как можно скорее свалить из России, поскольку жена — еврейка и дети, соответственно, полуевреи.

Утренняя пробежка дает путешественнику гораздо лучшую ориентацию в новом месте, чем любые туристические методы. Бегу по набережной вдоль Дуная и наблюдаю сомнительное поведение местной голубятни. Птицы, известные как символ миролюбивых сил, также известны своей постоянной склонностью издеваться над нашим историческим наследием, а именно над фасадами парламентов и соборов, а особенно над памятниками. Возьмите, например, вот этот приближающийся по мере бега монумент вдохновенному патриоту и поэту Шандору Петефи:

наглое пернатое садится на его вознесенную руку, перепрыгивает с одного пальца на другой, чтобы в конце концов увенчать большой палец и придать всей святыне какую-то странную фривольность.

Еще менее церемонным оказалось отношение птиц к нерасторжимой паре теоретиков, Марксу и Энгельсу, что стояла на той же набережной милю вниз по Дунаю. Два голубя сидели на голове Карла, один на плече Фридриха, придавая ученым сходство с немецкими псами-рыцарями XIII столетия, что вторглись, не подумав, в Северную Русь и были изгнаны князем Александром Невским.

Возле монумента я обнаружил огромное безжизненное здание с длинной колоннадой. Наверное, еще один брошенный Центральный комитет, предположил я и не ошибся. Сквозь запыленную стеклянную дверь я вперился внутрь просторного вестибюля, пытаясь определить, что изображено на роскошной фреске, покрывающей внутреннюю стену. Что-то там было, несомненно, героическое, что-то поднимающее исторический оптимизм, увы, сквозь пыль плохо различалось. Заспанный охранник отрицательно покачал пальцем, как бы говоря: «Нет-нет, сударь, это не совсем то, что вы предполагали тут найти».

В один из будапештских дней прозаик Дьердь Конрад привел меня в писательский книжный магазин, где проходила акция протеста. Да-да, писатели, которые, по идее, как раз и смоделировали только что приобретенную венгерскую независимость, снова протестуют. На этот раз они поднимают голоса не против удушающей идеологической власти, а против того, за что так долго и так непреклонно выступали — против частного предпринимательства. Оказывается, некий «концерн», созданный на основе совместных инициатив государства, иностранных вкладчиков и своих частных дельцов, агрессивно монополизирует всю книготорговлю страны. В частности, он готовится поглотить писательский книжный магазин и вслед за тем заменить на его полках серьезную прозу и поэзию безвкусными кричащими суперобложками и прилипчивыми названиями, иными словами, теми же гамбургерами скоростной заокеанской выпечки.

Ораторы страстно вздымали риторические вопросы. Неужели мы боролись против идеологической бюрократии ради торгашеской корысти? Есть ли место для литературы в новой Венгрии?

Вопросы эти, при всей их высокопарности, отражают тревогу и растерянность, распространяющиеся сейчас среди творческой интеллигенции Восточной Европы, да уже и Советского Союза. Художники, объединенные совместной борьбой против тоталитарного монстра, парадоксальным образом были защищены этим же вездесущим монстром от иной раз слишком свежей внешней среды. Теперь перед лицом открытого рынка, с его жаждой Алхимического Лимона, их охватывает незнакомое ранее чувство агорафобии.

Однажды в холле отеля мои глаза споткнулись о неподвижное тяжелое лицо пожилого человека. Я слишком хорошо знал эти лица. В течение всей жизни, с детства до изгнания из СССР я наталкивался на них то там, то здесь. Столпы режима, незаменимые члены невидимых органов. Венгерский друг подтвердил мою догадку, он опознал в человеке высокопоставленного офицера бывшей венгерской чеки. Но что он тут делает, в этом хлопотливом международном отеле? — поинтересовался я. Друг предположил, что чекист, возможно, принимает участие в коммерческих переговорах с японцами. Эти «бывшие люди» теперь активно ищут место в новом обществе.

Тяжелое лицо внимательно смотрело на нас: или он понял, что мы его вычислили, или сам вычислил нас как бывших объектов своей профессиональной активности.

Мне было 24, когда хрущевские танки сокрушили венгерскую революцию. В те дни я испытывал острое чувство стыда от принадлежности к русским. Будь у меня хоть малый шанс, я присоединился бы к моим ровесникам на баррикадах Будапешта.

Сегодняшняя Венгрия прощается с Советской армией. Кровавый урок, который дал Хрущев восставшему народу, оказался тщетным. Буря бунта сменилась упорным, день за днем, год за годом, накатом мирного сопротивления, когда капля за

каплей выдавливалась из жизни сама идея о безоговорочной принадлежности венгров к «миру социализма». Теперь смущенные «старшие братья» покидают страну, не зная, куда девать затоваренные боеприпасы. Венгры сохраняют сдержанность, улыбаются. То там, то здесь я видел плакат, изображающий мясистый затылок головы, увенчанной советской армейской фуражкой. Надпись на плакате гласила: «Адье, товарищ!» Всякий раз, проходя мимо этих плакатов, я думал: а что, если этот солдафон обернется? Что мы узрим на морде лица? Желание торговать с японцами? Или снова вонючий клык покажет?

ДУБРОВНИК, САРАЕВО, БЕЛГРАД

В Будапеште я взял напрокат маленький автомобильчик «судзуки», ну и покатил на юг, в Дубровник. Возле югославской границы наскочил на группку бывших соотечественников. Они вели тяжело груженные «жигули» и «москвичи» с московскими, киевскими и одесскими номерными знаками. Я удивился, чего это они волокут в Югославию? Обычно советские приезжают налегке, а возвращаются с тяжелым грузом. Вскоре, однако, секрет раскрылся. К югу от границы, возле Субботицы, русские раскинули палаточный городок, в котором, по примеру польских братьев, распродают свою поклажу. Тут встает еще один вопрос: что же можно привезти на продажу из страны, до предела уже истощенной нехваткой самых основных товаров? Оказывается, все-таки есть еще кое-что: столичные водки и крымские портвейны, а также молотки, пилы, скобы, замки и задвижки, ну уж, конечно, и советские острейшие бинокли, армейские часы, какие-то уродливые пластмассовые игрушки, неизменные деревянные сувениры во главе с матрешками... Весь этот товар предлагается по исключительно низким ценам и потому находит покупателя. Динары, приобретенные в результате этой торговлишки, мои земляки расходуют на свою порцию Алхимического Лимона.

Вождение машины через Боснию — это не прогулка с пикничком, особенно для тех, кто пренебрегал уроками географии и забыл, что это горная страна. Поднимаясь выше и выше, я вдруг увидел вокруг пропасти и тучи и обнаружил, что дорога становится все круче, у́же и извилистей. После первого перевала передо мной предстала долина, похожая на картинку Ближнего Востока, здесь были мечети и минареты, а женщины носили длинные юбки. Никто больше не говорил по-английски, зато всякий более или менее понимал по-русски. Славянские мусульмане.

Мне посчастливилось добраться до Дубровника в канун его ежегодного фестиваля. Ох уж эта древняя Рагуза, место слияния итальянской и славянской культур над прозрачными водами Адриатики, над мифологическими скалами и бухточками, эта уникальная морская крепость, населенная красивыми отпрысками средневековых купцов и моряков! Факелы трепетали вдоль мраморных стен под порывами бриза. Все языки перемешались здесь с далматинским диалектом, наперченным итальянскими словечками — «пронто», «скузо», «пермессо»... Раньше в Дубровнике — последний раз два года назад — я не без горечи размышлял об отсутствии русских среди этого ежедневного международного карнавала. На этот раз, едва лишь войдя под арку Старого города, я был поражен сильным и мелодичным голосом, поющим популярную русскую песню. Молодой человек с хвостиком пони на затылке играл на гитаре и пел «На Дерибасовской открылася пивная», соискивая скромных денежных жертв у восхищенной публики. Его рюкзак, лежавший на мостовой, был заполнен, поскольку в Югославии нет монет, большими розовыми и бежевыми, будто бы замшевыми, банкнотами старых динаров стоимостью в пределах одного доллара. Мы познакомились и зашли в ближайшее кафе. Игорь Дорф только что окончил Ленинградский медицинский институт. В добавление к медицинскому образованию он развил в себе способности к пению, сочинению музыки и стихов. Честно говоря, он мечтает отложить в сторону свою официальную профессию ради художественного самовыражения. Вполне русское отношение к диплому высшей школы, должен сказать. Он приехал в Югославию по приглашению незнакомых людей, что стоило ему немалую сумму в рублях. Главная его цель здесь — собрать достаточно динаров «на клавиши». Рано или поздно, скорее рано, у него будет потрясающий японский синтезатор!

Сильная мечта искрилась в его глазах. Рюкзак, заполненный мягким, слегка засаленным эквивалентом магических «клавиш», болтался у него на шее со стороны груди. Он никогда не расстается с ним, а ночью использует как подушку, поскольку спит в кемпинге почти под открытым небом. Ну, а как разные другие дела в Дубровнике? Верьте, не верьте, сказал Игорь, но у меня здесь был романчик с американской женщиной. Должен признаться, никогда ничего подобного раньше не испытывал. Она хотела доминировать в сексе!

Боги Олимпа, подумал я, Европе теперь угрожает вторжение русских романтиков!

В Дубровнике, особенно по ночам, когда водная тропа Одиссея залита лунным светом, тебя вдруг может посетить ощущение вселенской гармонии, чувство причинности и разумности всей мировой архитектоники. Всего лишь за десять минут до этого бармен рассказывал тебе о нарастающей распре между сербами и хорватами. В этом сезоне, сказал он, сербы предпочитают держаться подальше от наших берегов. Несколько машин с белградскими номерными знаками были недавно осквернены, а некоторые даже сброшены с обрывов в море. Сербы и хорваты, ты говоришь, разве это не ближайшие друг к другу народы, разве не братья? Ну да, кивает он, непримиримые братья. А вы к кому относитесь, мой друг? Он улыбается: я — бармен.

Боже мой, шепчешь ты молчаливому свидетелю всех наших дел и бесед, пока медленно идешь по берегу в виду острова Локрум, где однажды, тысячу лет назад, высадился Ричард Львиное Сердце. Луна освещает тропу Одиссея, и ты стараешься вознести благодарность хотя бы за этот момент гармонии.

Четыре ночи над прозрачными водами быстро пролетели, и я отправился назад, на Север. Сараево было на моем пути, город, в котором когда-то разразилась Великая война. Мне не удалось найти там улицу, на которой Гаврила Принцип застрелил герцога Фердинанда, однако я утешал себя тем, что все улицы в этом городе подходят для стрельбы.

Я шел по старому городу с его восточными орнаментами, минаретами и кафе в турецком стиле. Двери всех кондитерских были открыты, демонстрируя стены, украшенные портретами маршала Тито. Тито верхом, Тито на танке, Тито в аэроплане. По соседству на лоне ковров возлежали томные шехерезады под пышными звездами и узким месяцем. Я остановился, чтобы сделать снимок афишной доски с политическими плакатами, призывами разных партий к сараевским избирателям. К моему полному удивлению, вспышка привлекла внимание граждан этого города, где еще совсем недавно проходили зимние Олимпийские игры.

— Иностранец! — услышал я за спиной.— Это иностранец! Шпионажем занимается! *Шпионажа!*

Я повернулся и увидел перед собой трех призраков прошлого, трех старых коммунистов, как будто извлеченных из сердцевины пятидесятых. Один из них был слишком стар, чтобы поднимать тревогу, его пустые глаза не отражали ничего, кроме истории его партии. Второй, пухленький и круглый, эдакий добродушный экзекутор в отставке, едко подхихикивал. Третий же, еще не совсем и старый, был полон рвения и мог быть немедленно выдвинут в любое политбюро. Именно он попытался выхватить у меня мою камеру, продолжая кричать:

— Он тут пропаганду из нас делает! Прекратить провокацию!

Вдруг во мне проснулся журналист. Я был в восторге: что за редкая журналистская удача! Нынче вряд ли встретишь таких идиотов в Праге или в Варшаве, даже в Москве. Тени моей юности, духи Титоизма-Сталинизма!

— А в чем дело? Неужели фотографировать запрещено? — спросил я с провокационной наивностью.— Плакаты ведь открыто выставлены, прямо на улице, разве нет?

Ревностный товарищ продолжал тянуться за моей камерой:

— Сейчас мы тебя с твоей камерой в милицию отведем!

Я продолжал накручивать свою удачу:

— О'кей, пошли, пошли в милицию!

Добродушный палач спросил меня не без зловредного удовольствия:

— Ты, должно быть, поляк, так, что ли?

Что лучше сказать ему, чтобы обеспечить задержание?

— Американец,— ответил я, имея в виду, что я настоящий шпион, агент подрывного империализма. Реакция на это признание оказалась совсем проти-

воположной моим ожиданиям. Тройка прекратила тянуть ко мне руки и даже приняла нечто похожее на стойку «смирно», одновременно расплываясь в самых что ни на есть гостеприимных улыбках.

— О, американец! Тогда, пожалуйста, делайте что хотите! Добре дошли, американец вы наш любезнейший!

Разочарованный, я расстался с ними и пошел к моему запаркованному неподалеку «судзуки». Они провожали меня глазами. Серьезные сомнения бродили по их лицам, очевидно, они что-то заметили во мне существенно неамериканское. Потом они увидели знак с буквой «Н» на моей машине. Хангари, Венгрия. Тревога вспыхнула заново.

— Смотрите, да он венгерец! Мадьяр! Товарищи, зовите милицию! Пропаганда! Провокация! *Шпионажа!* Держи Мадьяра!

Я поехал прочь.

Что все это означало? Может быть, этот неожиданный порыв проамериканских чувств был пережитком тех времен, когда товарищ Тито задирал товарища Сталина и рассчитывал на США? А что бы случилось, если бы они узнали, что я русский, или американский русский, или, в конце концов, русский американец?

Когда советская «перестройка» только началась, иные югославские друзья говорили, что не видят в этом ничего нового. «У нас эта перестройка идет уже тридцать лет»,— говорили они. На самом деле то, что было у них, было не перестройкой, а различными политическими и экономическими экспериментами все той же единственной коммунистической партии. Чуть более гибкие, чем их коллеги из сталинистского блока, югославские товарищи то ослабляли стальной зажим на теле общества, то опять подтягивали болты. Стратегически и экономически они приближались к Западу, идеологически Югославия до недавнего времени была нетронутым монолитом.

И только теперь можно сказать, что под размашистым ветром с Востока на землю южных славян пришла настоящая перестройка. Нынче и здесь мы видим не только оттенки красного, но весь спектр, от левых националистов до правых националистов с радугой всевозможных либералов посередине.

Последний вечер своего восточноевропейского путешествия я провел в саду писательского ресторана, модного местечка, облюбованного белградской просвещенной элитой.

— Посмотрите вокруг,— сказал мне коллега-романист Мома Димич,— кого только здесь нет сегодня — коммунисты, христианские демократы, четники...

Всего лишь несколько месяцев назад слово «четник» (роялист) было тут синонимом нечистой силы.

Всю дорогу, с самого первого дня этого путешествия, меня сопровождало одно почти забытое ощущение. Сначала я даже и не сообразил, что́ в берлинском воздухе может напомнить мне детство в столь далекой заволжской Казани. Потом догадался, это был запах цветущих лип, которого почему-то нет в Америке. Даже и на юге, в Белграде, я чувствовал этот запах, или мне казалось, что чувствую, или это просто были дуновения прошлого, тех времен, когда я голодным пацаном проносился под липами. Европа велика, фактически безгранична.

В вестибюле отеля я увидел группу советских туристов. Некоторые из них являли собой последнее, еще не промотанное сокровище моей родины — молодые женщины с танцующей походкой.

— Вы откуда, девушки? — спросил я.

— Из мятежного Донецка,— гордо ответила одна из «балерин». Донецк, как и весь угольный край, был охвачен стачкой. Шахтеры требовали ни много ни мало как отставки советского правительства.

Можно надеяться, что славянские, германские, венгерские и прочие общины Восточной Европы в конечном счете решат свои экономические проблемы. Все поправимо, кроме проклятой назойливой философии с ее «научной» концепцией цивилизации, кроме не допускающей споров теории последовательной однолинейной смены исторических эпох. Для тех, кто волей-неволей провел большую часть жизни под гипнозом этой «науки», перестройка напоминает возврат от химии к алхимии.

Гигантская центрифуга разбрасывает вокруг обломки стереотипов, и среди них некогда цементирующий образ Большого Русского Брата. Парадоксально, чем большему унижению сейчас этот «брат» подвергается, тем больше он очеловечивается в глазах восточноевропейцев. Снова и снова вспоминается будапештский плакат с мясистым затылком. «Адье, товарищ!» — издевательски смеется Европа, но... но... Что произойдет, когда этот товарищ обернется? Неужели мы снова увидим кабанье рыло с гнилым клыком, или вместо него перед нами предстанет страдающее детское лицо с умоляющим вопросом в глазах: «Отец мой, мать моя, братья и сестры, что же это было со мной и так долго?! Помогите найти ответ!»

Великобритания

ЗАГАДКИ БЕСТСЕЛЛЕРА № 1

По данным Книги рекордов Гиннесса за 1992 год, Библия — по-прежнему мировой бестселлер № 1. Число языков, на которые она переведена полностью, увеличилось еще на 32 и достигло 322, а с учетом переводов отдельных ее частей на все известные диалекты эта цифра возрастает до 1978! Любопытно, однако, что чем внимательнее люди вчитываются в эту книгу, тем больше озадачиваются: что в ней подлинно, а что придумано, и если придумано — то кем? Над этими вопросами размышляет в своей новой работе — «Неавторизованный вариант: правда и вымысел в Библии» — Робин Лейн Фокс (в 1986 году он опубликовал интересную книгу «Язычники и христиане»).

Прежде всего исследователь обращается к сравнению текстов о сотворении мира и рождении Христа, памятуя о том, что явная неувязка начальных глав в книгах Ветхого и Нового заветов подмечена задолго до высказанного учеными сомнения о возможности создать мир за шесть дней. По мнению Р. Фокса, авторы Нового завета подгоняют цитаты из Ветхого под желаемое для себя содержание. Так, в Евангелии от Марка Иисус говорит (10.6—8): «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть». Фактически же Иисус цитирует как одно два различных места из Бытия (1,27 и 2,24), в результате чего осуждение разводов звучит сильно и убедительно. Подобные вольные толкования встречаются и в Посланиях, в частности относительно первородного греха.

Еще более ошеломляющий факт всплывает в сюжете о переписи населения накануне появления Иисуса на свет. Марк и Иоанн ничего не рассказывают о рождении Христа, Матфей сообщает, что это произошло во дни царя Ирода, а Лука добавляет историю о Благовещении. Однако еще более ста лет назад историк Эмиль Шюрер указал, что царь Ирод умер за десять лет до того, как Квириний стал правителем Сирии, тогда Иудея перешла под прямое правление Рима и по приказу кесаря Августа проводилась не всеобщая, а местная перепись. Кроме того, Иосиф как уроженец Назарета не подлежал этой переписи, ибо Галилея была все еще независима от Рима. Во всяком случае, «своим городом», по римским законам, для Иосифа был Назарет, а не Вифлеем.

Еще более поразительно расхождение в датах суда и распятия: по синоптическим вариантам Нового Завета, тайная вечеря состоялась в день еврейской пасхи, а по четвертому Евангелию — за день до пасхи. Велико и число более мелких, но небезобидных погрешностей. Например, сюжет о том, как Иисус защитил падшую женщину, в Евангелии от Иоанна в главе 8,1—11 в некоторых более ранних списках либо вовсе отсутствует, либо помещается в других главах. Но, пожалуй, самая большая загадка Священного писания кроется в его притягательной силе: почти два тысячелетия люди, зная и о погрешностях, и о возможном художественном вымысле, тянутся к этой Книге.

Израиль

ШАГ НАВСТРЕЧУ

Главная литературная премия Израиля была недавно впервые присуждена арабу — Эмилю Хабиби. Писатель оказался в затруднительном положении: принимать ли эту награду? Представители некоторых арабских стран и палестинцев предлагали Эмилю Хабиби отказаться от нее, однако писатель не последовал этому совету, ибо расценил премию не как личный успех, а как знак уважения к арабской культуре и признания палестинской культуры в Израиле.

Эмиль Хабиби родился в Хайфе в 1922 году в семье арабов-христиан; он никогда не покидал Израиля и пишет на арабском. По его мнению, помимо насилия и терроризма, есть другие пути заявить о своих правах. Название его романа «Пессоптимист» ярко отражает философию автора: с одной стороны, араб, живущий в Израиле, может быть пессимистом, поскольку его страна оккупирована, родственники и друзья изгнаны; с другой стороны, он может быть оптимистом, поскольку остался жить на родной земле и сумел выжить.

Испания

ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ

До недавнего времени имя Басилио Фернандеса ничего не говорило ни читателям, ни литературоведам. Переломным в су-

дьбе его поэтического наследия стал 1991 год: в Хихоне вышла первая и единственная книга его стихов «Избранное», а в 1992 году он был удостоен Национальной премии Министерства культуры Испании. Впервые столь почетная награда присуждена посмертно — Басилио Фернандес скончался за пять лет до этого события.

Поэт родился в 1909 году в Вальвердине и прожил нелегкую жизнь. Долгие годы он провел в Хихоне, занимаясь коммерцией, и лишь немногие свободные часы отдавал творчеству. О его стремлении стать профессиональным литератором говорит публикация в 1927—1928 гг. нескольких стихотворений в журнале «Кармен», сотрудничество в итальянском журнале «Маре». Б. Фернандес был привержен уединенности и предпочитал вести замкнутый образ жизни, не общаясь с интеллектуалами литературного мира, за исключением своего верного друга Херардо Диего, испанского поэта. В последние годы он переписывался с Гонсало Торренте Бальестером, литературная судьба которого тоже необычна, хотя после сорока лет безвестности слава все же нашла его при жизни.

В 1987 году племянник Фернандеса Эмилио, разбирая архив умершего дяди, обнаружил разрозненные рукописи, пленившие его неподдельной поэтичностью. Лучшие из них он объединил в книгу, которая и увидела свет в 1991 году. Сам Б. Фернандес при жизни, видимо, никогда не пытался сделать это. Но теперь читатели имеют возможность оценить достоинства его поэзии.

Италия

СКАЖИ МНЕ, КАК ТЫ ОДЕТ...

Элио Витторини, Скотт Фицджеральд, Трумэн Капоте, Сол Беллоу, Малапарте, Сартр, Габриеле д'Аннунцио, Хемингуэй, Джузеппе Томази ди Лампедуза, Чезаре Павезе, Сименон, Джойс, Марио Солдати: эти тринадцать писателей (точнее, их манера одеваться) оказались в центре внимания известного итальянского модельера Джорджо Армани, который рассматривает одежду не как свидете-

Элио Витторини

(Журнал «Магазин литтерер»)

льство элегантности или неэлегантности, а как одно из средств самовыражения личности. Судя по фотографиям, у Витторини, например, «нет ни малейших признаков вычурности», а вот в облачении д'Аннунцио «слишком много застежек, карманов, шарфиков», отчего на полную экипировку, должно быть, уходило драгоценное время, отнятое у литературных занятий. Итальянский модельер замечает, что, пожалуй, лишь такой интеллектуал-бунтарь, как Сартр, мог позволить себе смело, не вызывая насмешек, носить причудливый воротник. Сименон отличался «эксцентричностью и типично бельгийской небрежностью» — иначе говоря, смешением стилей. Павезе: распространенный портрет довольно-таки «непритязательного» интеллигента («свободного покроя плащ с поясом, кашне, рубашка и галстук»). И, наконец, Лампедуза: «слегка потер-

У. Барроуз и Д. Кроненберг

(Журнал «Лир»)

тый твидовый костюм, шерстяные носки, галстук в клетку — именно та бросающаяся в глаза неказистость, которой не боятся наделенные благородством духа, чувств или происхождения. Подделаться под их стиль почти невозможно...»

Канада

ПУРИТАНЕ, ГОТОВЬТЕСЬ К ШОКУ!

После кинолент «Муха», «Мертвая зона» (по роману Стивена Кинга) и «Уловки» канадский режиссер Дэвид Кроненберг осуществил заманчивый проект, задуманный им еще десять лет назад: он снял фильм «Голый завтрак», создав сценарий на основе знаменитого одноименного романа Уильяма Барроуза. «Сделать точную и подробную экранизацию такого романа практически невозможно,— говорит режиссер.— Во-первых, потребовалось бы 400 миллионов долларов; а во-вторых, подобный фильм абсолютно нигде не допустили бы к показу». В самом деле, как кинематографическими средствами передать откровенные эротические эпизоды и сцены жестокости, которыми изобилует роман? Ведь когда в 1959 году эта книга была опубликована, у пуританской Америки случился настоящий шок.

Дэвид Кроненберг предпочел изобразить историю зарождения этого ослепительно яркого, головокружительного романа. Героя фильма зовут Уильям Ли — под таким псевдонимом У. Барроуз выпустил в свет свою первую книгу «Наркоман». Уильям Ли непреднамеренно убивает из револьвера подружку: они играли в Вильгельма Телля (кстати, именно так сам Барроуз убил жену). Он бежит в Танжер, где в огромных количествах принимает неведомые снадобья и наркотики. Во время галлюцинаций герою кажется, будто его пишущая машинка превращается в страшных, фантастических монстров: то в гигантского таракана, то в липкого инопланетянина... В литературно-биографический сюжет режиссер вводит дополнительных персонажей, вызванных к жизни воображением Гинзбурга, Керуака и Пола Баулза.

Франция

ЧЕЛОВЕК В УВЕШАННОЙ ПОЛОТНАМИ БАРОКАМЕРЕ

Творческое наследие Эрве Гибера, безвременно ушедшего из жизни в конце декабря 1991 года, неизменно привлекает внимание как читателей, так и специалистов в тех областях, где пробовал свои силы разносторонне одаренный автор романа «Другу, который не спас мне жизнь» (читайте в «ИЛ», 1991, № 8,9). Так, поклонники фотоискусства имеют возможность еще раз взглянуть на его работы, представленные в сборнике «Единственный образ»: на этих снимках Гибер сумел запечатлеть ускользающие и сокровенные моменты бытия, мгновенные проявления чувств, выразительность лица, тела, увидеть прекрасное и фантастическое в самом обыденном — например, в залитых солнцем складках ниспадающей скатерти...

Книги Э. Гибера пользуются устойчивым покупательским спросом, опережая всех прочих современных французских авторов, включая и Маргерит Дюрас с обоими ее «Любовниками». Продолжается посмертное издание новых произведений Э. Гибера, пополнившееся автобиографической книгой «Человек в красной шляпе». В ней рассказывается о страстном увлечении Гибера живописью, позволившем на время забыть о клиниках, лекарствах, бессилии медицины и окунуться в совершенно иной мир. Писатель начинает коллекционировать картины, отыскивая редкие и необычные образчики, совершенствует свое умение распознавать подделки, становится завсегдатаем художественных салонов и магазинчиков, общается с мастерами — словом, живет, по его собственному выражению, «в увешанной полотнами барокамере».

Фотография Эрве Гибера

(Журнал «Лир»)

СКАЖИ МНЕ, КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К КОТАМ...

«Общество делится на две группы — котофобов и котолюбов. Остерегайтесь первых и полагайтесь на вторых, потому что любовь к кошачьему племени — верный признак хорошего человека». Так пишет в своей книге «Его Величество Кот: записки кошатника» Луи Нюсера, которого, по его классификации, безусловно, следует отнести к хорошим людям. Круг их широк и весьма представителен, ибо в числе упомянутых автором знаменитых кошатников — пророк Магомет, предрекавший этому животному место в раю; писатель Шатобриан, поэты Бодлер, Элюар, Бретон, а также генерал де Голль. Имена котоненавистников говорят сами за себя: Чингисхан, Юлий Цезарь, Наполеон, Гитлер, Геббельс, Берия. К этой же компании, по наблюдениям Луи Нюсера, принадлежат лжецы, пустозвоны, зануды и негодяи всех мастей. Отшлепав несколькими по-кошачьи точными ударами ужасную половину человечества, пустившуюся в погоню за славой и властью, автор одновременно отдает должное своим любимцам — преданным, умным, грациозным, немного ленивым и избалованным, как, впрочем, и подобает быть существам благородного происхождения. Эти четвероногие друзья все понимают, но никого и никогда не осуждают — и в этом они явно превзошли людей.

По материалам газет «Лондон ревью оф букс» (Великобритания), «Паис» (Испания), журналов «Эпока» (Италия), «Лир» и «Магазин литтерер» (Франция).

Авторы этого номера

ГЕРБЕРТ РОЗЕНДОРФЕР (HERBERT ROSENDORFER; род. в 1934 году в Швейцарии) — немецкий писатель. С 1939 г. живет в Мюнхене, где окончил Академию изобразительных искусств, а затем юридический факультет. С 1967 г. работает в Мюнхене в должности судьи. Автор романов «Архитектор развалин» («Der Ruinenbaumeister», 1969), «Стефания, или Прежняя жизнь» («Stephanie und das vorige Leben», 1977), «Ночь амазонок» («Die Nacht der Amazonen», 1989), «Золотые святые, или Колумб открывает Европу» («Die Goldenen Heiligen oder Columbus entdeckt Europa», 1992), «Учебник конкурсного права» («Ballmanns Leiden oder Lehrbuch für Konkursrecht», 1981) и сборников рассказов.
Книга «Письма в Древний Китай» вышла в Мюнхене в 1983 г. («Briefe in die chinesische Vergangenheit». München, Nymphenburger Verlagshandlung GmbH, 1983.)

МОНТЕГЮ РОДС ДЖЕЙМС (MONTAGUE RHODES JAMES; 1862—1936) — английский писатель, мастер жанра «рассказ с привидением», крупный ученый в области религиоведения, медиевистики, палеографии, создатель каталогов средневековых рукописей. Долгие годы был деканом Королевского колледжа Кембриджа. Перу М. Р. Джеймса среди других его книг принадлежат сборники: «Рассказы антиквария о привидениях» («Ghost Stories of an Antiquary», 1905), «Новые рассказы антиквария о привидениях» («More Ghost Stories of an Antiquary», 1911), «Костлявый призрак» и другие истории» («A Thin Ghost and Others», 1919), «В назидание любопытствующим» («A Warning to the Curious» 1925) и др.
Публикуемые рассказы взяты из названных сборников, печатаются по изданию «Собрание рассказов М. Р. Джеймса о привидениях» («The Collected Ghost Stories of M. R. James», London, Edward Arnold & Co, 1931).

ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД (FRANCIS SCOTT FITZGERALD; 1896—1940) — американский писатель. Автор романов «По эту сторону рая» («This Side of Paradise», 1920; рус. пер. М., 1984), «Прелестные и проклятые» («The Beautiful and the Damned», 1922), «Великий Гэтсби» («The Great Gatsby», 1925; рус. пер. М., 1965), «Ночь нежна» («Tender is the Night», 1934; рус. пер. М., 1971), «Последний магнат» («ИЛ», 1977, № 1,2), в «ИЛ» напечатаны также «Рассказы о Голливуде» (1978, № 7). «Избранные произведения» С. Фицджеральда в 3-х томах изданы: М., 1977 и М., 1984.
Рассказ «Вечер на ярмарке» взят из сборника «Рассказы о Бэзиле и Жозефине» («The Basil and Josephine Stories». New York, Maximilian Publishers, 1928).

ХАРАЛД СВЕРДРУП (HARALD SVERDRUP; 1923—1992) — норвежский поэт, автор пятнадцати сборников стихов и нескольких книг прозы. Публикуемые в этом номере стихи взяты из его сборника «Мгновение света. Эротические стихи и записки о неспокойном мире» («Lysets øyeblikk. Erotiske dikt og utrygge fredsnotater». Oslo, Aschehoug, 1985), стихотворение «Муравей» — из сборника «Серебряный век. Норвежская лирика за 25 лет» («Sølvalder — Norsk lyrikk gjennom 25 år». Oslo, Den Norske Bokkeubben, 1987).

ЗЕНКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1954 г.) — литературовед, критик, переводчик. Автор работ по французской литературе XIX—XX вв. В «ИЛ» в его переводе напечатаны «Суждения» философа и писателя Алена» (1988, № 11) и фрагмент книги Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (1991, № 7).

ЖАН ЖЕНЕ (JEAN GENET; 1910—1986) — французский писатель — прозаик, поэт, драматург. Воспитывался в сиротском приюте. Много раз отбывал тюремное наказание за воровство. Литературной работой начал заниматься в тюрьме. Автор романов «Богоматерь цветов» («Notre-Dame des Fleurs», 1942), «Чудо о розе» («Miracle de la rose», 1946), сборников стихов «Приговоренный к смерти» («Le condamné à mort», 1942), «Песнь любви» («Un chant d'amour», 1951), пьес «Служанки» («Les Bonnes», 1947), «Балкон» («Le Balcon» 1959), «Негры» («Les Nègres», 1958), книги очерков «Пленник любви» («Un coptif amoureux», 1986) и др. произведений.
Подробнее о Ж. Жене и его творчестве см. статью С. Зенкина «Писатель в маске монстра. Имморализм в литературе», стр. 137.
Книга «Дневник вора» вышла во Франции в 1949 г. («Le journal du voleur». Paris, Gallimard, 1949). Печатается в журнальном варианте.

ЛОТРЕАМОН (LAUTRÉAMONT; псевдоним, наст. имя Изидор Дюкасс; 1846—1870) — французский поэт. Автор двух сочи-

нений в прозе под псевдонимом «Граф де Лотреамон» — «Песни Мальдорора» («Les Chants de Maldoror». 1868—69) и под собственным именем «Стихотворения. Предисловие к будущей книге» («Poèsies. Préface à un livre futur», 1870).

АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1932 г.) — русский писатель. Автор повестей «Коллеги», «Звездный билет», «Затоваренная бочко-тара», вышедших в шестидесятые годы, и др. произведений. С 1980 г. живет в США. За последние десять лет в США и России вышли из печати его книги: «Ожог», «Золотая наша железка», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж», «Скажи «изюм», «Собрание сочинений», т. I.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

БАСМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. в 1918 г.) — русский поэт и переводчик с китайского. Переводы М. Басманова и его статьи неоднократно печатались в антологиях китайской поэзии, выходили отдельными изданиями, публиковались на страницах «Иностранной литературы» и других журналов.

КОЛЕСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1951 г.) — русский поэт и переводчик с немецкого. Печатается с 1980 г. Переводит в основном стихи. В его переводе издан роман М. Шпербера «Слеза в океане» (М., «Художественная литература», 1991).

БАГРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.) — русский филолог, переводчик с английского. В последние годы переводил повести и романы Д. Г. Лоуренса «Дева и цыган» («ИЛ», 1986, № 3), П. Скотта «Остаться до конца» (1988, № 2), С. Рушди «Стыд» («ИЛ», 1989, № 8, 9) и др. Автор книги о переводе «Язык мой — враг?» (1990).

ГОРЛИНА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА — русский филолог, переводчик со скандинавских языков. Начала печататься с 1956 г. Переводила произведения Б. Бьёрнсона, Т. Недреос, Т. Весоса, А. Сандемуса (Норвегия), А. Линдгрен (Швеция), Х. Лакснеса (Исландия).

ПАНИНА НОННА ЮРЬЕВНА — переводчик с французского, критик. В ее переводах издавались мемуары Сары Бернар «Моя двойная жизнь», роман А. Давид-Неэль «Магия любви и черная магия», стихи Э. Верхарна, Жака Бреля, Р. Мелика. Автор ряда статей по современной французской литературе.

НОМЕР ВЫПУЩЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ
БАНКА «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

ИНДЕКС 70394